

А.С. МАКАРЕНКО

*Педагогические
сочинения*

Том

7

А.С. МАКАРЕНКО

Педагогические сочинения



А.С. МАКАРЕНКО

Педагогические сочинения в восьми томах

Редакционная коллегия:

М. И. Кондаков (главный редактор),
В. М. Коротов,
С. В. Михалков,
В. С. Хелемендик

А.С. МАКАРЕНКО

Педагогические сочинения

Том 7



Москва
«Педагогика»
1986

Печатается по решению Президиума
Академии педагогических наук СССР

Рецензенты:

кандидат педагогических наук
Ф. А. Фрадкин,
доктор Эдгар Гюнтер (ГДР)

Составители и авторы комментариев:
Л. Ю. Гордин, А. А. Фролов

Макаренко А. С.

М15 Педагогические сочинения: В 8-ми т. Т. 7/Сост.:
Л. Ю. Гордин, А. А. Фролов. — М.: Педагогика,
1986. — 320 с., ил.
Пер. 1 р. 30 к.

В седьмой том настоящего издания вошли публицистические работы А. С. Макаренко, его статьи о детской литературе и писательском труде, литературно-критические выступления, рецензии, киносценарии.
Для специалистов в области педагогики, работников народного образования.

М 4302000000-010
005(01)-86 подписное

ББК 74.03(2)

От составителей

В 7-м томе помещены публицистические произведения, сценарии, рецензии, статьи о детской литературе и писательском труде, написанные А. С. Макаренко в 1934—1939 гг.

Расположение материалов тома в хронологической последовательности позволяет увидеть, как развивался подход А. С. Макаренко к разработке проблем воспитания, проследить неразрывную связь воспитания с широкой социальной средой, ее прогрессивными изменениями.

А. С. Макаренко, став членом Союза советских писателей, видел свой профессиональный долг в активной борьбе за усиление роли литературы в строительстве нового общества и коммунистического воспитания, призывал к дальнейшему обогащению «социалистической литературной эстетики», утверждал принцип социалистического гуманизма. Исключительно актуален и сегодня его призыв к коллегам-писателям видеть главную цель советской детской литературы в воспитании «цельной коммунистической личности».

В том включены сценарии «Настоящий характер» и «Командировка», последние законченные художественные произведения А. С. Макаренко, в которых раскрывается моральный облик советской молодежи, принципиально новые взаимоотношения поколений в социалистическом обществе.

В приложении к тому дано письмо воспитанников колонии им. М. Горького и коммуны им. Ф. Э. Дзержинского в защиту «Флагов на башнях». Издание иллюстрируется фотоматериалами о жизни и деятельности А. С. Макаренко и его воспитанниках. В конце тома помещены комментарии. В сверке текстов с прижизненными изданиями и архивными источниками приняли участие С. С. Невская и И. В. Филин, ими же подготовлен указатель имен.

По поводу замечаний С. А. Колдунова

Согласен выбросить главу 12¹, так как положения, высказанные в ней, нужно аргументировать более обстоятельно и не в художественном произведении.

С остальными предложениями не согласен.

Глава 11 «Сражение на Ракитном озере»² имеет целью показать, что в среде еще совершенно блатных и, конечно, диких колонистов уже начинает зарождаться представление об отдельном их коллективе. Это первые элементы коллективного единства. В главе я хотел показать и свое отношение к этому началу. Как видно из текста, я настолько дорожил этим, что сознательно поддерживал тон колонистов, вместе с ними защищая уже родившееся представление о чести колонистов, хотя внешняя форма этого представления еще и «дика».

Точно так же возражаю и против изъятия главы 16³.

Написать просто, как предлагается: «кстати, Осадчий скоро вернулся», — значит просто отказаться от разрешения конфликта Осадчего. Ведь он ушел из колонии в гордом протесте против предъявленных к нему требований. Почему он в таком случае вернулся? И почему его приняли обратно? Вся суть в том, что протест Осадчего существовал до тех пор, пока ему пришлось попасть в столкновение селянской молодежи и колонистов. Он стал на сторону последних и поэтому после драки пришел в колонию и свободно говорил со мной. Это он сделать мог только потому, что «по-своему» имел основания считать, что его колонийское достоинство восстановлено. Уважая эту сторону дела, я не вспоминал ничего из только что бывшего конфликта.

Выбросить эту главу — значит упростить и ошаблонить картину укрепления коллективных связей.

Между прочим, в этой же главе и второй мотив, по-моему, интересный: вырастание коллектива горьковцев облегчалось тем обстоятельством, что в окружающей среде крестьянской много было явлений антигосударственных, в данном случае обрезы⁴.

Внешняя дикость проявлений первого коллективизма не должна никого смущать.

Эпизод с балеринами⁵ несколько не имеет в виду изобразить издевательство над кем-либо. По тексту видно, что такого издевательства и не было. Просто столкнулись две группы людей, между которыми нет ничего обще-

го: балерины презируют беспризорных, колонисты отстегивая такую или иную запряжку или считая спицы, делают какое-то свое дело. Только и всего. Конфликт проистекает из разности многих элементов.

К сведению: в альманахе «Год XVII» купюры сделаны мною лично, так как альманах не хотел больше 9 печатных листов. Потом против сокращения протестовал Алексей Максимович, который писал мне, что ничего сокращать не нужно было⁶.

А. Макаренко

Письмо Т. А. Миллер

Киев, 10 июля 1936 г.

Уважаемая Татьяна Александровна!

Сегодня я получил Ваше письмо, отправленное через Гослитиздат, и спешу ответить. Я очень благодарен Вам за искренний и открытый отзыв о некоторых местах и тенденциях «ПП»¹, — поверьте, это для меня дороже самой квалифицированной критики. В ознаменование моей благодарности отвечаю Вам так же искренно и так же подробно. Только давайте по пунктам.

1. Ваше общее отношение к книге. Вам хотелось ругаться, и все-таки Вы читали и перечитывали книгу. Что же, это меня больше всего радует, это доказывает, что в книге написана правда, а правда вызывает отношение всегда противоречивое. Жизнь не состоит из одних идеальных вещей, и в этом ее прелесть. Такова была и есть и моя жизнь, и, вероятно, Ваша. Жизнь всегда есть цепь коллизий, следовательно, всегда приходится отступать от идеального поступка, приходится жертвовать какой-то одной истиной для того, чтобы другая истина жила. Разве Вы не замечали этого жизненного закона? Если хотите, это закон диалектики. Именно потому Вы мою книгу читали с увлечением, что я не прикрыл и не прикрасил моих трагедий.

Пощечина Задорову². Вы не совсем ясно говорите об этом. Я, например, не понимаю, в каком смысле Вы поднимаете вопрос о моей трусости, «недостаточной смелости» в моем характере. Может быть, Вы упрекаете меня в том, что я прямо не сказал: «Надо бить морды?» Но ведь так никогда не думал. Вы правы: формула Наполеона, конечно, может быть отнесена не только к Мише Овчаренко, но и к случаю с Задоровым. Почему эта формула так смутила Вас? Конечно, пощечина Задорову не была ошибкой. Скажу грубее: без этого мордобоя не было бы колонии Горького и не было бы никакой поэмы. Но пусть это не смущает Вас: я ведь признаю, что в такой пощечине есть преступление. Это я говорю совершенно серьезно — преступление. Бить морды нельзя, хотя бы и в некоторых случаях это было и полезно. Какое Вы можете сделать заключение? Самое правильное: моя поэма началась с преступления. Начало колонии Горького — это целый клубок преступлений: и моих, и ребячьих.

Если так морально разбираться в моей жизни, то, разумеется, я заслуживаю всяческого осуждения, согласен с Вами. Но так не нужно разбираться. Прочтите «Эпилог», и Вы сразу увидите, в чем дело. В «Эпилоге» я вспо-

минаю мой первый горьковский день, как «день позора и немощи». Я совершил преступление, потому что я был немощен и была немощна моя педагогическая техника. Я не мог справиться с пятью ребятами, а теперь в Дзержинке³ 1100 ребят и мордобой невозможен. Какая еще смелость от меня требуется? Удар Миши Овчаренко — дело совсем другого порядка. Во-первых, он был сделан в самозащите против финки, во-вторых, он не имел такого определяющего значения. Он важен как характеристика положения, и только.

2. Педагогический коллектив. Трудно ответить на этот вопрос. Вы читали первую часть в альманахе или в отдельном издании?⁴ В альманахе пропущена глава «Подвижники соцвоса», читали Вы ее?

Впрочем, попытаюсь оправдываться. Во-первых, я был очень ограничен листажом, Горький требовал, чтобы больше 10 листов на часть не было. Во-вторых, Вы представить себе не можете, сколько материала осталось неиспользованного. Я старался показать детский коллектив, моей целью было возбудить у людей симпатии к этим детям, но я вовсе не собирался писать методику воспитательной работы. Сам я выдвинулся нечаянно, трудно обойтись без себя, если пишешь от первого лица. И поэтому я считаю, что прибавлять ничего не нужно, получится нецельно и дидактично.

3. ...Самая дешевая пища — педагогика. Совершенно согласен — это очень глупо, но я в этом не виноват: у меня написано «кормиться педагогами», так напечатано и в альманахе, а в Гослитиздате — опечатка.

4. За библиотекаря извиняюсь. Конечно, я хотел только сказать, что профессор перестал разрешать вопросы воспитания.

5. Излишнее озлобление против Брегель и Зои⁵. Может быть, это и правда, я и сам это чувствовал и предлагал А. М. выбросить две главы, но он написал мне: «Соцвосовцев выбрасывать не нужно. Вы их изобразили правильно».

6. Могила колонии. Как же Вы не поняли, в чем дело, неужели я так не ясно написал?

Колония Горького должна была развалиться не потому, что я ушел, а потому, что в ней были заведены новые порядки. Вы же прекрасно понимаете, что выметали не только меня, а решительно все, что было в колонии сделано: организацию, стиль, традиции, людей, выметали «макаренковщину». Какой же смысл было оставлять ядро — это могло привести к бунту: мое ядро без боя не уступило бы позиций, а бой заведомо неравный. И я не оглянулся не потому, что мне не было больно, а потому что оглядываться было нельзя: надо было скорее забыть, чтобы дальше работать. Нет, обвинять меня в развале колонии можно только при большом пристрастии. Я сделал все, чтобы моему преемнику было легче работать. Моя фигура и фигуры моих друзей могли только мешать. Впрочем, Вы не правы и по существу — в самой колонии все осталось для того, чтобы она могла работать, остался прекрасный коллектив и остались воспитатели — их, правда, потом разогнали⁶.

Вообще, в этом вопросе Вы напутали.

Лапоть откликнулся — он работает в Полтаве, другие молчат.

Я работаю в Киеве, в НКВД Украины, у меня сейчас 14 трудовых колоний, в том числе и колония имени Горького. Я сам принял ее от Наркомпро-

са в прошлом году. От старой колонии остались только трубные сигналы. Сейчас она сильно поправилась.

Еще раз благодарю Вас за хорошее письмо. Пожалуйста, напишите о себе, какой Вы человек, как Вам работается. Буду очень вам благодарен.

Киев,
Рейтарская, 37,
ОТК НКВД

Привет А. Макаренко

Болшевцы

...Мы так привыкли к изумительному стилю нашей жизни, что уже часто не замечаем ее изумительности. Только с трудом отвлекаясь от наших горизонтов, только бросив взгляды далеко на Запад, мы вдруг широко открываем глаза: где это возможно, когда вообще это было возможно в истории, чтобы государственные деятели разговаривали с ворами о будущих заводах, гаражах, кооперативах?

Вся эта книга «Болшевцы» — рассказ о таких изумительных вещах, которые для нас почти перестали быть изумительными, так как мы привыкли к ним, такими они сделались для нас необходимо нашими.

На страницах книги мы встречаем героев шалмана — воровского притона. Их много — этих воров. Их лица мелькают одно за другим, лица людей, пришедших к нам из чужого мира, мира звериной борьбы человека с человеком, взаимного грабежа и взаимной жестокости. Из них соткана подкладка европейской цивилизации, они — ее необходимый элемент.

Новый мир они встретили враждебно, уперлись в привычных рефлексах, закрепились в блатных законах, в блатной морали. В книге прекрасно показано это судорожное сопротивление шалмана новым движениям нашей жизни. В каждой главе, в каждой личной истории вы видите цепкие лапы «цивилизации». Вот Мологин, знаменитый «специалист» по кассам, перед отправлением в коммуну:

«Темный постылый мир таких же, как он, изуродованных жизнью людей, ненавистный и родной, как собаке ее логово, мир шалмана, проституток, азарта, крови, издыхающий, но недобитый мир, который мог теперь покинуть Мологин, властно вставал перед ним. Он хватал его, тянул его назад, он приказывал, диктовал ему. И Мологин не смел ослушаться.

— Только я никогда не буду легавить!¹ Не заставьте! — крикнул он взвинченно.

Погребинский² пожал плечами».

Перед Погребинским не один Мологин «кричал взвинченно», и поэтому он имел право пожимать плечами. Леля Счастливая на том же допросе о блатной морали дошла до истерики, уже будучи в коммуне. Коммуна казалась ей самым поганым местом, «которое для честного вора хуже смерти».

Притоны, тюрьмы, улица, зверская, пьяная, грязная жизнь — все это и для воров отвратительно, но социальное их кредо сильнее ужаса, отвращения — они воры, в этом их привычный мир.

С трудом, спотыкаясь, сопротивляясь, с взвинченным криком, с бутылкой водки в руках, с подозрительным недоверием целыми сотнями побрели

воры в коммуну, все-таки побрели. Их встретили кордоны, стражи, заборы, запирающиеся ворота. Может быть, их решили соблазнить невиданным комфортом, дорогой пищей, одеждой, светлыми залами, уютом? Может быть, для их перевоспитания был подготовлен целый строй гениальных мастеров-педагогов?

Нет.

До смешного немногочисленны те силы, которые были выставлены против идущего воровского мира. Погребинский, Мелихов, Богословский, потом Островский, Смелянский, Николаев — и десяти имен нельзя насчитать. И многие из этих людей — чекисты, по горло занятые на своей трудной работе. И нет никаких дворцов, и нет ворот и стражи, вообще ничего нет, кроме одного:

большевистского отношения к человеку.

В этой книге пролетарский гуманизм показан во всем блеске своей логики и строгой, крепко скрытой эмоции...

В книге на многих искренних страницах рассказано о том, как прикосновение этого пролетарского гуманизма заставляет по частям сваливаться воровскую личину, как освобождается из-под нее человек. Это освобождение не приходит сразу, человек по ступенькам поднимается к свободе, и каждая из этих ступенек замечательна.

Накатников решил уйти из коммуны. К счастью, у Погребинского не нашлось десятки, которая необходима была Накатникову для восстановления «воли». Прожив у Погребинского два дня, Накатников все-таки возвратился в коммуну. Это возвращение должно известной тяжестью лечь на его самолюбие, но при входе в коммуну Накатников увидел станки, лежащие под открытым небом, и это обстоятельство больше всего его взволновало. Этот человек, только на одном волоске удержавшийся в коммуне, — уже хозяин, пусть и на шаткой ступеньке, но уже поднялся над шалманом.

Богословский поручил Беспалову вести беседы с ребятами о приеме девушек именно потому, что ожидал от Беспалова малосознательного отношения к девушкам, — здесь ступенька насильственно ставится на пути Беспалова, насильственно по закону пролетарского гуманизма, возвышающему человека в форме требования, предъявленного к его человечности.

Наладка своего станка «Депель» — это уже более высокая ступень, на которой возвышается Леха Гуляев.

Экзамен при поступлении Накатникова в вуз и профессор, расплакавшийся после нескольких слов Накатникова о коммуне, — это уже очень большая выгода коммунарской культуры, которая действительно трогает.

В книге много волнующих, трогательных страниц, она дает много радости читателю и вызывает благодарную улыбку на каждой ступеньке человеческого восхождения большевиков. И радует она чаще всего суровостью своих положений, спокойной, неслезливой ухваткой чекистов, верой их в могущество трудового коллектива и здоровых напряжений борьбы. А из-за этой радости, из-за рядов новых людей, сделанных из несчастных обитателей шалманов, вырастает перед нами и новое педагогическое мастерство, большевистская философия воспитания, которая достаточно сильна и достаточно убедительна, чтобы применить ее не только по отношению к ворами. К сожалению, по причинам абсолютно странным, десятилетний педагогический опыт чекистов, блестящий опыт мирового значения, до

последнего дня игнорируется педагогической литературой. Я не знаю ни одной книги, посвященной анализу выводов из этого опыта.

Книга «Болшевики» дает много материала для специально педагогических разработок, хотя в ней и не присутствует какая бы то ни было теоретическая полемика. Она рисует педагогическое действие в лицах и движении.

В заключение считаю необходимым коротко остановиться на некоторых художественных дефектах книги. Она подает историю болшевской коммуны почти исключительно в форме личных историй. Целый коллектив болшевцев виден в книге слабее, чем отдельные лица. Почти не показана хозяйственная деятельность этого коллектива, а она стоит того, чтобы о ней знал советский читатель. Книга говорит об отдельных станках, о видах продукции, о новых стройках, но нет итоговой картины этой деятельности, не видно ее большого размаха. Точно так же в книге игнорируется пейзаж, поэтому читатель с большим трудом представляет себе этот замечательный город, нет его зрительной осязаемости.

Очень слабо сравнительно с коммунарами сделаны фигуры руководителей коммуны. Мелихова и Богословского почти невозможно отличить одного от другого. Авторы вкладывают в их уста отдельные реплики, сентенции, слова сомнения, но все это подается в явно резонерском плане, живых движений немного, и они не характерны. Обе эти фигуры получились несколько пассивными и бесстрастными, это не соответствует их действительному значению в истории болшевской коммуны. Несколько живее изображен Погребинский, но и в его изображении преобладают высказывания над показом. В книге, например, несколько раз упоминается, что коммунары бывали на квартире у Погребинского, но ни один из авторов не решился художественно изобразить такое исключительно интересное явление. Единственная глава, в которой автор (К. Горбунов) попытался оживить фигуру Погребинского в прямом движении, — «У котла» — неудачна по слабости и нелогичности материала. «Погребинскому захотелось посмотреть, чем беспризорников прельщает воля». В самой главе, однако, нет ответа на этот вопрос, у котла ничего особенного автор не нашел и ограничился рассказыванием сказок. Можно прямо сказать: создатель болшевской коммуны т. Погребинский в книге не показан во весь рост.

Несмотря на все эти дефекты, необходимо признать: сделана очень хорошая, очень важная и полезная книга. Сделана любовно, талантливо. За границей книга должна произвести еще большее впечатление, чем у нас, в ней замечательно уверенно звучит наша философия человека, в ней хорошо показаны корни пролетарского гуманизма.

О личности и обществе

Хочется найти какие-то особенно выразительные слова, чтобы правильно оценить наши замечательно яркие дни. Трудно это сделать. Может быть, для этого нужно было бы выключить какие-то грандиозные рубильники, чтобы потухли и забылись все злобы наших дней, чтобы можно было стать на широких мировых площадях... слушать новые человеческие гимны.

Но жизнь несется вперед вместе с нами, и в музыке и грохоте ее движения мы слышим слова Конституции. Будущие люди позавидуют нам, в этом соединении жизни и революции они увидят все величие, всю красоту и мощь нашего замечательного времени.

А я завидую будущим людям, я завидую даже тому школьнику, который в каком-нибудь 2436 году будет читать первые страницы учебника истории.

Я завидую этому школьнику потому, что его детские глаза лучше моих увидят настоящее величие наших дней: для этого школьника десятки поколений ученых, сотни светлых умов освобожденного человечества раскроют и назовут самые глубокие правды, таящиеся в простых словах Основного Закона СССР.

Ведь удивительно: вот уже 6 месяцев, как проект Конституции нам известен, мы знаем его на память, мы много пережили и передумали, изучая его, а в ноябре, после доклада товарища Сталина наша Конституция как будто заново встала перед нами, и мы увидели многое, чего не видели раньше.

Мы смотрим на Кремль и видим не только Основной Закон нашего государства, не только названные и подытоженные наши победы, но и сияние новой человеческой философии, тем более ослепительное, что в нем горят не огни человеческой мечты, не призывы к счастью, а строгие чертежи реальности, простые и убедительные линии, непривычно для философии называемые фактами.

Да, мы сейчас больше думаем о счастье, чем когда бы то ни было в истории. Эта тема реально придвинулась к нам, она стала нашей деловой темой — тема о счастье всех людей, тема о человеке, личности, обществе. Мы должны быть философами. На наших глазах самые скромные люди, самые трезвые прозаики, самые практические деятели расправляют крылья высокой синтетической мысли, улетающей в перспективу веков. Широкие народные массы Союза переживают сейчас не только чувства благодарности и радости победы, но и большую философскую взволнованность. Исторический документ, написанный, как говорил товарищ Сталин, «почти в протокольном стиле», будто раскрыл перед нами широкие врата истины, еще недавно заваленные горами исторических заблуждений и тяжестью вековых неудач в борьбе за освобождение человека. И поэтому тема о счастье стала близкой и родной темой. А сколько десятков веков люди искали счастья, сколько мудрецов положили головы на путях к нему, какие страшные жертвы принесло ему человечество?!

Теперь, при свете Конституции, вдруг стало ясно видно, что такое счастье. Оказывается, это вовсе не трансцендентная категория. Оно легко поддается почти математической формулировке... Оно разрешается в простом сочетании двух величин — личность и общество.

Трудно описать ту безобразную кучу заблуждений, глупости, вранья, мошенничества и сумасбродства, которая до наших дней прикрывалась истрепанной занавеской с надписью: Проблема общества и личности.

Каких трюков, каких фокусов, каких затей не показывали нам из-за этой занавески? И любовь к ближнему, и любовь к дальнему, и сверхчеловека, и «человека-зверя», и «не противься злему», и «скашивай на нет»,

и даже «спасайся кто может»¹.

Веками мы глазели на это представление, а многие из нас даже веровали. Великаны человечества — Толстой, Достоевский, Гоголь, Верхарн — расшибали себе лбы возле этого балагана.

А ведь существовала только занавеска, в сущности, был только балаган, в котором скрывался вековой обман идеологов эксплуататорского общества. Слова Конституции, как прожектором, осветили это место, и мы увидели бутафорию. Так понятно стало: проблема личности может быть разрешена, если в каждом человеке видеть личность. Если личность проектируется только в некоторых людях по какому-либо специальному выбору, нет проблемы личности... Какая проблема личности может быть у каннибалов? Можно ли в таком случае сказать: одна личность съела другую личность? Проблема личности в условиях взаимного поедания звучит весьма трагикомично. А разве лучше с проблемой общества? Те общественные представления, которые такими обычными и будничными стали у нас, просто не подходят, не вяжутся в условиях мира каннибальского. Попробуйте в любом советском окружении сказать неожиданно: коллектив заводов Круппа. Даже не искушенный в социологии советский гражданин услышит нечто дикое в сопоставлении слов «коллектив» и «Крупп». Мы уже хорошо знаем, что такое коллектив. Это, конечно, не «собрание индивидов, одинаково реагирующих на те или иные раздражители»², как учили некоторые чудаки, близко стоявшие к недавно скончавшейся педологии. Коллектив — это свободная группа трудящихся, объединенных единой целью, единым действием, организованная, снабженная органами управления, дисциплины и ответственности. Коллектив — это социальный организм в здоровом человеческом обществе. Такой организм невозможно представить в мещанине буржуазного мира. Тем более невозможно представить себе «общество» в нашем понимании этого термина. Кое-как мы еще справляемся с такими представлениями, о которых слышим из-за границы: «двор», «свет», «аристократия», «высшие круги», «средние круги», «низшие круги», «простонародье», «чернь». К какому из этих подразделений можно присоединить термин «общество»? В каких комических ансамблях, в каких шутках можно смешать все эти элементы и назвать эту взрывчатую смесь обществом? И тем более: в порядке какого легкомысленного чудачества можно мечтать о счастье для такого «общества» в целом?

А ведь все-таки мечтают люди и на Западе. Мечтают о счастье, говорят о нем и обещают его приготовить в ближайшее время. Даже Генри Форд однажды занялся этим делом, у него это вышло не очень глупо. В одной из своих книг он сказал приблизительно так: при помощи законодательства нельзя принести человечеству счастье; его принесет конструктивное творчество...

Разумеется, мистер Форд швырнул камень в наш огород. Нашу революцию он назвал законодательством, безнадежной попыткой принести счастье людям. Счастье принесет, мол, сам Форд, «замечательный» конструктор на своих собственных «замечательных» заводах. В первую очередь счастье получают, конечно, не рабочие заводов Форда, а покупатели его автомобилей. Автомобиль — это счастье.

Из творчества мистера Форда, однако, ничего путного не вышло. Во

время кризиса тысячи личностей разъезжали на прекрасных машинах по прекрасным дорогам и выпрашивали милостыню у других личностей. Автомобиль, даже самый лучший, не принес никому счастья, кроме самого Форда и немногих ему подобных.

Несмотря на эту печальную неудачу, необходимо признать, что мистер Форд был недалек от истины. «Конструктивное творчество» принесло счастье людям. Но это творчество называется революцией и строительством социализма.

В каждой строчке нашей Конституции мы видим работу гениального конструктора, и объектом этого творчества было общество без кавычек. При помощи одного законодательства его невозможно было создать. Можно издать закон, запрещающий безработицу, но только невиданный размах гения может создать в стране такие условия, при которых десятки миллионов трудящихся обязательно получают работу, а безработица будет навеки уничтожена. Право на отдых не может быть создано законом, если конструктивно не созданы сотни и тысячи здравниц.

Конституция — единственный в мировой истории документ, имеющий характер исторического паспорта величайшего создания — нового человеческого общества.

И только с появлением этого общества стало возможно говорить о решении проблемы «общество и личность». Эта проблема решена не в горячей проповеди, не в призывах, не в порядке постановки принципов, а исключительно в процессе грандиозной революционной творческой работы, создавшей конструкцию, продуманную до мелочей и сделанную с точностью до мельчайших величин.

И это общество — настолько новое, настолько принципиально новое явление, что совершенно невозможно никакое сравнение его с буржуазным миром. Детали этого явления недоступны и непонятны для западных мудрецов, ибо этих деталей никогда не было в их жалком опыте.

К примеру возьмем вопрос о единой и единственной у нас Коммунистической партии. Для нас это так убедительно и просто: только единая партия большевиков, передовой отряд рабочего класса и всех трудящихся, способна к наиболее яркому, эффективному и экономному социалистическому творчеству. Она гениально задумана, гениально организована, счастливо соответствует всей структуре общества.

Западным мудрецам трудно понять такие вещи. Человек, ездивший в своей жизни только на возу, с таким же трудом поймет, как это автомобиль обходится без квача и мазницы. Та сложная смесь лжи, интриги и взаимного поедания, которой смазываются колеса буржуазной демократической телеги, чтобы не слышно было раздражающего скрипа, и которая иронически называется свободой, в нашем обществе не нужна и не может иметь места.

Наше воодушевленное доверие к партии, наш экономический строй создают невиданную еще свободу личности, но это не та свобода, о которой болтают на Западе. Есть «свобода» и свобода. Есть свобода кочевника в степи, свобода умирающего в пустыне, свобода пьяного хулигана в заброшенной деревне и есть свобода гражданина совершенного общества, точно знающего свои пути и пути встречные.

Мы, естественно, предпочитаем последний тип свободы. Ибо коллизия

«личность и общество» у нас разрешается не только в свободе, но и в дисциплине.

Как раз дисциплина отличает общество от анархии, как раз дисциплина определяет свободу. «Кто не работает, тот не ест». Эта простая и короткая строчка отражает строгую и крепкую систему социалистической общественной дисциплины, без которой не может быть общества и не может быть свободы личности.

Проблему «общество и личность» буржуазные идеологи связывают с амплитудой колебания личного поступка. Старые законы этого колебания были уже потому порочны, что они были нереальны. Величина колебания в буржуазных конституциях устанавливается для личности, мыслимой идеально, вырванной из общества, абстрагированной. Для такой личности ничто не мешало установить очень широкую амплитуду колебания в области поступка: свобода «употреблять и злоупотреблять», свобода трудиться или лежать на боку, свобода пировать или умереть с голоду, свобода жить в лачуге или во дворце. Ничего не жалко, все можно разрешить личности — действительно широчайшие «просторы». Но все это для абстрактной личности. Настоящая, живая, реальная личность, живущая под ярмом буржуазного общества, в подавляющем большинстве случаев имела очень маленькую и жалкую амплитуду поступка: от страха голодной смерти, с одной стороны, до бессильного гнева — с другой.

В нашем обществе обозначены пределы, дальше которых не может размахнуться личность, какой бы гомерической жадностью она ни обладала. Недра, поля, леса в личную собственность? Нельзя! Они принадлежат всему народу... Ничего не делать? Нельзя! «Кто не работает, тот не ест»... Для эксплуататора, для какого-нибудь такого «сверхчеловека» действительно скучно, податься некуда! Зато для реального, живого гражданина нашей страны, для трудящегося амплитуда колебаний поступка очень велика: от радостного, сознательного, творческого труда в полном единстве с трудом других людей, с одной стороны, до полнокровного, жизненного счастья, не отравленного никакой обособленностью, никакими муками совести, — с другой.

Личность и общество в Советском Союзе потому счастливы, что их отношения сконструированы с гениальным разумом, с высочайшей честностью, с великолепной точностью. И хотя в нашей Конституции нигде не стоит слово «любовь», но за всю историю людей в ней впервые реально поставлено слово «Человек».

Письмо С. М. Соловьеву

Киев, 9 декабря 1936 г.

Дорогой Сергей Михайлович!

Командировки и болезни помешали мне серьезно заняться Вашей работой. Только сегодня я основательно прочитал ее и подумал над ней.

Работа в общем интересная, хорошая, умная. Совершенно необходимо ее напечатать. Но есть и серьезные недостатки. Устранить их не так трудно, но при одном условии: работу нужно сделать заново.

Эти недостатки:

1. Композиция отдельных глав не продумана, случайна, части их часто не связаны ни логически, ни стилистически.

2. Все сочинение лишено стержневой идеи. Что Вы хотите доказать? Как в общем Вы оцениваете Америку?

3. Мало пейзажа и общих видов (кроме Вашингтона).

4. Чувствуется, что Вы могли бы рассказать больше, подробнее.

5. Самое главное: много изъянов в языке. Язык нужно свирепо править. У Вас есть способности к художественному письму, но мало еще техники и опыта. Есть выражения просто неграмотные:

«...Инженеров в Америке непруженные реки...»

«...Большинство инженеров экономически зависимы...»

«Будучи химиком, мне пришлось столкнуться...»

«Нью-Йорк единственен».

Конечно, все это результаты спешки или недосмотра, и это легко выправить.

Был бы очень рад с Вами встретиться и почитать рукопись вместе. Во всяком случае ее нужно увеличить, прибавить больше подробностей.

В общем получится очень хорошая книга.

Привет А. Макаренко

Америка деловая

по традиции и необходимости — непонятно, какая необходимость?

Смотрели на... перспективы — (!)

Задирая голову до хруста в позвоночнике — и не точно и не красиво!

На проходившую американскую толпу... — не выразительно, получается впечатление, будто толпа проходила в одном направлении.

Небоскребы были необычайно и ни с чем несравненно хороши — так нельзя говорить.

Женщины... густо румяны — нехорошо.

Радость творческого труда

Конституция закрепляет двадцатилетний опыт освобожденного советского народа и в первых своих статьях утверждает новое отношение человека к труду. В обществе, основанном на эксплуатации, труд реально мотивируется как тяжелая необходимость, как реализация библейского приговора: «В поте лица будешь добывать хлеб свой». Этому закону подчиняется не только труд простой, но и труд высококвалифицированный, в том числе и труд интеллигенции. Только очень немногие лица, стоящие в оппозиции к буржуазному строю, могут иногда дать простор своему творческому почину. Как правило, творческая инициатива может принадлежать исключительно буржуазии, и настоящая логика этой инициативы, этого творчества скрывается от трудящихся масс самым хитроумным и тщательным образом, хотя далеко не всегда успешно. Последние события во Франции показывают, что эта «творческая логика» хорошо известна трудящимся и вызывает у

них открытое отвращение, символически выражаемое во всеобщей забастовке, т. е. в демонстративном отказе от труда.

В нашей стране труд является и правом, и обязанностью гражданина. Об этом коротко говорят статьи нашей Конституции, но в ее коротких формулировках отражаются чрезвычайно многообразные и счастливые особенности политического и морального самочувствия советского гражданина. Право на труд в нашем обществе — это не только право на заработок, это, прежде всего, право на творчество, право на участие в социалистическом строительстве, в решении государственных задач. Стахановское движение, захватившее миллионы трудящихся, есть не только движение за новые нормы и за новую технику, это вместе с тем есть движение и за новые творческие позиции человечества. В стахановском движении право на труд перерастает из экономической категории в категорию моральную и эстетическую. Трудно даже перечислить те изменения, которые на наших глазах внесены в человеческую психику и которые к сегодняшнему дню так далеко продвинули развитие наших человеческих характеров, в особенности по сравнению с буржуазным миром. В своем труде советский гражданин живет в сфере постоянного ощущения не только всей нашей страны, но и всего мира, он уже не может замкнуться в узких границах своего рабочего места, своего цеха, даже своего завода. Его труд стал творческим трудом и в рабочем, и в производственном, и в политическом, и в моральном отношении. Расширяясь до очень широких политических синтезов, этот труд сделался основным началом его политического роста — одно из самых замечательных явлений нашей эпохи, породившее новые границы между старым и новым представлениями о труде и о различии между трудом умственным и физическим. Работа советского гражданина, на каких бы участках она ни происходила, — это очень сложный комплекс и физических, и интеллектуальных переживаний, а в последнем своем итоге — это переживание полноценности жизни, это ощущение человеческого достоинства и человеческой защищенности, ощущение единства трудящихся и могущества социалистического государства. Этот комплекс перерастает обычное понятие долга — он вплотную подходит к цели жизни — радости существования.

Но труд у нас не только право, но и обязанность. В порядке того же социального возрождения наше понимание обязанности неизмеримо шире обычного понимания обязанности в буржуазном обществе. В нашей стране трудовая обязанность перестала быть негативной стороной жизни. Наша обязанность — это уже не холодная категория связанности человека. У нас это, прежде всего, программа роста и развития личности, крепко связанная с радостными перспективами жизни. Поэтому переживание обязанности у советского гражданина есть переживание активное, не ограниченное рамками договора, а вытекающее из самых глубоких потенций растущей, идущей вперед личности. Именно поэтому мы не только обязаны пассивно выполнять зарегистрированные в трудовом договоре функции, но обязаны и самостоятельно, творчески смело определять их.

В какой мере сказанное относится ко всем трудящимся, в такой же строгой мере оно относится и к работникам искусств. И для работника искусства право на труд открывает широчайшие просторы роста и радости, оно предоставляет нам замечательные творческие возможности. И обязанности наши богаты такими же счастливыми требованиями. Наш долг заключается

не только в добросовестности выполнения. Мы обязаны быть такими же инициативными и смелыми, как стахановцы, так же упорно и героически создавать новые слова, краски и звуки, отражая то многообразное новое, чем так богата наша жизнь и наша борьба. В меру той же свободной и радостной обязанности мы должны не бояться риска. В каждом новом утверждении, в каждой новой детали чувства и мысли всегда есть риск ошибиться, риск увлечения и неточного ракурса. Если мы в самом своем существе, в самой сущности нашего политического самочувствия преданы интересам социалистического общества, если наши помышления и дела искренне и чисто идут за Коммунистической партией, направляются марксистско-ленинской мыслью... мы не можем ошибиться трагически, в нашей ошибке будет и гарантия ее исправления. И поэтому в нашей стране можно не бояться риска в новом начинании, в смелой пробе и в творческом воображении. А кроме того, в нашей художественной работе есть еще и риск уже совершенно благородного наполнения: мы должны участвовать в борьбе с пережитками пошлости, регресса, с припадками глупости, подхалимства и шкурничества, угодливости и формального благочестия. Очень может быть, что в отдельных случаях этой борьбы нам придется переживать и временные поражения, и так называемые неприятности. Но только борьба и может дать нам настоящую радость творчества, ибо в этом случае мы всегда будем находиться в фарватере великого строительства нового человеческого мира, всегда нами будет руководить Коммунистическая партия, всегда мы будем членами единого фронта человеческого освобождения.

Право автора

Хочется сказать несколько слов по вопросу об авторском праве.

Проф. В. Сементовский в сущности вопроса увидел только тему справедливости, но упустил из виду тему практической целесообразности. Конечно, было бы справедливо и удобно оплачивать авторский труд единовременно, в тот момент, когда он поступает в распоряжение издательств. Возражение т. В. Финка против этого касается второстепенного обстоятельства: многие писатели тоже получают зарплату в том или ином учреждении как постоянные сотрудники. Наконец, едва ли полезно для писателя уединяться в своей писательской профессии.

Мне кажется, что писателям можно рекомендовать не отрываться от обыкновенной жизни, обязательно участвовать в ее буднях, переживать их удачу и неудачу и отвечать на них.

Меня смущает другая деталь в проекте проф. В. Сементовского.

«Вакханалия переизданий» происходит от того, что вопрос о ценности произведения решается небольшим числом лиц в кабинете издательства. При таком способе всегда возможны ошибки, кумовство, переоценка и недооценка. Но как раз такой способ проф. В. Сементовский предлагает сделать единственным и окончательным приговором над произведением.

Художественное произведение не техническое изобретение. Оно не так легко поддается оценке, его качество не может быть измерено математически. Доверить это измерение небольшой группе лиц будет нецелесообраз-

но. Суд над художественным произведением может быть вынесен только обществом, всей массой читателей, печатью.

«Вакханалия переизданий» именно потому и происходит, что общественная оценка произведения не принимается в расчет никакими издательствами, которые не имели привычки прислушиваться к читательскому мнению и к читательскому требованию.

Проф. В. Сементовский предлагает совершенно и с к л ю ч и т ь голосование читателя. Пьеса, покоящаяся на полке, и пьеса, волнующая миллионы зрителей, будут приблизительно одинаково оплачены. Плохой роман, которого никто не читает, может быть так же высоко оплачен, как и высокохудожественное произведение. Эта уравниловка может повести к тому, что авторский труд потеряет стремление к высокому качеству.

Мне кажется, что вопрос об авторском праве совершенно ясен.

«Правда» поставила вопрос об авторских гонорарах не в форме протеста против высокого заработка писателя, а в форме т р е б о в а н и я к а ч е с т в а. Если качество — главное, о чем нужно беспокоиться, то желательны следующие коррективы в издательской практике:

1. Переиздание той или иной вещи должно сопровождаться записанной мотивировкой с указанием общественных и критических отзывов о книгах, показаний книжной торговли и библиотек.

2. Авторский гонорар при первом издании книги должен быть низок, равняясь по среднему заработку интеллигентного труженика, при переиздании он должен повышаться, отмечая более высокое качество произведения и стимулируя дальнейшую работу наиболее талантливых авторов.

Писатели — активные деятели советской демократии

С глубокой и живой радостью хочется светло и открыто приветствовать новое решение Пленума ЦК ВКП(б).

С особенной яркой гордостью хочется всем сказать, еще раз сказать, еще раз повторить: я — гражданин Советского Союза.

В этом утверждении, таком как будто обычном и привычном, с каждым новым днем нашей жизни находишь новое, радостное содержание.

Мне хочется в каком-то коротком движении мысли, и воли, и чувства обратиться к нашему будущему, страшно хочется войти в него скорее, увлечь за собой других, хочется работать, творить, жадно хочется реализовать небывало прекрасные наши возможности.

Ощущение моей связи с партией, ощущение моего гражданского и человеческого, политического и нравственного единства с ней давно затухало и нивелировало звучание слова «беспартийный». И поэтому решения, подобные решению последнего пленума, принимаешь как решения моей партии, моего коллектива, моей страны. И я глубоко горжусь тем, что в его подготовке есть и моя доля, есть участие и моей работы, и моей страсти, и моей мысли.

В такие дни, как сегодня, в особенности ревниво стремишься пересмотреть обстановку своего ближайшего дела, стремишься проверить, не плетемся ли мы позади других. Союз советских писателей, к сожалению,

не может похвалиться хорошим местом в ряду советских боевых организаций.

Крайне необходимо, срочно необходимо что-то изменить в стиле нашей работы. Последнее решение пленума должно стать крепким основанием для каких-то принципиальных сдвигов.

Мы совершаем в нашей чудесной социалистической стране великого значения дело — мы, писатели, а между тем в нашем союзе, призванном объединить и направить художественное творчество целых поколений, так мало еще отразились достижения советской демократии, так много еще наш союз походит на «департамент» литературы и масса писательская так слабо втянута в его работу.

В этом виноваты, конечно, прежде всего сами писатели, но я думаю, что руководство союза обязано помочь нам «осознать» свою вину, расшевелиться, ближе стать друг к другу, лучше и острее почувствовать нашу коллективную ответственность перед страной, горячее и энергичнее, искреннее и откровеннее сказать о наших ошибках, о нашей неповоротливости, уединенности, иногда излишней гордости, иногда малодушии.

Мы должны стать настоящими, активными деятелями советской демократии, и прежде всего, в нашем собственном, таком большом, исключительно важном деле.

В практике такой демократии страшно нужно и важно, чтобы партийные организации союза ближе стали к беспартийным массам писателей, чтобы марксистско-ленинская философия, так необходимая в нашей работе, через партийные ряды наших товарищей сделалась предметом особенно нашего внимания, нашей работы над собой.

При этом я убежден, что в среде писателей — не членов партии — найдется очень много активных и энергичных людей, способных принять полезное участие в руководящих органах нашего союза, и их участие еще больше сблизит бы наши ряды, обеспечит бы развитие у нас настоящей демократии.

Больше коллективности

Товарищи, я в московской организации человек новый и деталей московской писательской жизни не знаю¹. Вообще в писательской среде я новый человек и пришел к вам, если так можно выразиться, из «потустороннего» мира — из мира беспризорных.

(С м е с т а. Откуда?)

Кто читал мою книгу — тому это ясно. Моя фамилия Макаренко. (*Продолжительные аплодисменты.*)

Так вот, товарищи, ваш писательский коллектив мною принимается как явление для меня совершенно новое. И, простите меня, по тем впечатлениям, которые есть у меня за эти 4 дня, по сравнению с коллективом беспризорных у вас есть очень много минусов. (*Смех, аплодисменты.*)

Для меня это представляет большой интерес, так как я хочу остаток своей жизни посвятить писательской работе.

Что меня поражает? По привычке читательской, по привычке учительской — а учителя всегда были большими поклонниками литературы и всег-

да были немного влюблены в писателей, — когда я получил такое высокое звание писателя и членский билет, я не смог с себя стряхнуть мое читательское и учительское благоговение перед писателями и не мог поверить, что я писатель. Я и теперь себя чувствую больше читателем, чем писателем.

Я, естественно, стремился к этой организации, мне так хотелось побывать, посмотреть, повидать, послушать этих великих людей, действительных корифеев (я это слово произношу без кавычек).

Позволю себе говорить не об отдельных недостатках, а о чем-то таком, что для меня является главным.

Это главное звучит в ваших словах на каждом шагу.

Смотрите, сколько раз здесь употреблено слово «помощь». Все требуют помощи. Как-то странно подумать даже: Союз советских писателей величайшей социалистической страны — можно сказать, первая не только в мире, но в мировой истории писательская организация — говорит почему-то о помощи.

Все хотят, чтобы союз помогал отдельным членам. Разве это социалистическая постановка вопроса? Надо говорить не о помощи писателям — об организации работы писателя². Наша работа должна быть успешной не потому, что Союз писателей помогает, а потому, что союз прекрасно организован.

А наш коллектив? Едва ли даже он может быть назван коллективом. Нет, пожалуй, сейчас в Советском Союзе таких принципиальных единоличников, как мы. Мы, прежде всего, единоличники. Эта наша единоличность уже начинает перерастать в одиночество. Но есть перерастание и другое, более опасное. Как во всякой сфере единоличного хозяйства, так и у нас возникают такие явления, которых нужно страшно бояться. На единоличном хозяйстве росли кулацкие настроения.

Вчера в выступлении т. Прута³ я почувствовал вот этот самый, простите меня, кулацкий запах. Мне показалось, что у нас не драматургическая секция, а драматургический хутор. (*Смех, аплодисменты.*)

Вчера здесь были возгласы отдельных товарищей о каких-то миллионах, о каких-то сотнях тысяч. Вообще, надо сказать, запах очень нехороший. Единоличное хозяйство наше не потому опасно, что отражается на нашем производстве, а потому опасно, что отражается, прежде всего, на нас самих, на нашей нравственной личности. Разве нравственно-политическая личность в Советском Союзе может вырасти в одиночной работе? Это даже не кустарная работа. Вчера кто-то говорил, что можно работать и в советской комнате. Товарищи, не всякая комната на территории Советского Союза обязательно советская. Кто знает, какая получится комната, если человек живет только своей особой, только своей славой, только своим личным устремлением. Тов. Мстиславский⁴ предупредил меня и сказал о коллективе. Я ему очень благодарен. Я боялся остаться у вас в одиночестве: так мало говорят у вас о коллективе.

Нравственное и политическое одичание может наступить незаметно. Уже сейчас о нашем коллективе можно писать сатирические романы. Мы можем даже не заметить, а все общество будет иметь о нас неприятное впечатление, такое неприятное впечатление, что нам будет стыдно.

Согласитесь, что инженер человеческих душ — это большая нагрузка, это задача воспитания. Что значит быть инженером душ? Это значит воспи-

тивать людей. Наша общая государственная социалистическая задача: воспитывать коллективиста, воспитывать человека новой эпохи. Как мы можем это сделать, если мы сами неколлективисты, если мы сами одиночки? Если мы не сумеем вовремя заметить эту печальную и, может быть, роковую для нас неприятность, то тогда заметит народ, заметит партия и обратит на это самое серьезное внимание.

В тех наших надеждах, которые здесь высказываются, я не чувствую гарантии, что мы от этого скоро избавимся. У нас идиллические разговоры. Сегодня кто-то рисовал т. Ставского⁵ в таких красках, которые нельзя назвать иначе, как идиллическими. Этот товарищ мечтает, что не только можно будет ходить к т. Ставскому, но секретарь т. Ставского сам будет звонить — не нужно ли вам поговорить с т. Ставским? А разве это не идиллия? Т. Ставскому надо только приклеить крылышки, сделать длинные ресницы, дать розу в руку. Разве можно рассчитывать на это?

Я не знаю, почему здесь ругают т. Ставского. У меня такое впечатление, что это единственный человек, не убежавший из нашего правления, — может быть, впечатление неправильное.

Я думаю, что нам нужно рассчитывать не на т. Ставского как на лицо. Нам нужно рассчитывать на какой-то новый принцип нашей организации, и я настаиваю на том, что этот принцип должен быть коллективным принципом, о чем говорил т. Мстиславский.

Я не позволю себе рекомендовать вам какие-то определенные формы, которые казались бы мне нужными.

Но разрешите мне помечтать в вашем присутствии, потому что очень часто с мечты начинается организация.

Я мечтаю сегодня, мечтал вчера, позавчера (*смех*) вот о чем.

Я бы хотел быть членом какой-то постоянной писательской бригады, не группки, и не группочки, и не артели, а специальной зарегистрированной у вас писательской бригады, бригады им. Горького. Я мечтаю о том, чтобы в этой бригаде было 10—15—20 человек. Кто? Прежде всего те, кто захотел бы подчинить свой интерес, свою славу, свою известность бригаде. Пускай бригада имеет славу, я свою славу уступаю.

Я бы хотел, чтобы все мои произведения и произведения моих товарищей по бригаде так бы и печатались: «Бригада имени Горького», и потом маленькими буквами: «Макаренко». Пусть бригада выступает перед союзом, пусть она отвечает за работу каждого члена.

На что я надеюсь? Я надеюсь, что в работе такой бригады, не случайной группки или группочки, не при случайном сочетании людей, а в настоящей писательской бригаде мы сможем не только помогать друг другу в порядке какой-то благотворительной помощи, а мы сможем работать организованно: просматривать темы, просматривать наши возможности, мы сможем помогать друг другу своевременной и правильной критикой. Мы сможем помогать друг другу и в том, в чем теперь особенно затрудняемся, — пойти поговорить в Союз писателей. Мы сможем иметь какое-то общественное лицо, мы сможем иметь и более совершенное качество, чем имеем сейчас, работая в одиночку, а самое главное — мы избавимся наконец от нашей одинокой гордости и от нашей одинокой тоски (*аплодисменты*), потому что то чванство, та спесь, о которых здесь говорилось, — это особая форма одиночества. Это не спесь коллективиста — это спесь человека, который в сво-

ей уединенной комнате не знает, что ему о себе думать.

Второе, что я считаю необходимым, — это не хвастать творческим характером нашей работы. Теперь не только мы творим, теперь каждый стахановец — творец, каждая стахановская бригада — творческая бригада.

А раз так, нам нужно скромно и законно посмотреть на наше производство, прямо нужно говорить — наше литературное производство. Наше руководство должно организовать это производство. Уже в ваших речах я слышал эти производственные нотки. Ведь что такое вопрос о том, кто бракует произведение — редактор или Союз писателей? Ведь это вопрос о техническом контроле, и не больше. Так и нужно нам ставить вопрос. Нам нужен хороший производственно-технический контроль: брак — долой, условный брак — переделывать, хорошую продукцию — печатать.

У нас нет учета. Мы рассчитываем на то, что все наши нужды, все наши достоинства и недостатки отражаются в душе т. Ставского. Но может ли все отразиться в одной душе? Конечно нет. Нам нужен настоящий, специальный, прекрасно организованный учет нашей работы, наших недостатков, наших тем, наших ошибок. Это, конечно, не бухгалтерский учет. На таком учете должны работать хорошие писательские кадры. Такой настоящий учет, такой совершенный учет по последнему слову техники должен быть в президиуме правления, чтобы т. Ставский, т. Фадеев или кто-нибудь другой мог в любой момент иметь точную фотографию на данный момент каждого писателя, не только его произведений, но и всей его личности⁶.

Третье, что я считаю необходимым: нам нужен центр⁷. Очень возможно, что полезно иметь самостоятельное московское отделение, но это будет полезно только в том случае, если у нас будут не фанерные коридоры, а настоящий центр писательской общественности. К сожалению, Дом советских писателей не является у нас таким центром. Туда ходят больше дети, чем писатели, и там больше служебных кабинетов, чем таких мест, в которых имелось бы основание сойтись и поговорить. Организовать этот центр, организовать его так, чтобы писательские личности и писательские бригады, которые, надеюсь, у нас будут созданы — если не в формальном порядке, то в самотечном порядке, — могли там находить ту атмосферу, в которой можно работать. Без такого настоящего материального центра, организованного так, как я сказал, у нас никакого особенного коллективизма быть не может. (*Аплодисменты.*)

Героическая борьба

Хорошую книгу написал Аркадий Первенцев о борьбе, о победах, о страданиях красного казачества Кубани, о том, с каким величавым и вместе с тем простым героизмом отдали казаки свои жизни за дело Ленина — Сталина, за дело нового человечества. Будут читать эту книгу граждане Советского Союза, будет читать ее молодежь, и комсомольцы, и пионеры, многих она научит горячей страсти борьбы; а ведь борьба у каждого из нас впереди, борьба с жестоким врагом, вооруженным предсмертной яростью.

Такие книги, как раз такие, воспитывают людей, они умеют показать самую глубокую красоту человека в борьбе за освобождение, они умеют привлечь человеческую личность к этой красоте подвига, сделать подвиг

полным нового содержания. У Первенцева подвиг — не личная эстетическая поза, здесь он совершенно необходимое и совершенно естественное движение, вызванное крепкой связанностью масс, удивительным чувством единства коллектива.

Специалисты-критики найдут в книге Первенцева много недостатков, обязательно упрекнут его в подражании Гоголю, в переключке со многими местами «Тараса Бульбы». Но ведь влияние Гоголя вовсе не такое уж плохое явление, и читатель только поблагодарит Первенцева за восстановление страстной гоголевской эпической приподнятости.

Гоголевский тон очень часто открыто прорывается у Первенцева:

«Впереди сотни гарцевал Николай Батышев, рядом с ним, перегнувшись, играя клинком, нагнетая руку для страшного удара, скакал Наливайко. Может, чуял Наливайко, что на этой земле сегодня последний раз прозвелят подковы его вороного коня..., но скакал опальный казак Наливайко, заморозив на красивом лице какую-то страдальческую и одновременно зловещую улыбку».

А вот концовка рассказа о конфликте комбрига Кочубея со штабом, когда довелось его казакам вытаскивать батька через окно штабного вагона:

«— Да не пошкарябали мы тебя, батько, як тащили с первого классу? Кажись, стекло хрустнуло.

— Нет, хлопцы, не пошкарябали, только тащили вы меня за плечи, а те за ноги, и хрустнула у меня нога, а не стекло. Надо испытать, — может, ошибся я с перепугу. Давай гопака...

Плясал Кочубей, приговаривая:

— Не, ничего. Мабудь, стекло хрустнуло. Не, ничего».

Или еще:

«А тут, полюбуйте! Даже сам Пелипенко, считай уже почти полковник, выволоч седло из клуни, кинул на Апостола, и черт его знает, когда он успел подтянуть подпруги. Может, на скаку? Так бывает, но только при очень уж большой спешке, как, к примеру, под Воровсколесской, против Покровского, когда сам командующий 9-й колонной носился по боевому полю в одних исподних штанах и ночной рубашке».

В самом подборе имен, в отдельных сюжетных ходах Первенцев помнит о Гоголе. Необходимо признать, что очень часто читатель чувствует недостаток стилистической техники, часто звуковое движение фразы слишком царапает слух и нарушает впечатление величавой эпической торжественности. Бывает и так, что, запутавшись в синтаксической прелести рассказа, автор теряет точность мысли, и читатель в некотором недоумении принужден даже возвратиться назад и перечитать прочитанное.

Но этот, надеемся, временный у автора недостаток искупается большим запасом действительного знания боевой жизни, умелой подачей самых разнообразных подробностей: читатель видит не только массы бойцов, но и пейзаж, и оружие, и тачанки, и всякие бытовые аксессуары, множество вещей, которые, однако, и остаются только вещами, не снижая и не закрывая настоящую большую сущность событий. В описании этих вещей автор очень экономен и умеет расположить их просто и убедительно:

«У треногих пулеметов острели башлыки. Пелипенко увидел, как от пулеметов отлетали черные гильзы, моментально заметаемые снегом»:

«Кочубей последним оставлял штаб — горницу куркульского дома.

По пути приказал Левшакову захватить попавшуюся ему на глаза большую сковороду. На ней застыл белый жир и кусочки недоеденной колбасы. Адъютант пучком соломой смахнул жир, оглядевшись, сорвал с печки пеструю занавеску и завернул в нее сковороду...

— Все одно же бросите сковородку, — сетовала хозяйка.

— Вернем, ей-бо, вернем, — уверял Левшаков. — Ожидай днями обратно. Какая же у меня будет кухня без сковородки!»

Но за сеткой вещей и подробностей все время в романе видишь массы людей. Между другими, не заслоняя их, высится монументальная фигура самого Кочубея.

Этот «простой кубанский казак поразил его буйным размахом неукротимого атамана вольницы, безыскусственностью поступков, каким-то неугасимым огнем его беспокойной и целомудренной души, верующей в великое дело вождя партии — Ленина».

В Кочубее есть нечто не только от Тараса Бульбы, есть кое-что и от Чапаева, но в то же время он по-своему колоритен и по-новому убедителен. То обстоятельство, что в Кочубее много партизанского, что он не разбирается во многих деталях политики и даже военного дела, что ему трудно читать обычную военную карту, — все это не снижает его облик. Главное в Кочубее — это искренняя сила души, поднявшейся против отвратительного старого мира. Таковы и все его казаки, и в особенности его ближайшие помощники: Батышев, Михайлов, Левшаков, Наливайко. В романе они мало отличаются друг от друга, но это не вызывает у читателя ощущения однообразности. Это потому, что то общее, что дается в романе, что присуще им всем, — оно неотрывно прекрасно.

За исключением немногих мест, роман написан хорошим языком, но в своей конструкции несет большое количество неувязок и неудобных мест. Последнее, вероятно, проистекает из неопытности автора.

Попадают довольно часто грубые конструктивные ошибки. Живому бойцу Айса уделено всего несколько строчек, но его похороны описываются на нескольких страницах, и это сделано, вероятно, только потому, что автор не мог победить искушения описать сложный ритуал черкесского отпевания. Освобождение взятых в плен разведчиков Пелипенко и Володи происходит с совершенно излишним эффектом неожиданности. Увлечшись здесь чисто фабульным достижением, автор не соразмерил величину этой неожиданности с величиной убедительности. Этот эпизод так и остается не разъясненным, автор так и не показал читателю, почему это вдруг сам Кочубей с целой сотней оказался чуть не в центре неприятельского расположения. И в других местах можно заметить наклонность автора к некоторому гиперболизму, несколько сходному с гиперболой Гоголя, но, к сожалению, не обладающему столь же гипнотизирующей силой. Читатель верит, что Старцев, полевой комиссар, мог пронести на плечах раненого товарища пятнадцать верст по пустыне, но никогда не поверит, что тот же Старцев нарочно возвращается, чтобы взять на плечи и перенести в Астрахань труп умершего.

В романе много уделено внимания попытке освобождения из тюрьмы матери Балаханова, но сама попытка почти не изображена. Такое неумелое распределение действия в романе встречается довольно часто. Вдруг откуда-то вынырнул Щербина, лицо во всех отношениях третьесте-

пенное, но ему начинает уделять автор целые страницы и даже сообщает, что лошадь его называется Кукла. Подробно изображается, как Щербина удирает от разгневанных казаков, приговоривших его к смерти за измену:

«Поверху двигались всадники. Щербина ясно видел их четкие силуэты. Кукла раздула ноздри, приготовясь заржать. Он схватил ее морду обеими руками, целовал:

— Кукла, Куклочка, молчи, молчи, Кукла.

Таманцы исчезли. По сухой терноватой балке продирался Щербина, ведя в поводу качающуюся, обессиленную лошадь».

Прочитав этот абзац, читатель обязательно предположит, что Щербина, с таким трудом спасшийся от казаков, еще не вышел из действия, что он автору еще нужен и нужны его переживания. В противном случае зачем же было так подробно его изображать.

Оказывается, нет. Буквально в следующей же строчке автор просто говорит: скоро Щербина был опознан и зарублен, как предатель, бойцами XI армии.

Все эти недостатки очень легко исправить, и это обязательно нужно сделать в отдельном издании книги. Тем более нужно сделать, что Первенцев написал очень волнующую и нужную книгу. Она в особенности хороша для юношества. Люди здесь показаны во весь рост, показана и идея, вдохновляющая этих людей. Недаром Первенцев заканчивает роман волнующим образом Володьки-знаменосца:

«Плывут знамена в горячем степном воздухе, колышутся. Вот подул от Каспия ветер, слышится команда товарища Хмеликова: «Рысью!» Разматывает Володька штандарт во всю ширину алых полотнищ, разметанная полощется грива, и кажется — ныряет в увалах и лощинах порывистая лодка под бархатным парусом.

Мальчишка же Володька, и все детское ему свойственно. А потому, оглянувшись, точно думая, что и это стыдно перед усатым товарищем, украдкой целует краешек дорогого полотнища партизанский сын, мчится вперед, смеется, и солнце играет золотыми махрами».

Художественная литература о воспитании детей

Товарищи, я вас должен предупредить, что в сегодняшнем моем сообщении не могу быть совершенно беспристрастным. Видите ли, тема нашей беседы «Художественная литература о воспитании беспризорных и безнадзорных» для меня очень близка, так как в разработке этой темы я сам участвовал не только литературно, но и педагогически, будучи рядовым работником жизненного фронта. В связи с этой работой у меня сложились определенные взгляды, если хотите, определенные доктрины по вопросу, как должно быть организовано коммунистическое воспитание.

В решение этой задачи комплекс моих мнений, опыта, педагогических убеждений сложился так крепко, что из-за какой бы то ни было деликатности или даже товарищеской уступчивости я не могу поступиться ни одной буквой. Поэтому я в таком для меня близком вопросе, в вопросе моей жизни, могу быть только сугубо пристрастным. За это я заранее прошу у вас прощения.

Литература о воспитании у нас в Союзе не так еще велика, художественная литература в особенности, и, прежде всего, мы должны отметить в ней одно удивительное явление.

У нас написано несколько книг о воспитании трудных детей, о воспитании правонарушителей. Вы знаете хорошо нашу литературу; вспомните более или менее замечательные явления в литературе о детях — это почти исключительно книги о работе с правонарушителями. Художественных книг вообще о воспитании, даже о воспитании тех же беспризорных, но не правонарушителей, а так называемых нормальных детей, вы, пожалуй, вспомните очень мало.

Почему у нас такое исключительное внимание к так называемым правонарушителям? Можно было бы подумать, что общество и писатели особенно заинтересовались именно воспитанием правонарушителей. Однако этого на самом деле нет. Мы одинаково интересуемся и воспитанием правонарушителей, и воспитанием нормального детства. Все эти вопросы для нас чрезвычайно важны, чрезвычайно сложны и даже дороги.

Почему же художественная литература особенно сконцентрирована только на теме о правонарушителях? Это произошло по причинам не педагогическим, не связанным с педагогической методикой. Это произошло потому, что как раз в этом пункте наиболее ярко сказалось основное отличие нашего общества от общества буржуазного, дореволюционного. Именно в отношении к несовершеннолетнему человеку, который может считаться врагом общества, в отношении к ребенку, который может стать бандитом, который нарушает право, совершает преступления, ворует, даже убивает, — в отношении к такому ребенку наше общество стоит на диаметрально противоположной позиции, чем общество буржуазное или наше дореволюционное. Здесь сказывается наша основная позиция по отношению вообще к человеку.

Мы знаем, какие основания имеются для преступности в буржуазном мире. Таких оснований у нас в Советском Союзе нет. Поэтому если человек совершает преступление, то для нас совершенно ясно, что это зло можно вырвать, победить, ибо этого зла в самом обществе не может быть. Отсюда и проистекает совершенно исключительное ярко выраженное наше отношение к правонарушителю только как к объекту воспитания, как к человеку, который должен быть переделан, а не как к преступнику, требующему изоляции. Вот поэтому-то у нас и наблюдается в жизни очень много различных методов воспитания. Одним из таких методов была литература, посвященная правонарушителям.

Но были попытки и не столь положительные. Человеческое отношение к преступнику, уважение личности человека даже в преступнике, уверенность, что из каждого человека можно выработать члена общества, иногда у некоторых людей приобретает характер любования преступником. Это в особенности заметно в так называемой халтурной литературе, или халтурной кинематографии, или в театре, где иногда беспризорный или преступник перестает быть объектом культуры, где [автор], ищущий в нем те черты, которые можно назвать человеческими, перестает их искать, а преступник становится объектом любопытства и некоторого любования. Почему? Потому что он ищет либо отражения в этом романтичности вкуса, либо сентиментальности, отражающей его вкус, чего как раз в фигуре

правонарушителя или беспризорника нет. В некоторых наших книгах автор интересуется не серьезным вопросом о характере человека, а только тем, насколько любопытна, насколько необычайна, остроумна эта маленькая фигура преступника.

Я посвятил работе с малолетними преступниками 17 лет и знаю, что это не только тяжелый труд, но и труд, который меньше всего может быть связан с удовлетворением каких-то моих вкусов к приключениям или к сентиментам или вкуса к романтизму. Но я, так же как и все другие работники в этой области, знаю, что ничего особенно эстетического, на чем можно было бы остановиться, у беспризорных и у преступников нет.

Каждый правонарушитель представляет собой явление отрицательное, со всеми деталями, присущими отрицательному явлению. И наблюдать беспризорного настоящему, живому человеку, культурному человеку никакого удовольствия доставить не может. Следовательно, с точки зрения эстетики, фигура беспризорника должна быть решительно отброшена. Она может представлять интерес только с точки зрения педагогической: как из беспризорного, из нарушителя воспитать настоящего нового человека.

Прежде всего посмотрим, как этот вопрос разрешается в педагогике, иначе мы не сможем проверить нашу художественную литературу; не будем здесь вдаваться в особенно большие глубины педагогики, скажем только несколько слов.

Волей нашей партии уничтожена педология¹. Педология представляла особое направление, так называемое теоретическое, и педологическая мысль являлась враждебным направлением по отношению не только к нашим нуждам, но и к нашей чести, и к нашей преданной работе.

Что утверждала педология, и не только педология, а вообще педологическое направление? Педологическое направление было не только в самой педологии, оно затягивало очень много умов, которые воображали, что никакого отношения к педологии не имели. Педология затягивает даже сейчас много умов, когда формально педология не существует.

Основное, что характеризует педологию, — это определенная система логики. Система такая: надо изучать ребенка. Изучая его, мы что-то найдем, а из того, что мы найдем, сделаем выводы. Какие выводы? Выводы о том, что с этим ребенком нужно делать.

Вот основная логика педологического направления.

Здесь метод работы с ребенком, метод воспитания должен быть выведен из изучения ребенка, при этом не всего детства в целом, а всего детства в целом и каждого отдельного ребенка и отдельного типа ребенка. Таким образом, сделан был вывод, что поскольку это изучение должно привести нас к разным картинам [личности], то и метод воспитания должен быть разный. Один ребенок оказался одним, его нужно так воспитывать, изучили другого — он оказался другим, его нужно воспитывать иначе, третьего — тоже иначе, и так, сколько детей — столько методов.

Педологи нашли очень много групп детей и умственно отсталых, и социально запущенных, и трудных детей, и правонарушителей и т. д.

Отсюда очень недалеко до чисто фашистской теории, утверждающей, что между расами существуют умственные различия, что отдельным расам предопределены и отдельные судьбы. Естественно, что раз отдельные

исторические судьбы, то и метод воспитания у немцев должен быть один, у славян — другой, у негров — третий.

Эта теория близка к теории Ломброзо², который утверждал, что люди рождаются с преступными наклонностями. Педология в конце концов только и могла прийти к такому заключению, что в самой человеческой натуре, в самом ребенке, в биологической картине его личности и характера заключаются такие различия, такие особенности, которые должны привести и к особым, отдельным методам для его воспитания.

Повторяю, педологическая логика затягивает не только тех людей, которые себя формально называли педологами, но и очень много людей, считающих совершенно честно, что они не педологи. Вывести педагогический метод из рефлексологии, из психологии, из экспериментальной психологии, вывести данный метод из обстоятельств данной личности — это и есть педологическое направление.

Необходима другая логика, которая метод педагогики выводит из наших целей.

Мы знаем, каким должен быть наш гражданин, мы должны прекрасно знать, что такое новый человек, какими чертами этот человек должен отличаться, какой у него должен быть характер, система убеждений, образование, работоспособность, трудоспособность, мы должны знать все, чем должен отличаться, гордиться новый, наш, социалистический, коммунистический человек.

Раз мы это знаем, раз мы честные педагоги, мы должны стремиться всех людей, всех детей воспитывать в наибольшем приближении к этому нашему коммунистическому идеалу. Вот откуда должна исходить наша практическая педагогика. Она должна исходить из наших политических нужд и при этом диалектически критически. Она должна исходить из нужд не только настоящего, а из нужд нашего социалистического строительства, из нужд коммунистического общества.

Предположим, раньше говорили, что нужно воспитывать гармоническую личность³. Это тоже была какая-то цель, но цель вне времени и пространства, цель вообще идеального человека, а мы должны воспитывать гражданина Советского Союза. В нашу великую эпоху мы должны воспитывать наиболее полноценного гражданина, достойного этой эпохи.

Вот из этой нашей священной цели, наиболее простой и практической цели, мы должны выводить метод воспитания. А знание психологии, знание детской души, знание каждого отдельного человека только поможет нам приложить наш метод наиболее удобно в одном случае, несколько отлично — в другом.

Кто из вас читал «Педагогическую поэму», тот знает, что в 3-й части изображен мой последний бой с представителями педологической теории⁴. Я в книге тогда не называл их педологами, но речь идет как раз о педологах. Они мне говорили в этом последнем сражении:

«Товарищ Макаренко хочет педагогический процесс построить на идее долга. Правда, он прибавляет слово «пролетарский», но это не может, товарищи, скрыть от нас истинную сущность идеи. Мы советуем товарищу Макаренко внимательно проследить исторический генезис идеи долга. Это идея буржуазных отношений, идея сугубо меркантильного порядка. Советская педагогика стремится воспитать в личности свободное прояв-

ление творческих сил и наклонностей, инициативу, но ни в коем случае не буржуазную категорию долга».

Что такое свобода проявления? Это и есть настоящая педология. Когда человека изучили, узнали и записали, что у него воля — А, эмоция — Б, инстинкт — В, то потом, что дальше делать с этими величинами, никто не знает. Потому что нет цели, и естественно нам умыть руки: ага, А, Б, В есть, пускай себя свободно проявляют, куда покатятся, там и будут. (*Смех в зале.*)

Совершенно естественно, что педология была построена на воспитании при отсутствии политических целей. Но на деле это была враждебная нам политика. Педологи рассуждали о нас, советских воспитателях, так: вы теперь являетесь сторонниками пассивного наблюдения за ребенком и бездеятельного присутствия при его жизни и развитии, а ребенок пускай себе свободно развивает свои творческие силы.

Нет, мы не являемся сторонниками такого пассивного наблюдения. Мы — сторонники активной большевистской педагогики, педагогики, создающей личность, создающей тип нового человека.

Я уверен в совершенно беспредельном могуществе воспитательного воздействия. Я уверен, что если человек плохо воспитан, то в этом исключительно виноваты воспитатели. Если ребенок хорош, то этим он тоже обязан воспитанию, своему детству. Никаких компромиссов, никаких середин быть не может, и никакая педагогика не может быть столь мощной, как наша советская педагогика, потому что у нас нет никаких обстоятельств, препятствующих развитию человека.

Тем более печально, если люди, которым доверено было воспитание детей, не только не захотели воспользоваться этим великим могуществом нашей педагогики, но ограничились простым наблюдением, простым изучением ребенка, разделением всех детей на разряды, на отдельные биологические группы и т. д.

Но тогда спрашивается: откуда же взялись правонарушители? Мы говорим, что всех можно воспитать, что нужно исходить не из качеств данной личности, а только из целей нашей педагогики. А что же такое в таком случае правонарушитель, разве это не отдельная группа, не отдельный сорт людей?

Тут, товарищи, я говорю только от себя лично, только я отвечаю за свои слова — да, товарищи, не отдельный. Вот если бы мне сейчас поручили самых настоящих ангелов с крылышками, херувимов и серафимов, я бы и их воспитывал так же, а не иначе, потому что в этом заключается существо нашего, социалистического отношения к человеку.

Человек плох только потому, что он находился в плохой социальной структуре, в плохих условиях. Я был свидетелем многочисленных случаев, когда тяжелейшие мальчики, которых выгоняли из всех школ, считали дезорганизаторами, поставленные в условия нормального педагогического общества, буквально на другой день становились хорошими, очень талантливыми, способными идти быстро вперед. Таких случаев масса.

То, что не правы педологи, настойчиво требовавшие особых методов, практически иллюстрирует лучше всего, к сожалению, малоизвестный еще и малоизучаемый нашими педагогами опыт колоний НКВД.

Я только что вернулся с Украины, где участвовал последние 2 года в

организации новых трудовых колоний, тоже из правонарушителей. Мы, например, не соблазнились данным нам правом иметь карцер. Во всех наших 15 украинских колониях нет карцеров, а ведь нам присылают ребят, осужденных судом, их привозят под конвоем. В украинских колониях нет не только карцеров, нет стен, нет ворот, нет калитки.

Что это значит? Это значит, что практика трудовых колоний НКВД не только платонически, а и на самом деле стоит за широкую демократию, за широкое демократическое, настоящее воспитание детей, без карцеров, без стражи, без забора и ворот.

Вот здесь, товарищи, вы видите подтверждение этой основной нашей мысли, что воспитание правонарушителей не является по существу какой-то особой задачей, отличающейся от воспитания всех остальных ребят.

Где-то в моей книге сказано, что самые лучшие мальчики в условиях плохо организованного коллектива очень быстро становятся дикими зверушками⁵. Это так и есть. Соберите самых лучших детей, поставьте около них плохих педагогов, и через месяц они разнесут и колонию, и детдом, и школу, и этих педагогов.

Таким образом, существует не проблема воспитания правонарушителей, а проблема воспитания вообще. В практике наших колоний очень много найдено таких методов, таких организационных принципов, таких даже художественных находок, которые применяются нашей общей педагогикой.

Я сделаю поправку: очень часто для воспитания правонарушителей люди мудрили, хитрили, придумывали разные фокусы. Почему? Только потому, что мало еще опыта, мало людей, знающих, как нужно вести себя с детьми, а не только с правонарушителями.

Вот общие положения, в свете которых мы должны рассмотреть нашу литературу о правонарушителях. Во-первых, посмотрим, как писатель расценивает самый материал, беспризорника или правонарушителя, как он его себе представляет, что это за материал. Во-вторых, мы рассмотрим вопрос такой: что писатель думает относительно метода, как писатель изображает метод организации детства и творческое лицо педагога? Наконец, третий вопрос: как автор мыслит, как рисует результаты воспитания, что получается или что должно получиться в результате воспитания нарушителя?

Начнем с классической книжки Сейфуллиной «Правонарушители»⁶. Это небольшой рассказ, тем не менее он сыграл очень важную роль, гораздо более важную, чем «Педагогическая поэма». Почему? Потому что в этом рассказе впервые, и довольно неожиданно и смело, были высказаны истины о правонарушителях, составляющие аксиому.

Что это за истины? Читая этот рассказ, вы во всем тексте, от первой до последней строчки, чувствуете, как звучит глубокая искренняя вера в человека, вера в то, что не может быть прирожденной преступности, вера в лучшие человеческие качества, уверенность, которая теперь уже для нас составляет несомненную истину.

Эта вера в человека блестяще звучит у Горького, это то, что можно назвать оптимистической перспективой в подходе к человеку. Вот эта вера звучит в произведении Сейфуллиной гораздо сильнее, несравненно сильнее, чем во всех остальных книгах, посвященных правонарушителям.

Основные фигуры в рассказе Сейфуллиной — мальчик, который совершил разные правонарушения, и вторая фигура — педагог.

Следовательно, отвечая на вопрос, как автор подходит к материалу, как он расценивает педагогическую среду, мы должны сказать, что Сейфуллина стоит на наших позициях, она стоит на позициях глубокой веры и надежды в человека, на позициях оптимистического воспитания, на позициях, противоположных педологии.

Как же Сейфуллина рисует метод? Вот здесь уже не по своей, конечно, вине Сейфуллина говорит слабо. Метод она видит в совершенно неуловимых влияниях природы и труда. В то время, когда писалась книга, это звучало достаточно убедительно. Для нас это никак не звучит, потому что труд «вообще» не является воспитательным средством. Воспитательным средством является такой труд, который организован определенным образом, с определенной целью, который является частью всего воспитательного процесса.

Что же касается природы, то мы вообще можем сказать, что природа прекрасная вещь, что хорошая погода — лучше плохой, солнечный день — лучше дождливого, но что природа сама по себе есть какое-то особое, мощное средство, которое облагораживает или отвлекает человека от преступности, мы сказать не можем...

Вот этот пантеизм Сейфуллиной или Мартынова, конечно, не созвучен нашим советским педагогическим воззрениям.

Еще менее созвучна та картина личного творчества, которое приписывается Мартынову-педагогу. Между тем Сейфуллина хотела нарисовать фигуру педагога-мастера.

Что это за фигура? Первый раз Мартынов появляется на сцене, когда он приходит в отдел Наробраза, Гришка увидел его впервые...

«А в комнату бритый, долгоносый, с губами тонкими вошел. На голове, острой кверху, кепка приплюснута была на самые глаза. Ступал твердо. Точно каждым шагом землю вдавливал. И башмаки, чисто лапы звериные, вытоптались. Как вошел, на стул плюхнулся. И стул тоже в пол вдавливался».

Вы видите чрезвычайно неуклюжего, несобранного и какого-то чудаковатого человека. Дальше это подтверждается:

«Глазки узкие щурил и тонкие губы кривил. Над всем смеялся. Как говорил, руки все тер ладонями одна о другую, ежился, ноги до колен руками разглаживал. Весь трепыхался. Смирно ни минуты не сидел. Каждый сустав у него точно ходу просил».

У мальчика Гришки совершенно справедливое впечатление. «...Обезьяну этакую в зверинце видим, похожа...» (*Читает.*) Дальше вы его увидите на каждом шагу кривляющегося, который имел в своем распоряжении единственное средство — вот это желание заинтересовать, рассмешить, удивить, но удивить только кривлянием, только дерганьем, трепыханьем, — словом, чем-то неестественным.

Ну что ж, может быть, в исключительных случаях такое педагогическое поведение и полезно. В некоторых случаях, очень редко, можно рекомендовать педагогу и некоторые «фокусы». Например, в прошлом году мой воспитанник Калабалин⁷, ныне начальник Винницкой трудовой колонии НКВД, проделал такой фокус.

Группа беспризорных, присланных к нему из Винницы, не захотела оставаться в колонии, потому что там старые дома, бараки и т. д. Калаба-лина в то время в колонии не было, и ребята, не долго думая, двинулись по шоссе к городу. Воспитатели растерялись, не знают, как их вернуть. Ездили за ними на машине, а они не хотят возвращаться, да и только. Тут как раз в колонию вернулся Калабалин. Он немедленно сел на коня и поскакал вдогонку. Поравнявшись с беспризорными, спрыгивая с коня, он поскользнулся, упал и разыграл такую сцену:

«Ой, я поломався, мабуть я не встану, несіть мені в колонію».

Беспризорные видят, большой человек в беспомощном состоянии. Ребята небольшие, взвалили его на плечи и несут в колонию, с километр. Понесут, понесут — поменяются, кто несет, кто коня ведет — всем нашлась работа. Из простого сочувствия принесли в колонию, а сами в таком восторге, что спасли человека. Опустили на землю, а он встал на ноги и говорит:

«Вот спасибо, хлопцы, не хотелось идти пешком далеко».

Этим «фокусом» он расположил всех к себе, они сразу в него влюбились.

Такие отдельные фокусы разыгрывать можно, мы их в редчайших случаях рекомендуем. Это полезное дело. Мне самому приходилось сплошь и рядом разыгрывать такие «фокусы»; но одно дело разыграть специально, и притом необходимо талантливо задумать и разыграть, а другое — постоянно кривляться. Такой педагог может занять ребят на час, на два, на день, а потом они не будут верить ему, перестанут любить его. Такому педагогу верить нельзя, а так как ни в чем другом творчество Мартынова не проявляется, а только в кривлянии, то, пожалуй, мы должны признать, что Сейфуллина изобразила это творчество неправильно, не так, как нам нужно. Во всяком случае, нашим педагогам рекомендовать именно такой способ поведения ни в коем случае нельзя.

Есть целая школа воспитанных мною педагогов, я им рекомендовал держать себя всегда с достоинством, искренне, весело, бодро, серьезно, но с большим торможением мускулов лица, с таким торможением, которое должно быть у каждого воспитателя.

Мы не можем обвинять Сейфуллину в том, что она исчерпала этим мастерство Мартынова, да, собственно говоря, в таком коротком рассказе она и не могла подать это творчество как следует. Но она говорит, что Гришка полюбил Мартынова.

О методе мы говорили. Нечего и говорить — этот рассказ Сейфуллиной, при его весьма симпатичной установке, пахнет несколько педологическим анархизмом. Это особенно проявляется под конец, когда говорится о том, что родители не нужны, родители — это барахло, природа — мать и т. д. Весь этот педологический анархизм ни к чему не нужен и никакого метода не показывает.

Несмотря на то что рассказ Сейфуллиной удовлетворить нас не может, в свое время он сыграл огромную роль, произвел огромное впечатление. Но, к сожалению, она сильно повлияла на очень многих читателей, но меньше всего повлияла на работников Наробраза.

Следующая книга, которая составила эпоху художественной литературы о правонарушителях, — это «Республика Шкид».

Тогда книга представлялась откровением. Когда я ее читал, то думал: «Вот здорово работают люди, куда мне до этой работы». А когда читаешь ее, и в особенности когда готовишься перед таким серьезным собранием докладывать, то удивляешься, как можно было 10 лет назад считать книгу педагогически ценной. Она имеет огромную ценность как художественная литература, и то, что в ней изображено, конечно, верно, но как педагогический труд эта книга неудачна, причем даже причины самой неудачи можно вскрыть по книге.

Что в этой книге изображается! Школа им. Достоевского в Ленинграде для правонарушителей. Это только школа, причем двери в этом доме всегда на замке. В доме есть заведующий Виктор Николаевич Соркин, Викниксор, как его зовут, и человек 100—120 нарушителей, которые ничего не делают, кроме своих занятий в школе. Они учатся, и это основной метод школы.

Что же можно ожидать от этой книги?

Давайте разберем книгу со стороны материала и со стороны результатов.

У Сейфуллиной никаких результатов нет, неизвестно, чем кончилась затея Мартынова, известно только, что Гриша полюбил Мартынова и стал хорошим человеком.

А тут что за материал? Правонарушители. Какие же это правонарушители? На с. 34 и 35 описана картинка, как ребята залезли в кладовку и покрали табак. Обычный случай в детдоме. Эти странные правонарушители украли табак, разделили между собой и запрятали. А потом табак нашел Викниксор, позвал ребят в кабинет, стукнул кулаком по столу, они испугались страшно и сказали, что взяли.

Эти правонарушители вначале совершенно как ручные дети. Надо знать в самом деле, какие правонарушения могут совершать ребята, если они разойдутся по-настоящему. Здесь материал показан довольно легкий вначале, а потом, на протяжении 300 страниц, ничего, собственно, не изображается, кроме различных проказ ребят, самых разнообразных. Причем проказы по своей моральной сущности становятся все хуже и хуже.

Можно вам перечислить главные преступления этих шкидовцев. Какие преступления? Прежде всего, развлечение убийством крыс. Крысы бегают по комнате, их убивают ногами. Дикая сцена, несимпатично характеризующая ребят.

Затем один из воспитанников — Слоенов, настоящий кулак, умеет так устраиваться в этом детском коллективе, что весь хлеб, почти вся пища переходит в его собственность и он держит в руках даже старшие классы. Все это терпят, и никто не может ничего против него сделать. Полное бессилие этих мальчиков против одного. Это говорит об отсутствии воспитательной работы, о полном отсутствии влияния педагога.

Затем идет так называемая буза, избиение педагогов. Имейте в виду, что в особенности в Ленинграде это было очень модно. Я знаю много детдомов ленинградских, в то время почти каждый месяц происходили избиения. В один прекрасный день воспитанники хватались за палки, за кочерги, гнали педагога по всему зданию и били. Это была дополнительная педагогическая нагрузка. *(В зале смех.)*

И здесь это описано, бьют всех педагогов. Но педагоги терпят, кое-кто удирает.

Описана кража картошки. Потом игра «Улигания», это значит «хулигания». Вся игра заключалась в том, что были организации, был почему-то совнарком и даже наркомбузы, и все это держало в руках школу. Били окна, бросали камни.

Так до конца книги идут очень занимательные приключения. А в конце книги такая строчка, что такая шкида хоть кого изменит, такая все-силая шкида, что всех изменит, но в книге никакого изменения нет и даже авторы книги выходят из школы не потому, что они закончили воспитание и приобрели какие-то черты характера, приобрели знания, квалификацию, а потому что они ставили спектакль, пропало два одеяла и им надо эти одеяла возвращать. Они уходят в жизнь, совершая воровское преступление. Следовательно, материал — это как будто нормальные люди, но настолько распустившиеся, что ничем другим, кроме весьма сомнительных игр и развлечений, не занимаются.

Метод и творчество.

Метод — запертые двери, карцер и школьная работа. Когда Викниксор вдруг пришел к выводу, что необходимо трудовое воспитание, то он этот вывод оформил так: нужно их послать в какой-нибудь трудовой институт, находящийся за стенами школы. У него у самого никакого трудового воспитания нет, только школа. Лично у самого Викниксора никакого мастерства нет. Вообще эта фигура почти комическая, он строг, заводит летопись и отмечает положительные и отрицательные поступки и, в зависимости от количества их, назначает наказание. Авторитетом, даже уважением Викниксор не пользуется.

Каковы же результаты такого воспитания? Такой педагогический процесс, какой здесь изображен, может привести к чему угодно. На с. 134 мы уже видим результаты такого воспитания.

Изображается пожар. Целая толпа взрослых ребят увидела дым. Что эти ребята делают?

«Началась паника. Кто-то из малышей заплакал трусливо...» (*Читает.*) Ни один из воспитанников не бросился туда, а бросилась женщина. «Минут через 5 в дверь постучали...» (*Читает.*) Женщина спасает забытого на пожаре мальчика. Чем кончилось дело? «Всех ребят перевели в дворецкую». А что за пожар, кто тушил пожар — неизвестно.

Такое воспитание нам не нужно. Я не могу себе представить, чтобы в моем детском коллективе во время пожара я бросился кого-нибудь спасать. Я должен сидеть в центре и спокойно разговаривать по телефону. Все сделают ребята — и спасут, и потушат, и придут доложить, что все кончено. Иначе в советском детском коллективе быть не может.

Эта стадная картина, наблюдение за тем, как девушка спасает, говорит о том, что такое воспитание неудачно.

Я вам напомним чрезвычайно тяжелый случай, бывший недавно под Калинин, в селе Давыдово: убийство учительницы одним учеником. В том, что ученик выстрелил в учительницу, нет ничего хитрого. Такие случаи личного болезненного припадка, случаи личного разложения под влиянием дурного окружения возможны. Это индивидуальный припадок, единичный случай, который меня не пугает. Но меня страшно поражает, я не могу понять, как это могло случиться, что 24 мальчика VII класса в панике убежали, увидев ружье в руках своего сверстника. Я не представ-

ляю себе таких мальчиков. Не могу понять, как их воспитывали и чего от них можно ожидать в дальнейшем. Этот случай напоминает картинку из «Республики Шкид», а картинка показывает, что воспитание там было поставлено плохо.

Из своей практики и из практики многочисленных моих товарищей в разных колониях я прекрасно знаю, что при пожаре, при несчастном случае, угрожающем коллективу или отдельному члену коллектива, тем более учителю — руководителю коллектива, на помощь бросаются все ребята, весь коллектив без размышления о том, что можно погибнуть, что будет неприятно. Только такой коллектив может быть назван настоящим, нашим, советским коллективом.

Вот эта картина пожара для меня является совершенно ясно показывающей отрицательный способ воспитания в практике «Республики Шкид».

Несмотря на то что книга написана очень художественно, очень ярко рисуются все события в «Республике Шкид», само воспитание, которое было там организовано, находилось еще на низкой ступени развития, настолько низкой, что может явиться только отрицательным примером для наших педагогов и отрицательным толчком для наших школьников.

Есть еще одна книга, которую вы, вероятно, мало читали, это «Утро» Микитенко. Написан только 1-й том, книга не окончена. Тут уже сказалось полное отсутствие эрудиции педагогической у автора. Чтобы долго не говорить, я вам прочту два места. Одно место из моей книги, не в качестве хорошего отрывка, а в качестве чисто технического, профессионального подхода. «Все время, сидя, морщил...» (*Читает.*)

Это один разговор, и другой разговор, который рисует Микитенко. Грибич, руководитель, разговаривает с приезжим педагогом. Она говорит, что не может больше работать, и подает заявление. «Грибич написал сбоку — категорически против...» (*Читает.*) Педологический кабинет, да еще в ужасном состоянии. (*Смех.*) Вот вам оружие.

Я как раз эту коммуну знаю и могу с уверенностью сказать, что такого разговора не было, ни хорошего, ни плохого. И никто такого оружия не искал. А просто политически неприлично, как это так? Педагогическое учреждение НКВД — и вдруг без педологического кабинета, надо завести.

Что же изобразил Микитенко? Ничего, кроме материала, но сырье подано шикарно. То есть тут не бандиты, тут архибандиты, то, что у нас беспризорные называют «бандюки», это в превосходной степени бандит.

Это, оказывается, упорный народ. Им дали хорошие спальни, они спальни испачкали, кровати поломали, одеяла порвали, простыни изодрали на маленькие клочки. Для чего такие бандиты! Они ушли гулять в лес и пока там гуляли, им положили все новое. Они вернулись и в знак протеста легли спать на полу. Вот какие бандиты!

Этого мало. На другой день они то же самое сделали в столовой: побили посуду, котлеты не ели, а бросали в потолок, и эти котлеты прилипали к потолку. На другой день они разгромили мастерскую, притом сознательно. И один какой-то «кукла» говорит: «Испортит нас коммуна, смотрите, уже...» (*Читает.*) (*В зале смех.*)

Понимаете, с такими бандитами действительно ничего не сделаешь.

А их преступления? Это какие-то джеки-потрошители, а не просто беспризорники. Миленько, на двух страницах рассказывается, как девушку,

выдавшую одного из героев, они решили убить. Такая миленькая картинка! «Сказал я об этом ребятам...» (*Читает.*)

Мало вам? Можно больше. Оказывается, не убила насмерть, пришлось помирать еще раз. «Приехала она после выздоровления в Запорожье...» (*Читает.*) Вот какие страшные бандиты!

И все, что здесь написано об этих людях, показывает главным образом, какие это прекрасные бандиты, какие замечательные преступники, какие оригинальные характеры! Вот до какого падения дошли люди! А во 2-м томе мы напишем, каких мы героев из них сделаем.

На самом деле материал не такой. Я имею наибольший стаж работы в Союзе с правонарушителями, через мои руки прошло несколько тысяч, и даю вам честное слово, я ни одного такого убийцы не видел. Может быть убийство в драке, бывает убийство среди батрачков, бывало убийство в горячке, но у Микитенко нарушители такие блатные, таким идиотским блатным языком разговаривают, какого не встретишь на самом деле. В моей практике среди детей, прошедших через мои руки, не было таких убийств.

Мало того, товарищи, как это ни странно, в моей практике не было ни одного сифилитика, а сколько было рассказов о том, что половина из них сифилитики...

Вот это стремление нарисовать общество правонарушителей мрачными красками является самой отвратительной и дешевой формой безответного романтизма, не имеющего под собой никакого основания. Т. Микитенко бросил писать книгу, потому что действительно: что можно сделать из таких бандитов? А я прилучан хорошо знаю. Бывает, что человек шел по улице и подрался, бывает, что и финку для фасона носит, достаивает известного внимания того, что плохо лежит. Но чтобы разорять свою собственную спальню — этого, я думаю, не бывает. Один, может быть, и захотел бы это сделать, но масса всегда настолько благоразумна, что ей хочется спать на хороших постелях, а уж тем более никогда не дойдет до того, чтобы котлеты бросать в потолок. Это уж совершенно невероятный поступок, котлету обязательно слопают. (*В зале смех.*)

На этом разрешите сделать перерыв с тем, чтобы потом остановиться на моей книге, которая, к сожалению, является самой большой из всех, какие написаны о беспризорных.

* * *

Я вас, вероятно, утомил подачей сухого педагогического материала, но что поделаешь, я должен остановиться на своем произведении.

Не могу из ложной скромности кокетничать перед вами, но считаю, что в моей книге педагогическая проблема отражена наиболее полно, чем в других книгах. Это, конечно, понятно, потому что я сам работал в этой области, состарился на педагогическом поприще и, совершенно естественно, могу подойти к вопросу педагогически более тщательно, чем другие авторы. Но у них есть то преимущество, что они раньше писали и в их книгах тема пролетарского гуманизма зазвучала раньше, чем у меня.

Книга Сейфуллиной на меня произвела в свое время большое впечатление и заставила остановиться на многих вопросах. Точно так же очень талантливо написанная книга «Республика Шкид» понравилась мне своим

бодрым тоном, а в работе с беспризорными очень трудно сохранить бодрость тона, без поддержки же таких книг, может быть, даже невозможно.

Что вам сказать о моей книге «Педагогическая поэма»? Если вы ее читали, то я мог бы ограничиться сказанным, считая, что я свое дело сделал, а вы, прочтя книгу, то же сделали свое. Что я могу еще прибавить? Да как будто и ничего. В моей книге есть много недостатков, которые вы тоже, вероятно, знаете.

Главнейший недостаток — это мелькание лиц, много лиц, некоторые начаты и не докончены, воспитательный персонал описан совсем слабо. Почему? По случайной причине, но я вам скажу по секрету.

Я никогда не был удовлетворен работой воспитателей. Когда книга писалась, я уже работал без воспитателей. Они постепенно растерялись, а последний персонал в коммуне им. Дзержинского я снял в один день. Этот момент был для меня наиболее трагическим, так как я боялся, что провалился в пропасть без поддержки взрослых людей. Но спасибо комсомольцам-дзержинцам, они в течение 8 лет не только не гробили дело, но подняли его на большую высоту. И даже когда в 1931 г. коммуна на одну неделю увеличила свой состав со 150 до 350 человек, комсомольская организация и совет командиров настояли передо мной, чтобы и в этом тяжелом случае не было приглашено ни одного воспитателя.

Для меня эта тема чрезвычайно неприятна, потому что я не могу утверждать, что в детском учреждении не должно быть воспитателей. Я не могу встать на такую позицию, на которой стоят некоторые авторы и практические работники коммун и колоний, утверждающие, что ребята будут сами себя воспитывать, что воспитатели не нужны.

Это, конечно, неправильно. В детском коллективе должны быть авторитетные, культурные, работоспособные, хорошие взрослые люди, только тогда может повыситься культура детского коллектива. Откуда может привиться культура детскому обществу, если ей неоткуда взяться, если нет взрослого общества?

Воспитание в том и заключается, что наиболее взрослое поколение передает свой опыт, свою страсть, свои убеждения младшему поколению. Именно в этом и заключается активная роль педагогов, представителем которых являюсь и я.

Но в коммуне им. Дзержинского было кем заменить воспитателей. Там была школа-десятилетка⁸, было много инженеров, сильная партийная организация на заводе, словом, общество взрослых достаточно сильное, чтобы оказать влияние на ребят.

Вот именно поэтому я в своей книге отвел такую маленькую роль воспитательному персоналу.

Другой недостаток моей книги заключается в том, что пришлось говорить о постоянной грызне с Наркомпросом. Вас, вероятно, это тоже раздражало. (Г о л о с а: «П р а в и л ь н о!»)

Критики уже отмечали эту сторону как несимпатичную. Но я должен сказать, что не мог обойтись без этого, потому что для меня это была книга моей борьбы, и, когда я писал, я меньше всего ощущал себя писателем, я был все-таки педагогом.

Почему же книга вышла в виде поэмы? Только потому, что иначе я писать не умею, как умел, так и написал. Но и в художественной форме отка-

заться от борьбы, от высказывания своих принципов я не мог. Возможно, что широкого читателя отдельные рассуждения о разных педагогических тонкостях могут утомлять, может быть, в художественном произведении этого не следовало делать. Это недостаток, который отмечают многие читатели.

Есть недостатки конструктивного характера. Многие меня обвиняли в том, что я не описал пребывание Горького в колонии. Я просто не решался со своим маленьким талантом описывать такую фигуру, как Горький, не хватило у меня смелости.

Намеревался я в своей книге сказать много, но сказано как будто меньше, чем хотелось. Что же я хотел сказать?

Во-первых, что даже те люди, которые считаются отбросами в капиталистическом обществе, у нас в Советском Союзе, складываются в великолепные коллективы. Эти коллективы должны поражать своей красотой, потому что это новые, свободные трудовые человеческие коллективы. Это — первое.

Во-вторых, хотелось показать этого так называемого правонарушителя в том освещении, в каком я его сам видел, показать его как человека, прежде всего как хорошего человека, милого, простого. Я хотел вызвать симпатию к нему у общества, хотел, чтобы общество так же ему верило, как верил я.

Третье, чего я хотел добиться своей книгой: я хотел поставить ребром вопрос о стиле, о тоне советского воспитания. Я хотел настаивать на правильности формулы, которая существует у коммунаров-дзержинцев. Они утверждают, что человека нужно не лепить, а ковать, ковать — это значит хорошенько разогреть, а потом бить молотом. Не в прямом смысле, не по голове молотком, а создать такую цепь упражнений, цепь трудностей, которые надо преодолевать и благодаря которым выходит хороший человек.

Я многого добился главным образом благодаря работе чекистов, которые находились со мной, благодаря тому простору для педагогического творчества, который давали чекисты, а в колонии Горького — благодаря завоеванной мною самостоятельности.

Наробразовцы меня немного боялись: сумасшедший человек — он что угодно может придумать! Они боялись и не трогали. На такой свободе многое удавалось сделать. Во всяком случае когда у меня в коммуне случился пожар, то я не должен был вытаскивать кого-нибудь из огня. Однажды ночью в литейной, запертой на замок, вспыхнул пожар. Страсть коммунаров была так велика, что Алеша Землянский прыгнул в литейную через трубу, чтобы затушить этот пожар. Такое воспитание для меня в последние годы не составляло никакого труда, и не нужно было никаких особых изобретений.

Мальчишеский коллектив, поставленный в здоровые педагогические условия, может развиваться до совершенно непредвиденных высот. Это я говорю с полной ответственностью и легкостью, потому что в этом не моя заслуга, а заслуга Октябрьской революции.

Могущество воспитательного приема у нас, в Советском Союзе, неизмеримо, мы даже представить еще не можем, каким всесильным оно может быть, развиваясь дальше. Многие [педагогические] проблемы в моей практике разрешались даже для меня, человека, думающего в этой области,

увлеченного этой работой, совершенно неожиданно.

Возьмите такой важный вопрос, как вопрос наказания, над которым теперь многие педагоги ломают головы, и не только педагоги, но и семьи.

У нас еще, вероятно, от Карамзина осталось русское интеллигентское прекраснодушие: как же так наказывать, ребенок — и вдруг наказывать! И у меня было такое отвращение к наказанию. Я начал свою работу с позорного дела, с преступления, настоящего преступления, которое карается 3 годами тюрьмы. Я начал работу с уголовного преступления, с наказания незаконного, вопиющего по своему отвратительному виду, оскорбительного и для того, кто наказывает, и для того, кого наказывают. Начал не потому, что в этом был убежден, а потому, что не мог затормозить свои страсти, свои стремления. С этого начинается «Педагогическая поэма».

За 17 лет работы в детском коллективе, в конце концов это был один коллектив — колония им. Горького, которая целиком перебежала в комму-ну Дзержинского после моего перехода, — это один коллектив, с одними привычками, с одними фантазиями, — я изменил свой взгляд на наказание. К концу пребывания моего в коммуне им. Дзержинского наказание приняло совершенно иные формы. Вот здесь присутствуют дзержинцы, они чувствуют это на себе.

Воровство — то преступление, которое повергает в панику даже энергичного педагога. Что делать, когда мальчик украл? Когда в коллективе дзержинцев такой мальчик украл в первый раз, его вызывают на середину комнаты, где проводится общее собрание, и говорят, что он последний человек, что его надо выгнать, что с ним нечего считаться, но фактически его никогда не наказывают. Его хотят «убить», «казнить», но все прекрасно понимают, что никаких результатов этим не добьются, что наказание за воровство не приносит никаких результатов.

Чем ограничивались? Ограничивались тем, что говорили: ты украл, ты еще украдешь, раза два украдешь, а потом не будешь.

Он отвечал:

— Больше не буду.

— Что ж его наказывать, — говорят ему, — он ничего не понимает и украдет еще раз.

— Честное слово, нет.

— Нет, ты обязательно украдешь еще два раза.

И представьте себе, он обязательно крал еще раз, и ребята тогда ему говорили:

— Мы же тебе говорили, вот ты и украл, и еще раз украдешь.

И действительно, у человека складывалось глубочайшее убеждение, что он еще раз украдет, именно раз, а больше не сможет. Такое отношение к правонарушению детей может быть только в советском обществе, в советском воспитательном коллективе, уверенном в своих силах и в силах каждого человека.

Но зато если коммунар, проживший в коммуне 3—4 года, командир, по сигналу на сбор командиров приходит с опозданием на 2 минуты, то тут уже никто не будет думать — наказывать или нет, обязательно накажут. Это не воровство, это хуже воровства. Опоздал на 2 минуты — это 2 наряда, это 2 часа работы — мыть уборную или еще что-нибудь другое. И тут никто не скажет, что вы делаете с мальчиком, пожалейте. Если бы наказа-

ли за воровство, то обязательно ребята сказали бы: что вы делаете с мальчиком, он же ничего не понимает, он же «сырой»!

Вы понимаете, вопрос о наказании решается по-новому, потому что по-новому ставится вопрос об ответственности. Тут ты «сырой», у тебя нет социального опыта, нет человеческого опыта, поэтому ты за себя отвечаешь в очень небольшой дозе, а здесь ты коммунар, тебя 27 командиров ждали 2 минуты, ты сознательно нарушил интересы коллектива, которые коллектив поручил тебе охранять, — ты должен быть наказан.

В этом наказании есть новая логика, и в наказании у дзержинцев вдруг стало звучать следующее. Не имеет никакого значения, что именно, какая нагрузка дается в наказание, а имеет значение символ, что такой-то человек наказан, что он находится под арестом на 10 минут в кабинете заведующего.

А что это за арест? Приходит наказанный в мой кабинет, берет книгу, садится на мягкий диван и спрашивает: «Антон Семенович, вы не знаете, завтра будет что-нибудь вечером в клубе или нет?» Потом 10 минут прошло, отбыл арест.

Какое это наказание? Однако попробуй наложить арест неправильно. Поднимутся протесты — не виноват. Символ осуждения коллективом составляет очень существенный момент. В самом наказании можно найти элементы особой чести.

У дзержинцев это понятие о чести в лучшем его значении сделалось в последние годы важнейшим моментом воспитания.

Например, человек, проживший в коммуне больше 4 месяцев, завоевавший доверие коллектива, получает звание коммунара, а до этого он называется воспитанником. Среди его привилегий есть такая: ему обязаны верить на слово. Если коммунар сказал: я там был, то никто не имеет права проверить, был он или не был. Эта привилегия может проистекать из убежденности в честности всего коллектива.

Если дежурный командир или просто дежурный мальчик, дежурный член санкома, а туда выбираются «чистюльки», и у санкома диктаторская власть, если кто-нибудь из них в частном разговоре сказал мне: вот, Антон Семенович, в такой-то спальне сегодня грязновато, то можно возразить: нет, у нас чисто. Но если вечером в официальном рапорте дежурный поднимет руку и скажет, что в 15-й спальне грязно, то проверять нельзя, здесь уже он ошибиться не может.

Уверенность, что в известном положении человек не может сказать неправду, делает то, что никто неправды не говорит.

Это и есть советская педагогика, основанная, с одной стороны, на безграничном доверии к человеку, а с другой стороны, на бесконечном к нему требовании. Соединение огромного доверия с огромным требованием и есть стиль нашего воспитания. На этом построена вся общественная жизнь Советского Союза. Это дает колоссальные результаты.

В коммуне им. Дзержинского и в колонии им. Горького в последние годы этот стиль являлся характерной чертой. Он не был моим изобретением, это естественная находка коллектива, и только потому, что коллектив этот не «коллектив» батраков, не «коллектив» заводов Форда, это советский коллектив, коллектив людей, живущих в свободном государстве, и только тут возможен такой стиль работы.

Этот стиль я и хотел как-нибудь передать в «Педагогической поэме», чтобы заразить им не только педагогов, но и молодежь и вообще читателей.

К сожалению, я не решался еще описать опыт коммуны им. Дзержинского, тоже восьмилетний опыт, а нужно было бы. Почему? Потому что там уже можно формулировать и аксиомы, и теоремы советского воспитания, формулировать точно и открыто доказывать. Надеюсь, что со временем это удастся сделать, тем более теперь, потому что это не только моя работа, а работа многих людей, и в особенности чекистов Украины.

Вот что я хотел сказать о своей книге, больше прибавить что-нибудь сейчас, пожалуй, не могу.

Но если вы не устали, товарищи, то я остановлюсь еще на одном общем вопросе. Я имею в виду вопрос, который я ставил в самом начале, — о том, что наша советская педагогика должна отправляться от политических целей, а в нашем представлении это значит от того, каким должен быть новый человек.

«Педагогическая поэма» открывается разговором с завгубнаробразом, где сразу ставится вопрос о новом человеке, о том, что все надо делать по-новому.

А что же такое новый человек? Мало сказать — новый, надо его знать в подробностях, и вот это в моей книге, вероятно, показано слабо. А между тем я прекрасно знаю, что надо делать, я это делаю на живых людях, я это вижу в моем представлении, а в книге показать не сумел. Это потому, что я увлекся главной целью — показать прекрасный коллектив. В будущей книге я должен показать образец воспитания, образец, к которому мы должны стремиться как к нашей педагогической политической цели.

Три дня назад я получил письмо от бывшего своего воспитанника, которое меня очень растрогало, несмотря на то что я обычно растрагиваюсь с трудом⁹. Он пишет, что за один свой подвиг, сущность которого он в письме рассказать не может, но который заключался в том, что он не дрогнул перед смертью, за этот подвиг он получил орден. Он мне об этом сообщает и благодарит. Говорит просто: «Спасибо вам за то, что научили нас не бояться смерти».

Тут для меня проглянуло лицо нового человека в простом выражении. Научить не бояться смерти — до такой проблемы не может подняться буржуазное общество. Там может быть случай, что человек не боится смерти, а когда человек благодарит за то, что его научили, — это тема советская. При старом режиме такое качество рассматривалось как данное человеку от рождения. Вот я родился храбрым, это мне присуще. А этот юноша утверждает, что его этому научили.

Может быть, он от природы храбрый человек, но уверенность в том, что это достоинство, которому его научили, благодарность за это — все это качество нашего нового, социалистического общества. Когда он пишет: вы меня научили, то он не меня лично благодарит, а Советскую власть, коллектив дзержинцев, которые ему это свойство дали.

Я убежден, что если в будущем кто-нибудь даст в литературе образ идеального человека, то и работа всех нас, педагогов, будет значительно облегчена.

Я, товарищи, считаю, что о моей книге говорить довольно, тут есть вопросы, на которые нужно ответить.

Товарищей интересует судьба моих героев.

Я в книге об этом написал. Мне трудно отвечать на этот вопрос, потому что героев очень много, сколько же времени я займу для того, чтобы их перечислить? О *Карабанове* я вам говорил. *Ужикова*¹⁰ я оставил в колонии им. Горького, и куда он девался, я сказать не могу. С *Лаптем* произошла печальная история, о ней я расскажу.

По-моему, и в книге видно, что это очень некрасивый человек. И вот он женился на писаной красавице, в чем и состояла причина его трагедии. Она ему, конечно, изменила, а он, конечно, устроил из этого личную трагедию, бросил институт, не кончил высшего учебного заведения и пошел работать в какой-то жилкооп. Были постоянные драмы с женой. Мы узнали три года назад, что он пьет и страдает. У меня был устроен «консилиум»: приехал ко мне *Карабанов*, приехал *Вершнев*, и мы в общем заседании решили, что делать с *Лаптем*. *Вершнев* поехал к нему в Полтаву и сказал: «По распоряжению *Антон Семеновича* отправляйся к *Карабанову* работать, он тебя возьмет». Тот подчинился, поехал к *Карабанову* и работает завхозом. В прошлом году я был там и видел, что пить он перестал. Работает хорошо, но меня неприятно поразила в нем живая еще память об этой женщине. Я не мог себе представить, чтобы в одной женщине заключалось столько отравляющих веществ. А это была настоящая отравка на всю жизнь, и, конечно, помочь тут уговорами нельзя. *Карабанов* — большой мастер на такие разговоры, он доказывал, что у него две руки, и такие же две ноги, а также два уха, но ничего не помогло. И я боюсь, что еще пройдет несколько лет, пока эта женщина из *Лаптя* выветрится. А жаль, потому что это был огневой талант, это был огневой юмор, человек необычайной коллективности. Очень жаль, что случайная встреча повлияла на него так. Но это произошло именно благодаря его страсти, искренности чувства, преданности какой-то безоглядной. Это его и скрутило.

Братченко работает ветеринарным врачом в кавалерийском полку в Новочеркасске. Он не изменяет лошадям.

В нескольких записках у меня спрашивают мнение о фильме «Путевка в жизнь».

«Путевка в жизнь» — страшная вещь. В этом году моя книга была переведена на английский язык, издавало ее одно буржуазное издательство в Лондоне. Оно мне поставило условием, что издаст книгу только под названием «Путевка в жизнь». Они сказали: «Иначе мы не можем, потому что, если будет заглавие «Путевка в жизнь» — у нас книгу раскупят, а если другое название, то кто ее знает. И как я ни вертелся, так ее и издали»¹¹.

Я получил несколько отзывов английских газет, и все они почти написаны так: кто видел «Путевку в жизнь» и переживал то глубокое переживание, которое она вызывает, тот должен прочесть «Педагогическую поэму» — она дополняет «Путевку в жизнь».

Так избавиться от «Путевки в жизнь» я и не мог, а между тем ничего общего между «Путевкой в жизнь» и «Педагогической поэмой» нет, объединяют советские принципы отношения к человеку, а методы воспитания в этих произведениях разные. Я не могу признать уместным разрешать такой важнейший вопрос, как вопрос воспитания, при помощи двух-трех фокусов с ложкой и т. п.

Но ведь это все-таки кинофильм, и в свое время он имел огромное значение. Да в кинофильме и нельзя было показать педагогической проблемы, а тот же пролетарский гуманизм, та же вера в человека, та же страсть, какая есть у всех нас, там показаны.

Конечно, когда «Путевку в жизнь» смотрели коммунары-дзержинцы, они только улыбались, потому что приятно поют песенку беспризорные, приятно вспомнить, что и сами певали ее, но когда лучший герой вдруг становится кондуктором, то у коммунаров разочарование: стоило ли из-за этого картину пускать, вот если бы летчиком! И это верно!

В картине много и неудачного, и смерть Мустафы не нужна никому, ни в чем она не убеждает, и воровская «малина», и игрушечный поезд — все это окрашивает картину в искусственный цвет, но основной тон все-таки взят правильно.

Сейчас я пишу сценарий. Хочется взять для картины совсем новую тему. Я считаю, что довольно показывать героиню пройденного уже нами в педагогике пути. Не Мартыновых надо показывать — романтизм борьбы человека с беспризорностью кончен. Есть уже прекрасные готовые коллективы, где по неделям не приходится делать ни одного замечания. Надо показывать готовый советский коллектив, где это «сырье» переваривается незаметно для глаза¹².

Я расскажу вам об одном из пополнений коммуны им. Ф. Э. Дзержинского. Нам сказали: надо взять сегодня 30 человек с поездов. Раз надо, — следовательно, выполняй.

На вокзал командирится 5 человек: командир Алеша Землянский — Робеспьер, в коммуне его называли Робеспьером за то, что он за каждый проступок требовал выгнать из коммуны. Или выгнать, или никакого наказания. Едем: Робеспьер, я и еще 2—3 коммунара. На вокзале знакомимся с дежурным и говорим: «Дайте нам комнату, мы сегодня собираем пополнение в коммуну».

«Пожалуйста, вот вам комната».

Подходит один поезд, другой, третий, четвертый. Поездов много. Эта тройка заглядывает под вагоны, залезает на крыши и приглашает следовать за собой. Кого за ногу вытащили, кому просто сказали. Действуют без лишних нежностей. Вводят всех в комнату. У дверей комнаты становится часовой. Собирается 30 человек. Страшно возмущены:

— Кто вы такие, какое ваше дело, что вам надо?

В комнате всего 3 человека против этих 30. Преимущество то, что трое организованны, а 30 — нет. После этого начинается митинг. Митинг самый простой:

— Товарищи, вы тут шатаетесь, по поездкам ездите, а у нас рабочих рук не хватает. Куда это годится? Нам рабочие руки нужны. Будьте добры, помогите нам работать.

— А что там такое?

— Завод строим, не хватает рабочих рук.

— Посмотрим...

— Да чего смотреть, решайте сейчас, у нас оркестр, кино, спектакли.

Начинают интересоваться, тогда им говорят:

— Вот вам Алеша, он остается вашим командиром, вот деньги на ужин, без разрешения Алеши никуда не уходить, часового снимаем. Если коман-

дир разрешит выйти на 5 минут, выйдешь и через 5 минут не вернешься, лучше совсем не приходи. А мы завтра придем за вами.

Завтра приезжает грузовик и привозит ботинки. Просто неприлично идти по улице без ботинок. Все остальное привезти нельзя, надо их обмыть, остричь и т. д. Они надевают ботинки. Одежда их обычно не застегнута, без пуговиц, кое-как держится на плечах. Тут Алеша строит их в комнате по 6 человек в ряд, 5 рядов, командует — равняйся, держите интервал.

— В ногу умеете ходить?

— Пойдем.

Из комнаты Алеша их не пускает. Настроение ироническое: что такое, ботинки привезли, какие-то 5 рядов по шести, какой-то командир!

А в этот момент к вокзалу подходит коммуна — 500 человек в парадной форме. Это значит — белый воротник, золотая тубетейка, галифе, словом, полный парад. Строй у них очаровательный, свободный, физкультурный, повзводно, оркестр в 60 человек, серебряные трубы и знамена.

Подошли, выстроились в одну линию, заняли всю вокзальную площадь, расчистили интервал для нового взвода.

— Алеша, вывод!

Вы представляете себе, пол-Харькова на этом вокзале, никто не понимает, в чем дело, почему парад, все серьезные, никто не улыбается.

Выходит Алеша со своим собственным взводом. Команда: «Смирно! Равнение налево!» Салют. Что такое? Коммунары салютуют своим новым членам.

Взвод проходит по всему фронту, все держат руку в салюте, поворачивают головы, оркестр гремит в честь нового пополнения...

У публики нервный шок, слезы, а для беспризорных — это все равно что хорошая «педагогическая оглобля» по голове. Такая встреча! После этого справа по шести марш, через весь город. Оркестр, знаменщики, особый взвод, все в белых воротниках, мальчики, потом девочки, а в середине — этот новый взвод. Идут серьезно, видят, что дело серьезное.

Без всяких преувеличений — на тротуарах рыдают женщины. Так и надо, надо потрясти.

Приходят в коммуны, баня, парикмахер — на это час. Через час это общий взвод, они уже входят в общую семью. Попробуйте любого беспризорного остричь, помыть, одеть в парадную форму с вензелем, начищенные ботинки, галифе — и он войдет в общий строй.

И последний акт — это сжигание остатков прошлого¹³. Одежду поливают керосином и поджигают. Приходит дворник, все это выметает, а я говорю: «Вот этот пепел — это все, что осталось от вашей прежней жизни». Прекрасное зрелище, без всякой помпы, а уже с шутками, со смехом.

А вечером, посмотрите на них, какие они нежные, осторожные, вежливые, как боятся кого-нибудь зацепить, с каким они удивлением глазят на всех коммунаров, и на меня, и на девочек, и на педагогов, — словом, на все.

У этих 30 все будет в порядке. Один какой-нибудь выскочит, что-нибудь проявится, какая-нибудь привычка, его выведут на общее собрание, и обязательно Робеспьер скажет:

— Выгнать!

Он еще раз переболеет душой, и этим кончится. Что он может сделать?

Вы видите, как незаметно для глаза вся эта страшная трагедия, начавшаяся мордобоем, сейчас разрешается почти без всякого усилия¹⁴.

Тут спрашивают: *есть ли колонии для детей безнадзорных, у которых есть родители, но они заняты работой?*

Такие колонии разрешены уже постановлением ЦК партии от 1935 г., но я ни одной не знаю. Сам мечтаю как о лучшем конце моей жизни заводить такой колонией.

Дело в том, что безнадзорные родительские дети гораздо труднее. Вот в последние месяцы мне поручили организовать новую колонию под Киевом, привезли ко мне исключительно таких семейных детей¹⁵. Мое положение было очень тяжелым; когда ко мне привозили 15—20 человек беспризорных, было гораздо проще. А тут привозили из тюрьмы 15 человек, конвой подавал истрепанную бумажку и говорил:

— Расписывайтесь.

Я расписывался и ужасался, потому что конвой снимал штыки с винтовок и уезжал, а эти 15 вновь прибывших пацанов и я оставались друг против друга. Беспризорные у меня в руках, им больше некуда ехать, а этот говорит:

— Я не хочу тут жить, тут плохо кормят, у папы лучше, у папы можно украсть 2 рубля на кино, а тут взять негде.

И, кроме того, они избалованы, это почти всегда единственные сыновья. Я надеюсь, что когда-нибудь будет издан такой декрет: у кого родился сын, а через 3 года не родился второй — штраф.

Мне задают такой вопрос: *сколько нужно, по-вашему, времени, чтобы раз и навсегда уже из беспризорного воспитать настоящего человека?*

Тут решает начальная стадия. Если вы берете мальчика 8 лет, то нельзя быть уверенным, что он совсем воспитан, пока ему не будет 18 лет. Самый лучший мальчик, вытолкнутый в жизнь очень рано, может свихнуться. Для того чтобы ответить, необходимо прежде всего знать лета, затем колоссальное значение имеет образование. Если бывший беспризорный окончил полную среднюю школу, это хорошая гарантия от рецидивов. У малограмотных иногда рецидивы бывают.

Где я теперь работаю и как реагировали на «Педагогическую поэму» мои воспитанники, увидя свои портреты?

Я болен, у меня переутомлены нервы, и мне врачи предложили годок не работать. Поэтому я сижу в Москве, ничего не делаю и пишу книгу.

Герои «Педагогической поэмы» никак не реагировали. У них такой критерий: если написана правда, значит, хорошо. Так как написана правда, то они решили, что это хорошая книга — и всё. Причем каждый из них глубоко убежден, что если бы он сел писать, то написал бы такую же книгу. Следовательно, особого преклонения у них предо мной на этот счет не было. Это хорошо.

Тут спрашивают относительно книги Шишкова «Странники». О воспитании там мало говорится, а что касается беспризорных, то эта часть там изображена неверно.

Тут написано: «Дзержинцы считают, что летчики важнее кондукторов, верно ли это?»

Во-первых, не только дзержинцы так думают; а во-вторых, не в важности дело. Дело в том, что у летчиков есть столько притягательных сторон, сколь-

ко у кондукторов никогда не будет. Во-первых, металл, машина, бензин; во-вторых, высота, воздух; в-третьих, опасность; в-четвертых, красивая форма; в-пятых, общий букет советских летчиков — «сталинских соколов». Это даже и взрослого человека может увлечь. Советский летчик Арктики, сколько славных имен, сколько героев-орденоносцев, что же вы хотите, чтобы мальчика это не привлекало? Кондуктор может прекрасно работать, но все-таки неплохо, если мальчик помечтает в юности о том, что он станет летчиком, может быть, на самом деле он будет прекрасным кондуктором.

В чем заключалась борьба с детской беспризорностью в дореволюционное время?

До революции у безнадзорного была одна дорога — в «мальчики». Я вышел из той социальной среды, в которой большинство моих товарищей уходило в «мальчики» — кто к сапожнику-кустарю, кто к жестянщику, маляру и т. п. Почему уходили они в «мальчики», а не на улицу? Потому что иная позиция была мальчика в то время и в семье, и вне семьи. Теперь мальчик свободен, он чувствует себя гражданином, он настолько доверяет всей нашей жизни, что прется куда попало. Он действительно нигде не пропадет.

Я очень хорошо знаю теперешних мальчиков, которые не уживаются в детских домах. Что они делают? Обычно передвигаются: Одесса, Винница, Полтава, Киев, Харьков, опять Одесса и т. д. Они бродят, воруют и смотрят, где лучше. В этих поисках у них очень много возможностей.

До последнего постановления партии о ликвидации беспризорности¹⁶ беспризорники плохо относились к милиционерам. За последние 2 года это отношение резко изменилось. Если мальчик удрал из детдома, он прямо заявляет милиционеру, что он ушел. Какой расчет? Может быть, в другом детдоме будет лучше. Не понравилось в Киеве, поехал в Харьков, может быть, там лучше? Эта типичная беспризорность, теперь ликвидированная, была страшна не столько числом, сколько движением. Один и тот же беспризорный очень быстро оборачивался по разным городам, а фактически это было немногочисленное войско.

Когда мы принялись за выполнение постановления партии о ликвидации беспризорности, мы боялись: сколько их, тысячи, десятки тысяч? А когда мы их взяли в руки, когда мы их пересчитали, переписали, карточки на каждого завели, то их оказалось немного: у нас в Киеве была картотека с портретами всего этого общества, и мы прекрасно их знаем. Скажем, Павел был сначала в Днепропетровске, потом в Одессе, потом в Харькове и т. д. Мы знаем каждого, кто проходит через наши руки, и делаем все возможное, чтобы он осел, нашел для себя место. Как только ему понравится — помещение ли, управляющий, товарищи, — так он и оседет. Осядет такой Павел, живет-живет месяц, а ему и говорят: ты инструктора оскорбил, мы тебя в другую колонию переведем. И вот, если он упадет на колени и начнет кричать, что больше не будет, конечно: значит, наш.

До революции у таких мальчиков никаких перспектив не было, они работали с утра до вечера, бегали за водкой и знали, что податься им некуда. А теперешний беспризорник — куда хочешь: в инженеры — пожалуйста, в летчики — пожалуйста.

Вот и здесь сейчас сидит один бывший коммунары, он теперь будет летчиком. Когда он пришел в коммуну, я думал, что с таким характером, как у него, то ли выйдет, то ли нет. А теперь он поступает в летную школу. И это

очень хорошо, что он туда идет, потому что он мастерски делает «мертвые петли» и в буквальном смысле, и в переносном. В свое время он тоже долго искал по свету и наконец осел в коммуне.

Какую я получил награду за свою работу?

Во-первых, я получал жалованье, а во-вторых, золотые часы с надписью от коллегии НКВД¹⁷.

Женаты ли вы?

Вопрос такой, от которого краснеть не приходится. Представьте себе, в колонии Горького мне ребята жениться не позволяли. Как только увидят с какой-нибудь женщиной рядом, так и надулись: что же вы, Антон Семенович, мы, конечно, для вас ничего. Поэтому до 40 лет мне было просто некогда жениться, а сейчас — женат, и гораздо более счастливо, чем Лапоть¹⁸.

Какие наказания я считаю возможным применять в массовой школе?

Я не имею права отвечать на такой вопрос, потому что я скажу вам что-нибудь, а вы потом своему начальству бухнете, и меня обвинят, что я ратую за наказания.

Если бы школа была у меня в руках, то я бы никаких мер наказания не применял, кроме двух: выговор и увольнение из школы¹⁹. Надо только сделать так, чтобы не директор увольнял, а коллектив, тогда другое дело.

Поэтому говорить о наказании я не могу, не говоря вообще о детском коллективе. Увольнять должен коллектив. А уж если провинившийся просит простить — простите, больше не буду, то отмена решения исключить производит большое впечатление. Никаких других наказаний я себе представить в массовой школе не могу.

Дает ли положительные результаты отправка беспризорных в колхозы?

Дает, но если это сельские дети, а не городские, а во-вторых, если в колхозах им уделяют хотя бы маленькое внимание: дают хорошую квартиру, хорошую бригаду, купают своевременно, одевают и т. д. В таких случаях дает большие результаты. Если же в колхозы посылают городских детей, и тем более там, где колхозники относятся враждебно или небрежно, никаких результатов нет.

Каково ваше мнение о книге «Болшевы»?

Я не имел в виду говорить о ней, потому что там не дети и совершенно другие задачи воспитания.

Много ли в коммуне девочек и как складывались их отношения с мальчиками?

Вопрос действительно серьезный. Примерно в 1930 г. в коммуне пошла страшная мода на любовь. Об этом и в газете писали, и карикатуры рисовали, и вызывали на общие собрания. Сначала все были поражены такому развитию любви. Страшно против этого были настроены малыши. Если они увидят какого-нибудь взрослого в саду вдвоем, тем более [в] один вечер парочку, да [в] другой вечер, то обязательно поднимут на общем собрании вопрос: а пусть-ка скажет Иванов общему собранию, какие у него секреты с Верой. Иванов выходит и говорит:

— Какие секреты, геометрию ей объяснял.

— Геометрию? А почему же в темном углу?

Сначала покраснеет человек, а потом доводят его до того, что никакого спасения. Сначала говорили: пусть скажет Кирилл, почему он все время

с Варей. И Кирилл молчал. А потом вышел, покраснел, а в это время какой-то тоненький голосок пропищал:

— Да он влюблен.

Тогда поручили Антону Семеновичу выяснить, влюблен или нет. Я выяснил и доложил:

— Влюблен. *(В зале смех.)*

Решили женить. Выдали гардероб, шкаф, машину, квартиру, это стоило страшных денег, и женили их.

А потом — раз все так кончилось, всякая другая любовь пошла быстро и энергично. Я очень испугался. Думаю: чем это кончится, молодежи в 18 лет жениться рано, что это за женитьба, а потом — откуда я наберу денег? Тем не менее я пошел на самое отчаянное средство, и, представьте себе, оно помогло. Как только увижу парочку — женитесь. Вот вам квартира, машина — и кончено.

Представьте себе, это произвело страшное впечатление. Парень думает: неужели уже жениться, да что ж это такое, куда мы идем, погибаем! Ведь в каждой семье сразу появились отрицательные черты: нужно жить на свой заработок, на свой бюджет, а не на коммунарский, надо рассчитывать деньги, а потом в 19 лет уже пеленки — небольшое счастье. И вы знаете, как рукой сняло! Только увидишь парочку: ты что, жениться хочешь? Начинает отговариваться: да нет, мы случайно встретились. И последние 3 года почти не было браков. Публика увидела, что женитьба — очень серьезное и имеющее всякие последствия дело, в том числе и отрицательные последствия. Стали относиться к браку серьезнее.

А так, чтобы разврата какого-нибудь, в коммуне никогда не было. Просто вот не было. Может быть, и был, но я об этом не знаю.

Не следует ли из хулиганов создавать отдельные группы и вести с ними работу?

Я бы хулиганов не выделял, это очень опасная вещь. Если у вас есть очень сильный педагог, то он может заняться с этой группой, но самое лучшее воздействие — это воздействие коллектива.

Здесь спрашивают, какова судьба Веры и Наташи²⁰?

Вера вышла замуж, и в ее жизни произошла интересная история. В один прекрасный день она заявила совету командиров коммуны [им.] Дзержинского, что ее ударил муж. Совет командиров постановил развести. Решили: его выгнать с должности, которую он занимал тогда в коммуне, сына числить в коллективе, с уплатой ему из фонда совета командиров пенсии в размере 100 рублей в месяц до достижения 8 лет, а после 8 лет считать членом коммуны.

Этот муж принужден был уйти, поехал он в Сочи, а в Сочи работали шоферами два старших воспитанника колонии им. Горького. Они узнали эту историю и сказали ему:

— Ты из Сочи уезжай. Мы тебе здесь не позволим оставаться. Как ты мог ударить Веру и приехать сюда, какое нахальство!

Он ездил так, ездил и приехал в коммуну, и к Вере, на коленях — прости.

Женщина добрая, а возможно, тут и любовь, и сын, она в совет командиров:

— Я его прощаю.

— Что ты нам голову морочишь, он тебя ударил, и его прощать? Пускай уезжает.

Он пришел сам в совет командиров, буквально земно поклонился и говорит:

— Никогда в жизни не трону.

Простили, восстановили на работе, стипендию ребенку отменили, семья сладилась. Пока живут благополучно и работают.

От Наташи вчера получил письмо, кончает Одесский медицинский институт и просит меня помочь ей. Пишет, что ее оставляют в Одесской области, а она хочет на Дальний Восток, как бы это устроить? Я, может быть, ей помогу.

Тут спрашивают насчет пионерорганизации.

В этом отношении у нас всегда было сложно. Ребята 12—13 лет, а интересы уже другие. В 13 лет он токарь 4-го разряда, и, конечно, возражение: какой же я пионер, если я токарь 4-го разряда? А был такой малыш Лапотенко Гриша, он управлял группой фрезерных станков и всегда говорил: какой же я пионер, я хочу быть комсомольцем! Вот он и ждет своего времени. Из коммуны [им.] Дзержинского обязательно выходят комсомольцы. Но пионеры есть, и последнее время они наладили свою работу. Что касается моего опыта в массовой школе, то я считаю единственным способом передачи этого опыта только свою собственную работу в массовой школе. Или моих учеников. Методику я не пишу, а коротко не расскажешь.

Спрашивают о Калине Ивановиче²¹.

Представьте себе, мне сказали, что он умер. Я поверил, а в прошлом году получил вдруг от него письмо, где написано: «Я прочел твою книгу, и так как ты обо мне пишешь очень хорошо, то похлопочи, чтобы мне дали персональную пенсию». Я хлопотал, но эти хлопоты не увенчались успехом, хотя ему и прибавили 75 рублей.

Товарищеская лаборатория

О доме советского писателя

Никто в нашем союзе не представляет себе улучшения писательской работы без участия Дома советского писателя. Об этом достаточно убедительно говорили на общемосковском собрании писателей, об этом сказано и в передовой «Литературной газеты» от 20 апреля.

В настоящее время наш ДСП, по крайней мере в Москве, организован по типу рабочих клубов, представляя собой центр так называемой культурно-массовой работы и развлечений.

Сами писатели культурно-массовой работой в клубе не интересуются ни в качестве субъектов, ни в качестве объектов, уступая эту честь членам своих семейств и знакомым. Довольны ли последние зрелищами и концертами, происходящими в клубе, — вопрос малоисследованный. Можно, впрочем, предположить, что и они недовольны, ибо ДСП не обладает ни сценой, ни хорошим залом. Таким образом, и качество культурно-массовой работы в ДСП можно поставить под знак сомнения.

Вопрос о культурном обслуживании членов семьи писателей — вопрос особый. Несмотря на всю его важность, решение его целиком можно передать Литературному фонду — пусть там над ним задумаются.

Если же говорить о ДСП с точки зрения интересов чисто писательской организации, то, прежде всего, необходимо решительно заявить, что никакой параллели между клубом писателей и обычным рабочим клубом быть не может. Каждый рабочий клуб рассчитан именно на свободное время работника, на его внепроизводственное бытие. Наш клуб должен быть, прежде всего, нашим производственным центром.

Я уверен, что большинство писателей именно в таком «производственном» разрезе мечтают о новой работе ДСП, но в то же время как раз со стороны этого большинства слышатся и скептические голоса. Говорят, что индивидуальный характер писательской работы нельзя ни игнорировать, ни тем более ликвидировать.

В буржуазном обществе великие таланты не выдвигаются единодушным усилием общества, а пробиваются сквозь толщу классовых перегородок, сквозь будничную беспросветность эксплуатации, сквозь клоаку конкуренции и рекламы, сквозь непроходимые болота мещанской косности и всеобщей, хотя бы и прилизанной, деморализации.

Совершенно не удивительно, что их появление, их звучание кажется историческим феноменом, счастливой случайностью, редким драгоценным даром природы.

Традиционная уединенность писателя должна быть решительно разоблачена, с ней мы должны бороться как с самым худшим пережитком старого мира, как с самым грозным признаком творческой нашей немощи.

И действительно счастливый писатель, до конца сохранивший чистоту и свежесть личности и таланта, до последнего дня богатевший знанием и культурой, Алексей Максимович Горький разве не был великим коллективистом, разве не помогал направо и налево — всем: молодым и начинающим, уставшим, остановившимся и зазнавшимся — всему писательскому коллективу?

Прозаическая параллель нашей творческой работы с «производством» некоторых даже оскорбляет: так приятно верить в свою личную исключительность и в исключительность таланта.

Я уверен, что через самый небольшой ряд лет усилиями нашей советской науки, нашей действительности, наших педагогических исканий будет доказано, что талант только в небольшой мере принадлежит биологии, что в самом основном своем блеске он всегда обязан благотворным влияниям общества, работы, культуры и знания. В этой цепочке оснований, в каждом ее звене всегда присутствует свободный человеческий коллектив, всегда чувствуется дружеский локоть, великое творческое движение масс¹.

Для вопросов тематики нам уже нужна лаборатория, нужна скрупулезная разработка, аналитика тем, диалектика писательского подхода к жизни, нужна — это самое главное — основательно, широко усвоенная марксистская философия².

Еще больше нам нужно лабораторных проработок в вопросах писательской техники. Если говорить по совести, техника наша находится на очень низком уровне. Даже у самых маститых наших товарищей на каждом

шагу можно натолкнуться на совершенно дикие недоработанности, пробелы, грубые мазки, манерность, неиспользование материала.

Вопрос о технике — это не простой вопрос о форме. Самое содержание нашей жизни сделалось таким многообразным, таким сложным, что приемы старой техники, которые годились для семейного романа или психологической драмы, нас удовлетворить уже не могут.

Мы иногда устраиваем так называемые диспуты, на которых дело организуется по очень смешной схеме. Ставится на кон автор, а мы все — кто как умеет, но обязательно по очереди, в порядке записи, — каждый по своему к нему приближаемся и «реагируем» либо при помощи кадила, либо при помощи дубины.

Автор с такого диспута уходит с единственным результатом — с растрепанными нервами, а все остальные ничего иного с собой не уносят, кроме тех же кадил и дубин.

Никакого технического прогресса от таких диспутов произойти не может. И в данном случае решающей является наша привычка все решать в общем и целом, наша непривычка к лабораторному анализу, который только и может привести к новым техническим и творческим находкам. И поэтому мы все малограмотны во многих вопросах той работы, которая составляет нашу специальность. Мы мало знаем и мало говорим о композиции произведения, о первом и втором плане, о различном освещении деталей, о натюрморте, о диалоге, об отношении содержания и формы, о стиле, о значении пейзажа, портрета и так далее и так далее.

По вопросам техники нам тоже настоятельно нужна хорошо организованная товарищеская лаборатория.

Такой большой, серьезно поставленной, активно работающей лабораторией и должен сделаться наш писательский клуб.

План этой лабораторной организации не может быть выработан в малой статье.

Этот план сам по себе составляет большую и важную задачу, он сам требует коллективной мысли и творчества. Но я уверен в следующем.

Первое. Реализация этого плана не должна рассчитывать на один энтузиазм писательского актива. Как во всякой серьезной работе, здесь должны присутствовать и «презренные» материальные ценности. Работа такой лаборатории не может быть сделана по дешевке, не может быть рассчитана только на добрые души и намерения³.

Второе. В настоящее время трудно себе представить, в какие формы и с какой шириной захвата выльется наш клуб. Но лиха беда — начало. Если мы найдем принципиальные установки для товарищеской коллективной работы по всем вопросам нашего дела, если эти установки будут правильными, они с первых дней будут являться и толчками для дальнейших находок и дальнейшего усовершенствования:

В эти дни

В такие дни, как сейчас, пересматривается человеческая история.

Великаны нашей страны там, в пустынном центре Арктики, продолжают ревизию привычных установок человечества и сообщают миру новые идеи.

Нельзя представить ничего более скромного, чем пришедшие к нам радиogramмы О. Ю. Шмидта:

«Рады сообщить, что смогли выполнить задание товарища Сталина и создать на полюсе прочную базу для науки и авиации. Наши мысли с нашей великой Родиной».

Здесь слово «полюс» мелькает между прочим, как будто это не заколдованная в студеных просторах недоступная цель вековых человеческих стремлений, а маленький городок где-нибудь на Волге.

Здесь говорится как будто только о «текущих делах»: получено задание и выполнено, создана не историческая победа, блещущая уверенным советским героизмом, а только «прочная база», как будто к неизмеримому числу наших «прочных баз» прибавилась только единица.

Но за этой скромностью весь мир видит величие Советского Союза, на фоне которого совершенно в новом свете выступает фигура человека.

В событиях, происходящих на Северном полюсе, наиболее поражает новое нравственное звучание человека.

Нельзя сейчас не вспомнить капитана Скотта, погибшего с товарищами на обратном пути с Южного полюса в марте 1912 г. Нельзя не преклоняться перед его мужественным подвигом, нельзя не восхищаться этой большой человеческой личностью.

Но, когда перечитываешь предсмертные записки и письма капитана Скотта, поражает одиночество, тоска, трагизм, фатально сопровождавшие героизм подобных людей.

Так становится ясно, что нравственная атмосфера капиталистического общества — созданные веками традиции разобщения, конкуренции, наживы, спортивного ажиотажа — уже не могла вместить одинокий героизм личности. Между этим героизмом и так называемым обществом всегда стоит «некто в цилиндре», и его присутствие отравляет человеческий подвиг прежде всего в самой центральной идее, в идее цели.

Здесь драма происходила не только в характере организации.

Экспедиция Скотта была прекрасно организована по тогдашнему времени, и все же величие его усилий заранее было опорочено ничтожным нравственным содержанием цели.

Поэтому так незаслуженно легко подвиг Скотта и его товарищей в их собственных глазах потерял всякую цену, когда они нашли на Южном полюсе флаг Амундсена:

«Подошедши ближе, увидели, что это был черный флаг, привязанный к полозу саней, тут же близко остатки лагеря: следы саней и лыж, которые шли туда и обратно, выразительные следы собачьих лап, — многих собак. Вся история как на ладони: норвежцы нас опередили и первые достигли полюса. Страшное разочарование, и мне больно за моих товарищей!.. Конец нашим мечтам, печальное будет возвращение!..

Мы поставили наш бедный, обманутый английский флаг.

И вот мы повернули спиной к цели наших честолюбивых стремлений, и перед нами 800 миль пешего хождения с грузом. Прощайте, золотые мечты!»

Конечно, страшно жаль капитана Скотта, хочется сочувствовать его неудаче, но у советского человека этого сочувствия уже не может быть. Мы уже привыкли к новым масштабам измерения удач и неудач.

Не только не сочувствуешь неудаче Скотта, но не радуешься и удаче Амундсена.

Скорее, становится одинаково жаль и Скотта и Амундсена, и победителя и побежденного, потому что на первый план в наших впечатлениях выступает их героическое одиночество, эта страшная неуютность в положении человека в капиталистическом обществе.

Последние строки дневника Скотта и в особенности его письма еще более усиливают это впечатление неуютности и одиночества. Последняя строка дневника Скотта:

«Бога ради, не оставьте наших близких».

В письмах капитана Скотта, написанных над телами раньше его умерших товарищей, читаем:

В письме к Д. М. Барри:

«Умирая, прошу вас, дорогой мой друг, быть добрым к моей жене и к ребенку. Подайте мальчику помощь в жизни, если государство не захочет этого сделать...»

В письме к вице-адмиралу Эджертону:

«Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы мою вдову обеспечили, насколько это будет зависеть от морского ведомства».

В письме к Д. Д. Кинсей-Крайстчерч:

«Мысли мои о моей жене и сыне. Сделаете ли вы для них, что сможете, если страна не сделает?»

Если бы я знал, что жена и мальчик обеспечены, то не очень жалел бы, оставляя этот свет...»

В этих строчках важно не то, обеспечили или не обеспечили близких капитана Скотта.

Важно, что в момент предсмертной тоски он должен рядом с уже умершими друзьями сидеть и писать просительные письма. У него нет ощущения единства с своим народом, нет уверенности в том, что он делает общее дело, за которое отвечает не только он, его жена и мальчик, но и все общество.

В этом именно моменте так ясен нравственный порок капиталистического общества. Сам Скотт в своем собственном подвиге не видит большего, чем пример «джентльменства», — жалкое утешение для героя, оказавшегося в момент своей трагической кончины в положении настойчивого просителя... и только.

И таким же одиноким остался бы капитан Скотт, если бы удалось ему возвратиться к жене, и таким же одиноким был он в каждый момент своего путешествия. Это фатально!

Почему так героически притягательны, так счастливы и так жизнерадостны наши герои? Почему в этой группе людей на Северном полюсе живут и строят «прочную базу» все люди нашей страны и мысли наши с ними, как и мысли их с нами?

Почему в самой организации этого исторического похода, в каждом воздушном корабле, в каждом пищевом концентрате, в каждой подробности распоряжения и плана так много общественной и государственной заботы?

И почему, наконец, на Северном полюсе собрались не случайные «джентльмены» героического почина, а крепкий коллектив, связанный со всей страной многолетним напряженным опытом борьбы?

Ответы на все эти вопросы лежат в новой нравственности нового общества.

Потому что исчезли все проклятия капиталистической разобщенности, поедания человека человеком, потому что впервые в мире развеивается над нами единый флаг человечества, потому что под этим флагом собрались новые, полной грудью вздохнувшие люди, люди нового подвига и новой человеческой этики.

Наша этика уже не несет в себе припадочной истерики, выпячивания личности, в ней нет надрыва неуют и одиночества.

Происшествие в «Звезде»

Известно, что критики нередко грешат невоздержанностью в похвалах: едва допишет писатель первую свою вещь, вокруг нее уже клубятся туманные облака критического ладана. Только через год обнаруживается истина: вещь чрезвычайно слабая! Книга стоит на полках всеми своими переизданиями.

Нечто подобное происходит с романом Ф. Олесева «Возвращение», напечатанным в журнале «Звезда» в невиданном еще парадном антураже. Роман появился в сопровождении двух статей его «покровителей» — Б. Лавренева и А. Амстердама — случай, заслуживающий особого внимания.

Из статей А. Амстердама и Б. Лавренева видно, о чем мечтали критики, что хотели они найти в романе: правдивость, типический образ человека, отражение силы советского строя. Видно, куда критики ехали. А теперь посмотрим, куда приехали.

И с автором романа и с его редакторами-покровителями, к сожалению, произошло то же, что произошло с беспризорником Валеткой из романа «Возвращение».

Валетка выезжает из Ленинграда севастопольским поездом, забравшись «в ящик под вагоном прямого сообщения». Однако читатель скоро начинает недоумевать: в каком же направлении поехал Валетка?

«За Ростовом-на-Дону, в канавах... переливалась вода». Ясно, Валетка едет на Кавказ. Поезд едет дальше.

«...Суровая русская речь смешалась с гортанными выкриками грузин; здесь можно было услышать напевные голоса казачек и однотонную песню армянина».

И вдруг...

«На утро четвертого дня Валетка приехал к веселому морю, в теплый солнечный Севастополь».

Ехали на Кавказ, а приехали в Крым. Может быть, Крым и не хуже Кавказа, но все же приключение это — необычное.

А при дальнейшем чтении обнаруживается, что вообще вся «поездка» задумана не туда, куда хотелось бы отправиться редакторам романа. Читатели жаждут «возвращения», но и на него в романе нет надежды. А. Амстердам в своей хвалебной статье заверяет, что роман «отражает силу советского строя». Это прекрасная цель путешествия, но в романе, в сущности, нет советского строя. Если говорить обыкновенной прозой, то необходимо признать «Возвращение» вещью совершенно аполитичной. Приключения Валетки проходят в стороне от советской действительности. Валетка живет в блатном мире, решительно обособленном от советского строя. Представители последнего, если верить Олесову, встречают Валетку довольно бестактно. На просьбу Валетки сделать из него моряка ему отвечают:

«Мы тебя заставим пока картошку на кухне чистить...»

Как раз эта угроза и побуждает Валетку отказаться от помощи!

Среди немногих советских людей, выведенных в романе, есть некий корабельный доктор. Автор рассказывает, будто бы этот добрый доктор ни с того ни с сего, решительно без всякой цели пригласил двенадцатилетнего Валетку к себе в каюту и оказал ему такую «помощь»:

«— Вот тебе сигара! Гаванна. В Алжире покупал...

Валетка сел в кресло и закурил.

Доктор угостил его каким-то необыкновенным заграничным вином...»

И все. Больше доктор в романе не встречается. Не правда ли, странный советский доктор?

Мальчика встречают и другие «советские люди»:

«Валетка протянул руку.

Вахтенный прижег ему ладонь папиросой...»

«Они долго издевались над Валеткой. Они посылали его на берег в ларек. Они просили его купить полбутылки галльона, да покрепче, и килограмм свежего камбуза. Они задавали ему всякие каверзные вопросы, а Валетка стоял перед ними серьезный, бледный и смотрел им в глаза доверчиво и печально».

Неужели это советская картина? Советские люди издеваются над голодным мальчиком, а голодный мальчик смотрит им в глаза доверчиво и печально?

Нет, с «советским строем» в романе неблагополучно. Эта цель «путешествия» явно не достигнута. Мы приехали вместе с Валеткой не в наш Севастополь, а в Севастополь времен Александра III.

Но, может быть, правильны другие наблюдения редакторов? Может быть, в романе действительно показаны «человек и его судьба»?

Пожалуй, в советской литературе нет другой вещи с таким сильным привкусом блатной экзотики. На нескольких страницах описывается встреча Валетки с «теткой Музой». Муза, оказавшаяся садисткой, заинтересовалась одиннадцатилетним мужчиной и привела его к себе в комнату. Автор со вкусом готовится читателя к исключительным событиям и задерживает занавес только после таких слов:

«Женщина с какой-то особой медлительностью подошла к зеркалу и начала раздеваться».

Центральный эпизод романа — воровская «хаза» Арефия и Калистры — изображен в исключительно экзотических красках. Это целая организация, обладающая традициями, прекрасным оборудованием, военной муштров-

кой и дисциплиной, даже своей философией. От этой «хазы» несет пинкертоновщиной и беспросветной выдумкой.

Характеров в романе нет. Сам Валетка представляет собой набор трудно объяснимых противоречий. Даже возраст Валетки уловить невозможно. Судя по развитию событий, в конце романа ему не должно быть больше двенадцати лет. Но на 120-й странице Валетку любит женщина, у которой он проводит пять суток. Автор вдобавок сообщает, что Валетка, возвращаясь домой, «шагал спокойно, ощущая в себе незнакомую раньше силу». А в финале Валетка поступает как ребенок: идет наниматься штурманом на пароход, хотя не имеет никакого понятия о том, что такое штурман. В этой детской неопытности и заключаются все мотивы «возвращения».

Литературная слабость и недоработанность романа бросаются в глаза. Роман переполнен немотивированными положениями. Почти на каждой странице у читателя возникают вопросы: почему для Валетки слово «мама» непривычно? Для чего изображается костер на улице? Почему на трех страницах подробно описан пьяный грузчик? Зачем вспоминается Христос, ходящий по водам? Откуда у Валетки кулацкие мечты о прелестях деревенской жизни, если он никогда не был в деревне?

Автор «Возвращения» Ф. Олесов — начинающий писатель, сам когда-то бывший беспризорный. Он заслуживает помощи и внимания; он несомненно литературно способный человек. Но в редакции «Звезды» не сумели помочь начинающему писателю.

Критические статьи Б. Лавренева и А. Амстердама показывают, что над романом слишком много «поработали». Б. Лавренев рассказывает о своем разговоре с автором, когда тот принес ему рукопись:

«Два года тому назад, когда Олесов впервые принес мне рукопись своего романа, это был пухлый том, в котором наряду с хорошими кусками была масса воды, ненужных повторений, растянутости, зоологического натурализма в изображении «ужасов» беспризорничества и прочих дефектов, свойственных неопытной писательской руке.

Получив крепкий ледяной душ, Олесов не растерялся, не обиделся»...

Хорошо, что Олесов не растерялся, но... он, несомненно, простудился от «ледяного душа»: в романе на каждом шагу слышен нехороший литературный кашель. Редакционные доктора выпустили на сцену простуженного, хрипящего, кашляющего автора и радуются на весь мир:

— Смотрите, какой у него замечательный голос!

Детство и литература

Воспитание нового гражданина происходит у нас везде. Трудно назвать такое место, такой общественный процесс, такое общественное явление, где не происходило бы становление нового человека. Коллективизация нашего села есть, может быть, самый яркий в истории случай активного и целеустремленного перевоспитания масс, одно из самых глубоких и смелых по замыслу педагогических явлений человечества.

Перед нами раскрываются широкие политические перспективы, далеко, впрочем, не мирные и далеко не безоблачные. Впереди у нас не только побе-

ды, но и борьба. Для этих побед и для этой борьбы воспитываются люди, они сейчас растут в нашей семье и в нашей школе.

Как же отражает советская литература важнейшие явления в области воспитания будущего гражданина?

В этой статье мы не будем касаться литературы, предназначенной для детского возраста. У нее свои способы освещения жизни. Точно так же мы оставляем в стороне работы советских писателей, касающиеся дореволюционного времени. Нас здесь интересует художественная литература, изображающая советские дни.

Можно назвать очень немного произведений художественной литературы, посвященных вопросам воспитания советских детей, но все эти книги говорят о детях-«правонарушителях». Правда, и в этой узкой теме можно всколыхнуть вопросы общего воспитания. Но этого не случилось. В нашей литературе о правонарушителях больше романтики беспризорности, чем педагогики.

Отношение нашего общества к преступнику и беспризорнику ярко отличается от отношения буржуазного общества. Уже одно это — большая и особая тема. Между тем у некоторых авторов описание жизни беспризорников принимает форму любования ими. Здесь — большой простор для дурного вкуса, для дешевого и бездеятельного романтизма, для дешевой сентиментальности. Некоторые наши авторы интересуются не вопросом о формировании характера человека, а только тем, насколько необычайна, остроумна и привлекательна анархическая поза беспризорного.

Разумеется, преступник — явление отрицательное. Никакого удовольствия фигура беспризорника живому и культурному человеку доставить не может. Она может представлять интерес только с точки зрения педагогической.

Но как раз педагогический момент в нашей литературе отражен очень неудачно. Первой ласточкой этой литературы были «Правонарушители» Сейфуллиной. Педагогическое действие представлено здесь педагогом-чудаком Мартыновым, о котором даже беспризорник Гришка отзывается с осуждением: «Обезьяну эдакую беспокойную в зверинце видал...» Этот Мартынов, на каждом шагу дергающийся и кривляющийся, проповедующий своеобразный пантеизм¹ и отрицание семьи, мог, конечно, поразить на некоторое время десятков-другой ошеломленных жизнью беспризорных, но серьезного воспитательного дела поручить ему нельзя, а тем более нельзя видеть в нем какой-либо «прообраз» социалистической педагогики.

В таком же жалком состоянии представлена воспитательная работа и в «Республике Шкид» Белых и Пантелеева. Собственно говоря, эта книга есть добросовестно нарисованная картина педагогической неудачи. Книга наполнена от начала до конца описаниями весьма несимпатичных приключений «шкиды», от мелкого воровства до избиения педагогов, которые в книге иначе и не называются, как «халдеи». Воспитательный метод руководителя «шкиды» Викниксора и его помощников совершенно ясен. Это карцер, запертые двери, подозрительные дневники, очень похожие на кондуит. Здесь сказывается полное бессилие педагогического «мастерства» перед небольшой группой сравнительно «легких» и способных ребят. До самой последней страницы проходят перед читателем якобы занятные трюки одичавших воспитанников.

В «Утре» Микитенко есть попытки остановиться на некоторых воспитательных принципах, но слишком много внимания автор уделяет блатному великолепию беспризорного мира. Герои Микитенко доходят до такого парада, что отказываются даже спать на чистых постелях и есть хорошо приготовленный обед. Здесь любование беспризорной «красотой» доходит у автора до степени восторга. Педагогические деятели «Утра» не имеют лица. Главный из них, Грипич, с некоторой гордостью утверждает, что даже «ужасный» педологический кабинет (ужасный — значит очень бедный) в его руках — важное оружие. Это вовсе не значит, что Микитенко выступает как сторонник педологии. Сия знаменитая наука интересует его так же мало, как и Грипича, но, поскольку роман был задуман на тему педагогическую, вполне прилично было упомянуть и о педологии.

Из указанных «правонарушительских» книг невозможно ни представить себе картину советского воспитания, ни тем более прикоснуться к спорным вопросам нашей педагогики. Педагогически эти книги так же нейтральны, как и бесполезны.

Что же имеется в нашей литературе о школе и семье как факторах воспитания?

Почти ничего.

Особняком стоит «Дневник Кости Рябцева» Н. Огнева. Можно спорить о верности нарисованной здесь картины нашей школы в первые годы нэпа, но нельзя отказать этой книге в живом и здоровом остроумии, в удачно схваченном колорите юношеского общества. В книге педагогика еще беспомощна, школа еще слабо организована и часто вызывает ироническую улыбку.

Дети в произведениях наших писателей, как правило, отсутствуют. Герои наших романов и повестей принципиально бездетны, наше советское общество имеет чрезвычайно взрослый вид.

Между тем дети составляют самую красивую, самую звучную и радостную часть этого общества. Изображая советскую жизнь в искусственно созданной тишине бездетности, не рискуем ли мы получить сильно искаженную картину? Взрослые без детского окружения не будут ли просто «ненастоящими» взрослыми?

Детские фигурки только изредка мелькают на страницах наших книг, но роль этим фигуркам назначена чисто служебная. В самом лучшем случае ребенок выступает как украшающая подробность, его значение не превышает значения других предметов авторского натюрморта: платья, мебели.

В книге Юрия Германа «Наши знакомые» есть такой симпатичный мальчик Федя, сынок главной героини Антонины. Он необходим как усложнение и без того сложной жизни героини, он придает некоторым страницам характер непритязательной и милой лирики, но присутствие его не несет с собой никаких проблем, ни воспитательных, ни человеческих. Федя — это эстетический орнамент. Недаром автор заставляет его выражаться интересным и симпатичным слогом. В самые трудные минуты жизни матери Федя больше всего интересуется игрушкой-зайцем, и этот заяц играет в романе роль, пожалуй, не менее значительную, чем сам Федя. Круг приключений Антонины кончен, кончен и роман — ни автор, ни читатель не интересуются, что будет дальше с Федей.

Такую же служебную роль играет и Зямка в «Дороге на океан» Леонова. Как и Федя, Зямка просто «хороший» ребенок, специально приготовленный автором для духовного отдыха умирающего Курилова. И этот ребенок, как и все прочие литературные ребенки, говорит специальным украшающим языком: «Она бюлье вешает на чурдаке»; но Леонов не довольствуется такой сравнительно пассивной формой детского действия. В предсмертной тревоге Курилова такие разговоры были бы слишком пресны. Поэтому Зямке поручается гораздо более ответственный диалог. Зямка прямо спрашивает Курилова:

«— Ты шмерть боишься?»

И в конце романа Зямка утешает Курилова:

«— Может, еще выждоревеешь...»

На этом роль Зямки кончена.

Некоторые авторы пользуются детскими фигурками для своих эгоистических целей, пожалуй, даже чересчур безжалостно. В рассказе Василия Гроссмана «В городе Бердичеве» изображается только что родившая мать, комиссар батальона Вавилова. Красные оставляют город, в него с минуты на минуту должны вступить поляки. Мать примиряется с тем, что ей придется остаться, пока красные снова возьмут город. Но вступают не поляки, а красные курсанты. Их боевая песня на улицах города решает судьбу новорожденного.

«...Видели, как по улице вслед курсантам бежала женщина в папаше и шинели, на ходу закладывая обойму в большой тусклый маузер».

А «проснувшийся Алеша плакал и бил ножками, стараясь развернуть пеленки».

Мать оставила только что рожденного ребенка в случайной еврейской семье. В рассказе не изображается никаких переживаний матери по такому случаю, может быть, потому, что ребенка этого родил не комиссар батальона Вавилова, а сам автор Василий Гроссман.

Гораздо лучше поступил тот же автор в рассказе «Муж и жена». Рассказ изображает семейную драму, измены и прочее. Автор вполне правильно решил, что раз есть семья, должны быть и дети. Но чтобы не возиться с ними на страницах книги, он остроумно вписал в первые же абзацы рассказа:

«Верочку Ариша увезла с утра к дедушке».

В дальнейшем о Верочке не вспоминают ни автор, ни ее родители.

Эта Верочка Гроссмана может служить моделью бедных советских детей. Авторы отправляют их к дедушке, чтобы они не мешали взрослым жить, совершать подвиги, иногда совершать и гадости.

Можно еще вспомнить несколько детских фигурок в нашей литературе, но искать в ней воспитательные проблемы или хотя бы детские характеры было бы совершенно бесполезно. Даже в вещах, специально посвященных детской личности, дети выступают обязательно в искусственной роли. Такова «Таня» Сейфуллиной, двенадцатилетняя девочка, существо ходульное, резонерствующее, воспринимающее мир «по-взрослому».

Нет, дети, роль которых не идет дальше сюжетного орнамента, — это не наши дети. И детские «словечки», книжное детское остроумие, сделанное специально для того, чтобы щекотать чей-нибудь испорченный вкус, нам не нужны. А любовь к таким словечкам у авторов иногда доходит до разме-

ров, абсолютно неприличных. В рассказе Сейфуллиной «Молодость» умирает девушка.

«...Мать спросила:

— Что дать тебе, доченька, что?

Нина взглянула на мать совершенно сознательно и ответила строго:

— Откуда я знаю? Я умираю в первый раз».

Ведь правда же трудно не улыбнуться этому остроумию не то умирающей девушки, не то здравствующего автора.

Все эти дети — случайные фигуры в нашей литературе. Мы не верим в этих однообразно хороших детей потому, что не видим их жизни и их индивидуальности. И совершенно уже мы не видим в наших книгах советской школы, советских воспитательных проблем и тех трудных педагогических положений, которые на деле так часто занимают и нашу семью, и наше общество. Еще меньше мы видим, как в детстве воспитывались действующие в романах герои.

Ни в какой мере мы пока еще не можем выдержать сравнение с нашими классиками, которые так много уделяли внимания детству своих героев. Вспомним картины детства Обломова, Евгения Онегина, Наташи Ростовской, детей из «Пошехонской старины», из романов Тургенева, «Детство» и «Отрочество» Л. Толстого, «Детство» М. Горького и др.

Это печально в особенности потому, что детская жизнь — органическая часть всей нашей жизни. Мы не имеем права забывать о детстве, ибо это значит игнорировать требование художественной правды.

Наша художественная литература должна уделить детям большее творческое внимание. В ее изображении советские люди не должны выступать как бы обреченно-бездетными. Дети — это живая сила общества. Без них оно представляется бескровным и холодным. Изображая наше общество без детей, советская литература обедняет его, дает картину, лишенную богатства красок и подлинной жизненности.

Вредная повесть

У меня есть знакомый мальчуган, который умеет замечательно мило спрашивать:

— Зя что?

В этой форме объединяются у него все виды пытливости. «Зя что» означает и «почему», и «отчего», и «для чего», и «с какой стати».

Вот и мне хочется спросить редакцию «Литературного современника» и Наталью Гирей: «Зя что?»

Повесть Натальи Гирей «Шестьдесят восьмая параллель», напечатанная в четвертой и пятой книгах журнала, вызывает у меня тяжелое недоумение и лишний раз возвращает к старому, давно надоевшему вопросу: до каких пор мы будем печатать что попало, до каких степеней может доходить у нас редакторская небрежность, литературная и художественная всеядность?

Только при очень большой безответственности можно печатать в журнале любую вещь, если она написана достаточно грамотно и если формально она касается темы более или менее актуальной. Как будто редакторы не обязаны задумываться над вопросом: как подается тема, какие

мысли и чувства вызывает ее разработка у читателя, насколько художественно и интересно она сделана, наконец, для чего книга написана?!

Дело происходит на строительстве нового города на севере, у залежей апатитов. Но ни новый город, ни строительство, ни апатиты не интересуют автора, отношение к ним по меньшей мере бесстрастное, если не хуже. Картины строительства нет, а его детали, разрозненные и беспорядочные, участвуют постольку, поскольку затрагивают кулацких героев повести. Картина стройки вызывает у читателя, пожалуй, даже неприятный осадок:

«...Два больших серо-зеленых трансформатора. Около трансформаторов, в низких сквозных ящиках, как черепахи в зарослях, притаились черные, все в округлых линиях, моторы. Толстые провода клубками сытых ужей свернулись на солнце».

Для меня, как читателя, это неприятно. Для чего вызываются у меня эти образы черепахи и ужей, вообще образы гадов, если я хочу видеть моторы и провода? Почему автор не рисует передо мной ту радостную картину, которую я и без него чувствую в самой теме: моторы на шестьдесят восьмой параллели? Почему ужи?

Почему сама природа смотрит на меня из повести с явно недружелюбной миной:

«Над посиневшим вздувшимся льдом не слышалось ни птичьего гама, не хлопанья птичьих крыльев. Хибинская весна удивляла Оксану своей беззвучностью».

«Кругом серо-розовые валуны, щуплые, изуродованные ветром ели с ветвями, растущими в одну сторону. Каменистая земля. Поодаль лысые тусклые горы».

«Тлела зеленоватая, как недозрелая морошка, земля».

«Болезненный рыжий пух на горах».

«Рощи уродливой карликовой березы».

«Внизу медленно мертвело озеро».

Вот только такие пейзажи настойчиво «залезают в душу» читателя. А читатель не хочет верить, будто этот край уж так несимпатичен. Ведь в природе можно видеть разное: один видит замерзающее озеро, а другой — «мертвеющее», один чувствует весну, а другой — только ее беззвучность. Пожалуй, и к московской городской весне можно придраться: нет хлопанья птичьих крыльев!

На строительстве нового города используются раскулаченные и уголовные преступники. На фоне этой толпы автор хочет показать врага и дать картину «перековки». Враг в книге показан, я сказал бы, в избыточном количестве. В образах куркульского «паныча» Шовковшитного, молодого инженера-электрика Гордиенко, немца Ганса Лютиха враг преподносится читателю в лошадиной дозе.

Что это за враг, насколько он опасен, к чему он стремится?

Действий врага автор почти не показывает; главная роль, которая уготована врагу, — это произнесение речей. На протяжении полтора-два страниц читателю преподносятся петлюровские и фашистские речи, кулацкие стенания, страдания, мечты, бандитские сарказмы и гримасы бандитской любви. В этом и заключается все содержание книги, это и остается в памяти,

и именно от этого становится тошно и не хочется дочитывать книгу до конца.

Фигура Шовковшитного создана, кажется, специально для произнесения речей и словечек. В конце повести он «перековывается», но это происходит так неубедительно и так неожиданно, что о его перековке не стоило бы и говорить. На с. 76 Шовковшитный находится на верхней точке своего петлюровского «взлета», а на с. 93 он уже «перековался» и изменяет своему «вдохновителю» Гордиенко, которому только недавно, семнадцать страниц назад, давал горячую и преданную клятву.

Если поверить автору и признать «перековку» Шовковшитного действительно происшедшей, то все-таки останется тайной, куда же девался настоящий Шовковшитный, этот озлобленный, наглый, разложившийся и морально отвратительный человек. Чудо его «перековки» тем более невероятно, что в повести, собственно говоря, никто и не занимался его перековкой.

Шовковшитный в повести развернуто показан до «перековки». Сначала изображается его неудачная юность, смерть его отца, его жажда мести и самая месть: покушение на убийство председателя сельсовета, а потом ссылка в «несимпатичную» хибинскую природу. Здесь Шовковшитный становится организатором всякого сопротивления труду и представителем петлюровского цинизма.

Веньке Салых, одному из самых «порядочных» кулацких сынов, добившемуся бригадирства на стройке и мечтающему о хорошей комнате и женитьбе, принадлежит авторство довольно сомнительной символической линии, проведенной через повесть.

«Горноста́й — царский зверь. Раньше царям на шубы шел, теперь на экспорт бьют. Очень дорогой зверь, поймать его трудно, а в клетку засадить прямо невозможно. Я пробовал. Не берет еду, только глядит жалобно так и злобно».

Таким «царским горностаем», не выносящим неволи, и выступает в повести Шовковшитный. Венька Салых всегда называет его «горностающей», подчеркивая длящееся и очевидно значительное сравнение. А ближе к концу повести тот же Венька раскрывает идею сравнения до конца. У него для этого есть газетная заметка:

«Впервые в истории звероводства в Восточносибирском питомнике самка царского горноста́я родила в неволе... Мы стоим перед разрешением проблемы научного планирования пушного хозяйства... Состояние зверей является лучшим опровержением оппортунистических теорий о невозможности культивирования царского горноста́я в питомнике».

Поневоле напрашивается мысль, что вся идея книги и заключается в этом расширенном сравнении. Для Шовковшитного новое общество есть не больше, как принудительный питомник.

Шовковшитный уверен, что Советской власти не удастся его переделать, но повесть показывает, что он ошибся. Его все-таки переделали, не истратив на это большой энергии.

Кто, какими путями?

Пути перековки мало показаны в повести. Здесь есть только один настоящий большевик, да и настоящий ли он, кто его знает? Кажется, взгляды отсекра Геничева на процесс перековки не многим отличаются

от взглядов Веньки и Шовковшитного. Первое слово, которое слышит от него Шовковшитный, такое:

«— Об камень споткнешься, голову проломить себе можешь».

Геничев единолично руководит стройкой. На одной из страниц книги попадает директор, но автор так мало им интересуется, что даже не называет ни его имени, ни фамилии. И поселенцы говорят о Геничеве так:

«— Никитка, он ничего — хозяйственный паренек!»

И это правильно: ответственный секретарь парткома, единственный представитель Советской власти и партии на стройке, Геничев есть не больше, чем хозяйственный паренек. Описывается он по старинному штампованному способу описания таких пареньков. Его соприкосновение с действительностью редко выходит за границы таких проявлений:

«— В три смены работать станем.

— Ладно, обмозгуем. Поговорю с профоргом.

— Надо подумать, как к нему подойти».

Не удивительно, что на всем протяжении повести мы не встречаем ни политической страсти, ни человеческой теплоты, ни яркого, зовущего слова. И поэтому вся стройка читателю не кажется большевистской, не представляется большим и значительным делом.

И вот этому самому Шовковшитному, переполнившему книгу безобразными фашистскими и петлюровскими речами, автор позволяет любоваться лицом Кирова, видеть в нем «не только изображение вождя, но и карточку любимого старшего товарища». Между тем читатель расстается с Шовковшитным с неприятным чувством настороженности, он слишком хорошо запомнил его ненависть, слишком хорошо видит его хищную фигуру.

Другой «горноста́й», Гордиенко, изображен не менее злобным и решительным врагом. Но Гордиенко не «перековывается». Автор неожиданно приканчивает его. Гордиенко погибает в перестрелке после неожиданного молниеносного вредительства. И от этого образа остаются почти одни разговоры и призывы.

То, что написано на 150 страницах этой повести, оставляет у читателя впечатление тяжелое.

Книга сделана настолько неудачно, с таким нарушением законов перспективы, с таким преобладанием вражеских тонов и вражеских слов, с таким завуалированным советским горизонтом, с такими подозрительными сравнениями и с такой холодностью, что при всем моем желании быть снисходительным к молодому автору я не могу быть снисходительным.

Сила советского гуманизма

Величественные пространства СССР окружены мраком фашистской злобы и первыми вспышками войны.

Новое истребление человечества среди бела дня открыто готовится вокруг нас.

Невиданное в истории мира совершилось: после многих десятилетий классовой борьбы, в конце кровавых путей раздробления, эксплуатации и войны вырос на равнинах некогда нищей и отсталой России сияющий

великий социализм. Он создан героической борьбой замечательного поколения людей, гением их руководителей Ленина и Сталина.

С каждым новым днем он все выше и выше вздымает к небу дворцы нового человеческого счастья, он поражает мир величавым спокойствием нового человеческого достоинства, новой культуры, нового искусства.

Советская литература — художественное отражение мысли этого нового человечества.

Жизнь Советского Союза, каждое его деяние есть дело всего человечества, это дело в самых своих корнях насыщено глубочайшей уверенностью в своей правоте, это дело освобождения, дело гуманизма.

И одна из величайших и прекрасных особенностей советской литературы — постоянное, неиссякаемое звучание гуманизма, пленительная красота лучших человеческих стремлений, о которых на протяжении всей истории мечтали самые совершенные люди.

В 1916 г., в самое мрачное время мировой бойни, Маяковский сказал:¹

И он,
свободный,
ору о ком я,
человек —
придет он,
верьте мне,
верьте!

И он пришел — человек!

Гуманизм нашей литературы, развернувшийся перед всем миром в эпоху последних катастрофических схваток, когда-нибудь будет признан одним из самых поразительных явлений революции. В чем сила, в чем уверенность нашей великой гуманистической проповеди?

Мы окружены буйным безумием агонизирующего империализма. Где-то там, в чащах дымящих труб Рура, на нищих полях Италии, в тесноте японских ограбленных городов, последние капиталисты истории жаждут войны. Они протягивают жадные руки во все стороны: к железу, к углю, к машинам, к нефти, к хлебу.

В смертельном отчаянии конца каждый фашистский лагерь бредит о завоевании мира. И Гитлер, и Муссолини, и японские генералишки — порождение этого общего бреда.

Против этой мировой шайки сумасшедших мы подняли и высоко держим наши гуманистические знамена.

В этом лишний раз сказывается наше историческое здоровье — здоровье побеждающего молодого социализма.

Присмотримся только к одной нашей литературной теме, к той теме, в которой особенно разительно нарисована пропасть между нами и ими.

В советской литературе на страницах очень многих романов, повестей и рассказов проходит тема строительства и индустриализации. Заводские цехи — вот те самые громады, те самые машины, краны, экскаваторы, которые на Западе встают в воображении писателя как символы подавления и истощения человечества, как представители жадного, бесчувственного и беспринципного Молоха, — у нас возносятся, как храмы, овеянные радостной симпатией нового человека. Там от них рождается захватническая жадность, располагающаяся вширь энергия эксплуататоров, у нас

от них родится только энергия побед над природой, возносящаяся вверх энергия общечеловеческого богатства. Там между машинами бродит закованный в нормы квалифицированный раб, у нас над ними стоит свободный хозяин — человек. И так естественно: там машины и богатство родят войну, у нас от них исходит мысль о едином счастливом человечестве — социалистический гуманизм.

Гуманизм нашей литературы не заключен в скобки формальных пожеланий, он не литературная поза, он заключен в самих наших темах, в самом тоне писателя, в его социалистическом самочувствии. Социалистический реализм может с полным правом быть назван гуманистическим реализмом, ибо наш реализм построен на оптимистической убежденности, на мажоре всей нашей жизни и на предвидении освобождения человечества.

И поэтому наш гуманизм читается в каждой нашей строчке и дополнительно между всеми строчками. О чем бы ни рассказывала наша литература, о «дне втором» нашего строительства, о будущей войне «на Востоке», об одноэтажной Америке, о жизни замечательных пионеров, о перевоспитании беспризорных, о любви, о ревности, о завоевании Северного полюса и о детстве Пушкина, с каждой страницы смотрит на читателя лицо свободного человечества, будущее лицо мира. И это лицо и его уверенная радость могущественнее и убедительнее оскаленных зубов фашизма! Знамя гуманизма — это знамя не благодной мечты, это знамя непобедимой силы.

И поэтому в нашем гуманизме совершенно не присутствует мысль о примирении, он не пахнет бездеятельным, словесным пацифизмом.

И если вспыхнет война, наш гражданин и гражданин мира под знаменем гуманизма спокойно свернет шею любой фашистской гадине, под каким бы национальным флагом она ни бросилась на СССР. И эта победа будет самой гуманистической победой в истории. Она будет той победой, о которой мечтал Гейне:²

В драке со скотами буду
Драться я за человека,
За исконное святое
Человеческое право!

Закономерная неудача

«Закономерность» Н. Вирты берешь в руки с большим интересом. Вызывают его и предыдущая удача автора, и тема нового романа.

Действительно, тема чрезвычайно важная: пути врагов, их зарождение, приемы действий врага и закономерность его гибели. Тема важная, чрезвычайно важная. Художественное произведение, написанное на такую тему, должно обогащать наши познания, воспитывать нашу бдительность, заострять нашу ненависть.

Н. Вирта с этой темой не справился. Он подошел к ней без достаточных знаний, без уважения к теме, без уважения к читателю. Необходимой серьезности не нашлось и у его редакторов.

На протяжении 30 печатных листов изображается захоластье, а на его фоне — история группы детей из контрреволюционного стана. История эта переплетается с работой троцкистских групп, диверсантов, кулаков.

Как все это изображается?

Дело происходит в городе Верхнереченске, в наше, советское время. Город находится недалеко от Тамбова.

«Губернский город Верхнереченск, если верить летописцу, был заложен на берегу реки Кны в семнадцатом столетии и в течение многих лет служил сторожевым пограничным пунктом великого княжества Московского».

Город, заложенный в семнадцатом столетии в бассейне Волги, не мог быть пограничным пунктом, да еще великого княжества Московского, а летописцы в это время вообще не выступают свидетелями.

Каков город, таковы и герои.

«Евгений Игнатьевич Ховань был большой фигурой при последнем Романове».

Через двенадцать строчек:

«Евгений Игнатьевич был неудачник. С карьерой ему не повезло, он дослужился лишь до полковничьих эполет, хотя был умнее многих генералов».

В особенности глубокомысленно здесь звучат слова насчет ума генералов. И таков стиль всей книги. Авторский произвол, безмятежная неряшливость, пренебрежение к читателю. И все это без злого умысла, нечаянно, как будто и автор и редактор заигрались, как дети. Иногда эта игра вызывает снисходительную улыбку, иногда раздражение, но серьезно относиться к ней невозможно. И все-таки: игра происходит на большой литературной советской дороге. Место для игры совершенно не подходящее, и поэтому на каждом шагу происходят несчастные случаи.

Вот Алексей Силыч — председатель ревкома, «небольшой, жилистый и пожилой уже человек». Он «несколько раз допрашивал Льва от отца. Лев упорно стоял на своем: он не знает, где скрывается Никита Петрович».

Председатель ревкома, да еще пожилой, казалось бы, достаточно солидный персонаж, но и его привлекли «играться». И он играет. На четырех страницах Алексей Силыч буквально исповедуется перед тем самым недорослем, которого он еще недавно допрашивал. Исповедуется в довольно «душевных» тонах.

«Смеяться разучился, ей-богу. И природу начал очень остро чувствовать. Сидел вот тут и мечтал о всяких, знаете, странных вещах. Например, хотел забраться на небо и посмотреть оттуда на людей. Веселое, должно быть, зрелище. Старею, вот мечты появились».

Этот стареющий, и мечтающий, и болтающий предревкома в романе вообще не нужен. Просто пришла автору блажь: пусть такой предревкома играет с нами.

Когда обнаруживается, что в окрестностях скрывается бандит-антоновец Сторожев, предревкома не принимает никаких мер, что-то бормочет, ему и в голову не приходит, что бандита мог спрятать тот самый Лев, которого он несколько раз допрашивал.

И после этого Алексей Силыч исчезает из романа. А в конце романа снова появляется, уже в роли начальника ГПУ в Верхнереченске. Но этот новый Алексей Силыч никакого отношения не имеет к старому, это совершенно другой человек, с другим характером.

Есть группа героев, которые из игры не выходят. Это дети: Виктор

Ховень, Андрей Компанеец, его сестра Лена, Женя Камнева, Джонни и Коля Зарьев. С ними игра затевается серьезная и по всем правилам литературы. Описываются родители, няни, дети, условия воспитания. В этом описании автор не жалеет ни слов, ни бумаги, ни читателя. Неудачника царедворца мы уже видели, А вот Сергей Петрович Компанеец.

«Он думал об одном: как бы оторвать Украину от Москвы и завести в ней европейские порядки. Когда товарищи резонно указывали ему, что украинский народ и сам может быть хозяином на своих полях и что не в отделении дело, Сергей Петрович лишь ругался, так как никаких твердых убеждений не имел».

Чем не портрет? И «думал только об одном», и «убеждений не имел». И все это ни к чему. Не имеет это значения ни для самого Компанейца, ни для его детей. Просто к слову пришлось. Через десять строчек сказано, что «мечты о вызволении Украины он тотчас забыл», но и этому не верьте: на следующей странице он снова мечтает.

Таких страничек, случайно подвернувшихся под руку, ненужных характеристик, лишних диалогов в романе очень много.

Но главные герои все-таки иногда появляются на поверхности. Читатель встречает их во втором классе гимназии. Но уже через несколько страниц они выступают как персонажи более взрослые. Читателю трудно разобраться в их личных характерах, так как автор любит поворачивать их по первому капризу, как придет в голову.

К примеру, Джонни:

«Казалось, не было в гимназии мальчишки острее и изворотливее». «С теми, кто его третировал, он расправлялся безжалостно. Он знал десять способов, любой из которых мог извести каждого...»

Все это напечатано черным по белому, но этому не нужно верить. В любой момент автор захочет и переделает и даже сам этого не заметит: через несколько страниц Андрей отнимает у Джонни пистолет ...и ничего не происходит.

«Джонни хотел было зареветь, но в разговор вмешалась Лена.

— Отдай, — сказала она Джонни, — он уже намок...»

И это пройдет бесследно, Джонни будет выступать с новыми чертами.

Главной сюжетной линией автор хочет сделать длительную игру, организуемую Опанасом. Опанас — неряшливый во всех отношениях человек, автор относится к нему также неряшливо. На протяжении всего романа все герои относятся к Опанасу презрительно, но это не мешает ему быть руководителем этой группы молодежи. Почему? Неизвестно почему. Никаких данных для этого у него нет.

На нескольких страницах в романе проносится восстание, руководимое «неудачным царедворцем» Хованем, — отголосок антоновщины.

Опанас водил по городу бандитов и указывал им квартиры коммунистов. Все об этом знают. Но дело оканчивается таким детским диалогом:

«— Опанаса выпустили, — сказал между прочим Джонни.

— Откуда? — изумился Виктор.

— Из тюрьмы. Кто-то донес, что он указывал бандитам дома коммунистов. Ох, и похудел же он!

— И вообще стал другим, — прибавила Лена».

Читатель, не верьте этому. Опанас и не похудел, и не стал другим. Все это нарочно. Литературная игра.

Она продолжается:

«По-видимому, она (Лена) догадалась, что Виктор переживает внутреннюю борьбу между чувствами к ней и к Жене Камневой.

Николай Опанас, зная обо всем этом, решил предложить ребятам новое занятие».

В таких невинных словах начинается новая игра в «круг вольных людей». Автор делает вид, что это игра опасная, с политическим привкусом. Но игра нигде не описывается: автору некогда. Следует новый авторский каприз: вся группа ребят увлекается драмкружком, все оказываются талантливыми актерами, и Советская власть отдает в их распоряжение городской театр. Быстро, дешево, увлекательно! Кто там еще играет в театре, автору неинтересно, да и читатель уже приучен к тому, что судьба играет человеком.

Но вот выдвигаются новые силы, во всю разворачиваются «подвиги» главного героя романа — Льва Кагардэ. Эта фигура — соединение всех пороков: мститель, развратник, бандит и вор. Как сформировался этот гнусный человек — в романе не показано, хотя Н. Вирта описывает множество эпизодов детства и юности Льва. А когда Лев начинает свою контрреволюционную работу, совсем уже законспирирован внутренний мир его. За Кагардэ стоит кто-то таинственный, не разберешь — кто. Лев пропадает несколько лет за границей, не разберешь — где. К нему приезжает роковой «одноглазый». Замогильными голосами они разговаривают. А разговор такой:

«— Вы сообщили, будто бы есть какие-то шансы в деревне?

— Так точно! Мне кажется, в партии начинается борьба вокруг деревенских дел. Вероятно, будет принята очень суровая линия: кулаки мешают Советам. Советы стараются убрать кулаков.

— Не перестреляют же они их?

— У них новый термин — коллективизация».

Не правда ли, любопытные враги, которые из-за границы прут через весь Союз, чтобы в Верхнереченске прослушать элементарную беседу о том, что Советы стараются убрать кулаков и что есть такой термин «коллективизация»...

Показываются в романе и троцкисты. Их представляет главным образом начальник угрозыска Богданов. И Богданов и остальные троцкисты в романе очень глупы, комичны и болтливы. Богданов настолько глуп и нерасторопен, что, будучи начальником угрозыска, не может найти даже помещения для подпольного собрания троцкистов и доверчиво принимает совет Льва собраться в театре. Аргументы Льва, правда, очень убедительны: от трех до шести в театре никого не бывает. И «доверчивые», «наивные» — по представлению автора — троцкисты устраивают подпольное собрание в театре, на виду у актеров и всего города. Эти доверчиво-глупенькие троцкисты показаны, впрочем, и с другой стороны — как бандиты, но сделано это весьма наивно.

Мы прекрасно знаем, до каких бандитских и шпионских преступлений докатились троцкисты. Но ведь роман описывает событие 1927—1928 гг. Писатель должен показать здесь закономерность эволюции троцкизма, проследить те черты, которые уже тогда предопределяли эту эволюцию. По

Вирта выходит, что между троцкистами 1927—1928 гг. и современным троцкизмом нет никакой разницы. Облик современных троцкистов он механически переносит в обстановку 1927—1928 гг. Вирта не показывает превращения антиленинского политического течения в беспринципную и безыдейную банду разбойников с большой дороги, наемников германской и японской фашистских разведок. Таким образом, читатель не получает представления о троцкистской контрреволюции.

Неправильность показа сказывается и в деталях. Художественное произведение не имеет права оперировать заезженными средними понятиями, это право принадлежит только лубку. А вот, например, детали того же подпольного собрания троцкистов.

«— Не велено пускать, — сказал один из патрульных, здоровенный детина, похожий на грузчика».

«Около телефона сидел тип, столь же подозрительный, как и охранявшие вход в театр. Щека этого человека была подвязана грязной белой тряпкой».

Джонни подошел к телефону. Тип загородил аппарат.

— В чем дело? — спросил его Джонни.

— Позвонишь завтра, — ответил тип и сплюнул.

— У меня дома больные.

— Не сдохнут, — ответил тип и, взяв Джонни за шиворот, выставил его из канцелярии».

«Патрульные засучили рукава. Сергей Иванович посмотрел на их кулаки, в кулаках были зажаты свинчатки».

Что это такое? Подпольное собрание троцкистов в 1927 г.? Кто же не узнает в этих подозрительных типах обыкновенных членов «Союза русского народа» — черносотенцев? Н. Вирта срисовал их с карикатур 1906 г.: и свинчатки и даже щека подвязана, да еще грязной тряпкой.

Потом эти «дурачки» собираются в лесу, но группа подростков разгоняет их несколькими криками. Несмотря на это, «доверчивый» Богданов устраивает тайную типографию в помещении, предоставленном Л. Кагардэ. Впрочем, деятельность типографии оканчивается в опереточном жанре: печатается объявление «м о б и л и з а ц и я» — завтра представление в цирке! На базаре — паника. Автор хохочет: такой веселый этот враг и диверсант Лев Кагардэ!

Конец романа наполнен громом событий. Здесь уже автор разыгрался вовсю. Ограбление кассира, покушение на убийство секретаря губкома, авария на электростанции, пожар поезда. Все это устраивается всемогущим Львом; впрочем, устраивается без особого напряжения.

Чтобы ограбить кассира, Лев Кагардэ пускает в дело только что привезенного из деревни мальчика. Кассира ограбили — и мальчик снова как мальчик, милый ребенок. Совсем удалить его со страниц романа тоже нельзя: он еще пригодится для покушения на убийство секретаря губкома. Такие тринадцатилетние мальчики для этого дела самый подходящий элемент, особенно если дожидаться, когда мальчик заболит и будет в бреду. Как это не похоже на подлинные дела троцкистских террористов!

Конечно, все происки Льва Кагардэ оканчиваются пустяками. Как только начали гореть вагоны, Сергей Иванович, секретарь губкома, крикнул:

— Немедленно вызвать пожарную команду!

И это — все. Настоящей борьбы партии с троцкистскими прохвостами в книге нет. Все устраивается само собой. И опять множество несообразностей. Начальник ГПУ знает, каким поездом уедет из города Лев, а вот о диверсии на электростанции и о предполагаемом поджоге поезда ничего не знает.

В конце романа, описывающем события 1928—1929 гг., Лев Кагардэ показан как полностью разбитый и уничтоженный враг. Все его резервы исчерпаны, все «кадры» уничтожены. Похоже ли это на реальную действительность?

Всего не перескажешь. Пути верхнереченской жизни очень запутаны. Нет там только одного: нет закономерности и нет простого чувства меры.

На некоторых страницах, в особенности в картинах деревни, ясно виден энергичный талант молодого писателя; тем более незаконмерно с его стороны и со стороны его редакторов так небрежно и легкомысленно относиться к этому таланту.

На этот раз хочется только небрежностью объяснить весь этот несчастный случай. Объективно же мы должны понимать: иной молодой читатель пропустит все неувязки и несуразности текста, а вот эта бесконечная картина пустой игры в контрреволюцию, перемешанной с любовными приключениями, может и запомниться.

Еще опаснее та комически-пинкертоновская возня, которую автор хочет представить как работу троцкистов. Мы уже хорошо знаем, что такое троцкисты, с кем они связаны и на что они способны. В интересах повышения нашей бдительности недопустимо подменять это знание легкомысленной и безответственной выдумкой, изображающей врага народа как глупого и бестолкового чудака.

Легкомысленное отношение к важнейшим и ответственным темам нашей жизни и борьбы, попытка подменить серьезную работу скороспелым лубком — вот что определило неудачу романа Вирты.

Рассказы о простой жизни

Владимир Козин рассказывает о жизни предельной простоты. В ее течении как будто так мало разнообразия, что автору приходится на каждом шагу возвращаться к одним и тем же предметам, к одним и тем же мизансценам, к одному и тому же ряду картин: пустыня, овцы, собаки, солнце, ишак, луна, снова овцы, снова луна и собаки. В таком простом мире живут и работают люди: директор овцеводческого совхоза Метелин, зоотехник Кулагин, старики пастухи и пастухи молодые, студенты-практиканты Орешкин и Наташа.

В их жизни происходят события, сущность которых вовсе не так проста: трагическая смерть сына Метелина, раздавленного трактором, «трещинка» в личном счастье Наташи, полный героизма закат столетнего бродяги-пастуха Белудж-Хана, бежавшего из Ирана и только перед смертью нашедшего для себя и своего сына приют в Стране Советов.

Но и об этих событиях Козин рассказывает с такой суровой, лаконичной простотой, что и самый их трагизм как-то уместно размещается среди

аксессуаров пустыни, среди песчаных долин, жаркого солнца, овечьих стад и стерегущих стада собак.

Повесть Козина заканчиваешь с некоторым даже удивлением: что-то случилось, что-то такое важное сказал автор, что-то близкое.

В сдержанной, благородной манере автора много таланта. Я в особенности хочу подчеркнуть это утверждение. И этот талант не имеет вида сырой глыбы.

Козин умеет заставить читателя не только переселиться в будни пустыни, но и полюбить все, что там происходит.

Это умение у Козина свое, особенное, которое нельзя передать в простом пересказе, которое все заключено в сильные и строгие рамки его писательской индивидуальности. Его текст местами так прекрасно сделан, что у меня возникает большое желание цитировать большие отрывки, но и такой показ не достиг бы цели, потому что у Козина существует очень сильная сюжетная струя под текстом, в некоторых местах эта особенность его композиции настолько тонко выражается, что основная тема как бы прячется от глаз читателя, и требуется большой эстетический навык, чтобы ее увидеть.

Так изображен, например, образ Наташи. Ему посвящено всего шесть страниц.

Автор почти не касается душевного самочувствия Наташи. Читатель должен увидеть его в ее словах, поступках. Они изображаются на том же фоне жизни в песках, где все так просто и так понятно. Вот Наташа перевязывает руку подпаску Кадыру, которого поранил плененный волк. Наташа горячо отзывается на несчастье Кадыра, шутит, улыбается. Автор умеет в замечательном ритме деталей показать девушку в обстановке пастушеского быта пустыни:

«Одиннадцать щенят побежали вслед...»

«Голос возник в темноте, удивленный и звонкий. Одиннадцать щенят торопливо слизывали с песка разбрызганную кровь».

«Три толстых щенка перелезли через порог землянки и, испугавшись, выкатились обратно».

«...Наташа улыбнулась* Кадыру. «Не целуйся с волками!» — Она присела на песок и набрала в колени щенят».

Эти щенята как будто нарочно приглашены, чтобы самым милым образом подчеркнуть и умиротворить жизнь. И Наташа среди них, в несложных проявлениях этой жизни, кажется счастливой, радостной и прелестной в своей радости. Автор только мимоходом, в отдельной, как будто случайной строчке приоткрывает какую-то истину, может быть, даже и не важную. Вот Наташа заигралась с ишаком и вспоминает Орешкина, своего мужа.

«Как они похожи, — прошептала Наташа...»

Читатель о чем-то начинает догадываться, но автор, как ни в чем не бывало, рассказывает дальше:

«Ишак круто повернулся и повлек Наташу за собой. Это ему понравилось. Он стал крутиться. Наташа, не выпуская платка, летала, откинувшись,

* Кстати, в журнале «Красная новь» напечатано: «Наташа улыбнулся» — одна из опечаток, столь нередких в журнале «Красная новь».

вокруг упряма. С ноги ее слетела туфля. Она смеялась и кричала.

На крик прибежали одиннадцать щенят...»

Прибежали эти самые щенята, и читатель снова спокоен. Все благополучно у хорошей, симпатичной, живой Наташи. Она начинает хлопотать, чтобы достать воды для подсосных овец. Это очень сложно. Никто не хочет ей помочь, она сама пытается достать воду из глубокого колодца, роняет тяжелое кожаное ведро и, смущена и деятельна, спускается на дно колодца, задыхается, ее вытаскивают в обмороке. Попытки других достать это ведро также оканчиваются неудачей. Только прискакавший на белом коне красивый и удачливый Сафдар-Али достал ведро.

«Сафдар-Али выпрыгнул из колодца. Наташа обняла его и поцеловала. Пастухи засмеялись».

И этот случайный поцелуй проходит мимо читателя почти как шутка. Только постепенно автор показывает ничтожество Орешкина и дает основание читателю о чем-то догадываться. Но Наташа рассказывает пастухам сказку о рыбаке и рыбке, и читатель снова любит Наташей и не хочет думать о каких бы то ни было ее душевных ранах.

Рассказ Наташи о рыбаке и рыбке и отзывы слушателей сделаны Козиным в таком ярком плане, что читателю и в голову не приходит, что в это самое время Наташа страдает от неудовлетворенности своей личной жизнью, от тоски жизни рядом с ленивым, пустым Орешкиным. Только когда этот Орешкин говорит Наташе:

«Иди, стели постель, давно пора тебе спать. Все бродишь, блох набираешься», —

читатель начинает ощущать подземную сюжетную линию и понимает, почему Наташа обращается к ишаку с такими словами:

«Счастье бывает и с трещинкой».

Гораздо проще и доступнее рассказана история Белудж-Хана. Столетний пастух, только к концу жизни прибившийся к советскому берегу, нашедший здесь смысл жизни, покой и долг перед людьми, — тема незаурядной трудности, и Козин рассказывает о старике без усилий, просто и мудро, тем же лаконичным языком большой и скромной человеческой любви.

В повести Козина есть и небольшие срывы, может быть, только потому заметные, что они происходят на слишком хорошем фоне, автор сам заставляет читателя быть к нему очень требовательным. К таким срывам я отношу несколько фарсовую завязку истории с Кулагиным. Муж возвращается из поездки по степи, жена ожидает его с любовью, но он немедленно должен уезжать. Несколько часов, оставшихся в распоряжении супругов, заполняются досадными посетителями. Подбор этих посетителей, их разговоры и шутки автором сделаны небрежно.

Еще раз повторяю: все это бросается в глаза только на фоне литературной удачи автора.

Я не сомневаюсь, что в манере рассказа и мироощущения Владимира Козина заложены чрезвычайно большие возможности. Его «Рассказы о просторе» вызывают чувство настоящей литературной радости.

Но совершенно необходимо, чтобы автор перешел к темам более сложным и социально широким. В «Рассказах о просторе» больше хорошего зрения и хорошего слуха, чем мысли и анализа. Поэтому собаки, ишаки, ягнята часто выступают в таком же стильном антураже, как и человек, и автор

встречает их с такой же большой симпатией. В описании пастушеской жизни это не вызывает особенной диспропорции, но хочется пожелать Козину, чтобы он не ограничивался только пастушеской жизнью.

Нельзя скрыть того, что в том виде, как эта жизнь описана у Козина, это все-таки примитивная жизнь, и даже Метелин и зоотехник Кулагин не избежали признаков примитивности. Надо, чтобы свой свежий талант Козин проверил на темах более сложных.

О темах для писателей

В нашей литературной среде меня больше всего удивляет растерянность некоторых писателей; они ждут тем, они сидят без тем, они без тем страдают.

А в то же время тем так много, что я мог бы декламировать их список без передышки в течение нескольких часов. Их так много, что об отдельной теме нельзя даже и говорить. Можно говорить только о целых узлах тем, о тематических кустах и группах¹.

Лично мне самой значительной и требующей срочной разработки представляется та группа тем, которая касается самочувствия гражданина нашего, социалистического отечества. В особенности сейчас, когда не забыто еще дореволюционное время, эти темы должны быть разработаны, мы должны использовать метод сравнения. Ведь следующее поколение будет иметь такую возможность в более ограниченных рамах.

Это самочувствие нового гражданина, вот это ощущение новой эпохи, нового общества, новой свободы, нового человечества, новых психологических ходов и представлений, — в конечном счете есть тот советский патриотизм, который делает наш Союз таким уверенно сильным и уверенно счастливым.

Но это самочувствие в то же время не так просто и примитивно, чтобы о нем можно было говорить поверхностно, в форме простой констатации его существования. Эта группа тем требует глубокой и очень тонкой разработки, которая должна проникнуть до самых интимных и таинственных глубин человеческой психики. Это важно еще и потому, что в новом человеке мы не встретим ничего стандартного, остановившегося, мы должны изображать его «на походе», — в процессе самого бурного, невиданного в мире развития.

Художественная разработка этого тематического узла должна отразить в литературе тот мировой сдвиг в сущности человеческой жизни, который выражен в сталинской Конституции.

Радость нашей жизни

На просторной площади 1-го Государственного подшипникового завода сегодня похоже на праздник. И небо над заводом как будто праздничное, ясное, веселое, украшенное нарядными облаками. А на самом деле сегодня на заводе рабочий день, меняются смены, бегают грузовики, приходят и уходят переполненные трамваи.

Еще так недавно здесь не было никакого завода — голое поле и мелкие огороды. Сейчас к самому горизонту уходят заводские корпуса, асфальтные ленты дорог и тротуаров, цветники. Здесь сегодня оживленное, говорливое, радостное движение. Вечерняя смена вступает на работу, а между сменами собирается митинг.

В каждом слове оратора живут энергия и оптимизм счастливого, творящего советского народа. Речи звучат молодо. Они насыщены силой и уверенностью в силе. Некоторые из ораторов вспоминают старое, недоброе время, они знают цену этому старому.

Товарищ Кашин из механическо-ремонтного цеха говорит: «В магазинах было всякое изобилие, а я ходил униженный и оскорбленный, я ходил без работы». И многие вспоминают в этот момент прошлое. В этих воспоминаниях сейчас больше гордости, чем грусти. Мы сейчас достаточно сильны для того, чтобы нас могли испугать призраки прошлого. И когда я сообщаю собранию, что число клубов за двадцать лет возросло в несколько сот раз, собрание хохочет так весело, как будто я рассказал им действительно смешную историю.

Много величественной силы в этом нашем уверенном тоне, в этом могучем ощущении нашей победы. Это чувствуется в каждом слове, сказанном на митинге, в каждом взгляде людей.

И совершенно очевидно, что о врагах никто ни на минуту не забывает, что врагов встретит та же спокойная, уверенная сила.

И шарикоподшипниковцы с той же уверенной силой немедленно после митинга подтверждают свои слова делом. На самом митинге по предложению кузнечного цеха объявлена третья, стахановская декада.

Стоит зайти в кузнечный цех, чтобы понять всю величественную серьезность этого решения: сегодня кузнечный цех дает рекордный выпуск колец, перекрывающий все предыдущие стахановские рекорды, — 180 тыс. Главный инженер отмечает уже более быстрый ритм работы, более дробные шумы, более четкие движения. Все идет спокойно, никто не торопится, не волнуется. Начальник цеха подходит к нам и... улыбается, улыбка у него добродушная и уверенная: он не сомневается в успехе.

Здесь, в кузнечном цехе, не меньше, чем на митинге, чувствуется великолепный стиль могущества, того самого могущества, которое звучит в каждом слове нашей Конституции, в каждой детали выборного закона. Это стиль нашей жизни.

В самом же кузнечном цехе штамповщик Т. Кирсанов в честь призыва своего в Красную Армию устроил такой цеховой праздник: в один день он отковал 5040 колец при норме 2500. Отковал и ушел в армию. В Красной Армии он сегодня представляет те же чувства уверенности и силы, которые он проявил на заводе. Таких кирсановых десятки миллионов и в наших цехах, и в наших полках.

Новая жизнь

Тесно, бочком уселись на партах юноши и девушки, тесно стало в проходах, у стен и окон. Это ученики старших классов московской 67-й средней школы.

Директор школы открывает митинг. Его речь слушают со вниманием. Он сравнивает старые и новые дни.

На первой парте сидят трое, все они поддерживают головы кулаками, только по-разному: один подпер голову кулаком возле уха, другой — у щеки, третий — у подбородка. И все трое смотрят на директора с простым ученическим вниманием, на лбах у них чуть-чуть обозначились складки — требуется довольно значительное напряжение фантазии, чтобы представить себе старую жизнь.

Выходит на трибуну ученик X класса Богданов — один из 24 избирателей, учеников 67-й школы. Верхняя губа у Богданова уже потеряла детскую нежность, на ней осторожно оттушеваны усики. Богданов улыбается и начинает:

— Я, конечно, не застал старой жизни, но моя тетя видела все и рассказывала...

Эта самая старая жизнь, которой совершенно не испытали наши школьники, о которой они узнают из разговоров с тетей, на самом деле грозила этой молодежи тяжелым и глубоким несчастьем, если бы не совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Сколько из этих юношей и девушек, тесно сидящих на партах, закончило бы свое образование в «мальчиках» у сапожников и портных, сколько из них и до конца жизни не узнало бы, что такое средняя школа!

Выборы в Верховный Совет — это наше настоящее и будущее, поэтому и учителя молодеют, когда говорят о выборах.

Предложение заведующего учебной частью прийти к дням выборов только с хорошими и отличными оценками заставляет некоторых смущенно оглянуться:

— Это... довольно трудное дело!

— Подумать нужно...

Но именно потому, что это дело трудное, собрание находит, что достойно будет отметить таким делом избирательную кампанию. В глазах загораются задорные огоньки, собрание аплодирует своему решению. И чтобы показать, что это не только радостная демонстрация чувств, а деловое и солидное обязательство, тут же постановили: 13 декабря проверить выполнение.

«Чапаев» Д. Фурманова

Со времени выхода в свет «Чапаева» прошло почти полтора десятка лет. За это время мы несказанно разбогатели новыми ощущениями нашего советского могущества. При свете нашего сегодняшнего знания, в ощущении силы наших сегодняшних мускулов, в дисциплине и радости двадцатилетнего советского народа мы имеем возможность видеть в книге Фурманова больше и дальше, чем видели мы в 1923 году, чем видел сам Фурманов. Но эта книга дает нам не только материал для сравнения.

«Чапаев» производит, прежде всего, впечатление добросовестности. Это документальный отчет комиссара дивизии. Отчет снабжен датами, точными именами людей и селений, копиями документов и писем. Текст

Фурманова на каждой странице несет в себе деловые сентенции, примечания автора, поправки, оговорки, формулировки. Ни фантазия, ни художественное преувеличение у Фурманова невозможны. Казалось бы, современный читатель и должен принять эту книгу с таким же добросовестным, узкопознавательным интересом, кое на чем поставить знак внимания, а вообще порадоваться тому, насколько далеко ушли мы от времен гражданской войны, насколько мы выросли, поумнели, разбогатели. Такое впечатление может произвести книга, написанная с холодной добросовестностью.

Но против воли автора при чтении «Чапаева» мы раньше всего другого воспринимаем у него нечто большее, чем добросовестность. Это «нечто» главным образом и захватывает читателя, волнует его, оставляет глубочайший след в его душе, заставляет отложить в сторону сравнения, заставляет находить в Чапаеве и его бойцах грандиозное могущество, личность неизмеримой высоты, которой страстно хочется следовать, у которой нужно честно и скромно учиться. У читателя представление о нашей технике, о нашем политическом и научном знании, о высокой ясности нашего народного духа не исчезает, не отстраняется рассказом Фурманова, не служит только данным для сравнения, а остается как непременный, необходимый, мажорный фон, на котором только ярче рисуется прекрасная, родная для нас чапаевская сила. Это основная схема того большого художественного впечатления, которое производит «Чапаев» Дм. Фурманова.

Но сам Фурманов этого не знает. Он рассматривает Чапаева на слишком близком расстоянии и меньше всего задается целью произвести именно такое впечатление. Его добросовестный рассказ до краев наполнен осторожностью, щепетильным анализом, слишком понимающей трезвостью, слишком большим участием интеллекта. От первой до последней страницы открыто звучит авторское напряжение, преследующее одну цель: удержаться на линии реальности, не проявить чувства восхищения, избежать путей к легенде.

В сущности, эта авторская напряженность составляет основную стилевую линию.

На с. 51—52 автор описывает разговор в пути. Гриша — возчик, доставляющий Федора Клычкова (Фурманова) и Андреева к фронту, — впервые в книге упоминает имя Чапаева. Гриша — участник чапаевских походов, оставивший отряд по причине ранения.

«— Из себя-то как? — жадно выпытывал Федор, и видно было по взволнованному лицу, как его забрал разговор, как он боится проронить каждое слово.

— Да ведь што же сказать? Одним словом — герой! — как бы про себя рассуждал Гриша. — Сидишь, положим, на возу, а ребята сдалька завидят: «Чапаев идет, Чапаев идет...» Так уж на дню его, кажись, десять раз видишь, а все охота посмотреть: такой, брат, человек! И поползешь это с возу-то, глядишь, словно будто на чудо какое. А он усы, идет, сюда да туда расправляет: любил усы-то, все расчесывался.

— Сидишь? — говорит.

— Сижу, мол, товарищ Чапаев.

— Ну, сиди, — и пройдет. Больше и слов от него никаких не надо,

а сказал — и будто радость тебе делается новая. Вот што значит настоящий он человек!

— Ну, и герой... Действительно герой? — щупал Федор.

— Так кто про это говорит, — значительно мотнул головою Гриша. — Он у нас ишо как спешил, к примеру, на Ивашенковский завод? Уж как же ему и охота была рабочих спасти: на удалось, не подоспел ко времени.

— Не успел? — вздрогнул Андреев.

— Не успел, — повторил со вздохом Гриша. — И не успел-то малость самую. А што уж крови за это рабочей там было — н-ну!..»

Гриша с первого слова называет Чапаева героем, настаивает на этом высоком определении и старается доказать его правильность. Но какие у него доказательства? Он сказал: «Сидишь?» У него была «охота рабочих спасти». И даже то обстоятельство, что Чапаев «не успел», в глазах Гриши ничего не изменяет. И в дальнейшей беседе Гриша не упоминает ни о каких подвигах Чапаева, а с наибольшей экспрессией рассказывает о случае, когда Чапаев за беспорядочную стрельбу на посту «двинул» Гришу прикладом в бок.

Фурманов приводит эту беседу с определенной целью. Это пролог к разворачиванию образа Чапаева. В прологе Чапаев выступает как «герой» без достаточных оснований. Даже Гришкина вера в героизм Чапаева очень далека от мистического преклонения и легенды. Гриша — человек здравомыслящий и реальный, он даже не прочь дипломатически сыграть на героической исключительности Чапаева:

— «...Да как двинет прикладом в бок! Молчу, чего ему сказать? Схватился, да поздно, а надо бы по-иному мне: как норовил это за винтовку, а мне бы отдернуть: не подходи, мол, застрелю — на карауле нельзя винтовку щупать. Он бы туда-сюда, а не давать, да штык ему еще в живот нацелить: любил все бы простил разом...

— Любил? — прищурился любопытный Федор.

— И как любил: чем его крепче огорошишь, тем ласковее».

Но Гриша все-таки убежден, что Чапаев — герой. Фурманов старается быть последовательнее: он не предъявляет доказательств героизма и в согласии с этим утверждает, что Чапаев даже и не герой. У Фурманова читатель не увидит Чапаева, летящего с занесенной шашкой на черные колонны врагов, не увидит воодушевленного отвагой лица. Только один раз на все 300 страниц книги Фурманов изображает Чапаева в бою — это Сломихинский бой.

«Позади цепей носился Чапаев, кратко, быстро и властно отдавал приказанья, ловил ответы».

Но и в описаниях этого боя вы не столько видите боевого вождя, сколько хорошего военного распорядителя. Еще в одном месте, в картине Пилюгинского боя, Фурманов глухо упоминает:

«Здесь я встретился с Чапаевым — он объезжал части. В той атаке, что была перед овином, он участвовал лично и оттуда же вошел в село».

И это все, а между тем Пилюгинскому бою было посвящено восемь страниц, только Чапаева в них нет.

Непосредственное участие Чапаева в бою под Уфой изображается

так:

«Находясь при переправе, Чапаев каждые десять минут сносился телефоном то с Сизовым, то с командирами полков. Связь организована была на славу... Он нити движения ежеминутно держал в своих руках, и короткие советы его по телефону, распоряжения его, что посылал с гонцами, — все это показывало, как он отчетливо представлял себе обстановку в каждый отдельный момент».

В этом описании Чапаев выступает меньше всего как легендарный герой. Это добросовестный, внимательный, способный командир, не больше.

Здесь приведены только те строки, в которых описывается непосредственное участие Чапаева в бою, конечно, в качестве командира. Но других строчек, сверх приведенных, в книге нет. Эта явная сдержанность в изображении Чапаева-героя в то же время ни в какой мере не похожа на намерение умалить военные успехи Чапаева. Фурманов добросовестно отмечает эти успехи:

«Чапаевская дивизия шла быстро вперед, так быстро, что другие части, отставая по важным и неважным причинам, своею медлительностью разрушали общий, единый план комбинированного наступления».

«Чапаевская дивизия не знала поражений, и в этом немалая заслуга самого Чапаева».

Не скрывая от читателя действительных военных успехов Чапаева, Фурманов избегает показывать его на боевом поле. Посвятив Чапаеву большую книгу, подробно описывая его характер, привычки, мысли, встречи и столкновения с людьми, выступления и речи, словечки и странности, Фурманов всегда делается лаконичным или молчаливым, когда дело касается участия Чапаева в сражении. Иногда эта тенденция решительно противоречит теме. Самое неудачное, композиционно скомканное место книги относится к самому важному стратегическому моменту на колчаковском фронте — моменту перелома под Бузулуком.

Фурманов начинает в свойственной ему напряженно-краткой форме:

«Колчак двигался широчайшим фронтом на Пермь, на Казань, на Самару, — по этим трем направлениям шло до полутора тысяч белой армии. Силы были почти равные — мы выставили армию, чуть меньшую колчаковской. Через Пермь и Вятку метил Колчак соединиться с интервентами, через Самару — с Деникиным; в этом замкнутом роковом кольце он и торопился похоронить Советскую Россию».

Но вслед за этими строчками автор спешит разрешить напряжение. Он ни одной минуты не задерживает читателя в состоянии беспокойства. Он немедленно говорит:

«Первые ощутительные удары он получил на путях к Самаре: здесь вырвана была у него инициатива, здесь были частью расколоты его дивизии и корпуса, здесь положено было начало деморализации среди его войск. Ни офицерские батальоны, ни дрессировка солдат, ни техника — ничто после первых полученных ударов не могло приостановить стихийного отката его войск до Уфы, за Уфу, в Сибирь до окончательной гибели. В боях под Белебеем участвовали полки каппелевско-

го корпуса — цвет и надежда белой армии; они были биты красными войсками, как и другие белые полки. Красная волна катилась неудержимо, встречаемая торжественно измученным и разоренным населением».

Решающий момент на Восточном фронте Фурманов «проходит» скороговоркой, не уделив ему ни одного живого, художественного штриха. Читателя поражает эта экономность автора, читатель возвращается к прочитанным страницам и соображает: может быть, так и нужно? Может быть, дивизия Чапаева была в стороне от главного участка борьбы? Может быть, на этом участке добывали победу другие части? Читатель, уже сроднившийся с Чапаевым и его бойцами, жадно ищет ответов на эти вопросы, но автор не спешит отвечать. Только что в таких коротких словах описав переломный момент на фронте, отметив и такой финальный момент, как гибель колчаковцев в Сибири, автор вдруг возвращается к исходной точке, к дням величайшего напряжения, подробно изображает суматошную энергию военных поездов и останавливается снова на вершине военного перевала:

«Стоит готовая к бою, налитая энергией, переполненная решимостью Красная Армия... Ощетинилась штыками полков, бригад, дивизий... Ждет сигнала... По этому сигналу — грудь на грудь — кинется на Колчака весь фронт и в роковом единоборстве будет пытаться свою мощь...

28 апреля... незабываемый день, когда решалось начало серьезного дела: Красная Армия пошла в поход на Колчака».

И снова читатель в нетерпении ждет, чем разрешится это страшное напряжение, он хочет увидеть в художественных образах, что случилось в этот день, 28 апреля, какую боевую страду пережила в этот день чапаевская дивизия. В том, что ей была поручена самая ответственная часть фронта, читатель уже не сомневается, на предыдущей странице перед ним промелькнула короткая, но ясная строчка, указывающая, что бригады Чапаева сосредоточились под Бузулуком. Вторично поставленный автором на самом остром участке борьбы, читатель вправе ожидать ответов. Но их не будет. «Красная Армия пошла в поход на Колчака». На этом текст обрывается, и начинается глава с довольно неожиданным и странным заглавием: «Перед боями».

Так читатель и не узнает, какое участие приняла чапаевская дивизия в переломных боях, какая роль в них принадлежала самому Чапаеву. Потом, через несколько страниц, Фурманов опишет Пилюгинский бой, удельное значение которого в общем развитии операций Фурманов нигде не определяет.

Эта «батальная» сдержанность автора находится в полном соответствии с его прямыми высказываниями о значении Чапаева. По всей книге разбросаны такие скептические строчки:

«Когда подумаешь, обладал ли он, Чапаев, какими-либо особенными «сверхчеловеческими» качествами, которые дали ему неувядаемую славу «героя», — видишь, что качества у него были самые обыкновенные, самые «человеческие».

«Чапаевскую славу родили не столько его героические дела, сколько сами окружающие его люди».

«Часто этих качеств было у него не больше, а даже меньше, чем у других, но так уж умел обставить он свои поступки и так ему помо-

гали это делать свои, близкие люди, что в результате от поступков его неизменно излучался аромат богатырства и чудесности».

«Где героичность Чапаева, где его подвиги, существуют ли они вообще, существуют ли сами герои?»

«Чапаев был хорошим и чутким организатором того времени, в тех обстоятельствах и для той среды, с которой имел он дело, которая его и породила, которая его и вознесла! Во время хотя бы несколько иное и с иными людьми не знали бы героя народного, Василия Ивановича Чапаева! Его славу, как пух, разносили по степям и за степями те сотни и тысячи бойцов, которые тоже слышали от других, верили этому услышанному, восторгались им, разукрашивали и дополняли от себя и своим вымыслом, несли дальше. А спросите их, этих глашатаев чапаевской славы, — и большинство не знает никаких дел его, не знает его самого, ни одного не знает достоверного факта...

Так-то складываются легенды о героях. Так сложились легенды и о Чапаеве».

Дм. Фурманов, таким образом, выступает в своей книге как открытый противник легенды. С исключительной придирчивой трезвостью он рисует образ Чапаева. Так скупко изображая его в обстановке боя, Фурманов не скупится на описание многочисленных его недостатков. Вспыльчивость, вздорная подозрительность, хвастливость, самодурство, вопиющая слабость политического развития, даже то, что Чапаев крестится, — все это гораздо обильнее и подробнее изображается автором, чем боевые дела комдива. Фурманов приводит очень много бесед Клычкова с Чапаевым. Последний почти всегда уступает его логике, его знанию и ясной воле. Некоторые критики именно в этих беседах увидели главное содержание книги и объявили, что в «Чапаеве» Фурманова нужно видеть картину благотворного влияния партии на вышедшего из крестьянской среды самородка. По мнению этих критиков, тема «Чапаева» есть тема, так сказать, педагогическая. Партия при этом, в глазах критиков, представлена в книге в единственной фигуре Клычкова.

Действительно, в книге нет ни одного лица, разделяющего с Клычковым его воспитательную работу. Политические работники, окружающие Чапаева, не могут участвовать в его воспитании по разнообразным причинам. Все они находятся под тем же его могучим обаянием, под каким находится и вся масса его бойцов. Их имена проходят в книге без яркого следа. Сам Фурманов не преувеличивает роли отдельных политработников.

В книге, например, выступает весьма характерная фигура комиссара бригады Букова, который блестяще руководит ответственной разведкой перед боем, но на вопрос Клычкова о политической работе в бригаде дает такой ответ:

«— Да што, — махнул комиссар, — скажу вам откровенно, товарищ Клычков, ничего не делаю, ей-богу, ничего. Ругайте — не ругайте, а некогда. Што бы делать? Или вот за реку ехать, или программу учить?.. За реку нужней.

— Верно, — сказал Федор. — Да я и не о том... Что обстановка нам диктует — кто скажет против того? Ну, а бывают же моменты, когда можно?

— Никогда! — отрубил уверенно Буров, скручивая на пальце cigarку».

Клычков действительно остается единственным воспитателем Чапаева, но отсюда еще очень далеко до утверждения, что темой книги Фурманова является эта воспитательная работа Клычкова. В книге нет художественных оснований для такого утверждения. От начала до конца книги Чапаев остается одинаково характерной и колоритной фигурой. При всем желании очень трудно установить настолько заметное и принципиальное изменение в его характере, которое позволяло бы говорить о каком-либо переломе, о чем-то настолько важном, что оно могло бы служить основной темой книги. В какой области критики видят этот яркий результат воспитательной работы Клычкова? В чисто военной сфере Чапаев непогрешим от начала до конца, здесь, конечно, и не требуется никакого вмешательства. В области классового самочувствия, отношения к врагу, боевой страсти Чапаев и в самом начале стоит на той же высоте, на которой и умирает. А что касается недостатков его характера, вспыльчивости, подозрительности и властного своеволия, то и здесь Клычков не может похвалиться особыми успехами в «перевоспитании». Если в начале книги мы встречаем обычные для Чапаева словечки о «центрах» и «штабах», то и в самом ее конце описывается известный случай, когда Чапаев потребовал от ветеринарного врача и комиссара, чтобы они экзаменовали знакомого коновала и выдали ему удостоверение в том, что он может быть «ветеринарным доктором», и кричал при этом:

«— Знаем, — говорит, — мы вас, сукиных детей, — ни одному мужику на доктора выйти не даете».

Закljučая этот эпизод (повторяем: в конце книги), Фурманов снова говорит:

«Подобных курьезов у Чапаева было сколько угодно. Рассказывали, что в 1918 г. он плеткой колотил одно довольно «высокопоставленное» лицо, другому отвечал «матом» по телеграфу, третьему накладывал на распоряжении или ходатайстве такую «резолюцию», что только уши вянут, как прочитаешь. Самобытная фигура! Многого он еще не понимал, многого не переваривал, но уже ко многому разумному и светлому тянулся сознательно, не только инстинктивно. Через два-три года в нем кой-что отпало бы окончательно из того, что уже начинало отпадать...»

В этих строках Фурманов серьезно и в окончательной форме утверждает сравнительную неизменяемость натуры Чапаева, медленный его рост — медленный по сравнению с мечтой указанных выше критиков. Фурманов в поведении Чапаева не видит большой разницы между 1918 и 1919 годами, он не отмечает никаких разительных результатов воспитывающего влияния Клычкова. Только через два-три года он допускает некоторые возможности, но и то в очень сдержанных выражениях: «кой-что отпало бы». Во всем приведенном отрывке обращают на себя внимание слова: «ко многому разумному и светлому тянулся сознательно». Может быть, это тяготение было создано Клычковым или в некоторой мере удовлетворено?

Нет. В первой же беседе с Клычковым Чапаев говорит ему, не

побуждаемый к тому никаким «влиянием» только что прибывшего комиссара:

«— Скажу вам, товарищ Клычков, што почти неграмотный я вовсе. Только четыре года, как я писать-то научился, а мне ведь тридцать пять годов! Всю жизнь, можно сказать, в темноте ходил. Ну, да што уж — другой раз поговорим...»

Эту свою темноту Чапаев ощущал очень остро. И конечно, никакое воспитание не могло бы начаться без ликвидации этой темноты. Клычков это понимает прекрасно:

«...Они перешли к самому больному для Чапаева вопросу: о его необразованности. И договорились, что Федор будет с ним заниматься, насколько позволят время и обстоятельства... Наивные люди: они хотели заниматься алгеброй в пороховом дыму! Не пришлось заняться, конечно, ни одного дня, а мысль, разговоры об этом много раз приходили и после; бывало, едут на позицию вдвоем, заговорят-заговорят и наткнутся на эту тему.

— А мы заниматься хотели, — скажет Федор.

— Мало ли што мы хотели, да не все наши хотенья выполнять-то можно... — скажет Чапаев с горечью, с сожалением».

Эта горечь боевого комдива, в момент разгрома колчаковских полков думающего о своей неграмотности, безнадежно мечтающего о знании, — это трагический мотив в книге. Он вызывает у читателя чувство большой и печальной симпатии к Чапаеву, но не вызывает ничего похожего на высокомерное пренебрежение к его темноте. Чапаев проходит перед читателем всего на протяжении нескольких месяцев, проходит в огне трудной и остервенелой борьбы как один из лучших вождей в этой борьбе, он идет от победы к победе, от победы к смерти. Нужно быть до самой возмутительной степени филистером, чтобы увидеть в этом Чапаеве объект педагогической работы и торжествовать: а все-таки Клычков его перевоспитал! Какой он раньше был темный, а какой потом стал!

Мы видели, что сам Фурманов не сбивается на этот пошлейший тон педагогического бахвальства, он не преувеличивает значения своих воспитательных успехов. Истинная сущность отношений между Клычковым и Чапаевым прекрасно изображена в следующих строчках, рисующих момент непосредственно после отозвания Федора Клычкова из дивизии:

«Напрасно Чапаев посылал слезные телеграммы, просил командующего, чтобы не забирали от него Федора, — ничто не помогало, вопрос был предрешен заранее. Чапаев хорошо сознавал, что за друга лишился он с уходом Клычкова, который так его понимал, так любил, так защищал постоянно от чужих нападков, относился разумно и спокойно к вспышкам чапаевским и брани — часто по адресу «верхов», «проклятых штабов», «чрезвычайки», прощал ему и брань по адресу комиссаров, всякого «политического начальства», не кляузничал об этом в Ревсовет, не обижался сам, а понимал, что эти вспышки вспышками и останутся».

Здесь нет ни одного слова о каком-то особенном, «учительском» влиянии Клычкова на Чапаева. Их отношения были отношениями глубокой, деловой и человеческой дружбы двух людей, горячо, до последней капли крови, преданных революции, идущих рядом во главе славной дивизии на разгром Колчака. Значение Клычкова не столько «учительское», сколько

деловое. Во многих случаях Клычков выступает в качестве тормоза для неумеренно горячей натуры Чапаева, но это выступление необходимо было не для воспитания Чапаева, а, прежде всего, для успеха дела, а кроме того, для сбережения в деле самого Чапаева, для защиты его от возможных последствий его собственной горячности. Именно в этом и заключается истинно политическая, комиссарская заслуга Клыčkкова.

С большой человеческой силой, с настоящим большевистским упорством он сумел понять, оценить и полюбить Чапаева во всей его цельности и силе, помочь ему и охранить его, наилучшим образом поддержать в трудной борьбе, стоять рядом с ним как друг и этим украсить его жизнь. И вся эта работа Клыčkкова имела только одну цель — победу над Колчаком. Попытка заменить эту политическую работу какой-то мнимой работой преподавания политграмоты Чапаеву есть попытка никчемная. В книге нет заметного движения Чапаева от некоторой точки несовершенства к точке совершенства, нет темы «становления» Чапаева, а попытка утвердить такую тему очень близка к желанию обесценить произведение Фурманова, к желанию лишить фигуру Чапаева той замечательной глубины и цельности, которую она обладает в книге.

Если можно говорить о теме развития у Фурманова, то это скорее будет развитие отношений самого Клыčkкова к Чапаеву. Крайние пункты этого развития могут быть представлены в следующих двух отрывках, взятых из начала и из конца книги.

Вот что Клычков говорит вначале, после первого знакомства с Чапаевым:

«Чапаев — герой, — рассуждал Федор с собою. — Он олицетворяет собою все неудержимое, стихийное, гневное и протестующее, что за долгое время накопилось в крестьянской среде. Но стихия... Черт ее знает, куда она может обернуться! Бывали у нас случаи (разве мало их было?), что такой же вот славный командир, вроде Чапаева, а вдруг и уколошит своего комиссара!.. А то, глядишь, и вовсе уйдет к белым со своим «стихийным» отрядом...»

А вот что Клычков говорит в конце:

«Было и у Федора время, когда он готов был ставить Чапаева на одну полку с Григорьевым и «батькой Махно», а потом разуверился, понял свою ошибку, понял, что мнение это скроил слишком поспешно, в раздражении, бессознательно... Чапаев никогда не мог изменить Советской власти, но поведение его, горячая брань по щекотливым вопросам — все это человека, мало знавшего, могло навести на сомнения».

Различие в отношениях Федора к Чапаеву за время их знакомства огромное, и сам Федор, как видим, не ставит это ни в какую зависимость от своей воспитательной работы.

Вся книга Фурманова есть не история воспитательного успеха Клыčkкова, а история раскрытия образа Чапаева в представлениях, сомнениях, мыслях и делах комиссара.

В этом раскрытии Клычков сознательно тормозит себя, сознательно избегает увлечения, придиричливо относится к каждому действию Чапаева, изо всех сил старается, чтобы не получилось «героя», чтобы не было «легенды». В этом раскрытии, как мы только что видели, Клычков прошел большой путь, но не далеко зашел, крепко удержался на своем здравом

скепсисе. У него нет-нет да и сорвется с языка обвинение Чапаева в партизанщине, настойчивое подчеркивание того, что Чапаева выдвинула крестьянская масса. Клычков подчеркивает, что Чапаев «обладал качествами этой массы, особенно ею ценимыми и чтимыми — личным мужеством, удастью, отвагой и решимостью».

Фурманов крепко старается держаться сетки откровенного социологизирования, он на каждом шагу противопоставляет «чапаевцам», крестьянской массе рабочий отряд иваново-вознесенских ткачей, он хочет уверить читателя, что иваново-вознесенцы не могли бы поднять Чапаева на такую высоту.

«Сегодня на заре по холодному туманному полю пусть ведет он цепи и кодонны на приступ, в атаку, в бой, а вечером под гармошку пусть отчеканивает с ними вместе «камаринского»... Знать, по тем временам и вправду нужен, необходим был именно та к о й командир, рожденный крестьянской этой массой, органически воплотивший все ее особенности... Уж и тогда не нужен был бы такой вот Чапаев, положим, полку иваново-вознесенских ткачей: там его примитивные речи не имели бы никакого успеха, там выше удали молодецкой ставилась спокойная сознательность, там на беседу и собрание шли охотнее, чем на «камаринского», там разговаривали с Чапаевым, как с равным, без восхищенного взора, без расплывшегося от счастья лица».

Едва ли можно признать удачным, справедливым и уместным этот явный социологизм. Будто уж так невосприимчивы иваново-вознесенские ткачи к «камаринскому», будто уж так предпочитают они собрания, в самом ли деле не способны они на восхищение?

Фурманов старается не признавать героизма. Изображая отдельные подвиги личности или массы, он избегает слов пафоса и восхищения. Самые героические моменты борьбы он старательно сопровождает бытовыми подробностями, прозаической улыбкой, трезвым рассуждением, рисунком психологической изнанки поступка. Он не только решительно отстраняет тему личного геройства, но и вообще тему подвига. По его мнению, движение масс есть движение настолько законное и необходимое, что для личности остается только один исход: раствориться в движении до предела, почти до исчезновения.

«Вот они лежат, истомленные походами бойцы. А завтра, чуть забрезжит свет, пойдут они в бой и цепями и колоннами, колоннами и цепями, то залегая, то вскакивая вперебежку, то вновь и вновь западая ничком в зверковые ямки, нарытые в спешку крошечным заступом или просто отцарапанные мерзлыми пальцами рук... И многих не станет, навеки не станет: они, безмолвные и недвижные, останутся лежать на пустынном поле... Каждый из них, оставшихся в поле на расклев воронью, — такой маленький и одинокий, так незаметно пришедший на фронт и так бесследно ушедший из боевых рядов, — каждый из них отдал все, что имел, и без остатка и молча, без барабанного боя, никем не uznанный, никем не прославленный, — выпал он неприметно, словно крошечный винтик из огнедышащего стального чудовища...»

Такое «винтикообразование» происходит у Фурманова исключительно вследствие искусственно созданной им концепции, утверждающей реальность движения масс и не видящей за этой реальностью живой личности,

личного подвига, его значения и красоты. Очень возможно, что в этой концепции сказывается влияние Л. Толстого. Во всяком случае, Фурманов старается нигде не изменять этой концепции. Отказывая даже Чапаеву в звании героя, он не ищет этого героя и в массе. Ни среди командиров, ни среди рядовых бойцов он никого не видит и не показывает нам в героическом подвиге. У читателя не остается в памяти ни одного имени, которое выделялось бы по своему боевому значению, по своей отваге. Правда, в одном месте он описывает действительно выдающийся по смелости рейд командира бригады в место расположения дивизионного штаба белых.

В этом отрицании личного подвига, личного героизма Фурманов не делает исключения и для любимого им отряда иваново-вознесенских ткачей, который был одной из лучших частей в чапаевской дивизии и который, может быть, поэтому обезличен автором в наиболее сильной степени — там не называется автором ни одного имени, есть только «винтики».

Вероятно, в создании такой «безличной» линии немалую роль сыграла и скромность самого Фурманова, охотно показавшего в книге свой страх в первом бою, но замолчавшего свой орден Красного Знамени. Эта скромность, эта убежденная слитность с общим движением, эта уверенность в том, что все одинаковы, все герои, заставляет Фурманова с особенной симпатией подробно описывать протест лиц, награжденных за боевые заслуги. Осуждая Чапаева за уравниловские представления о социальной революции, Фурманов не меньше Чапаева горит уравниловским пафосом. Отсюда исходит и его нигилизм по отношению к герою и его страх перед легендой.

И несмотря на все это, именно книга Фурманова «Чапаев» является самым драгоценным памятником героизму гражданской войны, героизму масс и героизму отдельных бойцов. И как раз эта книга открывает путь для легенды, ибо оставляет у читателя чувство любви, восхищения, преклонения перед славным подвигом людей великой борьбы. И среди них встает в действительном ореоле героизма, человеческой широкой личности, горячей, самозабвенной, глубокой и в то же время скромной страсти командир и боевой вождь Василий Иванович Чапаев. Уже сейчас, всего через восемнадцать лет после смерти, Чапаев легендарен. Это не легенда высокого вранья, это не игра привольного воображения поэтов и рассказчиков, это не дань инстинктивной любви к чудесному. Легенда о Чапаеве — это память о реальных, но действительно титанических делах людей девятнадцатого и соседних с ним годов. Для измерения этих дел не годятся обычные масштабы и обычный бытовой реализм, как не годятся они и для измерения многих событий наших дней. Здесь нужен реализм большого исторического синтеза, социалистический реализм в его самых высоких формах. Фурманов оказался в русле этого социалистического реализма, и поэтому основанием для чапаевской легенды являются не рассказы болтунов, которых так боялся Фурманов, а повесть самого Фурманова, «трезвого аналитика», «противника героев и легенды».

Хочет того Фурманов или не хочет, а как раз в его книге мы видим Чапаева впереди полков, видим в воодушевленном, горячем движении: да, верхом на коне, да, с занесенной чудесной чапаевской саблей. Фурма-

нов избегает батального стандарта, но он забывает о том, что и стандарт перестает быть стандартом, когда наполняется богатым содержанием, искренним и глубоким человеческим движением. Эту самую чудесную чапаевскую саблю читатель восстанавливает из таких, к примеру, небатальных картин:

«В штаб бригады приехал Фрунзе, ознакомился быстро с обстановкой, расспросил об успешных последних боях Сизова — и тут же, в избушке, набросал благодарственный приказ.

Это еще выше подняло победный дух бойцов, а сам Сизов, подбодренный похвалою, поклялся новыми успехами, новыми победами.

— Ну, коли так, — сказал Чапаев, — клятву зря не давай. Видишь эти горы? — И он из окна указал Сизову куда-то неопределенно вперед, не называя ни места, ни речек, ни селений. — Бери их, и вот тебе честное мое слово: подарю свою серебряную шашку!

— Идет! — засмеялся радостный Сизов».

А через несколько страниц уже сам Сизов рассказывает:

«— На вот, бери, — говорит, — завоевал ты ее у меня.

Снял серебряную шашку, перекинул ко мне на плечо, стоит и молчит. А мне его, голого, даже жалко стало, — черную достал свою: на, мол, и меня помни! Ведь когда уж наобещает — слово сдержит, ты сам его знаешь...»

Чапаевская шашка, серебряная или черная, не простой аксессуар военного быта; она не только для Сизова высокая награда, она и для нас дорогая реликвия чапаевских подвигов и побед. И то, что Чапаев отдает ее боевому товарищу, а после этого «стоит и молчит», «голый», нам рассказывает о Чапаеве больше, чем любая батальная сцена, рассказывает в каких-то особенных новых словах.

Чапаев может хвастать, может гордиться своей славой, может буяннить и капризничать. Он действительно не «идеальный» герой, он живой и страстный человек, с ярким характером и с яркими недостатками. Чапаева можно анализировать, можно «разделить» на части: поступки, идеи, слова, странности, — можно показать на то или иное и сказать: «Вот видите: и это плохо, и это нехорошо, и это опасно, и это партизанщина». Но никогда этот анализ не уничтожит цельного, неделимого Чапаева, который ни в какой мере не является простой суммой качеств, сводимых в арифметическом порядке в какой-то итог не то со знаком плюс, не то со знаком минус. Чапаевский неделимый синтез — это воля борца, это неудержимая, всепополняющая, всеобъясняющая человеческая страсть к победе.

Приходится употребить это далеко не точное слово: «страсть». С ним зачастую связываются представления о чем-то стихийном и хаотическом, о чем-то безумном. Страсть Чапаева — страсть другого рода. Это полная мобилизация всех духовных сил человека в одном стремлении, но мобилизация целесообразная, светлая, ответственная в самой своей глубине. Фурманов замечательно изобразил эту мобилизацию, но его смутило одно: она происходит на фоне слабой образованности Чапаева, его «темноты». Всем было бы приятнее, если бы духовная сила Чапаева была соединена с большим политическим и общим знанием, отсюда и вышло желание истолковать произведение Фурманова как картину дополнительного воспитания Чапаева, проведенного комиссаром Клычковым. Мы видели, что

это истолкование не имеет достаточных оснований в тексте, но оно не имеет и смысла. Перевоспитывать Чапаева в момент полного творческого героического напряжения его сил — какая это была бы нелепость! И Фурманов понимает это лучше всех: несмотря на весь свой трезвый скептицизм, несмотря на социологическую схему своих толкований, он бережно охраняет Чапаева, любовно-настойчиво поправляет его, спасает Чапаева для дела, которому и сам служит беззаветно-героически. Вот это, именно это делает Клычков от имени партии, и насколько это выше, насколько это труднее, насколько это «партийнее», чем какое-то действительно невыносимое перевоспитание.

Здесь уместно, наконец, поставить ребром вопрос, который давно напрашивается: на самом деле, какое воспитание или перевоспитание необходимо Чапаеву в таком срочном порядке, что его нельзя отложить, несмотря на боевую обстановку? Какие такие грехи или греховные наклонности Чапаева смутили критиков, не дают им покоя, вплотную ставят перед ними проблему его «перековки»? Разве читателю не бросается в глаза, что Чапаев во всей своей величине и цельности поднят большевистской революцией, воспитан, ошеломлен, восхищен, захвачен большевистской борьбой, отдался ей до конца? Разве он не настоящий большевик в каждом своем поступке, разве не отражено в каждом дне его жизни великое дело партии и разве не за это дело он положил свою голову? Да, Чапаев малограмотен, он говорит «стратех», а Чичикова называет Чичкиным — ну так что? А какое образование было у Буденного? Разве это новость, что Великая социалистическая революция сделана людьми, у которых она не потребовала предъявления дипломов о высшем образовании? И наконец, разве Чапаев не рвался страстно к знанию, не скорбел о своей темноте, разве «темнота» ему органически свойственна?

И все-таки интересно: что это за грехи у Чапаева? Как раз Фурманов охотнее составляет список всех его грехов, чем список подвигов. Вот этот список, кажется, без существенных пропусков:

С. 88: Чапаев — партизан.

С. 92 и др.: Чапаев — противник «центров» и «штабов».

С. 93: Чапаев отрицает пользу военной академии.

С. 116: Чапаев произносит демагогические речи.

С. 125: Чапаев доверчив и вспыльчив.

С. 124: «Слава... кружила ему голову хмелем честолюбия».

С. 147: Чапаев воображает себя стратегом.

С. 161: Чапаев пляшет «камаринского».

С. 277: Чапаев приказал обратить «мужичка» в «ветеринарного доктора».

Начнем с первого. Утверждение Фурманова, что Чапаев имеет постоянную склонность к партизанским действиям, связано с настойчивым изображением Чапаева как крестьянского «героя». Художественно ни того, ни другого Фурманов не доказывает. В книге нет ни одной строчки, которая рисовала бы партизанскую недисциплинированность Чапаева. Он выполняет все приказы, он ведет свое наступление по точной диспозиции Фрунзе. Собственно, о партизанских действиях Чапаева можно бы и не говорить: ведь Чапаеву был поручен самый ответственный участок фронта — центр наступления. Под его начальством три бригады — девять

полков, организованных в строгом боевом порядке. Эти полки не имеют с Чапаевым никакого общего партизанского прошлого. За шесть месяцев, охваченных рассказом Фурманова, сам Чапаев дважды перебрасывается на новые участки фронта и беспрекословно подчиняется этим переброскам. Вообще читатель не видит ни одного случая партизанского своеволия Чапаева. С другой стороны, и в пределах своей дивизии Чапаев не допускает никакого своеволия. Фурманов подробно описывает случай, когда тот же Сизов, получивший от Чапаева его шашку, был чуть не застрелен Чапаевым только за то, что вопреки приказу преследовал разбитого противника, когда это дело было поручено другой части. Вообще, все действия Чапаева как командира отличаются большой четкостью, продуманностью, организованностью. Доказывая, что Чапаев есть «герой» крестьянской массы, Фурманов не идет дальше такой формулы:

«Обладал качествами этой массы, особенно ею ценимыми и чтимыми, — личным мужеством, удастью, отвагой и решимостью».

Нужно, конечно, отметить, что эти качества отнюдь не являются принадлежащими только крестьянству. Вероятно, Фурманов приписывает их крестьянской массе в каких-нибудь избыточных, вредных количествах. Но как раз Чапаев не отличается такой безумной удастью. В книге нет ни одного эпизода, когда Чапаев сам бросился или послал бы других куда-нибудь очертя голову только для того, чтобы проявить свою удасть. Как раз наоборот, он отличается большой осмотрительностью и не скрывает этого от этой самой «крестьянской массы», вовсе не стремясь заслужить у нее славу удалца:

«— А я не генерал, — продолжал Чапаев, облизнувшись и щипнув себя за ус, — я с вами сам и навсегда впереди, а если грозит опасность, так первому она попадет мне самому... Первая-то пуля мне летит... А душа ведь жизни просит, умирать-то кому же охота?.. Я поэтому и выберу место, чтобы все вы были целы да самому не погибнуть напрасно...»

«...Я на рожон никогда тебе не полезу, хоть ты кто хочешь будь».

А вот случай, когда всему дивизионному командованию пришлось под выстрелами пробираться к полку:

«Чапаев перебежал последним. Федор, чтобы наблюдать, спрятался и следил, как тот сначала рванулся и побежал, но вдруг повернулся обратно и юркнул снова за стог. Потом переждал и уже не пытался перебежать прямо к деревне, а взял в обратную сторону, окружным путем, и к штабу явился последним.

Федор любопытствовал:

— Что это ты, Василий Иванович, сдрейфил как будто? За овином-то, словно трус, мотался?

— Пулю шальную не люблю, — серьезно ответил Чапаев. — Ненавижу... Глупой смерти не хочу!.. В бою — давай, там можно... а тут... — И он сплюнул энергично и зло».

Таким образом, и это «качество», будто бы роднившее Чапаева с крестьянской массой, отпадает. Каких-либо иных «крестьянских» качеств Фурманов и сам не выставляет. Необходимо признать, что настойчивое отнесение Чапаева обязательно к крестьянству выглядит у Фурманова чрезвычайно натянуто. При этом Чапаев в его изображении не несет в себе никаких крестьянских черт и никакого отношения не имеет к так

называемой стихийности. Это, прежде всего, — командир Красной Армии, боевой комдив, за которым идут с равным успехом и рабочие и крестьянские полки. Он один из тех талантливых полководцев, которых выдвинула революция и которые вели за собой полки революции по директивам партии, но не по стихийному слепому размаху. Конечно, и Чапаев растет в революции, но ведь растет и сам Фурманов и растут все остальные бойцы. Борьба с Колчаком — это не только славные дни напряжений и побед, но это и дни грандиозного роста масс, творящих революцию, дни роста каждой отдельной личности. Причины этого роста лежат во всей гениальнейшей работе партии, возглавляемой Лениным и его сподвижниками.

Конечно, в этом процессе роста и Фурманов делал свое большевистское дело, но это его влияние нельзя обособлять и выпячивать как особое «индивидуальное» дело.

Второй грех Чапаева — недоверие к штабам. На нем не нужно много останавливаться, хотя как раз на нем Фурманов останавливается много. Чапаев не воевал для славы, или для награды, или для переживания удали сильного движения. У него только одна цель — победа над врагом, победа революции. Только имея в виду эту цель, он не бросает свои полки «на рожон», из того же побуждения он не вполне доверяет штабам. Мы можем сказать только одно: Чапаев прав был в своей осторожности. Мы знаем, что в штабах было немало друзей и ставленников Троцкого, было много и притаившихся белогвардейцев. У самого Чапаева перед решительными боями с Колчаком сбежал к белым командир бригады. Поэтому и недоверие Чапаева имело основания:

«Недоверие к центру было у него органическое, ненависть к офицерству была смертельная, и редко-редко где был приткнут по дивизии один-другой захудалый офицерик из «низших чинов». Впрочем, были и такие из офицеров (очень мало), которые зарекомендовали себя непосредственно в боях. Он их помнил, ценил, но... всегда остерегался».

И конечно, только с удовлетворением мы читаем:

«Эта линия — выдвигать повсюду своих — была у него центральная. Поэтому и весь аппарат у него был такой гибкий и послушный: везде стояли и командовали только преданные, свои, больше того — высоко чтившие его командиры».

А если мы одновременно с этим вспомним, что Чапаев глубоко почитал т. Фрунзе и до конца ему верил, то вопрос об этом грехе чапаевском можно снять с обсуждения, тем более что и сам Фурманов, так осудивший Чапаева за недоверие к штабам, очень часто слова «высокопоставленный» и «лицо» берет в кавычки.

Вот что Чапаев отрицал пользу военной академии, это плохо, но это можно простить победителю Колчака. Были в нем силы, которые на время гражданской войны прекрасно заменили высшее военное образование. И разумеется, не прав Фурманов, когда с такой уверенной иронией отрицает право Чапаева называться стратегом и ухмыляется по поводу того, что Чапаев выговаривает «стратех».

Выполняя самую ответственную задачу на фронте против сильнейшего и лучше вооруженного противника, в массе своей военного специалиста, руководимого высокообразованными военными, разве Чапаев мог не быть

стратегом? А выполнить эту задачу без единого поражения — разве это не значит заслужить право на славу военного специалиста? В чем проявлялся военный талант Чапаева? Книга Фурманова дает на это самые исчерпывающие ответы:

«...Чапаев стал вымеривать по чертежу. Сначала мерил только по чертежу, а потом карту достал из кармана — по ней стал выклеивать. То и дело справлялся о расстояниях, о трудностях пути, о воде, об обозах, об утренней полутьме, о степных буранах.

Окружавшие молчали. Только изредка комбриг вставит в речь ему словечко или на вопрос ответит. Перед взором Чапаева по тонким линиям карты разворачивались снежные долины, сожженные поселки, идущие в сумраке цепями и колоннами войска, ползущие обозы, в ушах гудел-свистел холодный утренник-ветер, перед глазами мелькали бугры, колодцы, замерзшие синие речонки, поломанные серые мостики, чахлые кустарники. Чапаев шел в наступление!»

Это в начале книги, а вот в конце:

«Все, решительно все прикидывал и выверял Чапаев, делал сразу три-четыре предположения и каждое обосновывал суммой наличных, сопутствующих и предшествующих ему фактов и обстоятельств... Из ряда предположительных оборотов дела выбирался самый вероятный, и на нем сосредоточивалось внимание, а про остальные советовал только не забывать и помнить, когда, что и как надо делать».

Как это свидетельство Фурманова противоречит тем словам, которые он сказал Чапаеву в лицо:

«— Ты хороший вояка, смелый боец, партизан отличный, но ведь и только!»

Читателя не может увлечь эта ненужная, недружеская попытка уменьшить веру Чапаева в свои силы. И читатель поэтому всегда на стороне Чапаева, когда слышит его ответ:

«— Я армию возьму и с армией справлюсь».

И читатель верит, что Чапаев справится, и читатель рад, что Чапаев верит в свои силы, верит в свою дивизию, верит в победу. Без этой веры не может быть силы, невозможна и самая победа.

Мы коснулись главных «недостатков» Чапаева, и теперь еще труднее видеть, что должен был «перековывать» Клычков? Несуществующую партизанщину, уверенность в своих силах или еще что?

А ведь даже в этих недостатках видна все та же цельная и прекрасная сила Чапаева, его глубокая и светлая человечность, его неутомимая, мужественная страсть к победе, его широкая, щедрая личность. Чапаев не только шашку отдал за победу. Он отдал всего себя: покой, семью, детей, учебу, жизнь. Но он отдал это все не для красоты подвига, не для славы, не для нравственного совершенства. Он отдал все для победы революции, для практической грандиозной цели партии. И отдавал это не в виде подарка людям, отдавал и для себя, для своей жизни, ибо он всегда хотел жить.

Этот Чапаев волнующим, властным образом проходит через книгу Фурманова. На него сыплются обвинения, перечисляются его недостатки, с ним на каждом шагу спорят, его убеждают, исправляют, воспитывают, но он идет вперед, все тот же искренний, горячий, спокойный и неутомимый, доверчивый и подозревающий, мягкий и жестокий, но всегда видящий перед

собой врага и победу, всегда знающий, что за ним идет дивизия таких же, как он, героев. Он идет вперед через Сломихинский бой, через Бугуруслан, Белебей, Чишму, Уфу, Уральск, Лбищенск, через много других боев, через предательство, тиф, через недоверие и интриги людей, через собственную «темноту» и собственные «недостатки». И он идет все к той же цели — к победе. И он такой не потому, что его перевоспитал комиссар Клычков, а потому, что он рожден и воспламенен революцией, потому, что за ним, впереди него, справа от него и слева идет революция, идет под знаменем Ленина поднявшийся трудовой народ.

И рядом с ним идет его поэт, комиссар и друг — Фурманов, такой же героический боец революции. Он видит всю величину и все величие Чапаева, всю мощь его дивизии, всю мощь революции, выраженную в людях, в личностях, он с большой художественной силой показывает их нам, но по скромности своей и по непривычке к реальным ценностям революции он сам себя сдерживает и как будто говорит нам: это все было так, но вы не увлекайтесь. В Фурманове — больше логики, в Чапаеве — больше страсти и веры. Чапаев так хорош в следующем диалоге, в котором чувствуется и Фурманов:

« — Теперь Уфа не уйдет, — говорил Чапаев, — как бы только правая сторона не подкузьмила!

Он имел в виду дивизии, работавшие с правого фланга.

— Почему ты так уверен? — спрашивали его.

— А потому, что зацепиться ему, Колчаку, не за што — так и покатится в Сибирь.

— Да мы же вот зацепились под Самарой, — возражали Чапаеву. — А уж как бежали!

— Зацепились... ну так што?.. — соглашался он и не знал, как это понять. Мялся, подыскивал, но объяснить так и не смог. Ответил: — Ничего, што мы зацепились... а он все-таки не зацепится... Уфу возьмем».

Говоря о «Чапаеве», нельзя не сказать несколько слов о кинофильме «Чапаев» братьев Васильевых. Как раз в этом замечательном произведении дан настоящий Чапаев настоящего Фурманова, не отвлеченного схемой и скромностью. Авторы фильма смело восстановили Чапаева на коне, не испугались его занесенной шашки, потому что она занесена на врагов. В фильме Чапаев тоже не лишен «недостатков», но они не снижают его героический образ, а только оживляют его. И что особенно важно, Чапаев показан в более полной параллели с противником. Как раз у Фурманова врага почти не видно. В фильме белогвардейцы тоже не лишены героизма, не лишены и культуры, но они бедны духом, бедны верой, бедны как раз в той области, в которой так богат Чапаев. И поэтому в фильме так ясна гармония между высотой и героизмом личности и народным движением, поднявшим личность. Как раз этой гармонии не увидел Фурманов, хотя и изобразил ее в собственной книге.

Значение и книги, и фильма трудно переоценить. Никакая другая эпоха не оставила такого яркого художественного памятника, созданного участником и очевидцем. И предельная скромность и осторожность Фурманова только доказывают близость его к событиям, только вызывают неизмеримое доверие к автору.

И под защитой его осторожности мы не боимся признать легенду и с благодарной любовью всегда видим перед собой образ народного героя — Чапаева.

Счастье

Великая Октябрьская революция — это небывалые в истории сдвиги в жизни отдельных людей, в жизни нашей страны, в жизни всего мира. Невозможно перечислить те изменения, которые она принесла в историю человечества.

Но, как это ни странно, мы очень мало знаем о законах тех изменений, которые являются последней целью революции, итогом всех ее побед и достижений, мы мало говорим о человеческом счастье. Часто, правда, мы вспоминаем о нашем счастье, вспоминаем с волнением и благодарностью, но мы еще не привыкли говорить о нем с такой же точностью и определенностью, как о других победах революции.

Такое отношение к счастью нами исторически унаследовано. Испокон веков люди привыкли вести учет только бедственным явлениям жизни. Свои горести, болезни, падение, нищету, оскорбления и унижения, катастрофы и отчаяние люди давно научились подробно анализировать, до самых тонких деталей называть и определять. Это они умели делать и в жизни, умели делать и в литературе. Художественная литература прошлого, собственно говоря, и есть бухгалтерия человеческого горя. В то же время мы не можем назвать ни одной книги, в которой с такой же придирчивой добросовестностью, так же пристально, с таким же знанием дела разбиралось и показывалось человеческое счастье.

Некоторые писатели изредка упоминают о счастье, но всегда это самый простой и общедоступный его сорт — произведение матери природы — любовь. Для такого счастья теоретически достаточно иметь в наличии взаимную склонность двух существ. Ничего сверх этого как будто не требуется.

Писатели имели склонность к изображению такого счастья, но они... не имели красок для этого. В этом деле ни один писатель не ушел дальше самого среднего успеха. Любовное счастье, его настоящее живое и длительное функционирование, счастье в собственном смысле, а не только надежды на счастье писатели изображали одинаково скучно и однообразно.

Писатели знали о своей беспомощности в изображении даже простого любовного счастья, но они не хотели и не могли демонстрировать такую беспомощность перед читателем. Поэтому самую лучезарную любовную радость они предпочитали смять новым набором бедствия, горя и препятствий, в изображении которых они всегда были мастерами. Самая патетическая история любви «Ромео и Джульетта» есть в то же время и самая бедственная история.

Нужно, впрочем, сказать, что читатели за это никогда не обижались, так как читатели тоже всегда предпочитали описание страданий. Одним словом, издавна человек всегда был специалистом именно по несчастью, по горестному событию и всегда любил такие произведения, где счастьем даже и не пахло. Самые милые для нас, самые близкие сердцу произведения художественной литературы стараются обходить счастье десятой дорогой или удовлетворяются констатацией пушкинского типа:

А счастье было так возможно,
Так близко¹.

У Лермонтова, у Достоевского, у Гоголя, у Тургенева, у Гончарова, у Чехова так мало счастья и в строчках и между строчками. Очень редко оно приближается на пушкинскую дистанцию, но немедленно его легкий и волшебный образ уносится какой-нибудь жизненной бурей.

Почему это так? Почему вся прошлая художественная литература так не умеет, так не любит изображать счастье, т. е. то состояние человека, к которому он всегда естественно стремится и из-за которого, собственно говоря, живет?

Почему в номенклатуре художественных форм мы имеем драму и трагедию, т. е. форму страдания, а не имеем ничего для темы радости? Если мы хотим повеселиться и порадоваться, то смотрим фарс или комедию, т. е. любуемся поступками людей, которых, пожалуй, даже и не уважаем. Почему на самых последних задворках, среди разной мелочи, давно захирела идиллия².

Некоторые литераторы даже полагают, что счастье по самой природе своей не может быть предметом художественного изображения, ибо последнее невозможно будто без игры коллизий и противоречий.

Этот вопрос подлежит, разумеется, серьезному и глубокому теоретическому исследованию. Но уже и сейчас можно высказать некоторые предчувствия, и единственным основанием для таких предчувствий является новый образ счастья, выдвинутый Октябрьской революцией. В этом образе мы видим новые черты и новые законы человеческой радости, видим их впервые в истории. Именно эти новые черты позволяют нам произвести подлинную ревизию старых представлений о счастье и понять, почему так уклончиво относилась художественная литература к этой теме.

Представим себе, что у Онегина и Татьяны счастье было не только возможно, но и действительно наступило. Не только для нас, но и для Пушкина было очевидно, что это счастье, как бы оно ни было велико в субъективных ощущениях героев, недостойно быть объектом художественного изображения. Человеческий образ и Онегин и Татьяна могут сохранить в достойном для искусства значении только до тех пор, пока они страдают, пока они не успокоились на полном удовлетворении. Что ожидало эту пару в лучшем случае? Бездеятельный, обособленный мир неоправданного потребления, в сущности, безнравственное, паразитическое житие.

Передовая литература, даже дворянская, все же не находила в себе дерзости рисовать картины счастья, основанного на эксплуатации и горе других людей. Такое счастье, даже несомненно приятное для его обладателей, в самом себе несло художественное осуждение, ибо всегда противоречило требованиям самого примитивного гуманизма. Как кинематографический фильм не выносит бутафорских костюмов, так подлинно художественная литература не выносит морали капиталистического и вообще классового общества.

Именно поэтому литература не могла изображать счастье, основанное на богатстве. Но она не могла изображать и счастье в бедности, ибо подобная идиллия не могла, конечно, обойтись без участия ханжества. Ис-

кусство, всякое настоящее искусство, никогда не могло открыто оправдать человеческое неравенство.

Классовая жизнь — это жизнь неравной борьбы, это история насилия и сопротивления насилию. В этой схеме человеческому счастью остается такое узкое и сомнительное место, что говорить о нем в художественном образе — значит говорить о вещах, не имеющих общественного значения.

Старое счастье находилось в полном обособлении от общественной жизни, оно было предметом узколичного «потребления», в известной мере спрятанного, секретного, долженствующего вызывать зависть тех, кого человеческое неравенство поставило на одну даже ступеньку ниже. В жестокое эксплуататорское общество жизнь личности колебалась от циничной жизни насильника до такой же циничной и безобразной жизни подавленного человека, и поэтому счастье всегда содержало в себе некоторый элемент того же цинизма.

Только Октябрьская революция впервые в истории мира дала возможность родиться настоящему, принципиально чистому, нестыдному счастью. И прошло только 20 лет со дня Октября, а на наших глазах с каждым днем ярче и искренне это счастье реализуется в нашей стране. До чего смешно теперь говорить только о любовном счастье, о том самом единственном, принудительном суррогате его, о котором кое-как пытались говорить старые художники.

Наше счастье — это очень сложный, богатейший комплекс самочувствия советского гражданина. В этом комплексе любовная радость именно потому, что она не обособлена, не уединена в своем первобытно-природном значении, дышит полнее, горит настоящим горячим костром, а не теплится где-то в семейной лачуге в качестве одного из наркотиков, умеряющих страдания человека.

Но наше советское счастье гораздо шире. Оно так велико, что наше молодое искусство еще не умеет его изображать, хотя оно, несомненно, должно составить самую достойную тему для художника.

Ведь наше счастье уже в том, что мы не видим разжиревших пауков на наших улицах, не видим их чванства и жестокости, роскошных дворцов, экипажей и нарядов эксплуататоров, толпы прихлебателей, приказчиков и лакеев, всей этой отвратительной толпы паразитов второго сорта, не видим ограбленных, искалеченных злобой масс, не знаем беспросветных, безымянных биографий. Но счастье еще и в том, что и завтра мы не увидим их, счастье в просторах обеззараженных наших перспектив.

Это самое исключительное счастье, но мы уже привыкли к нему. Вот эта наша замечательная двадцатилетняя привычка — это то самое здоровье, которого человек обычно не замечает.

Но мы богаче даже этого замечательного богатства. Двадцать лет Октября принесли нам не только свободу, но и плоды свободы.

Мы научились быть счастливыми в том высочайшем смысле, когда счастьем можно гордиться. Мы научились быть счастливыми в работе, в творчестве, в победе, в борьбе. Мы познакомились с радостью человеческого единения без поправок и исключений, вызванных соседством богача. Мы научились быть счастливыми в знании, потому что знание перестало быть привилегией грабителей. Мы научились быть счастливыми в отдыхе, потому что мы не видим рядом с собой праздности, захватившей монополию

отдыха. Мы научились быть счастливыми в ощущении нашей страны, потому что теперь эта страна наша, а не нашего хозяина. Мы знаем теперь, какая красота и радость заключается в дисциплине, потому что наша дисциплина — это закон свободного движения, а не закон своеволия поработителей.

В каждом нашем ощущении присутствует мысль о человеке и о человечестве, и наше счастье поэтому не только явление общественное, но и историческое. И только поэтому оно освобождено от признаков тягостной случайности и эфемерности, оно никакого отношения не имеет к судьбе, этой старой своднице былых людских предназначений.

Но наше счастье — это вовсе не подарок «провидения» советскому гражданину. Оно завоевано в жестокой борьбе, и оно принадлежит только нам — искренним и прямым членам бесклассового общества. И поэтому оно приходит не к каждому, кому захочется поселиться на нашей территории. Тому, кто умеет плавать только в мутной воде эксплуатации, счастья у нас не положено. Больше того, ему положены у нас по меньшей мере неприятности.

Законы нашего советского счастья требуют пристального и глубокого изучения, но мы не беспокоимся по этому поводу, ибо, в отличие от всякого другого мира, наш закон общий, закон государственный есть, собственно говоря, закон о счастье.

Остается нашей художественной литературе найти приемы и краски для изображения нашей жизни. Она это уже начала делать.

Полнота советской жизни рождает красочные новеллы

Свой первый рассказ я написал в 1915 г¹. Тогда я был школьным учителем, сюжет рассказа не имел никакого отношения к моей работе. Писать меня побудило желание освободиться от профессии учителя, стать писателем и завоевать славу. Рассказ, однако, получился слабый, как мне об этом довольно откровенно написал Алексей Максимович Горький, которому я послал рукопись. Правда, Горький в своем письме советовал мне попробовать свои силы еще раз, но другой попытки я не сделал и вернулся к преподаванию.

После первой мировой войны и войны гражданской осталось много детей-сирот без средств к существованию. Я стал работать в колонии им. Максима Горького под Полтавой. Хотя колония предназначалась для малолетних правонарушителей, в ней воспитывались мальчики и девочки в возрасте от 12 до 18 лет. Все это были характеры по меньшей мере оригинальные. Тут были не только воришки; некоторые из этих молодых людей обвинялись в изнасиловании, проституции, подделке документов, в бродяжничестве — в общем темная, невежественная компания, проникнутая духом анархизма в его самых примитивных формах.

В колонии Горького я работал восемь лет, в течение которых мне удалось создать интересное и весьма полезное учреждение. В 1928 г. в моей колонии было 400 колонистов; она располагала мастерскими, свинофермой и молочным хозяйством. Наша колония представляла собой свободное объединение людей — здесь никого не заставляли жить насильно. Более того, одним из моих основных педагогических принципов было унич-

тожение всяких стен и заборов. Наш участок был открыт со всех сторон, и покинуть колонию не составляло никакой трудности.

Это был хорошо дисциплинированный одухотворенный коллектив, связанный тесными узами дружбы. Воспитанники выполняли свои обязанности охотно, так как они были убеждены, что это необходимо не только для их собственного блага, но и для блага всей страны. Они учились в школе до девятнадцати- или двадцатилетнего возраста, после чего уходили из колонии, чтобы работать на каком-нибудь заводе или продолжать свое образование. Мы старались, как только могли, сделать их жизнь в колонии наполненной и прекрасной. Они имели свой театр, свой оркестр, в колонии всегда было изобилие цветов, молодежь была красиво одета. Они стали наиболее передовыми людьми во всей округе и оказывали очень благотворное влияние на окружающее население, которое уважало их за общительность, изобретательность, за веселый нрав и вежливое обращение.

Педагогический принцип

Моим основным правилом в этой работе было: «Как можно больше уважения к человеку и как можно больше требования к нему». Я требовал от моих воспитанников энергии, целеустремленности, общественной активности, уважения к коллективу и интересам коллектива. Вполне понятно, что с такой точки зрения грань между уважением и требовательностью фактически стирается. Самый тот факт, что вы много требуете от человека, показывает, что вы его уважаете, а уважение само по себе заставляет быть требовательным.

Невозможно в короткой статье дать подробное описание метода советского воспитания в общем и моего метода в частности. Я не ограничивал свой метод какой-нибудь короткой формулой, которая была бы применима в любом случае. Необходимо было выработать очень детализированную и далеко идущую систему правил и законов и, что особенно важно, установить традиции. Создание традиций в воспитании требует времени, так как традиции приобретаются путем длительного опыта и практики в результате напряженной и усердной работы.

Иногда случается, что дедуктивная логика подсказывает метод, который в дальнейшем на практике обнаруживает себя малополезным или даже вредным. Между тем этот метод уже мог вызвать к жизни традицию, которую нельзя уничтожить просто приказом, а она должна быть вытеснена новой традицией, более сильной и более полезной. Такая работа требует большого терпения и глубокой мысли.

Наша колония почти с самого начала своего существования состояла в переписке с Максимом Горьким. Его заботили наши трудности, он радовался нашим успехам. В 1928 г. Алексей Максимович провел с нами три дня. Мы с ним подробно обсудили логику нашей новой педагогической работы.

Алексей Максимович предложил мне написать книгу о колонии и о новых людях, которых она воспитала. Во время разговора об этой книге ни он, ни я не упомянули о рассказе, который я написал в 1915 г. Ни одному из нас и в голову не пришло, что мне надо отказаться от педагогической работы и стать писателем. Нас, прежде всего, интересовали новые люди,

новые методы воспитания и новые принципы отношения людей в нашем обществе.

Я начал книгу в 1928 г.² Она была быстро написана, и первая ее часть сразу же опубликована. Советский читатель встретил книгу с большим интересом, и я получил много писем от читателей, которые благодарили меня за книгу. Отзывы критики на книгу были положительные. Нечего и говорить, что гонорар за книгу значительно превышал получаемое мною в колонии жалованье (литературный труд оплачивается выше педагогического). Однако я не отказывался от моей педагогической работы. Если я впоследствии, через девять лет, оставил преподавательскую деятельность, то был вынужден к этому лишь плохим состоянием здоровья. Впоследствии я написал другую книгу, под названием «Книга для родителей», посвященную вопросам воспитания в советской семье.

* * *

Ни «Педагогическая поэма», ни «Книга для родителей» не написаны в форме сухих учебников. Я полагал, что художественная форма будет более привлекательной для читателя и окажет более сильное и более длительное влияние.

Выбирая повествовательную форму, я, возможно, следовал своим склонностям. Хотя моя первая попытка была неудачной, вероятно, мои литературные способности оставались скрытыми до тех пор, пока я не попробовал описать собственную работу и столь близкий мне мир.

Есть и другие советские писатели, которые вошли в литературу таким же образом — через большой жизненный опыт, накопленный в результате работы по своей специальности. Ближайшим, последним по времени примером является горный инженер Юрий Крымов, написавший «Танкер «Дербент». В этой повести автор описывает работу небольшой группы людей на нефтеналивном судне в Каспийском море. Может показаться, что нет ничего интересного, любопытного, а тем более исключительного в жизни команды танкера, обреченного на монотонность плавания между двумя портами в таком скучном море, как Каспийское.

Никаких «художественных прикрас»

Если бы в нашей старой литературе автор захотел осветить такую тему, то он должен был бы сочинить сюжет или какую-нибудь интригующую ситуацию, известную как «художественный домysel». Ничего подобного нет в книге Крымова. Изображение жизни танкера он не пытался украсить приключениями, «сильными» характерами, драматическими положениями. Тем не менее книга поистине захватывающая.

Это не только потому, что Крымов — одаренный писатель, но и потому, что он знает своих героев, работал с ними и прошел весь тот путь, который он описывает в своей книге. И наконец, есть еще одна причина успеха таких книг, как «Танкер «Дербент», «Педагогическая поэма», и других книг такого же рода. Она состоит в том, что советский читатель способен оценить и понять такие книги. Нет человека в нашей стране, кто бы не работал, для кого труд был бы лишь источником существования, не являлся бы, прежде всего, основой его политического и нравственного сознания.

Работая коллективно, советский человек служит своей Родине и социализму. От советского рабочего и работницы общество ждет не только простого выполнения своих прямых обязанностей. Оно ждет полного обнаружения его личности и творческих особенностей. Вот почему в советском обществе личность проявляется так полно и глубоко, что дает богатый материал для художественного изображения.

Советская жизнь вдохновляет

Нашим писателям не приходится возбуждать интерес читателя при помощи искусственных интриг или экзотики. Сама наша повседневная жизнь и работа заключают в себе так много волнующих событий и, главное, дают так много свободы для выявления личности, что художественное отражение даже обыденного опыта самого малого коллектива советских людей доставляет читателю величайшую моральную и интеллектуальную радость. Но для этого писатель должен обладать настоящим и исчерпывающим знанием жизни, которую он описывает. Тут нельзя ограничиться наблюдением или поверхностным знанием предмета. Необходимо самому испытать все радости и трудности работы, необходимо самому быть членом коллектива, интересы которого являются собственными интересами автора.

Богатство советской жизни приходит на помощь такому писателю. Перспективы советского гражданина исключительно широки, его интересует все, что происходит как в его стране, так и во всем остальном мире, он обладает исключительно широким умственным горизонтом, он располагает богатой литературой, печатью, театром и кино, он постоянно занят общественной работой. Поэтому, какую бы малую работу он ни выполнял, он способен делать самые широкие обобщения, а это существенный для писателя фактор.

Так у нас на глазах возникает новый тип писателя. И нет сомнения, что в ближайшем будущем этот тип писателя станет преобладающим. Коренное различие между умственным и физическим трудом, которое существует в буржуазном мире, у нас изживается. Противоположность между различными функциями в обществе тоже исчезает. В нашей стране писатель не может претендовать на большее уважение, нежели любой инженер, школьный учитель, сталевар, шахтер или механик.

Опубликовав свою прекрасную книгу, Крымов не оставил работу на нефтяных промыслах. Он пишет вторую книгу, точно так же близкую к правде жизни, такую же глубокую и интересную, как первая книга.

Многие рабочие в Советском Союзе напишут не одну книгу о людях и коллективах, в которых советский человек проявляет свою индивидуальность.

Отзыв о повести А. М. Волкова «Первый воздухоплаватель»

Возвращаю историческую повесть А. М. Волкова «Первый воздухоплаватель», присланную мне для отзыва.

Как видно из заявления т. Волкова, повесть была им представлена в Детиздат, в общем там одобрена, но автору все-таки было отказано во включении ее в план издания 1938 г.

Мое мнение о повести следующее.

Она обладает несомненными достоинствами, а именно:

В повести прекрасно передан колорит елизаветинского времени, но действующие лица не обеднены, не нагромождено никаких лишних ужасов, люди живут и работают с той необходимой долей энергии и оптимизма, без которых, конечно, невозможна человеческая жизнь. Тема повести, отраженная в самом заглавии, передана на интересной фабульной сетке, что совершенно необходимо в исторической книге для юношества. Сюжет построен на хорошей политической канве, без преувеличений и голого социологизирования, поэтому в повести техническая тема не глядит обособленной от жизни. Фабульная интрига проведена в очень жизнерадостных, напряженных линиях, в повести много и юмора. Язык не испорчен никаким стремлением к натурализму. Все лица очень живы, в особенности фигура Елизаветы Петровны, Шувалова, коменданта Шлиссельбурга, старшего тюремщика, сыщиков и других.

К недостаткам повести отношу:

1. Экспозиция растянута и слабо связана с основной темой.
2. В истории не было такого случая, когда бы узник вылетел из Шлиссельбурга на воздушном шаре, поэтому необходимо переменить место действия, Шлиссельбург для этого слишком историческое место.
3. Фигура коменданта для Шлиссельбурга слишком комична, в таком месте, разумеется, правительство держало более солидных людей, более способных быть настоящими тюремщиками.
4. Действующие лица бледно показаны в зрительном отношении, не описаны лица, другие индивидуальные отличия.
5. Одна из главных фигур — Гаркутный — не выдержана в основном тоне: вначале это разбойник и протестант, потом простой солдат, слишком ручной и покорный.

6. Почти совершенно нет пейзажа.

7. Конец повести требует более ясного определения. Если продолжения не будет, надо указать, куда делся вылетевший из крепости узник. Если будет продолжение, нужно об этом сказать.

Все эти недостатки легко устранимы. Из беседы с автором я выяснил, что он сам легко это может сделать и нуждается в самой небольшой помощи редактора.

Мое мнение, что повесть должна быть отнесена к числу хороших повестей для юношества и даже для среднего возраста. Она и не пытается дать большой художественный анализ середины XVIII в., но небольшую тему о начале воздухоплавания она разрешает на правильном историческом фоне, разрешает очень живо, в сравнительно остром сюжетном движении. После некоторых исправлений, которые автор легко сделает, она обратится, безусловно, в одну из лучших книг для юношества. Думаю, что издание книги нельзя откладывать: историческая литература для юношества у нас не так богата.

А. Макаренко

О счастье (заметка)

Прочитал эти две вещи¹ и вспомнил Ваше «Счастье». Какая огромная дистанция. Тут и намеков на личное счастье нет. Ибо такого счастья сейчас нет в природе. И его не может быть, пока есть хоть один «несчастненький» (русское простонародное выражение), пока в человеческом обществе господствует злоба и ненависть, пока (человек человеку — волк). Но нельзя отнимать у человека мечту о счастье, когда в жизни установятся «мир и любовь». Нельзя современное существование (личное) называть счастьем. Это — кощунство.

«Счастье» — проложить верный путь к светлой жизни всего человечества.

Это — счастье! Но счастье коллективное, а не личное. А на долю личности и сейчас выпадают большей частью несчастья... Впрочем, мгновениями и личное счастье сверкнет среди несчастий.

Чкалов, Громов испытали счастье. Леваневский² — жертва несчастья.

«Мальчик из Уржума»

«Мальчик из Уржума» — так называется книга А. Голубевой, изданная Детиздатом пятидесятитысячным тиражом. Эта простая и безыскусственная повесть о детстве и юношестве Сергея Мироновича Кирова будет прочтена с глубоким интересом и волнением советскими детьми среднего и старшего возраста. От автора следовало бы ждать более ярких характеристик и красок, более подробного раскрытия многих интереснейших страниц из детства и юности пламенного трибуна революции Мироныча. Так, например, не лучше ли было бы значительно короче изложить скучные речи, произнесенные на заседании педагогического совета Уржумского городского училища, и как можно больше и полнее рассказать о взаимоотношениях Сережи Кострикова и его товарищей по школе, любовно восстанавливая и по-писательски дополняя забытые и утерянные эпизоды первых лет жизни мальчика из Уржума?

Правда, чрезвычайная чуткость автора ко всему, что касается биографии Сергея Мироновича Кирова и описания его окружения — всех этих благодетелей, учителей, начальницы приюта, попа — отца Константина, оправдывает задачу честного и неприкрашенного рассказа о детских годах мальчика из Уржума. Читатель видит перед собой нищету и неприглядность жизни маленького Сережи, сироты, оставшегося вместе с двумя сестренками на попечении бабушки, получающей 3 рубля солдатской пенсии в месяц. Сережа живет, не стонет и не жалуется — смеется, шутит и играет, как всякий в этом возрасте.

Отказ Сережи переселиться в приют — это пока еще детская обида, а не протест. Но в то же время здесь первый выход мальчика из Уржума на борьбу против несправедливостей жизни.

Сережа в приюте переживает то, что являлось уделом миллионов его маленьких сверстников, сирот и детей бедняков, трудящихся. И первые его радости в этой обстановке неприбранной нищеты — это свидетельства энергии и сил, которые живут в сироте из Уржума.

В Уржуме живут ссыльные, таинственная коммуна бедных, но необычных людей. И хотя мальчик тянется к ним, пока еще не осознавая причин такой тяги, они заложены уже в нем, эти причины, его первыми жизненными впечатлениями, горем, нищетой.

Сереже «повезло». Благотворители милостиво отправляют его учиться в низшее Казанское техническое училище, обставляя эту милость похабной расчетливостью, без которой в прошлом была невозможна никакая подачка. И Сережа ютится на кухне, у него нет ни гроша для покупки самой дешевой книжки, самой простенькой готовальни. Но он уже вступает в борьбу за знания, за право человеческого существования.

Он сталкивается с невероятно тяжелыми условиями работы на мыловаренном заводе, видит слабые попытки протестов студенчества. В этой борьбе мальчик из Уржума ощущает присутствие врагов, но не политическим знанием, а классовым чутьем. И, когда во время каникул в Уржуме ссыльные дают Сереже Кострикову почитать «Искру», одна ночь открывает перед ним истину, рождая будущего большевика-революционера.

Шестнадцатилетний мальчик лишен к этому времени даже благотворительной помощи. Он спит на полу в жалкой комнатенке товарищей, но без колебаний и сомнений начинает революционную работу.

Лучшие страницы в книге посвящены организации Сережей первой подпольной типографии и распространению прокламаций вокруг Уржума. Он участвует в студенческом бунте, подвергается увольнению из училища и восстанавливается в нем после бурного протеста товарищей.

В этих первых революционных событиях жизни Сережи уже виден будущий непреклонный вождь трудящихся. Сережа проявляет энергию, талант и страсть выдающегося борца. С поражающей смелостью он производит первую свою революционную операцию, оставаясь спокойным, заботясь, думая и веря в успех дела. Передача печатного станка из школьной мастерской в студенческую революционную организацию — это уже дело большой человеческой решимости и доблести. И его совершает Сережа в такой момент, когда другой человек мог бы упасть духом, в момент своего увольнения из школы. Грани между личной жизнью и жизнью революционера стерты.

В этой теме уже веет на читателя глубокой и спокойной страстью большевика. Уже видны начала большого служения делу человечества, начала героической и светлой жизни. И это чувствует читатель.

Судьба

...В мировой борьбе за человеческое счастье до наших дней считалась неразрешимой тема личности и коллектива. Нужно признать, что она не могла быть разрешена, пока самое понятие коллектива для мыслителей до Маркса было недоступно.

Вместо коллектива в самой формулировке темы фигурировало так называемое общество, т. е. неопределенное отражение весьма определенной классовой лестницы. Попытка разрешить вопрос о личности и обществе являлась, в сущности, попыткой изменить бедственное положение этой самой личности, сохраняя классовую структуру общества.

В то же время давно не вызывала сомнений аксиома: человеческое счастье может быть реализовано только в живой, отдельной человеческой жизни. Жизнь личности всегда оставалась единственным местом, где счастье можно было увидеть, где уместно было его искать. Стремление к счастью всегда было естественным и полнокровным стремлением, и даже самые дикие самодуры и насильники не решались открыто говорить о человеческом счастье сколько-нибудь пренебрежительно. Тем более искренние и горячие слова о счастье всегда были написаны на революционных знаменах, особенно тогда, когда за этими знаменами шли трудящиеся массы.

Несмотря на длящийся веками опыт народного страдания, люди всегда верили, что счастье есть законная норма человеческой жизни, что оно может быть и должно быть обеспечено и гарантировано в самом устройстве общества. И поэтому людям всегда казалось, что грядущая победа революции есть завоевание всеобщего счастья. Французская революция проходила под лозунгом «прав человека и гражданина», и многим тогда казалось, что хорошее право — прекрасный путь для общественного счастья. И в Манифесте Емельяна Пугачева 1774 г. было написано:

«...По истреблению которых противников и злодеев дворян всякой может восчувствовать тишину, спокойную жизнь, коя до века продолжаться будет».

«Тишина и спокойная жизнь» — это программа-минимум того народного счастья, о котором так долго мечтали трудящиеся массы старой России и которого так долго они не могли дожидаться.

Так проходили века и тысячелетия. Кровопролитные войны сменялись миром, революции сменялись «покоем», плохие законы — хорошими законами, дурные правители — правителями мудрыми, а народное счастье, гарантированное идеей солидарного человеческого общества, все оставалось мечтой, настолько далекой, что вслух о ней могли говорить только люди, заведомо непрактичные. Счастье как функция человеческого общества исчезло очень давно из обычной логики, и это исчезновение не могли компенсировать даже самые передовые лозунги.

Истинной хозяйкой счастья, понимаемого уже как атрибут отдельной личности без всякого намека на какое бы то ни было общественное устройство, была судьба.

Институт судьбы, как известно, очень древний институт, созданный еще в те времена, когда воля богов считалась главной двигательной силой, когда в сравнении с ней законы общественные имели явно второстепенное значение. В этой глубокой древности компетенция судьбы была чрезвычайно обширна, даже боги подчинялись ее роковым указаниям. Действия судьбы в то время были действиями фатума, безраздельно тяготевшими над смертными и над бессмертными, фатума слепого, безразличного к вопросам счастья или несчастья, не имеющего ни цели, ни смысла. Таким дошел до нас портрет древней судьбы, прародительницы всех других, более поздних исторических судеб.

Потом на глазах истории эта физиономия судьбы сильно изменилась, но память о древнем портрете до сих пор живет в народе. В этой памяти удары или ласки судьбы представляются случайными и слепыми ее подарками. Но эта память живет только в фольклоре, среди столь же древних оскол-

ков «языческих» культов и пантеистических рудиментов. Передовая человеческая мысль успешнее разобралась в истинном портрете настоящей, а не мифической судьбы.

В самые мрачные годы николаевской России у М. Ю. Лермонтова сложились такие стихи:

За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе¹.

Эта судьба уже не безразлична к вопросам человеческой радости. Она не слепо разбрасывает наслаждения и горе, и для нее, собственно говоря, счастье принципиально неприемлемо. Она прямо враждебна человеку. Ревниво завистливыми глазами она следит за человеческим светлым днем и неуклонно, со злобной последовательностью требует от него страшной расплаты. От былой безразличности фатума у лермонтовской судьбы не осталось и следа. Его судьба обладает зорким взглядом и кровожадной неразборчивостью: она требует расплаты за каждый светлый день. Николаевская судьба уничтожила эти светлые дни, не разбираясь почти в их индивидуальной ценности. Она рукой и самого Николая I, и его жандармов, и помещиков громила всю Россию, все ее живые силы — подряд, огулом; естественно, под ее удары должен был попадать и попадал «каждый светлый день», каждая крупица человеческой жизни. Никакого равенства счастья и несчастья, равенства так на так не было в николаевском обществе; выигрыш всегда был на стороне несчастья, горя и разорения. Жизнь самого М. Ю. Лермонтова — короткая юношеская история оскорбления, гонения и горечи — оборвалась на 26-м году. Жизнь бурно-радостного, светлого, мажорного и могучего А. С. Пушкина была отравлена этой судьбой от первого сознательного движения до последнего страдания. Жизнь Тараса Шевченко, жизнь всего культурного первого русского соцветия, так же как и жизнь десятков миллионов крепостных, — все это одинаково мрачная картина тогдашней судьбы, совершенно несклонной подражать слепо справедливому балансу счастья и несчастья.

Но судьба продолжала жить дальше, она сохранила в себе от николаевского времени много предначертаний. Судьба Анны Карениной — это и есть тот же мучительный процесс расплаты за «каждый светлый день иль сладкое мгновенье». Но судьба эпохи Анны Карениной кое-чем и отличается от лермонтовского портрета. И здесь бухгалтерский баланс выведен с сальдо в пользу горя и отчаяния, но, в отличие от М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстой рекомендует и средство сопротивления жестокой судьбе.

В дни Лермонтова вопрос о счастье просто не ставился. Мы знаем для этого времени единственную идиллию — «Старосветские помещики». Это картина счастья, но какое это счастье — жалкое, пустое, нищенское. Только судьба — Плюшкин, только жадная, отупевшая и действительно отвратительная жизнь могла раздавать своим любимцам подобные подарки — уродцы человеческой радости.

У Л. Н. Толстого более справедливая бухгалтерия. Посредственная добродетель, отличная от искренней светлой страсти, создает одинокое и в сущности эгоистическое осмотнительное балансирование — вот путь, наиболее выгодный перед лицом судьбы. Та же идея в виде, пожалуй еще более выраженном, — в «Отце Сергии». Не страсть, не активная жизнен-

ная борьба, а прозябание в мелких, терпеливых сопротивлениях, в будничном, ежедневном пресмыкательстве перед нуждой — вот премудрая покорность, способная уберечь человека на тонкой грани между большим счастьем и большим несчастьем.

Л. Н. Толстой ощущал переходное время от тупой и кровожадной судьбы дворянской России к такой же беспощадной, но технически более европейской судьбе эпохи буржуазного расцвета, уже не громящей жизнь подряд и огулом, а вооруженной некоторой системой учета, бухгалтерским аппаратом и картотекой. Если М. Ю. Лермонтов не видел никакой защиты против судьбы, если даже Пушкин утверждал, что «от судеб защиты нет», то Л. Н. Толстой в полном согласии со стилем новой эпохи видит эту защиту в расчетливо-коротком шаге отдельного человека, в той самой аккуратной политике, которая, с одной стороны, требовала от человека добра, а с другой стороны, советовала: не противься злему злом. В сущности, это была политика примирения с судьбой, полного отказа не только от сопротивления, но даже от протеста.

Политика эта не увенчалась успехом. Конец XIX в. в русской литературе начался ужасом Достоевского и окончился ужасом Андреева. У Достоевского ужас перед человеческой судьбой выразился в картинах самого гибельного развала, гниения человеческой личности, развала безысходного, кровоточащего, отчаянного. Это гибель той самой личности, которая так долго, так покорно подставляла голову исторической судьбе и, наконец, устала надеяться и хотеть. Достоевский пытается разрешить это гниение в процессе страдания, но и страдание его безнадежно, в нем совершенно уже не видно лица общественного человека. Андреевский ужас больше похож на бунт, у него больше крика, визга, вопля, он не хватается голыми руками за страдание и не покоряется судьбе — андреевский человек погибает с руганью на устах, но он так же бессилен и так же немощен, как и человек Достоевского.

Буржуазная Россия привела с собой судьбу, производящую самое отталкивающее впечатление. И все же эта судьба кое-кому и мирволила. Были у нее и счастливые люди, были люди больших размахов и капиталов, удачи и счастья, только это счастье признали недостаточным восхвалять наши великие писатели. Это было то самое безнравственное счастье, которое никогда не было признано человеческим гуманизмом. И против этого счастья, против этих любимцев судьбы и против самой судьбы выступил в литературе с горячим и оптимистическим словом, с уничтожающим прогнозом Максим Горький, но это уже было одно из слов грядущей пролетарской революции, слово о свободной от судьбы человеческой личности.

Судьба хорошо погуляла на тысячелетних пространствах истории. Она уничтожила тупой рукой сотни миллионов и миллиардов светлых человеческих дней, она уничтожила бесследно жизнь и счастье целых народов, она обратила целые нации в гнезда вымирающего человечества, она и сейчас дебоширит под фашистскими знаменами на Западе и на Востоке. Судьба — страшный символ случайности, необеспеченности жизни человека, зависимости от его стихии, насилия и грабительства сильных.

В нашем советском языке самое слово «судьба» перестало существовать. Это слово нельзя встретить ни в советской книге, ни в советской газете, ни в советском разговоре. Впервые в истории человечества рядом с кон-

ституцией не живет и не вмешивается в человеческие дела автономная и всемогущая судьба.

Великая Октябрьская революция обкорнала судьбу, лишила ее возможности и благодетельствовать, и гадить.

В первой статье Конституции положены для судьбы первые могущественные пределы.

Союз Советских Социалистических Республик «есть социалистическое государство рабочих и крестьян».

Судьба привыкла по собственному вкусу избирать любимцев. Она не привыкла избирать их из среды трудящихся, в лучшем случае она дарила им такую сомнительную удачу, как работа в течение 12 часов в сутки, как обеспеченный на неделю кусок потом облитого хлеба. Судьба при всей ее традиционной слепости нюхом всегда чувствовала, где находятся претенденты на счастье, тем более что и самые претенденты не сидели сложа руки и всеми правдами и неправдами, а более неправдами, помогали судьбе в выполнении ее предначертаний. Судьба привыкла сама избирать своих избранных. И вдруг мы предложили ей такой принудительный ассортимент: рабочие и крестьяне.

Мы хорошо знаем, как коварная судьба при помощи угодливых и быстроумных своих прихлебателей пыталась нас перехитрить. Разве «врастание кулака в социализм» не было попыткой организовать для госпожи судьбы подходящий контингент охотников на счастье за счет трудящихся — привычный для нее высокий класс счастливых? Из этой попытки ничего не вышло. Перед судьбой остались только рабочие и крестьяне. Можно себе представить, что судьба способна заняться и этими классами, почему бы ей в самом деле не облагодетельствовать какого-нибудь рабочего; принципиально это как будто не противоречит самой идее судьбы.

Оказывается, дело не в принципиальном, а в историческом опыте. Судьба, несмотря на все свое могущество, тоже страдает привычками, и самым привычным способом споспешествования человеку были для нее поддачи.

Подарить человеку богатство — по-нашему выражаясь, орудия производства — самый легкий способ облагодетельствования, но... в статье 4 нашей Конституции недвусмысленно сказано: «...отмена частной собственности на орудия и средства производства и уничтожение эксплуатации человека человеком».

Таким образом, споспешествовать совершенно невозможно. Есть, конечно, и для судьбы маленький выход: сделать человека, этого же рабочего, стахановцем. Но, во-первых, это может произойти и без вмешательства судьбы, во-вторых, судьба просто охоты не имеет на подобные операции.

Остается, следовательно, единственный путь вмешательства в человеческую жизнь — старый, испытанный способ — гадить.

За длинную свою многовековую жизнь судьба хорошо специализировалась на всяких пакостях человеку: безработица, нищета, беспросветный труд, старость, болезни. Так нетрудно было повергнуть человека и его семью в тревогу наступающего голода, в оскорбительную процедуру выпрашивания работы и благотворительного супа. И поэтому так непривычно звучит для судьбы статья 118 нашей Конституции: «Граждане СССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной работы с опла-

той их труда в соответствии с его количеством и качеством».

Слово «гарантированной» впервые в истории появилось в Конституции человеческого общества, и одно это слово способно уничтожить судьбу.

«Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «Кто не работает, тот не ест».

Труд и удовлетворение потребностей сделались равноправными логическими и экономическими категориями, и для самодурства судьбы не осталось никакого простора. Отдельный гражданин может, разумеется, воспылать отвращением к труду, пусть попробует судьба принести такому гражданину советское счастье. Подход нашей Конституции к вопросам удачи или неудачи для судьбы непонятен и непривычен.

Мы, конечно, не можем еще утверждать, что судьба совершенно оставила в покое нашего человека. Она еще пытается реять над нашей территорией и высматривать для себя добычу. Но доступными для нее остались некоторые мелочи и только в двух областях.

Первая область — это любовная сфера. Здесь она имеет некоторую возможность, пользуясь неопытностью влюбленных, подталкивать их на разные роковые ошибки, а потом утешаться, наблюдая их разочарование и семейные сцены. Но даже и в этой области больших трагических катастроф ей не удастся организовать. Советский человек свободен у нас не только в политическом смысле. Он свободен и в своей бодрости, в своей вере в жизнь, в своем мужестве перед отдельными неудачами, он умеет с достоинством переживать свои ошибки и исправлять их. И поэтому судьбе не приходится видеть ни обезумевших ревнивцев, ни опозоренных девишек, ни закабаленных женских жизней.

Вторая область, где еще судьба может вмешаться в человеческую жизнь, — это уличное движение. Не так давно эта область безраздельно принадлежала ей. Могущественное развитие наших автомобильных заводов как будто даже благоприятствовало ее домогательствам. Под ее тлетворным покровительством оставались некоторые кадры ротозеев и угорелых кошек. В последнее время и здесь положение улучшилось. Значительная часть ротозеев, побывав в институте Склифосовского, перековались, а наши РУДы, подобно другим советским работникам, стараются как можно лучше выполнять свой долг. К последним дням жизнь судьбы настолько измельчала, что красный или зеленый свет и для нее кажется авторитетным.

Впервые в истории человечества мы способны игнорировать самое понятие судьбы. Впервые счастье сделалось будничным достоянием широких масс, а удача перестала быть незаслуженной случайностью. В нашем советском счастье вдруг стала явно ощущаться и его причина — усилие, героическая борьба, настойчивость и вдохновение. И мы не только знаем имена наших героев, но знаем и тот трудовой путь напряжений, который привел их к героизму. Мы не имеем оснований ни благодарить судьбу, ни поносить ее. Мы не хотим «за каждый светлый день иль сладкое мгновенье» расплачиваться с судьбой в какой бы то ни было валюте. О слезах и покое в качестве платежного средства, само собой, не может быть и речи, но мы не склонны расплачиваться даже мелкой никелевой монетой. Мы хорошо знаем, от чего зависят наши светлые дни, мы умеем их представлять вперед, мы действительные хозяева нашей жизни. И теперь, когда

мы выбираем наших лучших людей в верховные органы нашей республики, ни для нас, избирателей, ни для наших избранников нет ни малейших оснований для реверансов перед судьбой. Территория нашей страны настолько освобождена от власти судьбы, что даже наши враги, пытавшиеся отравить нашу жизнь посевами фашистских предательств и шпионских происков, закончили свою карьеру без заметного вмешательства судьбы. Их гибель была так же закономерна и так же неизбежна, как закономерны и неизбежны наши победы на всех участках революционного фронта. И впервые в наступающих генеральных битвах с фашизмом последний тоже пусть не рассчитывает на счастливую судьбу. Везде, где раздается шаг социализма, судьба механически выключается как деятель. Социализм есть первое в истории освобождение человечества от случайностей. И только в социалистическом обществе личная жизнь человека, ее счастливое течение гарантируется единством человеческого коллектива и справедливой, бесклассовой конституцией².

Выборное право трудящихся

1

Лет 35 назад — перед японской войной — самое слово «выборы», кажется, отсутствовало в лексиконе среднего трудящегося человека в России. Очень редко оно встречалось в книгах, если книги говорили о других странах, но другие страны были так далеки, что даже зависти не вызывали.

Мой отец был рабочий, и поэтому я учился на медные деньги. Хотя слово «выборы» и было мне известно, но я очень редко мог употреблять его в разговоре — по какому случаю, в самом деле, оно могло прозвучать в моей речи?

Мне, как и другим представителям моего класса, случалось, конечно, слышать, что есть такие выборные высокопоставленные лица — губернский и уездные предводители дворянства. Никогда в жизни я не видел такого предводителя, ни живого, ни мертвого. Мои жизненные пути и жизненные пути предводителей почему-то не пересекались. Это происходило, может быть, потому, что наши жизненные пути были расположены в различных плоскостях: пути мои и таких людей, как я, были проложены где-то по земле, и гораздо выше, очень высоко, недостижимо для глаза, проходили пути дворянские. Вот я сейчас вспоминаю и никак не могу вспомнить, кто из моих знакомых был дворянином. Правда, в 1914 г. в г. Полтаве меня, по особой протекции, рекомендовали в репетиторы в семью полтавского губернатора Богговута. Я почти обрадовался, если вообще можно говорить о радости в таком случае. Но это репетиторство обещало мне хороший заработок, а кроме того, мне хотелось посмотреть на потомка одного из героев двенадцатого года — генерала Богговута, убитого под Тарутином, которого и Л. Н. Толстой помянул добрым словом. Мои расчеты не оправдались. Я занимался с племянником губернатора несколько месяцев, но, кроме этого племянника, чрезвычайно несимпатичного и глупого мальчика, я никого из губернаторской семьи не видел. Встречал я лакеев, каких-то приживалов да нечто вроде гувернера — все такая же наемная рабочая сила, как и я. Они допускали меня в губернаторский дом через черный ход, они торго-

вались со мной о цене и не позволяли мне ничего лишнего сорвать с имени-того работодателя, они же раз в месяц вручали мне конверт, в котором вовсе не были написаны благодарственные слова за мою помощь губернаторской семье, а только помещались обусловленные 15 рублей. Мои пути и пути дворянской семьи Богговутов находились в настолько различных плоскостях, что Богговуты даже не могли выслушать мое мнение о способностях и прилежании члена их семьи — моего ученика, а нужно полагать, что мое мнение сколько-нибудь их все-таки должно было интересовать¹.

Если в этом во всех отношениях замечательном случае наши пути не пересекались, то какое же отношение могли иметь ко мне и к таким, как я, какие-то выборы предводителей. Как выбирались предводители дворянства, губернские и уездные, для чего выбирались, каким способом, явным или тайным, какие там страсти кипели во время выборов, ни я не знал, ни все мое общество. Не только не знали, но и не пытались знать. Ведь даже это, такое далекое от нас, абсолютно недоступное, чванливое и богатое дворянское общество, обитавшее на таких высотах, куда даже наши взгляды не достигали, само было обществом рабским, пресмыкающимся, обществом, о котором так хорошо в свое время было сказано Лермонтовым:

Перед опасностью позорно-малодушны
И перед властью — презренные рабы².

А многие из нас лучше знали Лермонтова, чем живое дворянство перед японской войной. Не видев дворянства в глаза, мы знали о его человеческом и общественном ничтожестве, знали о ничтожных страстях каких-то там дворянских выборов и были всегда готовы исполнить пророчество того же Лермонтова:

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом... —

хотя и никак, пожалуй, не предвидели, что мы сами так скоро окажемся этими «потомками».

Но между нами и дворянством лежало еще несколько сфер, обладающих также какими-то выборными правами. Эти сферы мы уже могли наблюдать невооруженным глазом, но только в общей картине их, в настоящие тайны их деятельности и их прав мы тоже проникнуть не могли. Это были те «круги населения», которые выбирали городское и земское «самоуправление». Такие выборы тоже происходили более или менее секретно от трудящегося населения. Может быть, у них происходила предвыборная борьба, может быть, у них выставляемы были плохие или хорошие кандидаты, произносились речи, кипели страсти? Кто его знает. Мы даже не знали имен тех людей, кто участвовал в выборах. Кажется, их было так немного, что они все могли поместиться в одном зале, представляя большой город с населением около 100 тыс., и, насколько я помню, голосование у них производилось шарами, что возможно только в небольшом, «своем» обществе. О всех процедурах их избирательной кампании мы не могли узнать даже из газет: печатались только имена избранных членов городской или земской управы, но и в этих именах для нас не заключалось никакой сенсации. Почему-то так выходило, что городские головы и члены управ десятилетиями занимали свои посты.

В г. Кременчуге, где я провел большую часть жизни, с тех пор как я начал себя помнить, был городской голова Изюмов. Я видел его сравнительно молодым человеком, потом пожилым, потом стариком, потом помолодевшим при помощи черно-синего гребешка — а он все ходил городским головой, и все в городе прекрасно знали, что Изюмов и есть «от природы» городской голова и что никто другой не может им быть. Очевидно, небольшая часть заключалась в том, чтобы раз в 3 года положить белый или черный шар направо или налево. Направо мог стоять Изюмов, налево — какой-нибудь другой купец, похожий на Изюмова, а может быть, и никто не стоял, ибо зачем стоять, если есть Изюмов, который «мирно» сидит себе на месте городского головы вот уже столько лет, никого не трогает, чинит мостовые, собирает налоги, назначает учителей в полдюжины начальных школ, а вообще человек честный и приличный.

Такая штука называлась городским самоуправлением или земским самоуправлением — штука, собственно говоря, бедная, настолько бедная, что, пожалуй, и не стоило бы лишать нас права голосовать за Изюмова. Однако, как это ни странно, это самоуправление вызывало заметное умиление у многих интеллигентных душ, и даже самое слово «земство» некоторые произносили с дрожанием голоса. Тогда не уставали перечислять и описывать в книге разные земские подвиги, между которыми называлась даже постройка дорог, хотя все хорошо знали, что как раз дороги в нашей стране блистательно отсутствовали и дорогой называлась такая часть земной поверхности, которая наименее приспособлена для езды. С таким же умилением говорили и о городском самоуправлении, несмотря на то что все наши города, за исключением, может быть, одного Петербурга, жили бедно, грязно, переполнены были клопами и собаками и только в очень незначительной степени напоминали европейские города.

Городское и земское самоуправление, сопровождающие их выборы и карьеры отдельных лиц, реализуемые в отдельных выборах, были той жалкой «демократической» подкладкой самодержавия, которую мы — пролетариат — даже не ощущали. Наша жизнь помещалась за границами даже такой общественности, а ведь наша жизнь — это была жизнь всего русского народа. К нам эта общественность изредка прикасалась самым «теплым» своим боком, боком благотворительности. У столпов общественности, у эти самых городских голов и членов, у их жен и дочерей иногда начинало зудеть под какой-нибудь идеалистической ложечкой; тогда, смотришь, на одной из второстепенных улиц воздвигается народный дом — один на губернию, который только потому назывался народным, что не совсем удобно было называть его «простонародным». В другой раз, в таком же порядке, рука «дающая и неоскудевающая» начинает строить приют для сирот, — очевидно, для сирот наших, пролетарских, но на открытии приюта пьют, и закусывают, и ухаживают за дамами, и вообще кокетничают и добрыми сердцами и неоскудевающими руками отнюдь не пролетарии, а все та же «общественность». В третьем месте строится дешевая столовая, в четвертом — вечер для бедных студентов гремит музыкой и щеголяет прогрессивным духом.

Только теперь, с высот социалистического общества, видно, сколько и во всей этой общественности, и в ее благотворительности было настоящего похабного цинизма, настоящей духовной человеческой ни-

щеты, сколько оскорбления для действительного создателя жизни и культуры — для трудящегося человека. Но и тогда трудно было кого-нибудь обмануть из «простого» народа: народ прекрасно понимал, что ему положено судьбою работать по 10—12 ч в сутки, жить в лачугах, в темном невежестве, продавать труд своих детей, периодически переживать голод и всегда дрожать перед призраком безработицы. Это была определенная, освященная богом, веками и батюшками доля; то обстоятельство, что где-то кого-то выбирают господа, в сущности, мало кого занимало.

2

После 1905 года, наполненного нашей борьбой и нашим гневом, на сцене «общественности» были поставлены новые декорации. В них уже просвечивали европейские краски. Правда, самое слово «конституция» считалось крамольным словом, но все было сделано почти как в Европе: происходили выборы, боролись партии, произносились речи, принимались запросы, обсуждались законы, разгорались страсти и аппетиты. Российская история вступила в новую эпоху. Прежде было в моде щеголять открытым цинизмом самодержавия, азиатской откровенностью насилия. Теперь должны были войти в обиход утонченные европейские формы. Законными и будничными сделались слова «прогрессивный», «демократический», «свобода», даже слово «народ» начало выговариваться без прежнего неизменного обертона «простонародный». Высшая политическая техника позволила даже кадетам произносить такие речи, что у полицейских дух захватывало. Государственная дума казалась приличным учреждением, но восторгались этим обстоятельством очень немногие, восторгались те, которые обладали «европейским» вкусом, воспитанные на английских и французских образцах. Настоящим хозяевам жизни этот стиль не очень нравился. Романовская фамилия, романовский двор, аристократия, дворянство не могли так скоро отвыкнуть от привычной простоты отношений, от непосредственности и искренности кнута, от неприкрытого, откровенного грабительства.

Эпоха Государственной думы не выработала ни щепетильной элегантности лорда, ни утонченного остроумия либерала, ни важности барона, ни мудрой добродетельности фермера. Европейские запахи парламентаризма казались запахами неприятными, конечно, по неопытности. Николай II даже в 1913 г. писал министру внутренних дел Маклакову о своем желании распустить Государственную думу, чтобы вернуться к «прежнему, спокойному течению законодательной деятельности, и притом в русском духе».

Этот самый якобы русский дух, не дававший покоя Николаю II, в сущности, был настоящим средневековым азиатским духом, духом шахов и падишахов, беев, пашей и беков. И он так сильно, этот дух, заполнял политическую атмосферу, что европейские конституционные мечты остались гласом вопиющего с трибуны. Буржуазное избирательное право, самый тонкий, лакированный и полированный инструмент классовой власти буржуазии, Николаю II и его башибузукам казалось чересчур нежным и непривычно хрупким инструментом сравнительно с испытанными средствами: нагайкой и виселицей.

Но «прежнее, спокойное течение законодательной деятельности» не так легко было восстановить, ибо хорошо помнился 1905 год, помнилось

гневное выступление пролетариата и крестьянства, вспоминался малодушный манифест 17 октября, вспоминались и московское восстание, и великая забастовка, и пожары помещичьих усадеб.

Рабочий класс и стоящая во главе его партия большевиков знали, что и от самого наивероятнейшего избирательного закона нельзя ожидать коренного улучшения жизни трудящихся, но нужно ожидать улучшения условий борьбы. Поэтому возвращение к откровенному разгулу самодержавия не могло удалиться вполне, но удалось частично. Если на выборах в первую и во вторую Государственную думу еще можно было слышать кое-какие европейские запахи, то уже к 1907 г. они были основательно испорчены привычными актами «деятельности в русском духе»: виселицы Столыпина, погромы, резиновые палки в руках членов «Союза русского народа», отправка на каторгу всех социал-демократов второй Государственной думы — вот те самобытные спокойные орнаменты, которые с воодушевлением прибавил Николай II к формуле четыреххвостки. А закон 3 июня 1907 г. и самому избирательному закону придал характер прямодушно азиатской бесцеремонной откровенности.

По этому закону только крупные землевладельцы получили право непосредственно посылать в губернское избирательное собрание своих выборщиков, да первая (богатая) курия в городах получила приличное представительство. Все остальные граждане должны были пройти через несколько сит разных собраний, уездных и губернских, чтобы добиться одного-двух мест в губернском избирательном собрании. Закон был сделан цинично-грубо, даже без заботы о ловкости рук; по наглости это было нечто неповторимое.

По такому закону рабочие и крестьяне располагали всего 9% голосов в губернском избирательном собрании, т. е. фактически не могли послать ни одного депутата. Это было явное, открытое издевательство дворянско-буржуазного блока над интересами и жизнью трудящихся. Даже те немногие представители рабочего класса, которым удалось прорваться в Государственную думу, скоро были выданы этим милым учреждением в руки полиции.

В это время окончательно исчезли самые слабые запахи европейского парламентаризма, даже родичевы притихли; политическими фигурами России сделались пуришкевичи и марковы, родзянки и гучковы³, да и то последние были предметом ненависти Романовых, ослепление и идиотизм которых достигли действительно пределов патологических: царица Александра Федоровна более всего ненавидела Гучкова: «своя своих не познаша».

Вся эта «выборная» политика не только была направлена против трудящихся, но и сопровождалась откровенной ненавистью правящих классов, злопахательством правительственных, правых и октябристских, газет. Дворянство и буржуазия хотели править русским народом, хотели до последней нитки грабить его, хотели держать его в нищете и темноте, но не способны были сделать хотя бы приличное лицо перед народом, хотя бы минимальную заботу проявить о нем. Рабочий и крестьянин, подавая свой голос, окружены были бандитскими, грабительскими мордами, протянутыми жадными руками эксплуататоров. Никакой Европы — русские господа никак не могли отвыкнуть от крепостных привычек.

И, не считаясь уже ни с какими европейскими этикетами, не считаясь даже с мошеннически составленным третьейиюньским парламентом, царское правительство продолжало свое темное и дикое дело. Если в 1905 г. в тюрьмах находилось 86 тыс. человек, то в 1912 г. их было 182 тыс. На каторге в 1905 г. было 6 тыс., а в 1913 г. — 32 тыс. Можно сказать, так росло участие трудящихся в «общественной» деятельности.

В таком же отношении к успеху парламентаризма стояло и благосостояние рабочего класса. Из года в год все более расходились кривые: заработная плата понижалась, цена на хлеб повышалась. По отношению к 1900 г. та и другая кривые расходились в разные стороны на величину до 40%. Наконец, 1912 год «подарил» русской истории ленский расстрел.

В деревне Столыпин приступил к разорению крестьянства. Закон 9 ноября должен был привести к полному и решительному разделению его на кулачество и на деревенский пролетариат — необходимое условие расцвета промышленного и земельного капитала.

3

Это утонченное европейское приличие, этот демократический костюм хищнического империализма в особенности привлекал меньшевиков и эсеров. Недаром после свержения самодержавия они затеяли такой нежный флирт с Антантой. Великая Октябрьская социалистическая революция спасла советский народ от этого утонченного, наиболее ханжеского, наиболее развращенного вида эксплуатации.

Стоит почитать историю любой европейской демократии, чтобы увидеть всю безнадежную глубину того мошенничества, которое называется на Западе до сих пор всеобщим и равным избирательным правом. Не нужно при этом перечислять все отдельные уловки и исключения, которые делают это право и не всеобщим и не равным. Политическая жизнь, парламентская борьба партий так построены на Западе, что невозможным становится никакое революционное законодательство, никакие кардинальные социальные реформы...

И поэтому до сих пор самые демократические в буржуазных государствах выборы не могут прекратить тот сложный и хитрый политический пасьянс, который называется парламентской борьбой. В своей классовой власти, в руководстве классовым государством буржуазия выработала необычайно сложные и тонкие приемы борьбы. Среди этих приемов главное место занимает одурачивание избирателей программами и обещаниями, агитация, доходящая до авантюризма, хитрые системы блоков и компромиссов, игра на ближайших, сегодняшних интересах, разжигание сегодняшней злобы дня, подачки, подкупы, наконец, сенсационные взрывы и повороты.

Великая Октябрьская социалистическая революция избавила нашу страну от утонченной системы мошенничества и обмана трудящихся, избавила от разлагающей политики примирения и компромисса, избавила от трусливого следования поговорке: «Не обещай мне журавля в небе, дай синицу в руки».

Русское царское правительство и против синицы возражало решительно в самых воинственных выражениях: «Патронов не жалеть!»

И поэтому при царе в руках трудящихся действительно ничего не было,

но зато эти рабочие руки в нужный момент оказались свободными для того, чтобы взять винтовки.

4

И вот сейчас мы, советский народ, советские народы, держим в руках действительно избирательное право, действительно всеобщее, действительно равное, тайное и прямое. Наше выборное право есть действительно всеобщее, всесоюзное волеизъявление трудящихся.

Советский избирательный закон, советская избирательная кампания совершенно не сравнимы с чем-нибудь подобным в другом обществе и в какое угодно время. Нет никакой плоскости, лежащей выше трудящихся, нет никаких сфер, обладающих непонятной для меня психикой, неизвестными мне планами и тактикой. Вокруг меня на всем пространстве СССР трудящиеся, путь каждого из них ясен, ясны его способности, его заслуги, его стремления. Я вижу их всех привычным глазом товарища, в привычном разрезе нашей двадцатилетней солидарности. Никто не встанет против меня в чужом для меня фраке или мундире, никто не будет лгать, никто не покажет мне углышек авантюры, уверяя меня, что это реформа. Нельзя обмануть гражданина СССР, прошедшего не только двадцатилетний опыт свободы от эксплуататоров, но и двадцатилетний опыт невиданного в мире строительства, невиданного в истории народного творчества. В этом грандиозном опыте молодого советского народа больше гарантии его прав, чем в любом писаном законе. Наше избирательное право — это прежде всего наша фактическая сила, коллективный результат наших народных побед.

Как бы ни говорили о нашем избирательном законе, как бы ни старались представить его как собрание правил, мы не способны отрешиться от нашей советской истории. Любого кандидата, который встретится на нашем избирательном пути, мы обязательно спросим: а какое участие он принял в социалистическом строительстве, какую энергию он отдал советскому народу, как он проявил свою личность в исторической нашей борьбе? И, когда мы получим ответы на эти вопросы, для нас будет совершенно ясно, достоин ли этот человек быть избранным в Верховный Совет СССР. Мы не зададим, может быть, ни одного вопроса, касающегося будущего.

Это, разумеется, звучит очень странно для западного уха, но наше будущее — это та категория, в которой мы меньше всего сомневаемся. У всего советского народа есть одна программа, один план будущего, одна единодушная готовность продолжать строительство социализма в нашей стране...

В этом совершенно исключительном явлении программного единства заключаются все гарантии и всеобщности и равенства нашего избирательного права. Эти качества нашего закона и нашего права естественно вытекают из фактических отношений в Стране Советов. Выборное право трудящихся — это форма участия трудящихся в руководстве своей страной.

Прасковья Никитична Пичугина

По Пролетарскому округу Москвы в Верховный Совет СССР выставлена кандидатура Прасковьи Никитичны Пичугиной...

Жизненный путь Прасковьи Никитичны Пичугиной, увенчанной сейчас доверием десятков тысяч избирателей Пролетарского столичного округа, — путь, чрезвычайно показательный для нашего времени, но это путь не исключительный. Заслуги Прасковьи Никитичны очень трудно отделить от заслуг, успехов и побед всей нашей революции. Ее человеческий рост, рост гражданина и работника, то расстояние, которое она прошла от захолустного и бедственного, беспросветного прозябания до наполненной борьбой и общественной деятельностью, широкой советской жизни, до положения знатного человека нашей страны, есть тот самый светлый человеческий путь, возможность которого завоевана Октябрьской революцией. Этот путь ни в какой степени не напоминает «карьеры» — обычного пути удачливого человека в буржуазном обществе. Мы очень хорошо знаем, что «карьера» — это значит посильное участие в эксплуатации трудящихся, это участие в безнравственном и отвратительном процессе распределения награбленного. И поэтому «карьера» так необходимо должна быть обставлена приемами приспособленчества, лакейства, угодничества, с одной стороны, и приемами жесткой хватки, беспринципного цинизма, неразборчивого накопления — с другой. Путь карьериста — это извилистый и хитрый путь пресмыкания и хищничества.

Путь советского знатного человека — это путь творческого труда, путь напряженной борьбы, путь, проходящий через великие пятилетки социализма, путь, указанный и направленный великой мыслью великих наших вождей.

Прасковья Никитична Пичугина начала этот путь не так давно. Ей пришлось в жизни испытать на себе все проклятия прошлого, пришлось пережить ужас безысходной нищеты, одиночества, отчаяния, пришлось стать на самом крайнем темном пределе русской женской доли. В ее жизни действовали не только проклятия векового дворянского насилия, но и проклятия одиозной запущенности русского крестьянина, его темноты и озлобленной одинокой черствости. Маркс и Энгельс писали в «Немецкой идеологии»:

«...С в е р г а ю щ и й класс только в революции может избавиться от всей старой мерзости и стать способным создать новое общество»¹.

Эта мерзость старого общества тяжелым, невыносимым игом лежала на трудящихся, она делала их жизнь чередой бессильных и беспомощных страданий, когда уже гнев и отчаяние не способны бороться с настоящим врагом, а пышут в любом направлении, куда попало, не узнавая своих и чужих, не зная, кого нужно сокрушить, и сокрушая все, что попадает под руку, в том числе и свою собственную радость и радость своих родных и близких людей.

Вырваться человек не мог в одиночку. Только великое освобождение, принесенное Октябрем, позволило трудящимся СССР сбросить с себя этот груз прошлого, но и это не могло быть сделано сразу. Когда уже полки Красной Армии выгнали последние остатки эксплуататоров за море, когда уже на свободе расправил мускулы и душу трудящийся человек бывшей царской России, и тогда еще на нем самом, на всей его психике, на его хозяйстве, на его привычках много оставалось старого. Только великие победы социалистических пятилеток, только уничтожение кулачества как класса, только грандиозное строительство колхозов, только эти победы

очистили наш воздух, нашу землю, наших людей от вековых налетов прошлого.

Жизнь Прасковьи Никитичны Пичугиной — это жизнь, наполненная длинной и трудной борьбой с прошлыми проклятиями, это жизнь, действительно вырванная Октябрем из состояния подавленности и безнадежности. Ее жизнь может служить примером десятков миллионов жизней нашего крестьянства; ее путь — это путь от старой крестьянской доли до свободного творческого бытия в бесклассовом обществе. Ее кандидатура в Верховный Совет — это действительная реализация свободы трудящихся, это яркий исторический акт справедливости, той самой высшей справедливости, которая называется социализмом. И то обстоятельство, что таких, как она, в Верховном Совете будет много, сотни людей, является лучшей гарантией наших будущих побед и успехов, ибо такие люди каждым своим жизненным шагом делали революцию, они должны делать и наши будущие дни.

Но Прасковья Никитична Пичугина представляет в наших глазах не только освобожденную крестьянскую долю. Эта крестьянка в прошлом идет в Верховный Совет на гребне доверия рабочих лучших наших столичных заводов, идет именно потому, что самое активное, творческое и горячее участие она приняла в их работе. Своими руками, рядом с тысячами трудящихся СССР, она построила один из великолепнейших заводов мира — первый шарикоподшипниковый своими руками, своей рабочей и человеческой заботой она вместе с другими тысячами лучших людей наладила работу этого завода, добилась невиданных и неожиданных рекордов его производительности; она одна из тех, которые шли впереди победных маршей нашей социалистической индустриализации; одна из тех, мастерские руки которых создали и продолжают создавать нашу великолепную тяжелую промышленность, основу нашего богатства и нашего военного могущества. Пичугина — эта «крестьянка» одной из захолустных деревень России — в то же время есть и представительница стахановской мысли и воли рабочего класса нашей страны, носительница всей энергии и настойчивости советских трудящихся масс.

И поэтому ее жизнь может служить примером лучших биографий деятелей нашей революции и лучшим укором для тех, кто в течение веков угнетал трудящихся, кто и теперь самыми подлыми и низкими путями пытается восстановить старый строй классового ограбления. Укор этот заключается не только в пережитых страданиях человека, но и в том светлом его освобождении, которое было невозможно до Октября, которое в миллионах подобных же биографий было подавлено и уничтожено в самом корне.

Прасковья Никитична Пичугина родилась в 1903 г. в бывшей Рязанской губернии, в Спасском уезде, в селе Половском. Село это было старым местом человеческого страдания. Как указывает само его название, оно подвергалось набегам половцев, которые, как известно, были не меньшими мастерами на рабство, чем наши российские дворяне.

Отец Прасковьи Никитичны был типичным бедняком крестьянином. Крестьянствовать ему, собственно говоря, было не на чем, не с чем было и выделиться из небольшой семьи своего отца, дедушки Паши. У дедушки под началом была семья, построенная чрезвычайно неосмотрительно: де-

тей было 12 человек, а земли было... одни слезы, да одна корова да лошадка.

В 1904 г. Никита Макушин призван был «защищать русскую землю от японцев», а Паша с матерью-солдаткой остались в семье деда. К общему удивлению, отец возвратился с японской войны целым и невредимым, но никто не поблагодарил его за то, что в угоду интересам Николая II и Безобразовых² он носил в Маньчжурию свою крестьянскую жизнь. В Половском делать ему было нечего. В 1907 г. он махнул рукой на крестьянское хозяйство и уехал с женой и единственной дочерью в Петербург, где и нанялся дворником к одному богатому домовладельцу.

Паша Пичугина в Петербурге и начала свою трудовую жизнь, помогая матери прислуживать в богатом доме. Труд отца-дворника, матери-прислуги и дочери, тоже прислуги, все-таки был трудом недостаточным для того, чтобы обеспечить сносную жизнь. Паша хорошо запомнила, как часто в это время мать ее плакала, минутами отдыхая от целодневных трудов. Отец начал уже подумывать о возвращении в Половское, но в это время пришло письмо от бабушки, в котором он сообщал:

«Дорогой сын Никита. Я тебе все отдал, жену ты взял с собою, больше твоего здесь ничего не осталось. Если приедешь, жить будешь в овчарне...»

Родители Паши и обижались на старика, и соглашались с его решением; они хорошо знали, что и в самом деле деду нечего было дать сыну. Отец очень скорбел, но никаких выходов из положения не было.

Петербургский хозяин Макушиных был очень крутой, скупой и жесткий человек. Он сам выбился из низов каким-то темным путем и, может быть, потому не мог сочувствовать трудящейся семье, отданной судьбой в его распоряжение. Паша даже через двор боялась перейти, так как хозяин и это запрещал, видя в каждом человеке, проходящем по двору, нарушение его собственных прав.

В 1914 г. отец Паши снова был призван на фронт, призван был защищать то самое отечество, которое с таким пренебрежением относилось к его трудовой жизни. Он уехал осенью, а мать и Паша остались в самом тяжелом положении. Хозяин, потеряв дворника, считал себя свободным от каких бы то ни было обязательств по отношению к его семье и потребовал, чтобы она очистила квартиру.

В ту пору многие болтуны и шарлатаны немало денег заработали на выражении «народных» чувств, описывая их со слезами и высокими фразами. Мать Паши, в полном отчаянии не зная, куда деваться, не зная, кого винить в своих несчастьях, подумала-подумала — и все же нашла виновника: она выколола глаз на портрете Николая II, висевшем в дворницкой. Только полная ее неграмотность и явная безопасность для царского самодержавия спасли ее от слишком больших неприятностей: полиция предложила ей немедленно оставить царскую столицу и отправиться в деревню. С большим трудом достав денег на дорогу, Паша с матерью отправились в то самое Половское, где с таким трудом одиннадцать Пашиных дядей и тетей боролись за существование под руководством бабушки, обладая для этой борьбы все той же одной коровой и одной лошадкой. Паше в это время было 11 лет. К этому возрасту она уже испробовала всю тяжесть жизни у богатых людей в прислугах, всю «сладость» подневольного существования людей последнего сорта, над которыми мог куражиться

даже темный проходимец, мог куражиться, несмотря на то что Никита Макушин вторично в своей жизни отправился умирать за интересы таких же проходимцев и самодуров.

В Половском мать Паши не решилась обратиться за помощью к деду Макушину, а поселилась в семье своей матери — Ларьковой. В Половском Ларьковы не были самой бедной семьей; своего хлеба они, правда, не имели, но покупали хлеб у еще более бедных людей — кусочки у нищих. В старой деревне даже нищие были богаче некоторых обыкновенных трудящихся — совершенно непонятная гримаса экономики.

Село Половское было вообще очень бедным селом; вся земля кругом принадлежала помещикам князьям Кропоткиным. Их усадьба стояла в самом селе; Паша слабо помнит, а больше вспоминает по рассказам старших, как горела княжеская усадьба в 1905 г. Эта революционная иллюминация, однако, ничему не научила князей. Дом их, стоявший в самом селе, и в дальнейшем стоял особой, враждебной крепостью дворянского чванства. Паша помнит, что даже проходить мимо господского дома было опасно: таких злых собак держали господа для защиты себя от окружающего населения. Господский лес, окружавший деревню, был так же недоступен для крестьян и охранялся вооруженными черкесами. Один из Пашиных дядей, Андрей Макушин, насмерть был зарублен черкесом за то, что без разрешения зашел в лес.

Рядом с паучьим гнездом князей Кропоткиных стояла церковь казанской божьей матери. Ограбленное, ошеломленное нуждой и горем население Половского последние гроши относил в эту церковь в надежде получить там хотя бы кажущееся утешение. Как и все другие жители Половского, Паша тоже надеяться могла только на бога, и она ходила в эту церковь и молилась... о чем? Ни бог, ни люди не обещали ей никакой радости. Она росла девочкой боязливой, застенчивой, у которой была надежда только на далекого бога да на свой труд, в лучшем случае способный спасти ее от голодной смерти.

Жизнь ее и матери у стариков Ларьковых была тяжелой, нищей жизнью. Пока надеялись на возвращение отца, можно было хоть помечтать о лучшей будущей жизни, но скоро и от отца перестали приходить письма: он пропал без вести на войне — так официально сообщалось о многих героях империалистической бойни. Кое-какой заработок Паша нашла на ремонте полотна у проходящей близко железной дороги. Для четырнадцатилетней девушки это был очень тяжелый, непосильный труд — подсыпка пути, подбивка шпал, но ей платили 80 коп. в день, и это помогало жить не только ей, но и ее матери и дедушке с бабушкой.

Революция пришла неожиданно. Теперь уже кропоткинский княжеский дом сгорел основательно, и помещики исчезли из села Половского. А тут неожиданно в 1918 г. возвратился из плена отец, Никита Макушин. Он поступил работать штатным ремонтным рабочим на железной дороге. В это время Паша вышла замуж за своего односельчанина, Сергея Ивановича Пичугина. Что-то начало проясняться в ее жизни, но случилась катастрофа, типичная российская катастрофа, естественное следствие бедности и соломенной, примитивной культуры: сгорело полсела, и в огне погибли отец и мать Паши.

Паша осталась сиротой наедине с мужем, молодым человеком, тоже

потерявшим в пожаре свою избу. Началась жизнь в семье свекра, бедственная жизнь снохи, от оскорбительной тяжести которой даже Октябрьская революция не так скоро могла освободить русскую деревенскую женщину.

Муж Паши, Сергей Иванович Пичугин, пошел в Красную Армию, а Паша осталась в полном распоряжении свекра. Это было самое тяжелое время в ее жизни. Революция почти не коснулась быта и нравов села Половского. Для того чтобы перестроить их, понадобилось решительное вмешательство революции и в самую экономику русской деревни.

Свекор в семье Пичугиных был царь, бог, деспот; его власть была неограниченна и усилена нищетой и озлоблением. Семья свекра была еще беднее, чем семья старого Макушина: у него даже лошади не было, своего хлеба еле-еле хватало до рождества, а потом приходилось перебиваться мелкими заработками да своеобразным деревенским кредитом: у богатого мужика можно было одолжить до урожая пуд хлеба, за этот пуд отработать один день на жнивье, но работа эта была только уплатой процентов: пуд хлеба все равно нужно было отдавать — кредит страшно дорогой, приблизительно около 200% годовых.

Сноха в семье свекра — это, прежде всего, и во-вторых и в-третьих, рабочая сила. Женщина в селе Половском вообще не пользовалась уважением: тот же свекор Пичугин категорически запрещал своей жене держать его белье в одном месте с женским бельем: такое соседство могло осквернить какую-то его особенную мужскую сущность. В семье не было обуви, а единственные валенки позволялось надевать только мужчинам, женщина не могла к ним прикасаться; считали, что валенки — предмет дорогой, а женщина и так может работать. Женщина и работала за всех. В некоторых областях даже свекла, которая готовилась для коровы, считалась дорогой пищей для женщины, она могла получать ее только украдкой.

К счастью Паши, свекровь оказалась хорошим, добрым человеком, одинаково страдающим вместе с нею и в этом страдании увидевшим начало солидарности. Поддержка свекрови несколько скрасила страдную жизнь Паши, нисколько, конечно, не обратив ее в жизнь человеческую. Только возвращение с фронта мужа в 1924 г. несколько скрасило жизнь Паши, но на очень короткое время. Мужу в селе нечего было делать, и он уехал в Москву, где и пережил все неприятности безработицы и квартирного кризиса. Село в это время попало в руки кулачья, главным из которых был Горичов. Горичов сделался и вдохновителем борьбы за старый быт, так настойчиво проводимый людьми, подобными свекру.

Паша снова в одиночку продолжала жизненную борьбу, но в это время уже успел сказаться приток свежего воздуха революции. В 1925 г. Паша была избрана женделегаткой в своем селе. Она еще очень боялась быть активной, боялась даже войти в помещение сельсовета, так как, по старым правилам, женщине зазорно было заниматься мужскими делами. Свекор весьма неодобрительно отнесся к ее общественной деятельности, упрекал ее всегда в безнравственном поведении, не пускал ее ночевать в хату, и даже помощь милиционера, вызванного из района, мало помогла делу: милиционер у свекра не имел никакого авторитета. Несмотря на это, деятельность Паши в селе развивалась. Она пользовалась большим авторитетом

среди женского населения села, так как знала грамоту — ей выучилась еще в Петербурге, отличалась спокойным характером, не принимала участия в деревенских сплетнях. Никаких других особых талантов Паша тогда не проявляла — она сама отличалась робостью, жизнь еще не научила ее быть смелой.

С горячей благодарностью вспоминала Паша ту поддержку, которую оказал ей единственный коммунист в селе, товарищ Андрей, начальник железнодорожного разъезда. Он помог ей преодолеть привычную женскую робость. Под его влиянием стал сбиваться в селе женский актив, стал подымать голос за первые идеи коллективизации. Сначала это имело очень невинный вид: дело шло об очистке меж от сорняков, о протравлении посевного зерна, его сортировке. Все это встречало сопротивление убежденных единоличников, но находило и поддержку наиболее передовой части села. Авторитет Паши все возрастал. В 1926 г. она была избрана членом сельсовета и осталась на этом посту до 1929 г.

В 1926 г. умер от паралича свекор, и жизнь Паши и ее друга, свекрови, хоть и продолжала оставаться бедной, все же была избавлена от самодурства старика. В это именно время Паша и другие женщины поняли, что улучшение женской доли, улучшение жизни крестьян может прийти только через мероприятия Советской власти. Совет по-настоящему сделался живой частью сельской жизни и центром ее передовых элементов.

Скоро Паша была избрана на первый делегатский съезд. Он проходил в г. Спасске. Паша и в это время еще не вполне избавилась от своей робости: она еще стеснялась находиться в большом обществе мужчин, стеснялась сесть за общий стол, протянуть руку к куску колбасы на тарелке, но все равно: вопрос о направлении ее жизни был решен окончательно. Она сделалась активным борцом за новую деревню; недаром про нее говорили земляки:

— Паша... она все знает.

В 1929 г. муж Паши Пичугиной основательно устроился на работе в Москве, на заводе «Парострой», получив комнату. Распрощавшись с селом, в котором она так много перестрадала и в котором все же нашла новую женскую долю, Паша отправилась к мужу, в столицу. Здесь они поселились на Шаболовке, в доме № 72.

Паша мечтала о производственной работе, но в первое время ей не удалось получить работу. Свою молодую советскую энергию она перенесла сначала на работу по дому в качестве председателя топливной тройки. Муж ее был членом партии с 1928 г., и Паша давно мечтала о вступлении в партию. Сейчас ей казалось, что наступило время для этого. Помог ей устроиться на работу литейщик старого завода подшипников Семенов, земляк по селу Половскому. Он сказал ей:

— Вот новый завод будет строиться. Иди работать на стройку. Из тебя человек выйдет.

Паша с замиранием сердца вышла на новый, рабочий путь. Трамвай № 51 довез ее до Сукина болота, через городские свалки, через заросли репейника. Паша выбралась на заводскую площадку. В отделе кадров ей предложили работу чернорабочей, на 45 рублей в месяц. Она с радостью взялась за эту работу, главным образом по подноске строительных материалов. Ее энергия и строительский энтузиазм обратили внимание руко-

водителей стройки, и скоро она была командирована на подготовку для работы на будущем заводе на второй шарикоподшипниковый завод, в сборный цех. Здесь ей надлежало пройти четырехмесячный курс сборки. В первое время и здесь ее старались использовать как подсобную силу; со стороны мастеров и рабочих она не всегда встречала сознательное отношение: то пошлют ее на склад, то на упаковку, и только через два месяца поставили ее учиться сборке шарикоподшипников. Попала она под руководство глухонемого товарища Тимоши, который сначала писал ей записочки с поручением принести ту или иную деталь. Но когда она стала помогать ему в самой сборке, он сразу понял, что Паша обладает большими способностями, и его заработок сильно увеличился благодаря ее помощи. Решилось дело все-таки правильно: ее поставили на самостоятельную сборку.

Скоро Паша возвратилась на стройку, и, так как завод был еще не готов, ей пришлось снова стать на черную работу. Расстановливали станки, и так приятно было убирать ящики, в которых они приходили на место своего постоянного жительства. Работу по очистке своего цеха Паша производила уже бригадиром целой бригады в 11 человек. В это время ей пришлось столкнуться и с первыми в ее жизни на заводе вылазками классового врага. Были мастера на строительстве, которые нечеловечески относились к рабочим, которые издевались над ними и старались нагрузить такой непосильной работой, чтобы люди бросали ее и уходили со стройки. Паша смело подняла против них голос. Партийная организация своевременно помогла, и Паша одержала полную победу.

Наконец, завод был открыт, и 19 марта 1932 г. Прасковья Никитична Пичугина собрала первый шарикоподшипник. Это была большая политическая и моральная победа всех организаторов завода и победа Паши Пичугиной. Тогда собирали одну тысячу подшипников в месяц, и это казалось большой и решительной победой.

Дальнейшая жизнь Прасковьи Никитичны Пичугиной неотделима от жизни и развития завода... Весь путь от первой тысячи подшипников до сегодняшней производительности завода в 4,5 млн. подшипников в месяц — это путь Прасковьи Никитичны. В том же, 1932 году она вступила в Коммунистическую партию, а с 1933 г. она уже мастер сборного цеха, самый популярный человек на заводе и признанный всем заводским обществом авторитет. Не осталось и следа былой деревенской робости. В настоящее время для всякого молодого рабочего на заводе, в особенности для каждой женщины, Прасковья Никитична служит примером настоящего, смелого борца за дело советского строительства, за повышение производительности труда, за качество. И она воспитала много новых людей: из ее рук вышли настоящие мастера и теперешние руководители цехов и бригад: и Филатова, и Ефимова, и Смирнова, и Григорьева — все народ приезжий, переживший, может быть, такую же неприглядную и страшную женскую долю в старом селе.

Прасковья Никитична с 1934 г. состоит членом Моссовета, а в этом году избрана председателем районного Совета Таганского района.

Прасковье Никитичне только 34 года. Она полна сил и энергии, той самой энергии, которая с такой внешней робостью провела ее по славному пути — от забитой и голодной снохи в нищей крестьянской семье до самых

ответственных и важных постов в советской столице, до высокого доверия трудящихся, выраженного в выдвижении ее кандидатуры в Верховный Совет СССР.

«Петр Первый» А. Н. Толстого

1

«Петр Первый» А. Н. Толстого по своему художественному блеску, по писательскому мастерству, по яркости и выразительности языка принадлежит к самому первому ряду нашей литературы. Можно без конца приводить отрывки из этого романа, близкие к шедеврам или даже прямые шедевры. Уже первые страницы, где крестьянские дети Санька, Яшка, Гаврилка и Артамошка «вдруг все захотели пить и вскочили в темные сени вслед за облаком пара и дыма из прокисшей избы», сразу забирают читателя могучей силой рассказа, и до самого конца романа читатель не устает им наслаждаться. По захватывающему мастерству повествования «Петр Первый» не имеет себе соперников, исключая, может быть, только «Тихий Дон» Шолохова.

Традиции нашей литературы и вкусы советского читателя не признают ценным художественное произведение, если его внешний блеск не сопровождается таким же блеском и такой же высотой содержания. То обстоятельство, что «Петр Первый» является одной из самых любимых книг нашего читателя, что миллионные тиражи этой книги до сих пор не в состоянии удовлетворить читательский спрос на нее, есть лучшее доказательство не только ее литературной высоты, но и ее общественного значения.

Захватывающая увлекательность текста необходимо должна объясняться не только внешним совершенством, но важным для читателя строем авторской мысли, значительностью человеческих образов, близостью и родственностью изображенного в книге человеческого общества.

На все эти вопросы нужно ответить отрицательно, если отвечать на каждый отдельно. Историческая тема сама по себе не может определить увлекательность художественного произведения. Мы знаем много исторических романов, в которых добросовестно и художественно честно автор изображает историю, но которые все-таки читаются с трудом. К таким романам нужно, прежде всего, отнести «Гулящие люди» покойного Чапыгина.

Тема, избранная А. Н. Толстым, необычайно ответственна и трудна. Прежде всего она трудна потому, что касается эпохи переходной, эпохи переворота. Волею или неволею «Петр Первый» захватывает очень много, очень широко. По широте тематического захвата эта книга может быть поставлена только в одном ряду с «Войной и миром» Л. Н. Толстого и при этом впереди «Войны и мира». «Война и мир» изображает общество, находящееся в состоянии внутреннего покоя, локализации, в положении установившейся дворянской статики. Это общество приводится в движение внешним толчком войны, и движение, возбужденное этим толчком, есть движение общее, движение внешнего отталкивания. Внутри самого об-

щества не происходит никаких особенных пертурбаций и изменений. Л. Н. Толстого интересуют только процессы психологические, нравственные, он, так сказать, художественным глазом исследует те скрепы, которыми общество связано, изучает, что это за скрепы, из чего они состоят, насколько они надежны в момент сильного военного толчка.

Л. Н. Толстой приходит к утешительным и оптимистическим выводам, и его оптимизм так же локализован в выводах, в превысренных формулах народного здоровья. Толстовский оптимизм вытекает как следствие большой и тонкой анатомической работы, довольно придирчивой и даже злобно придирчивой, но для этой работы Л. Н. Толстому не нужны особенно широкие захваты общественных групп, для него достаточны концентрированные представления о русском обществе, а концентрация эта производится силою принципов и убеждений самого Л. Н. Толстого. Общественный организм России, подвергающийся анатомическому исследованию писателя, есть организм, специально выделенный для этой цели. В сущности, это высший круг общества, аристократия и верхнее дворянство, народные образы в романе немногочисленны и не играют первой роли.

В «Петре Первом» А. Н. Толстого тематический захват уж потому шире, что роман изображает Россию в момент напряженного внутреннего движения, в эпоху огромных сдвигов внутри самого общества. Тема старого и нового, тема контрастного разнообразия и борьбы всегда шире по захвату, и в этой теме уже нельзя выделить, как это сделано в «Войне и мире», определенный слой персонажей и поручить ему говорить от имени общества в целом. Единое представление о целом русском обществе в таком случае становится почти невозможным: общество явно раскалывается на борющиеся группы, и каждая из них должна быть показана в начальные, последующие и конечные моменты борьбы. А. Н. Толстой должен был захватить в своем анализе решительно все, начиная от крестьянской избы и кончая царским дворцом, начиная от бояр, которые решают государственные дела, «брады уставя», и кончая стремительным, творческим буйством нового, петровского правления.

При такой громадной широте захвата исторического романа становится весьма важным вопрос о сюжете, о том каркасе личных движений и судеб, который только и может сделать повествование именно романом.

Но как раз в смысле фабулы, в картине личных человеческих историй книга А. Н. Толстого не может похвалиться особенными достижениями, да, пожалуй, не выражает и особенных претензий...

С задачей этого широчайшего тематического охвата А. Н. Толстой справился с великолепным блеском. Трудно вспомнить другую книгу, в которой автор предложил бы читателю такую разнообразную, широкую и всегда красочную картину эпохи, в которой бы так безыскусственно автор владел глазом и вниманием читателя, так легко бесчисленное число раз переносил его в пространстве, не только не утомляя и не раздражая этим разнообразием, но, напротив, очаровывая новизной картин и острой характерной прелестью все-таки единого ритма показа. Москва во всем ее беспорядочном разнообразии, царские палаты, боярский дом, площади и улицы, кабаки и стрелецкие избы, подмосковные села и дворцы, немецкая слобода, потешные крепости, лавра и дороги к ней, дворянские усадьбы,

застенки — все это только незначительная часть грандиозной территории, захваченной художественным глазом А. Н. Толстого. С таким же удачным победным вниманием автор видит и показывает читателю все необозримое пространство России: южные степи, Дон и Волгу, Воронеж, северные леса и Северную Двину, дороги в Польшу и дороги в Швецию. Наконец, его глаз проникает далеко на запад — в Швецию, Голландию, Германию, Польшу. Территориальный захват книги совершенно рекордный, с ним не может сравниться никакая другая книга, особенно если принять во внимание сравнительно небольшой объем «Петра Первого».

И этот территориальный захват нигде не переходит в простой список мест, нигде не приобретает характер калейдоскопичности. Каждая сцена, каждая передвижка автора и читателя совершается с прекрасной убедительной естественностью, с полным и живым ощущением сочности и реальности обстановки. Все вместе эти ощущения складываются в одно синтетическое переживание; когда дочитываешь последнюю страницу, остается чрезвычайно ясный, близкий и родственный образ целой страны, ее просторов, ее неба. История у А. Н. Толстого не спрятана в тайниках человеческого жилища, она проходит именно под небом, и поэтому люди, участники этой истории, в нашем воображении неразрывно связываются с пространством, они представляются нам деятелями целой страны.

Территориальное разнообразие у А. Н. Толстого не подавляет и не скрывает человека. Человек на каждой странице остается его главным, в сущности, единственным героем. И этот человек, с одной стороны, так же разнообразен, богат возможностями и чувствами, с другой — так же законно объединяется с другим человеком в напряженном участии в борьбе, в страсти и искренности, в общем движении. Богатство и естественность человеческих путей и «переплетов», сложность и размах человеческого движения у А. Н. Толстого страшно велики, запутанны и в то же время убедительны и логичны, принимаются читателем с первого слова автора, делаются знакомыми и понятными с первого взгляда, брошенного на человека. Поэтому А. Н. Толстой может разрешить себе такую роскошь, какую никогда не разрешит себе другой писатель: он не боится случайных персонажей, он не боится вспоминать о них вторично через десятки страниц; все равно, один раз показанные, они живут в воображении читателя, занимают в нем свое собственное место, не смешиваются ни с кем другим и в то же время не создают толпы, беспорядка и неразберихи, каждый несет отчетливую и простую художественную идею, а все вместе они представляют историю.

Очень часто страницы романа почти ничего не прибавляют к научно-исторической хронике, повторяя повествования того или другого историка. Так проходят картины стрелецких бунтов после смерти Федора Алексеевича, походов В. В. Голицына, троцкого сидения Петра, азовского похода, движения четырех стрелецких полков на Москву и их столкновения с войском Шеина, дипломатического путешествия Украинцева в Константинополь на корабле «Крепость» и др. Еще чаще автор расцветчивает богатыми красками известную историческую схему событий, не прибавляя к ней никакой сюжетной нагрузки. К этому разделу нужно отнести большинство народных сцен, описания свадьбы Петра, описание его потешных

дел и его путешествий в Голландию и в Архангельск, описание боярской думы, казни Кульмана, работ в Воронеже, смерти и похорон Лефорта, батальные подробности Нарвы и первых побед фельдмаршала Шереметева.

Во всех этих случаях перед нами проходит история России, рассказанная прекрасным рассказчиком, но история, лишенная того специфического авторского вмешательства, которое историю должно обратить в роман. Для сравнения еще раз позволяю себе возвратиться к «Войне и миру». В этом произведении роман присутствует везде, отодвигая историю на второй фабульный план. Бородинское сражение, например, проходит перед читателем в мыслях, переживаниях, впечатлениях одного из главных героев романа; Л. Н. Толстой не побоялся для этого глубоко штатскую фигуру Пьера притащить на самые опасные места боя. В «Войне и мире» партизанская война, кавалерийская атака, бегство из Москвы, деревня, оставленная помещиками, — это прежде всего то, что видят и в чем живо участвуют герои романа. Даже там, где на сцене выступают действительно исторические лица, Наполеон, Александр или Кутузов, рядом с ними обязательно присутствует или один из героев, или сам автор, а исторические лица честно служат им, подчеркивая те или иные предчувствия, мысли или переживания героев. Здесь роман — действительный распорядитель событиями, и притом распорядитель тенденциозный.

У А. Н. Толстого в книге «Петр Первый» роман отодвинут на второй план, а на первом плане проходит история, проходит в ярких картинах, восстановленных могучим воображением писателя, в живых движениях участников, в красках, словах, шумах, но все же это история, а не роман.

Можно, пожалуй, утверждать, что сам автор не хотел этого. На глазах читателя роман часто делает попытки вмешаться в историю, но попытки эти оканчиваются неудачей. Сюжетные линии возникают то в том, то в другом месте, зачинаются личные человеческие струи, но их течение непродолжительно, иногда обрывается и исчезает, часто прерывается надолго, а потом возникает вновь без существенной связи с прошлым, возникает скорее как иллюстрация, чем в развитии сюжета. Чувствуется, что герои не подчиняются писателю, уклоняются от сюжетной работы, и писатель начинает расправляться с ними при помощи открытого насилия, заставляя их принять более активное участие в исторических событиях, а не прятаться где-то на далеких страницах. Только в порядке такого насилия автор принуждает купца Ивана Артемьевича Бровкина, сломя голову и пугая народ, пролететь через Москву на своей тележке, ворваться в Казанский собор во время обедни, расталкивать бояр и сообщить боярину Ф. Ю. Ромодановскому, князю-кесарю:

«— Четырьмя полки стрельцы на Москву идут. От Иерусалима днях в двух пути... Идут медленно с обозами... Уж прости, государь, потревожил тебя ради такой вести».

(Иван Артемьевич Бровкин — один из самых безработных героев романа, но это все же недостаточное основание для того, чтобы поручать ему роль вестника о передвижении стрелецких полков.)

Такое авторское поручение ничего не прибавляет ни к купеческой биографии Бровкина, ни к его психологии, ни к картине самих событий, связанных с маршем четырех взбунтовавшихся стрелецких полков. В кар-

тину событий оно даже вносит некоторое искажение. Полки стрельцов взбунтовались на фронте у г. Торопца — в этом месте происходили довольно выразительные разговоры их с другим Ромодановским, киевским воеводой Михаилом Григорьевичем, — а 6 июня 1698 г. они двинулись к Москве, к которой и подошли 17 июня. Такое движение с фронта к столице четырех взбунтовавшихся полков, разумеется, не могло произойти не замеченным ни для киевского воеводы, ни для московской полиции Ф. Ю. Ромодановского. Сам А. Н. Толстой, повторяя свидетельство историка С. М. Соловьева¹, говорит, что в Москве началось «великое смятение, бояре и великое купечество бегут». И поэтому понуждение купца Бровкина выступить в роли вестника сюжетно слабо оправдано.

И в других местах автор использует своих героев для случайных исторических поручений, для выполнения роли исторических статистов, ничего не прибавляя ни к их характеристике, ни к их биографии...

Роман начинается рассказом о приключениях дворян Василия Волкова и Михаила Тыртова и мальчиков Алексашки и Алешки Бровкина. До тридцатых — сороковых страниц читатель имеет право думать, что этим именно лицам и поручается важная сюжетная нагрузка, что они назначены быть тем зеркалом, в котором будет отражаться народная жизнь петровской эпохи. Но с тридцатых страниц эти герои начинают отставать от романа. Алешка буквально теряется на улице, отстав от своего товарища по беспризорной жизни — Алексашки Меншикова. Алексашка потом обнаруживается в немецкой слободе, и ему, конечно, предстоит впереди большая историческая деятельность. Но Алешка, один из самых видных кандидатов в герои, утерян надолго. На с. 108 он вдруг обнаруживается в поле зрения читателя, но в образе довольно неожиданным и даже невероятным, ничем не связанным с образом раннего Алешки — крестьянского мальчика, которого нужда и побои загнали в беспризорную жизнь: «Однажды он (Алексашка) привел к Петру степенного юношу, одетого в чистую рубашку, новые лапти, холщовые портяночки.

— Мин херц... прикажи показать ему барабанную ловкость. Алеша, бери барабан...

Не спеша положил Алешка Бровкин шапку, принял со стола барабан, посмотрел на потолок скучным взором и ударил, раскатился горохом — выбил сбор, зорю, походный марш, «бегом, коли, руби, ура» и чесанул плясовую — ух ты! Стоял, как истукан, одни кисти рук да палочки летали — даже не видно.

Петр кинулся к нему, схватил за уши, удивясь, глядел в глаза, несколько раз поцеловал:

— В первую роту барабанщиком!..»

Откуда у Алешки степенный вид, чистая одежда, а самое главное, откуда высшая барабанная квалификация, где провел Алеша свою юность, читатель не узнает никогда. И здесь по отношению к Алеше автор проявил неразборчивость средств, только бы поддержать как-нибудь его линию в романе. В дальнейшем Алеша опускается до положения среднего героя для поручений и иногда встречается на страницах романа в том или другом деле. Но в нем нет уже ничего характерного, ни крестьянского, ни бровкинского, ни барабанного.

Михайла Тыртов кончает также невыразительно.

На с. 39 более удачливый и богатый его сверстник Степка Одоевский оказывает Михайле такую протекцию: «Боярыню одну надо ублаготворить... Есть одна боярыня знатная... Сидит на коробах с казной, а бес ее свербит... Понял, Мишка? Будешь ходить в повиновении — тогда твое счастье... А заворуешься, велю кинуть в яму к медведям — и костей не найдут».

Вероятно, Михайла Тыртов попал к этой боярыне и испытал счастье. Какое отношение имеет это счастье к истории Петра Первого, остается неизвестным. Сам Тыртов еще один раз показывается на страницах книги:

«Михаил Тыртов, осаживая жеребца, поправил шапку. Красив, наряден, воротник ферязи — выше головы, губы крашены, глаза подведены до висков. Кривая сабля звенит о персидское стремя...»

В таком великолепном оформлении Степка Одоевский посылает Тыртова агитировать в народе против Нарышкиных. На протяжении двух страниц Тыртов пробирается сквозь толпу, и ему не удается сказать ни одного слова агитации. По поводу этой неудачи Шакловитый говорит Одоевскому:

«— Половчее к ним надо послать человека...»

На этом роль Михайлы Тыртова и заканчивается, по крайней мере, в границах напечатанных двух частей романа. И в этом случае занято завязанная личная судьба дворянского сына, впавшего в отчаяние от нищеты и разорения, обрывается почти необъяснимо.

Такая же судьба сопровождает и других деятелей романа, намеченных как будто представлять личные судьбы. Более других развернута линия Саньки, дочери Бровкина, благодаря вмешательству и покровительству Петра прошедшей быстрый путь от крестьянской девушки до великолепной придворной дамы, красавицы и украшения двора Августа II и других. Но даже Санька едва ли выходит за границы иллюстрации, сама по себе не имеет значения и ни в какой интриге участия не принимает.

Очень слабо намечены в романе линии крестьянских и посадских протестантов: Цыгана, Иуды, Овдокима, Жемова. Изредка они бродят между страницами, произносят несколько протестующих слов, грозят и предсказывают. Наконец, на с. 271—274 показывается настоящее разбойничье гнездо за Окой, организованное этими персонажами, читатель серьезно рассчитывает посмотреть, что из этой затеи выйдет, но автор, очевидно, решил, что с разбойничками возни может быть чересчур много, и разбойничье гнездо ликвидируется, не успевши себя показать. Жемов потом встречается в качестве честного кузнеца и участвует в великолепной сцене работы над якорем, покрикивает на царя. Остальные влачат жалкое сюжетное существование. В лучшем случае, они состоят в некотором «геройском» резерве, и автор изредка мобилизует то одного из них, то другого, чтобы поместить в каком-нибудь наблюдательном пункте — оттуда рассматривать события. Это, конечно, оживляет картину событий, сообщает им беллетристический колорит, но, в сущности, представляет псевдосюжетный прием, ибо ничего не прибавляет к характеристике действующих лиц, обращает их в служебные пассивные фигуры. Автор довольно часто прибегает к такому приему. Того же Бровкина он помещает на улице, чтобы наблюдать свадебный поезд шута Тургенева. Суть изображаемого заключается в самом поезде, а Бровкин привлекается в качестве статиста

для удобства повествования, а может быть для того, чтобы читатель не забыл о его существовании. Бывают в таком положении и другие герои. Алексашка и Алешка наблюдают стрелецкий бунт у Красного крыльца. Василий Волков рыщет на коне, разыскивая пропавшего молодого царя. (Мог быть на его месте любой стольник.) Овдоким, Цыган и Иуда наблюдают казнь Кульмана. Алеша Бровкин набирает солдат на севере и наблюдает раскольничье самосожжение. Почти в порядке такого же наблюдения попадает Санька в усадьбу пана Малаховского и ко двору Августа II. В такой же позиции стоит Алеша, встречая Петра на привале у реки Луги.

Из сюжетных починов писателя почти не получается ничего. Работает в качестве сюжета личная история самого Петра и его ближайших помощников — лиц исторических. В эту историю автор не вносит вымысла или вносит очень мало. Можно представить себе усиление сюжетного интереса в изображении психологии действующих лиц, в изображении тех противоречий и колебаний, которые переживает каждый герой. Но и с этой стороны роман «Петр Первый» беден элементами романа.

Автор не позволяет читателю проникнуть в глубину переживаний героев, он дает ему только возможность видеть и слышать. Читатель видит очень много: дома, улицы, пейзажи, лица, мимику, корабли, экипажи, пиры, попойки и оргии, движение войск, сражения. Все это он видит в замечательной, хочется сказать больше, в восхитительной, великолепной картинности; здесь мастерство А. Н. Толстого достигает чрезвычайно высоких степеней. Даже в самых неважных, пустяковых случаях автор умеет широко открыть читательские глаза и сделать их острыми. В приведенных выше отрывках, касающихся самых незначительных мест романа, мы наблюдаем такую же «зрительную щедрость» писателя, его свободный, остроумный взгляд, его знание людей и жизни. Барабанщик «Алешка посмотрел на потолок скучным взором». Тыртов, «осаживая жеребца, поправил шапку». На каждой странице мы встретим такое же великолепное мастерство видения, такие же экономно-выразительные, простые, убедительные и всегда неожиданно-талантливые краски. Вот я открываю наугад первые попавшиеся страницы и делаю это в полной уверенности, что на каждой найду несколько подобных прелестных строк:

124. «Софья, вцепясь ногтями в подлокотники, перегнулась с трона, — у самой дрожали щеки». «Он (Ромодановский)... мотнул жабрами, закрученными усами, попятился, сел на лавку...»

222. «Воробиха вошла истово, но бойко. Баба была чистая, в новых лаптях, под холщовой юбкой носила для аромату пучок шалфею. Губы мягкие, взор мышиный, лицо хоть старое, но румяное, и говорила — без умолку...»

270. «В саду — черно и влажно. Сквозь раскрытую дверь — звезды. Иногда падал в полосе света из комнаты сухой лист».

332. «Курфюрстина была худа, вся в морщинках, недостаток между нижними зубами залеплен воском, кружева на вырезе лилового платья прикрывали то, что не могло уже соблазнять».

Таких примеров можно привести столько, сколько абзацев в книге. Это зрительное богатство, прежде всего, воспринимает читатель, он действительно видит людей такими, какими хочет их представить ему автор. Затем он слышит их слова, смех, стоны. Наконец, вместе с ними он ощу-

щает многое при помощи осязания, обоняния, вкуса.

«Падал тихий снежок, небо было снежное, на высоком тыну сидели галки, и здесь не так студено, как в сенях».

«Аннушкино платье шуршало, глаза ее просохли, как небо после дождя».

«Остро пахло весенней сыростью. Под большими звездами на чуть сереющей реке шуршали льдины».

«Сунув руки в карманы, тихо посвистывая, Петр шел по берегу у самой воды».

«Кенигсек сидел, подогнув ногу под стул, в левой руке — табакерка, правая — свободна для изящных движений... Его парик, надушенный мускусом, едва ли не был шире плеч».

Читатель не только видит, читатель слышит запахи, ощущает холод сеней и вместе с ребятами рад, что на дворе теплее, чем в сенях. Но все это он воспринимает только своими внешними чувствами. Переживания героев, их размышления, надежды, их самые тайные духовные глубины недоступны внешним чувствам, автор же очень скупно помогает читателю проникнуть в психику героев. Можно буквально по пальцам перечислить те места в романе, где А. Н. Толстой изменяет этой своей скупости, где (приводим только из первой части) приоткрывается немного великолепная завеса внешнего ощущения и читатель получает возможность заглянуть в глубину:

40. Софья в тереме — ее мысли о женской доле, о ее любви к Голицыну.

112. Мысли царицы Натальи Кирилловны об опасностях, угрожающих ее сыну Петру.

144. Переживания жены Петра Евдокии в одиночестве.

191. Размышления Василия Васильевича Голицына перед отправлением в Троицу.

220. Размышления и чувства Петра во время заседания боярской думы.

Вот это и все на первую часть, и то очень скупно и неглубоко. Для таких сравнительно бедных и понятных фигур, как Наталья Кирилловна или жена Петра Евдокия, этого незначительного проникновения в глубину психики, может быть, и достаточно. Но для лиц большого человеческого роста, для таких людей, как Петр, Меншиков, Карл, Голицын, Ромодановский, Лефорт, для ответственных деятелей эпохи переворота требуется, казалось бы, в художественном произведении совершенно ясная авторская гипотеза характеров, развернутая либо в более детальном показе действия, либо в более откровенном изображении духовной жизни героев. В особенности это требование может быть отнесено к образу Петра.

Несмотря на то что Петру посвящено много страниц, что Петр в романе много действует, говорит, решает, отзывается на события, читатель не видит за портретом этого оригинального царя совершенно понятного для него человека. Вместе с автором читатель переходит от эпизода к эпизоду, любит Петром или возмущается, привыкает к его образу и даже готов полюбить его, сочувствует ему или протестует. Наконец, он закрывает книгу, и в памяти его остается все тот же исторический Петр, как стоял в памяти и до романа А. Н. Толстого, может быть, более доступный зрительному воображению, но, как и раньше, непонятный и противоречивый. Два любых читателя могут о нем заспорить и не прийти к единодушному мнению. В романе Петр проходит богатой, яркой и интересной личностью,

но личностью более царской, чем человеческой. В его движениях, действиях и словах всегда виден правитель и деятель, но не всегда виден человек.

Так, история Петра развивается с самого начала. Разберем более подробно несколько эпизодов.

На с. 90 рассказывается, как Петр снаряжает в Преображенском дворце потешное посольство бога Бахуса поздравлять именинника Лефорта в немецкой слободе. В царскую карету, подарок царя Алексея своей молодой жене, впрягают четверых свиней, в карету запихивают Зотова. Петр сам усаживается на козлы и погоняет свиней. Петр еще юноша и такой маскарад устраивает впервые. На празднике у Лефорта, куда он приезжает таким оригинальным образом, «в первый раз Петр сидел за столом с женщинами. Лефорт поднес ему анисовой. В первый раз Петр попробовал хмельного».

Читатель видит свиней, золоченую карету, Петра на козлах, Петра за столом, впервые с женщинами и впервые пьющего вино. Но он не видит, откуда это пришло. Почему Петру именно в такой форме захотелось поздравить Лефорта, что он испытывал на козлах, погоняя свиней, как он сам представлял свое отношение к Лефорту, к Бахусу, к окружающим, к зрителям. Роман на эти вопросы ответов не дает.

Другой эпизод. В танцзале англичанин Сидней с возмущением рассказывает Петру о закопанной у Покровских ворот женщине, казненной за убийство мужа. Рассказ взволновал Петра, и он спешит к Покровским воротам. Женщина еще жива, ее голова торчит над землей, женщина еще разговаривает, отвечает Петру на вопрос. Петр приказывает застрелить ее. Читатель ничего не видит в Петре: ни сострадания, ни возмущения, ни мысли; может быть, у Петра только и было, что некоторое смущение перед иностранцем? Может быть, а может быть, и нет. Читатель должен догадываться, а для догадок никаких оснований нет или очень много разнообразных оснований. В таких случаях Петр выступает в очень скупом, почти механическом реагировании на раздражение, а таких случаев очень много. Поэтому и весь образ Петра отдает некоторой механичностью, это впечатление усиливается и внешним характером его мимики, его резких движений; внутренний же мир Петра остается скрытым или только вероятным в двух-трех вариантах. После стрелецкого бунта Петр возвращается в Москву в страшном гневе; пытки и казни, ярость, выходящая из всяких берегов жестокость, даже изуверство, даже несправедливость — все это как будто понятно. Но в то же самое время Петр способен ласково принимать бояр и с добродушной иронией просить одолжить ему бороду «на радостях». И для читателя остается весьма темным вопрос о внутреннем состоянии Петра: какое место в его переживаниях на самом деле занимал неудержимый гнев и сколько у Петра было сознательного решения, сколько было, может быть, страха, простого наслаждения силой и властью, вот этого самого привычного самодержавного буйства?

Если так сложно непонятен Петр в гневе, то еще более остается непонятным он в веселом буйстве, во время праздников, во время довольно диких своих развлечений. В некоторых случаях читатель допускает, что в его разгуле выражается какой-то протест против старины, но совершенно непонятно, какое участие в этом протесте могло занимать явное хулиганство, тоже пахнувшее стариной.

Таким противоречивым и загадочным дошел к нам Петр на страницах истории, таким изображает его и А. Н. Толстой. У А. Н. Толстого к Петру нескрываема большая симпатия, даже любовь, тем более можно было ожидать, что он предложит художественную гипотезу объяснения этой загадочности, что в его романе «тайна» Петра в большей или меньшей мере будет объяснена. Кажется, необходимо признать, что автор сам отказался от такого объяснения. Петр как человек, как личность и после выхода романа не стал для нас яснее и понятнее.

Таким образом, в романе нет не только внешней фабулы, отражающей развитие отдельных личных биографий, но и фабулы психологической, нет отражения духовного состояния людей, в том числе и духовного состояния главного героя.

Так же чересчур объективно автор рисует и характеры других персонажей. Меншиков виден со стороны внешних движений: он смел, изобретателен, находчив, энергичен, свободен и в волевом, и в моральном отношении. Но он ведь еще и умен. И вот спросите любого читателя, как относится Меншиков к реформе Петра, заслуживает ли он его любовь, предан ли он ему в той мере, в какой это представляется Петру, есть ли в Меншикове кроме эгоизма и своекорыстия еще и настоящая человеческая творческая страсть? По данным романа на эти вопросы ответить нельзя. И в отношении к сюжету психологическому А. Н. Толстой так же не хочет отойти от истории, как и в отношении к сюжету внешнему. Он не решается предложить определенное объяснение ни для одного характера исторического лица, сам принимает их так, как они поданы в истории, и читателю рекомендует это сделать.

2

Таким образом, «Петр Первый» является, прежде всего, историческим повествованием, элементы романа в нем очень незначительны, невыразительны. Эта историчность книги, ее особенная, открытая и прямая эпохальная установка, ее глубокий пространственный и социальный захват явились бы совершенно достаточным основанием для отвода каких бы то ни было попыток анализа книги с точки зрения требований к роману. Только сам автор дает основания для такого анализа, в некоторых местах изменяя своему историческому чистому заданию и вводя в книгу начала личных историй.

Но как историческая книга «Петр Первый» должен быть признан совершенно исключительной книгой по своему успеху. Работа А. Н. Толстого не лишена некоторых ошибок, об этом скажем ниже. Но никому еще не удавалось в строгом историческом, почти свободном от вымысла изложении дать читателю такую оживленную, такую красочную, полнокровную и волнующую картину исторических событий. Да, в книге А. Н. Толстого проходит, прежде всего, история, читатель не успевает обратиться в спутника какой-либо отдельной личности, соучастника ее в личной ее судьбе, он не покидает широкого исторического фронта, он ни на одну минуту не забывает о целой России, но история проходит перед глазами читателя в таком восстановленном, воскресшем движении, с такой естественной и очаровательной экспрессией, в таком быстром и живом потоке, что чита-

тель ни на одну минуту не испытывает тоски по личной истории того или иного героя. Необходимо отметить, что даже личная судьба самого Петра I не сделалась в романе главной сюжетной линией. Может быть, называя роман именем Петра, автор и хотел изобразить прежде всего этого царя, может быть именно поэтому он уделил так много внимания его отношению к Анне Монс. Но получилось не так. История оживлена А. Н. Толстым настолько совершенно, что читатель не хочет выделять никого, в том числе и Петра, из общего исторического движения. Петр в представлении читателя остается только главной фигурой в исторических событиях, именно потому интересной, что в этой фигуре отражается история. Петр начинает ряд многих таких же важных и таких же исторических фигур. Симпатии читателя к Петру возникают без связи с его личной судьбой, с его любовью, они возникают потому, что Петр вместе с другими делает великое историческое дело. И поэтому, может быть, хорошо, что автор не углубляется в психологические тайны Петра.

Чем же все-таки объясняется исключительная увлекательность романа Толстого, если эта увлекательность не обеспечена ни фабульной оригинальностью и новизной, ни стройным и глубоким сюжетом психологических картин?

Может быть, эта увлекательность проистекает из высказываемых автором мыслей, положений, из той философии автора, которая новым светом освещает для читателя петровскую эпоху, стремления и борьбу действующих лиц?

Да, роман «Петр Первый» отличается активным и даже страстным тоном отношения автора к изображаемым событиям, и это придает роману прелесть взволнованной искренности и полнокровности настроений. Правда, А. Н. Толстой нигде не выступает от первого лица, нигде не навязывает читателю свое мнение, роман ни в какой мере не перегружен сентенцией, но сентенция все же имеется, она чувствуется и в самом тоне, и в расстановке действующих лиц, в их высказываниях, в системе исторических сил. В романе писатель старается вести за собой читателя. Стараясь быть более или менее объективным в описании отдельного действующего лица, не усложняя это действующее лицо излишним грузом авторского вымысла и создавая, таким образом, впечатление авторской беспристрастности, А. Н. Толстой далеко не беспристрастен к композиции романа. Очень возможно, что это есть самый правильный метод изображения исторических событий, правильный способ высказывания современника по поводу исторических эпох прошлого.

В художественном произведении, в отличие от строго научных исторических монографий, мы допускаем активное авторское толкование, но, разумеется, допускаем только до тех пор, пока нет противоречий между этим толкованием и наукой, пока автор не искажает историю. По отношению к эпохам не вполне ясным, не до конца освещенным наукой, возможность такого толкования вообще шире и больше, и А. Н. Толстой пользуется этой широтой в полной мере.

Но...

А. Н. Толстой — писатель советский, и это также обязывает. От него мы требуем не только соответствия с наукой вообще, а соответствия с наукой марксистской, требуем применения методов исторического мате-

риализма. Нашей критикой уже отмечено было, что в своем последнем романе писатель сделал большие успехи в этом направлении, отказавшись от предлагаемой им раньше темы трагической уединенности Петра I. В разбираемом романе Петр изображен на фоне определенной национальной классовой жизни, и его пути представлены как пути участника классовой борьбы и выразителя определенных классовых стремлений. Это и сообщает роману настоящий советский стиль, делает роман увлекательным именно для советского читателя, уже привыкшего требовать от художественного произведения той истины, которая только и может прийти от марксистской мысли.

Но, удовлетворяя этому требованию в общей установке и методе, А. Н. Толстой далеко не выполняет его в смысле точности и строгости художественных показов и выводов. Отказавшись от трагического освещения фигуры Петра, от гипотезы его личной уединенности в эпохе, писатель захотел показать его как выразителя определенных классовых стремлений эпохи.

В показе этих классовых стремлений в книге не все удачно. Находясь, очевидно, под влиянием концепции Покровского, автор на самую первую линию выдвинул интересы торгового капитала, игнорируя интересы дворянства. Купец Бровкин по явно нарочитому замыслу должен изображать этот торговый капитал, рождающийся от петровской реформы. В романе Бровкин вышел очень колоритной фигурой, но авторский замысел все же выполнен не был. Правда, Бровкин говорит Петру после нарвского поражения:

«Связал нас бог одной веревочкой, Петр Алексеевич, куда ты, туда и мы».

В романе не доказывается право Бровкина говорить такие слова. Писатель изо всех сил старается убедить читателя, что Бровкин большой и способный купец, что он спасает Петра во многих обстоятельствах, что он близок ему и заинтересован особенно в успехе его царского дела, — старается убедить, но показать Бровкина в его важном купеческом деле не может.

В начале романа Бровкин на своем месте. Это забитый и истощавший крестьянин.

«На бате, Иване Артемьиче, — так звала его мать, а люди и сам он себя на людях — Ивашкой, по прозвищу Бровкиным, — высокий колпак надвинут на сердитые брови. Рыжая борода не чесана с самого Покрова... Рукавицы торчали за пазухой сермяжного кафтана, подпоясанного низко лыком, лапти зло визжали по навозному снегу: у бати со сбруей не ладилось... Гнилая была сбруя, одни узлы. С досады он кричал на вороную лошаденку, такую же, как батя, коротконогую, с раздутым пузом».

Такой же он забитый и истощенный, когда привозит своему барину в Преображенское столовый оброк. В этом человеке никаких особенных купеческих способностей не проявляется, да, пожалуй, и никаких других способностей, никакой энергии, никаких стремлений. Но в этот момент он получает от сына в подарок три рубля, и с этого момента совершается чудесное превращение Ивашки Бровкина в знаменитого купца, которому царь верит больше всех и на которого больше всех надеется. Читатель обязан верить, что купец Бровкин где-то совершает торговые подвиги,

доставляет царю фураж, полотно, сукно. Во время первого Азовского похода, обнаружив полный развал в деле снабжения действующей армии, Петр после расправы приказывает передать все дело снабжения именно Бровкину. Семья Бровкина делается первой по богатству и «культуре», сам царь принимает участие в жизни этой семьи и заезжает к Бровкину запросто.

Но, уверяя читателя, что Бровкин так далеко пошел, автор не решается показать его в купеческом деле. В романе нет ни одной страницы, где бы Бровкин был изображен как торговый деятель. Какими способами, при помощи каких людей, приемов, захвата, клиентуры, как делает Бровкин свое купеческое дело, в книге не видно. Точно так же не видно, какие особенные способности, личные качества, сметка, энергия выделили Бровкина из среды, что именно определило его исключительный торговый успех, поставило во главе московского купечества. Художник А. Н. Толстой не может изменить своему острому глазу, и вот как он изображает Бровкина на вершине его славы:

«Дом у Бровкиных был заведен по иноземному образцу... Все это завела Александра. Она следила и за отцом: чтобы одевался прилично, брился часто и менял парики. Иван Артемьич понимал, что нужно слушаться дочери в этих делах. Но, по совести, жил скучновато. Надуваться спесью теперь было почти и не перед кем — за руку здоровался с самим царем. Иной раз хотелось посидеть на Варварке, в кабаке, с гостинодворцами, послушать занозистые речи, самому почесать язык. Не пойдешь — невместно. Скучать надо...

Вечером, когда Саньки дома не было, Иван Артемьич снимал парик и кафтан гишпанского бархата, спускался в подклеть, на поварню — ужинать с приказчиками, с мужиками. Хлебал щи, балагурил. Особенно любил, когда заезжали старинные односельчане, помнившие самого что ни на есть последнего на деревне Ивашку Бровкина...

...Положив сколько надо поклонов перед лампадой, почесав бока и живот, совал босые ноги в обрезки валенок, шел в холодный нужник. День кончен. Ложась на перину, Иван Артемьич каждый раз глубоко вздыхал: «День кончен». Осталось их не так много. А жалко — в самый раз теперь жить да жить...»

Великолепные строчки, замечательная характеристика разбогатевшего холопа, который дорвался до сытной жизни, для которого главное наслаждение в том, чтобы покрасоваться перед односельчанами, но которому от сытости и от безделья скучно и некуда себя девать, который рад, что не голодает, но которому больше ничего, кроме сытости, и не нужно: «жить да жить».

Годится ли такая фигура для роли главы петровской буржуазии, для роли талантливого и оборотистого деятеля, главной опоры петровской реформы? Не годится, и художник А. Н. Толстой очень хорошо это видит.

Покровский утверждает, что годится, по секрету от теории Покровского, писатель себе изменить не может, и мы видели, что самое энергическое действие, которое автор поручает Бровкину, — это лететь стремглав через Москву, чтобы рассказать Ромодановскому о передвижении стрелецких полков.

Еще менее выразительны другие купцы в романе. Писатель не мог

найти в начале XVII в. достаточно выразительную и колоритную фигуру купца. То обстоятельство, что Петр воевал из-за моря, что Петр строил корабли, что Петр такое важное, определяющее значение придавал заграничной торговле, вовсе не означает, что его деятельность направлялась интересами купечества в первую очередь. Большая заграничная торговля того времени была почти целиком в руках казны и такою оставалась и после Петра. Русское купечество XVII в. — это купечество внутренней торговли, его интересы были действительно связаны с петровской реформой, но не они ее определяли и направляли. Петровский флот, за создание которого он воевал и боролся, — это вовсе был не торговый флот, а флот военный, необходимый для владения морем и сообщения с заграницей. Но еще долго после Петра заграничная торговля совершалась при помощи иностранного транспорта и иностранного купца.

В эпоху Петра торговые интересы были не столько интересами торгового оборота, сколько интересами сельскохозяйственного сбыта. Россия вывозила почти исключительно продукты сельского хозяйства, главным образом животноводства, и в первую очередь в хороших условиях этого сбыта был заинтересован тот класс, который владел продуктами сельского хозяйства, — дворянство. Если бы А. Н. Толстой захотел продолжить анализ деятельности того же Бровкина, если бы он захотел показать его в действии, он необходимо пришел бы к дворянской усадьбе, к дворянскому хозяйству. Писатель утверждает, что Бровкин разбогател на поставках фуража, льна, шерсти. Вот этот путь от производителя фуража, льна и шерсти к его главному потребителю и мог обслуживаться кем-либо, отчасти напоминая Бровкина, но это вовсе не путь к заграничной торговле и это не путь к торговому «капитализму». Все эти продукты производились крестьянином и холопом, но принадлежали дворянину, у него покупались, а продавались казне, главным образом для военных нужд правительства, отчасти для перепродажи за границу. И сбыт этих продуктов и самые военные нужды вполне и до конца были определены интересами того класса, который именно в эпоху Петра был классом передовым и вступающим в пору своего расцвета и сил, но еще не победившим окончательно.

Но как раз дворянство пользуется вниманием А. Н. Толстого меньше всего. Это произошло не только из-за влияния Покровского, но и по причине многих исторических традиций, от которых автор еще не вполне освободился. Он не освободился и от той старой официальной традиции, которая утверждала, что Петр был представителем идеи государственности, и которая противопоставляла его сторонникам местных центробежных интересов. Не свободен он и от такого старого утверждения, по которому Петр, прежде всего, западник, а против него стояли приверженцы идеи национального обособления.

Все эти заблуждения писатель легко отбросил бы, если бы обратил внимание на тот класс, который наиболее был заинтересован в петровском перевороте.

По другую сторону дворянства стояла аристократия, представительница тогдашней реакции, родового быта, феодального местного обособления, патриархальной жизни. Соппротивление аристократии еще не было сломлено окончательно, она показывала зубы и после Петра, в особенности при

избрании на престол Анны Ивановны в 1730 г., но уже в годы, непосредственно предшествовавшие Петру, аристократия испытала несколько сильных ударов, между которыми уничтожение местничества было одним из главных. Впрочем, главный процесс обессиливания аристократии совершался не в процессе законодательства, а в процессах экономической жизни. Именно XVII век отличается постепенным, но быстрым сокращением боярского землевладения, исчезновением старых феодальных латифундий аристократии.

А. Н. Толстой проходит мимо этих процессов эпохи. В слишком сгущенных красках он отмечает дворянское оскудение, преувеличивает боярское богатство и его стремление к роскоши. Иногда он сам себе противоречит. Он подробно и красочно описывает оскудение дворянина Волкова, последнее отчаяние Михайлы Тыртова, но вот они едут в Москву на смотр.

«Михайла сидел насупившись. Их обгоняло, крича и хлеща по лошадям, много дворян и детей боярских, в дедовских кольчугах и латах, в новопошитых ферязях, в терликах, в турецких кафтанах, — весь уезд съезжался на Лубянскую площадь, на смотр, на земельную верстку и переверстку. Люди, все до одного, смеялись, глядя на Михайлова древнего мерина: «Эй, ты — на воронье кладбище ведешь? Гляди, не дойдет»... Перегоняя, жгли кнутами — мерин приседал... Гогот, хохот, свист... Приходилось принимать сраму...»

Таким образом, не все дворяне так оскудели, как Тыртов и Волков. К сожалению, А. Н. Толстой ограничивает свои наблюдения исключительно старой Московской областью. Для конца XVII в. было как раз характерно распространение дворянского и монастырского землевладения на восток и на юг России. Это было время построения многих новых городов на Волге и на юге. К концу века население востока, Приволжья и Прикамья составляло уже около 20% общего населения России, население юга 17¹/₂% и население запада 21%.

Центральная Московская область сделалась объектом разгрузки. По старой традиции А. Н. Толстой видит эту разгрузку только в побегах крестьян на Дон, в разбойничьи шайки; существеннее было бы отметить организованный отлив населения на восток и юг, совершаемый под дворянским предводительством.

Но А. Н. Толстой вообще не интересуется дворянством. Он не замечает того интересного факта, что только дворянство организовано не выступало против Петра. Писатель не побывал в дворянской усадьбе, не показал ее читателю, ограничился только общим утверждением относительно оскудевшего дворянина и запоротого крестьянина. Он также не осветил отношение между дворянином и крестьянином, которое вовсе не было похоже на отношение после Екатерины II, — крепостное право еще не сделалось рабовладением, только развивалось в направлении к нему.

Не заметил А. Н. Толстой, что не только купечество, но и дворянство было опорой петровской реформы. Только поэтому Меншиков начинает свою карьеру в романе с беспризорничества, а между тем есть все основания утверждать, что его биография ни в какой степени не начинается с деклассированного бродяжничества. Скорее всего и вероятнее всего прав С. М. Соловьев, который приводит данные, показывающие, что отец Александра Меншикова был дворянином, что по обычаям того времени могло не ме-

шать ему занимать должность придворного конюха. Во всяком случае, кажется, он был капралом Преображенского полка. Точно так же и торговля пирожками (факт, достаточно установленный в биографии Меншикова) не обязательно обращает его в беспризорного, это характерно для XX в., но не для XVII в.

А. Н. Толстой пропустил в своем анализе самый состав Преображенского и Семеновского полков, он почти не изображает людей этих полков, не описывает настроение солдат, их отношение к Петру. А между тем Преображенский и Семеновский полки были главными силами в петровских руках, они давали от себя ростки во все другие новые полки Петра, они доставляли для них командный состав, они не изменили ему ни разу и ни разу нигде не отступили. Под Нарвой только эти два полка не ударились в панику и отступили с оружием в руках и в полном порядке. Они пользовались со стороны Петра всегда неизменной любовью; преображенский мундир был его любимым платьем, преображенские майоры всегда были самыми доверенными лицами, которым поручалось расследование самых важных государственных преступлений. А Преображенский и Семеновский полки были полки дворянские по преимуществу. А. Н. Толстой послушно следует за презрительным прозвищем, которое присвоено было этим полкам их противниками, партией Софьи, — «преображенские конюхи», а между тем это прозвище удостоверяет только силу сарказма, которым партия Софьи несомненно обладала и которым в данном случае она пользовалась, чтобы подчеркнуть свое боярское презрение к петровским сподвижникам.

Не заметив дворянства как основной опоры Петра, А. Н. Толстой, естественно, не заметил и тех линий раздела, которые проходили между партией Нарышкиных и партией Милославских, возглавляемых Софьей. И в данном вопросе он пошел за исторической традицией, которая только одному Петру приписывала почин реформы, а его противников изображала как представителей застоя и реакции. Правда, он отмечает культурное западничество В. В. Голицына, но подчеркивает его нереальный, мечтательный характер. Софья же в его изображении выступает как тип старого времени, преданная исключительно своей женской любви, в ослеплении этой любовью способная и на кровь, и на жестокость. Увидев Василия Васильевича во французском платье, она говорит: «Смешно вырядился... что же это на тебе — французское? Кабы не штаны, так совсем бабье платье...»

По отношению к Петру она проявляет только злобу, боярскую спесь, бабскую несправедливую клевету:

«Весело царица век прожила и с покойным батюшкой, и с Никоном-патриархом не мало шуток было шучено... Мы-то знаем, теремные... Братец Петруша, государь наш, — прямо — притча, чудо какое-то, — и лицом и повадкой, ну, — чистый Никон».

Все это исторически неверно. В этих словах клевета и на Петра и на Софью. Таких слов она говорить не могла. Никон отправился в ссылку в декабре 1666 г., а царь Алексей женился на Наталье Кирилловне в январе 1671 г., Петр же родился еще позже — 30 мая 1672 г., через пять с половиной лет после ссылки Никона. Если же принять во внимание, что Никон удален с патриаршества и разорвал с царем Алексеем в 1658 г.,

то расстояние между удалением Никона и инкриминируемым ему преступлением увеличивается до 14 лет. Поэтому никаких шуток Наталья Кирилловна Нарышкина шутить с патриархом не имела возможности.

На самом деле Софья была замечательной женщиной и замечательным деятелем своего времени. Это был просвещенный человек, прогрессивно мыслящий, сумевший разбить теремные камни и выйти на свободу, способный управлять государством и управлявший им по-своему неплохо. Между прочим, Софье должна быть приписана честь уничтожения зверского закона, по которому женщина, убившая мужа, закапывалась живьем в землю, и Сидней и Петр уже не имели возможности говорить о такой жестокости. Переворот 1689 г., передавший власть в руки Петра, вовсе не был переворотом в пользу реформы и не выступал под таким лозунгом. В то же время он едва ли был ответом на кровожадные планы Софьи и Шакловитого: пристрастный розыск в Троице и тот не мог подтвердить это до конца. Скорее можно предположить, что выступление Нарышкиных было агрессивным выступлением, направленным к захвату власти и не мотивированным никакими реформаторскими замыслами.

Софья и ее партия представляли тоже более или менее передовые слои того же дворянства, но уже пробивавшиеся к положению аристократии и усваивающие традиции и взгляды последней. Поэтому реформизм этой верхушки был более спокойным, близким к позициям западного шляхетства, склонным именно у него заимствовать внешние формы быта и просвещения.

Софья, может быть, в дальнейшем могла увидеть необходимость решительных сдвигов в техническом и военном вооружении дворянской державы, как это увидел Петр.

Необходимо сказать, что несколько искривленный социологический план романа не сильно отражается на его художественной ценности. Как уже было показано, попытка писателя изобразить купечество как наиболее близкий к Петру и наиболее заинтересованный в его победе слой общества не удалась. Этот слой не приобрел в романе сильного голоса и никого не может убедить в своей исторической значимости. В то же время те же Преображенский и Семеновский полки, дворянский характер которых не подчеркнут как следует автором и которые возглавляли петровскую армию, армию, в сущности, дворянскую и служившую дворянским интересам, — эти полки действуют в романе и реалистически усиливают настоящую значимость Петра.

Социологические ошибки автора не успевают сделаться пороком романа и не обедняют картинности и убедительности художественной силы и художественных средств писателя.

3

Настоящая увлекательность, действительная прелесть и богатство книги у А. Н. Толстого на протяжении всего романа остается не функцией его социологической схемы, а следствием его острого взгляда, могучего воображения и замечательного языка. Эти силы художника позволяют ему легко преодолеть исторические традиции старой нашей науки, традиции официального патриотизма, традиции трагического демонизма в фигу-

ре Петра. Бровкин не вышел показателем купеческого первенства, но он остался одним из русских людей своего времени, и в составе петровского окружения и он сказал свое нужное слово. В романе мы видим народ, видим живых людей, не всегда послушных авторским планам, но замечательно послушных по отношению к требованиям художественной правды. Поэтому и из Жемова не вышел разбойника, но вышел суровый кузнец, с честью принимающий участие в петровском деле.

Самое главное и самое прекрасное, что есть в книге, что в особенности увлекает читателя, — это живое движение живых людей, это здоровое и всегда жизнерадостное движение русского народа, окружающего Петра. Несмотря на то что в книге описывается много жестоких дел, много дикого варварства, много народного страдания, роман переполнен оптимизмом, в нем в каждой строчке дышат богатые силы народа, который еще сам своих сил не знает, но который верит в себя и верит в лучшую жизнь. Этот оптимизм составляет настоящий стиль «Петра Первого». Как на каждой странице можно найти великолепные зрительные, слуховые и другие образы, так же на каждой странице мы найдем и такой же великолепный авторский оптимизм. Уже на первых страницах он приятно поражает читателя. Даже бровкинская коняка, «коротконогая, с раздутым пузом», и та свои жалобы склонна выразить в такой форме:

«— Что ж, кормите впроголодь, уж попою вдоволь».

И выбежавшие на двор дети тоже не слишком падают духом:

«— Ничаво, на печке отогреемся».

А. Н. Толстой отказался от механического противопоставления классовых групп, а прибегнул к единственно правильному способу расщепления каждого отдельного явления и продукты этого расщепления предложил читателю как более или менее полнокровную картину классового общества.

Вот обедневший холоп Ивашка Бровкин приехал на помещичий двор. В дворницкой избе он встречает сына Алешку, отданного боярину в вечную кабалу.

«Мальчишка большеглазый, в мать. По вихрам видно — бьют его здесь».

Покосился Иван на сына, жалко стало, ничего не сказал. Алешка молча низко поклонился отцу.

Он поманил сына, спросил шепотом:

— Ужинали?

— Ужинали.

— Эх, со двора я хлебца не захватил. (Слукавил, ломоть хлеба был у него за пазухой, в тряпице.) Ты уж расстарайся как-нибудь...

Алешка степенно кивнул: «Хорошо, батя». Иван стал разуваться и — бойкой скороговоркой, будто он веселый, сытый:

— Это, что же, каждый день, ребята, у вас такое веселье? Ай, легко живете, сладко пьете.

Один рослый холоп, бросив карты, обернулся:

— А ты кто тут — в рот глядеть!

Иван, не дожидаясь, когда смажут по уху, полез на полати».

Даже у этого Ивашки, последнего в общественном ряду, находится и бодрость, и энергия, и человеческое достоинство, позволяющее ему не

просто стонать, а вести какую-то политику. Он все-таки за что-то борется и, как умеет, сопротивляется.

Кузьма Жемов, преодолевая решительное сопротивление современников против... авиации, выражаемое в батогах, рассказывает:

«Троекуров... Говорю ему, — могу летать вроде журавля, — дайте мне рублей 25, слюды выдайте, и я через 6 недель полечу... Не верит... Говорю, — пошлите подьячего на мой двор, покажу малые крылья, только на них перед государем летать неприлично. Туда-сюда, податься ему некуда — караул-то мой все слышали... Ругал он меня, за волосы хватил, велел евангелие целовать, что не обману. Выдал 18 рублей...»

И этот же самый Кузьма Жемов, пережив крушение своих летных планов, разбойное одиночество в лесу, тюрьму и побои, попадает на каторгу в тульский завод, но даже в этом месте, даже в предвидении каторжного рабочего дня в нем не сдается гордость мастера и человека:

«По дороге сторож сказал им вразумительно:

— То-то, ребята, с ним надо сторожко... Чуть упущение, проспал али поленился, он без пощады.

— Не рот разевать пришли! — сказал Жемов. — Мы еще и немца вашего поучим».

Даже в мрачные времена тупого боярского правления эта народная энергия вовсе не склонна была переключаться в энергию терпения и стона.

«Мужик:

— ...Мужик — дурак, покуда сыт. А уж если вы так, из-под задницы последнее тянуть... (взялся за бородку, поклонился). Мужик лапти переобул и па-ашел, куда ему надо».

Вот эти самые крестьянские уходы — это не только форма протеста и борьбы, но и форма активного жизненного мироощущения. Мужик идет «куда ему надо», а не просто страдает.

Петр I этой бедной и истощенной людской жизни, не лишенной все же своего достоинства, сделал принудительную прививку энергии. В этом деле он столько же следовал своей натуре, сколько исторической необходимости. И только потому, что в русском народе бурлили большие силы, требующие выхода, только поэтому петровское дело увенчалось успехом. А. Н. Толстой в высокохудожественной форме показал, что этот успех нужно видеть не в готовом совершившемся счастье, которое, конечно, было еще невозможно, а в подъеме народной энергии, в пробуждении народных талантов, в зародившемся буйном движении разнообразных сил. Часто эти движения не были даже согласованы друг с другом, часто они сталкивались и мешали друг другу, часто они вообще не знали, куда себя девать. Да и сам возбудитель этого движения сплошь и рядом был беспорядочен и противоречив, отражая в себе всю беспорядочность и сложность происходящих народных сдвигов. В этом смысле Петр является фигурой большого философского обобщения. Вокруг него, возбужденные им, влюбленные в него или ему сопротивляющиеся, разворачиваются молодые силы русского народа, и, несмотря на всю хаотичность событий, все они чрезвычайно гармонично отражаются в личности Петра. Поэтому ни в одном месте роман не производит впечатление дисгармонии или трагического разрыва частей. Меншиков, например, всегда стоит в фарватере темы А. Н. Толстого и тогда, когда он со шпагой бросается на стены

Шлиссельбурга, и тогда, когда он передает Петру любовницу, и тогда, когда берет взятки. С точки зрения обычной морали, он недостаточно чистоплотен и высок. С точки зрения же нашего знания, окрашенного и оживленного рассказом А. Н. Толстого, иначе и не может быть: сила общественных сдвигов в молодом русском народе в то время была, конечно, гораздо больше силы какой бы то ни было нравственной традиции. Именно поэтому так правдиво и жизненно в романе Петр I не только требователен и жесток, но и великодушен.

И по этой же причине нельзя ценность героев романа А. Н. Толстого измерять только нравственными мерками. Или можно сказать иначе: великая нравственная сила заключается в самом факте человеческого пробуждения, в той замечательной экспрессии, с которой старая Русь расправила свои неожиданно могучие национальные крылья. Именно поэтому мы любимся каждым событием.

«Девки сразу стали смелы, дерзки, придиричивы. Подай им того и этого. Вышивать не хотят» (Буйносовы).

«Петр все больше жил в Воронеже или скакал на перекладных от южного моря к северному».

«Лапу! (Обернувшись к Петру, закричал Жемов диким голосом.) Что ж ты! Давай!»

«— Петр Ликсеич, вы мне уж не мешайте для бога, — неласково говорил Федосей, — плохо получится мое крепление — отрубите голову, воля ваша, только не суйтесь под руку...

— Ладно, ладно, я помогу только...

— Идите помогайте вон Аладушкину, а то мы с вами только поругаемся».

Русские люди у А. Н. Толстого не боятся жизни и не уклоняются от борьбы, хотя и не всегда знают, на чьей стороне правда, и не всегда умеют за правду постоять. Впереди у русского народа еще много десятилетий борьбы и страданий, но и сил у него так много, что ни в какой порядок он не может их привести.

Последние строчки второй книги такие:

«Федька Умойся Грязью, бросая волосы на воспаленный мокрый лоб, бил и бил дубовой кувалдой в сваи».

Между этой терпеливой и еще мучительной энергией Федьки и страстной, буйной, нетерпеливой силой Петра все-таки проведена в романе прямая и, в сущности, жизнерадостная дорога. Автор не скрывает многих темных сторон жизни русских людей, не скрывает он и темных сторон Петра, но он прекрасно умеет глядеть на это прищуренным ироническим взглядом, иногда даже и осуждающим, но всегда умным и жизнерадостным. Даже Буйносов, для которого дела царские вообще недоступны, и тот, обращенный в шута, оскорбленный как будто в лучших чувствах, и тот находит для себя место, пусть даже и шутовское: он сам изобрел и изготовил мочальные усы и при помощи их выполняет свое маленькое, но все же общественное дело, имеющее, очевидно, некоторое значение в том хаосе рождения, в том беспорядке творчества, которые сопровождали петровскую эпоху.

На этом фоне просыпающегося в борьбе народа фигура Петра, человека больших чувств, предельной искренности и высокого долга, стано-

вится фигурой почти символической, вырастает в фигуру большого философского обобщения. Он в особенности хорош и трогателен после нарвского поражения, когда действительно от него требуется высота души и оптимизм вождя. Но и на каждой странице романа Петр стоит как выразитель самых мощных, самых живых сил русского народа, всегда готовый к действию, к учебе, к борьбе.

Недостатки сюжета, психологической неполноты, исторической неточности — все это теряется в замечательно бодром и глубоко правдивом действительно прекрасном пафосе художественного видения и синтеза.

Художественный оптимизм автора, украшенный ярким, красивым и немного ироническим словом, огромная сила воображения, буйная страстность в чередовании картин эпохи, стремительный бег мысли и полнокровное мощное движение — вот что делает книгу А. Н. Толстого неотразимо привлекательной. В ней реализм действительно является реализмом социалистическим в самом высоком и полном значении этого слова, ибо трудно себе представить описание исторических деятелей и событий, которое было бы так наполнено понятными и близкими нам ощущениями движения, веры, энергии и здоровья. Это редкая книга, которая в одинаково сильной степени и русская, и советская.

Разговор с читателем

Приступая к «Книге для родителей», я всегда отдавал себе отчет в трудности этой задачи. Собственно говоря, книга имела практическую цель: помочь советской семье в постановке и решении воспитательных задач, но я хотел, чтобы эта цель была достигнута художественными средствами. Я знал о небольших методических брошюрах для семьи и знал, что эти брошюры до семьи почти не доходили, а если и доходили, то производили слабое и малодейственное впечатление. Неудача их объясняется многими причинами, главным образом неглубоким политическим охватом вопросов воспитания и сухостью методических советов. Мне казалось, что художественные образы должны гораздо сильнее воздействовать на широкого читателя — отца и мать, должны гораздо более возбуждать активную мысль и гораздо сильнее привлекать внимание родителей к проблемам советского воспитания.

Но в то же время я очень боялся, что художественный образ, низведенный до значения прямого примера, потеряет всякую художественность, сделается слишком дидактическим и спорным. Боялся я и другого: методика семейного воспитания не только у нас, но и в буржуазных странах почти не разработана. Обыкновенно домашнее воспитание идет по пути сложившихся в обществе традиций, поэтому, например, английская «средняя семья» так сильно отличается от семьи немецкой или французской. Наше общество — общество очень молодое, при этом очень быстро движущееся вперед. Больших семейных традиций у нас накопиться не могло. Впереди у нас стоят великие цели коммунизма, каждый сознательный гражданин Советского Союза видит эти цели в своей практической жизни, в своей морали, в своем отношении к людям старается по ним равняться. Накопление социалистических традиций и традиций коммунистического поведения в области семьи у нас не приобрело еще широкого опытного характера.

Я должен был поэтому не столько подытоживать семейный советский опыт, сколько предсказывать, предвосхищать, основываясь на тех тенденциях, которые сейчас можно наблюдать в нашей семье.

Есть в нашем обществе очень много талантливых и активных родителей, которые дают своим детям прекрасное советское воспитание. Такие родители являются пионерами советской семейной педагогики, у каждого из них есть свои находки, до сих пор нигде не сведенные в какой-нибудь общий опыт. Из уважения к этим находкам, из сознания большой важности нашего дела я не мог рассматривать многие вопросы семейной методики как вопросы, мною решенные, не мог рекомендовать определенные приемы и методы. Это было тем более невозможно, что каждая семья представляет явление особое, индивидуальное, и воспита-

тельная работа в одной семье вовсе не должна быть точной копией такой же работы в другой.

По этим причинам я должен был ограничиться указанием на общие тенденции нашего педагогического развития, прямо вытекающие из особенностей нашего социалистического общества. Я рассчитывал на единственный результат моей книги: возбуждение педагогического и этического мышления в среде родителей, приближение проблем воспитания вплотную к семье. Я об этом прямо сказал в конце книги и просил родителей помочь мне в продолжении моей работы. Вышел только первый том «Книги для родителей», посвященный исключительно вопросу о семейном коллективе как явлении целостном. Во втором и третьем томах я рассчитывал приступить к рассмотрению некоторых деталей семейной педагогики, пользуясь не только моим опытом, но и опытом читателей-родителей, которые отзовутся на мою просьбу.

Я получил очень много писем от читателей и продолжаю получать их в большом количестве. К сожалению, незначительный тираж книги — 10 тыс. — не позволил ей сделаться предметом внимания широкого читателя. Письма, получаемые мною, принадлежат поэтому главным образом читателю, который получает книгу в первую очередь, читателю-интеллигенту.

Приблизительно половина писем говорит не о самой книге, а о тех педагогических затруднениях, которые возникли в данной семье; об этих письмах я здесь говорить не буду.

Авторы остальных писем говорят о моей книге, одобряют или осуждают ее положение, указывают на недостатки, выдвигают те или иные проблемы семьи и воспитания.

Отзывы о книге чрезвычайно разнообразны. Автор, назвавший себя старым врачом, пишет:

«Книга для родителей», вернее «О родителях», производит глубокое впечатление. В ней затронуты вопросы, далеко не разрешенные, правильнее сказать, даже не поставленные семьей. Художественное оформление оставляет глубокий след у читателя и заставляет почувствовать и продумать наше отношение к детям».

Подобные положительные отзывы имеются во многих письмах. Но есть и отзывы прямо противоположные. Товарищ Г. из Ленинграда в пространном письме доказывает, что моя книга очень слаба и фальшива (о «Педагогической поэме» он чрезвычайно высокого мнения): «История Веткиных не советская, а библейская история», «Рассказ о Евгении Алексеевне — мещанская повесть, рассказ о так быстро исправившейся дочери библиотекарши неубедителен». Товарищ Г. указывает и на причины моей неудачи. По его мнению, я задумал написать книгу о том, как нужно воспитывать детей, а такая тема у нас вообще невозможна, так как воспитывают у нас не родители, а все общество. Автор почему-то не заметил моей основной установки, что «главный секрет» хорошего воспитания обусловлен прежде всего чувством гражданского долга родителей и их политическим поведением.

Товарищ Г. пишет:

«Разве нужно быть педагогом, чтобы воспитывать? Педагоги к сожалению, очень отсталая каста».

В своих замечаниях (многие из них вызывают мою благодарность) товарищ Г. касается очень важного вопроса, но решает его совершенно неправильно. Он рассматривает воспитание как процесс стихийный, повторяя утверждения многих моих педагогических противников, достаточно напутавших в организации нашей школы. По мнению этих людей, не нужно никакой педагогической техники, а нужно положиться на прямое влияние широкой жизни¹. Отсюда родились многие завиральные идеи «свободного воспитания»², самоорганизации и самодисциплины. Как педагог, я с товарищем Г., конечно, согласиться не могу. Я убежден, что призыв партии и правительства «восстановить в правах педагогику и педагогов»³ имеет в виду не только образовательный процесс в школе, но и процесс воспитания. В этом процессе также необходима правильная и целеустремленная организация влияния на ребенка, направляемая большим педагогическим знанием. В семью организация влияния на ребенка должна прийти через широкую педагогическую пропаганду, через пример лучшей семьи, через повышение требований к семье.

Очень много отрицательных отзывов вызывает повесть о семье брошенной мужем-алиментщиком, повесть о Евгении Алексеевне. Авторы писем указывают, что я слишком горячо набросился на отца и тем самым набросился на свободу брака. В одном письме написано:

«Неужели вы добиваетесь, чтобы была восстановлена старая крепостная семья, когда двое людей принуждены были страдать всю жизнь, не любя друг друга?»

Я, конечно, этого не добивался. Я только высказался в том смысле, что даже в стремлении сохранить «свободу любви» нельзя забывать о своем долге перед страной и о судьбе ребенка.

В первой книжке «Литературного обозрения» за 1938 год напечатано письмо супругов Пфляумер⁴. О них многие знают в Москве, знают в связи с большим человеческим подвигом: в своей жизни они дали воспитание пятерым детям, взятым из детских домов. Товарищи Пфляумеры в общем положительно относятся к моей книге. Они берут, между прочим, под защиту молниеносное исправление Тамары в рассказе о библиотекарьше. Одобряют они и идиллию о Веткиных, но ставят мне в упрек, что я не описал веткинских методов. Кстати, в этом же меня упрекают и другие товарищи. Я с этим не совсем согласен. В книге я вообще избегал описывать какие бы то ни было воспитательные методы отдельных лиц. Я полагал, что гораздо полезнее дать более или менее яркий пример крепкой, хорошей советской семьи, и если родители захотят следовать этому примеру, то они уже без особого труда найдут и соответствующие методы. По моему мнению, гораздо полезнее подражать результатам, чем копировать методы, которые в различных семьях могут сильно отличаться друг от друга.

Наиболее серьезный упрек бросают товарищи Пфляумеры моему «менторскому» тону в публицистических отступлениях. Очень возможно, что авторы письма и правы, хотя, разумеется, менторский тон получился нечаянно. Я просто хотел выражаться как можно короче и точнее, но, работая над следующими томами, я должен буду серьезно подумать над стилем оформления публицистической части.

Наибольший интерес для меня как для автора представляют те письма, которые помогают мне в работе над вторым и третьим томами.

В этом отношении я особенно должен отметить письмо товарища Д. из Горького. Этот товарищ воспитал десять детей. К моей книге он относится положительно. Вместе с письмом товарищ Д. прислал мне очень богатый и интересный материал: записки, дневники, сводки, переписку с педагогами. В этих материалах отражается замечательная работа настоящего большевика-отца (кстати, товарищ Д. — рабочий).

До сих пор ко мне обратилось восемь читателей, которые обогатили меня не только своими короткими мнениями, но и присылкой подробных материалов о своей воспитательной работе. Я надеюсь, что по мере продвижения книги число таких читателей будет увеличиваться.

Особый интерес представляют письма молодежи, авторы которых хорошо относятся к моей книге и просят дать ответы на отдельные вопросы, их волнующие. Между прочим, товарищ К. из Москвы, ученик X класса, пишет:

«Что надо делать самим детям, чтобы исправлять ошибки отцов, чтобы стать достойными сынами родины? Ведь не секрет, что Вашу книгу читают наряду со взрослыми и подростки, причем, я бы сказал: они воспринимают ее содержание очень близко, иногда ближе, чем многие из родителей. Я один из таких».

Письма родителей и письма молодежи не только дали мне богатейший фактический материал, но и обогатили мой педагогический опыт. Я глубоко признателен моим корреспондентам за помощь и уверен, что благодаря им следующие тома моей работы будут совершеннее.

Второй том я рассчитываю посвятить вопросам воспитания активного, целеустремленного большевистского характера формирующегося молодого советского человека. Это очень трудный вопрос; я не могу назвать ни одной книги, где бы этот вопрос был разработан методически. Я имею для руководства общие принципы философии марксизма и указания глубочайшего смысла, указания товарищей Ленина и Сталина. Передо мной стоит ответственная задача перевести эти указания на язык семейного быта и семейного поведения.

Третий том я посвящаю вопросам, которые мне хочется назвать вопросами потребления. Жизнь есть не только подготовка к завтрашнему дню, но и непосредственная живая радость. Сделать эту радость не противоречащей долгу, стремлению к лучшему — это значит решить вопрос об этике большевистского поведения⁵.

О «Книге для родителей»

Вступительное слово

Товарищи, я никогда не думал раньше, что мне придется писать «Книгу для родителей»¹, так как детей собственных у меня нет² и вопросами семейного воспитания, мне казалось, я заниматься не буду.

Но по своей работе в трудовых колониях и в коммунах за последние годы мне приходилось получать детей-правонарушителей, уже не беспризорных, а главным образом из семей. Как вы сами знаете, в настоящее время у нас беспризорных нет, но дети, нуждающиеся в особом воспитании, в колониях имеются, и в последние годы мне главным образом присылали таких детей.

Поэтому я подошел вплотную к тем явлениям, какие имеются в нашей семье. Мне пришлось сталкиваться с такими случаями, когда в том, что ребенок вступил на преступный путь, виновата семья, но в большинстве случаев мне приходилось встречаться с другими вариантами, когда трудно было даже разобраться — виновата семья или нет, когда как будто и семья хорошая, и люди в семье советские, и ребенок неплохой, настолько неплохой, что у меня он становился хорошим на другой день после прибытия. А вот он страдает и семья — их жизнь испорчена.

Таким образом, я поневоле должен был задуматься над вопросом о семейной педагогике.

Последние два года мне пришлось исключительно уже работать по вопросам воспитания в семье и заняться исследованием путей помощи семье в ее воспитательной работе. И вот у меня накопилось очень много впечатлений, наблюдений, опыта, мыслей, и я с большой, правда, робостью, прямо скажу, приступил к этой книге.

Книга задумана в четырех частях. Пока вышла только первая часть.

Почему мне захотелось написать книгу в художественной форме? Казалось бы, чего проще взять и написать — воспитывайте так, дать определенные советы. В небольшой такой книжонке очень много можно сказать. А если возьмешься писать художественное произведение, приходится давать иллюстрации, много времени и бумаги тратить на описание детских игр, всяких разговоров и т. д. Почему я это сделал? Умение воспитывать — это все-таки искусство, такое же искусство, как хорошо играть на скрипке или рояле, хорошо писать картины, быть хорошим фрезеровщиком или токарем. Нельзя научить человека быть хорошим художником, музыкантом, фрезеровщиком, если дать ему только книжку в руки, если он не будет видеть красок, не возьмет инструмент, не станет за станок. Беда искусства воспитания в том, что научить воспитывать можно только в практике на примере.

Со мной работали десятки молодых педагогов, которые у меня учились. Я убедился, что, как бы человек успешно ни кончил педагогический вуз, как бы он ни был талантлив, а если не будет учиться на опыте, никогда не будет хорошим педагогом. Я сам учился у более старых педагогов, и у меня многие учились.

Так и в семье учатся сыновья и дочери у родителей будущей работе воспитания, часто даже для себя незаметно, так что педагогическое искусство

может передаваться с помощью образца, примера, иллюстрации. Поэтому я пришел к убеждению, что и «Книга для родителей» должна быть написана в виде таких примеров, в виде художественного произведения.

Почему я боялся этой темы? Потому что ни в русской, ни в мировой литературе нет таких книг, так что не у кого поучиться, как такую книгу писать. А взять эту совершенно новую тему с уверенностью, что вот я с ней справлюсь, у меня такой смелости не было. И все-таки я написал книгу, думал — от нее хоть маленькая польза будет. Я постоянно встречаюсь с родителями и получил около полутора тысяч писем, причем в этих письмах родители очень мало занимаются критикой моей книги, хвалят или ругают ее, а все пишут о своих детях — плохие у них дети или хорошие. И почему такие. Задают разные вопросы; собственно, это не переписка советского читателя и писателя, а переписка родителей с педагогом.

И вот, по всем этим письмам и моим многочисленным встречам с родителями я вижу, насколько этот вопрос глубок и важен, и чувствую свою обязанность не оставлять его. Плохо будет дальше написано или хорошо, читатели скажут, может быть, я начну плохо, но лиха беда — начало, другой сделает потом лучше.

В первом томе я ничему не поучал, я хотел только коснуться вопроса о структуре семьи. У нас в педагогике этого вопроса просто никто не затрагивал, а по тем многочисленным примерам, которые я наблюдал, в особенности изучая детей, поступивших ко мне в коммуну, я вижу, что вопрос о структуре семьи, о составе ее, о характере имеет кардинальное значение.

Я уже писал в своей книге и сейчас скажу, — через мои руки прошло таких семейных детей, вероятно, человек 400—500, и это редко были дети из многодетных семей, а в большинстве случаев — единственные дети. Поэтому для меня уже нет сомнения, что единственный ребенок является более трудным объектом воспитания. Конечно, есть случаи, когда и единственный ребенок прекрасно воспитан, но если взять статистику, то такой единственный ребенок в наших условиях — трудный объект для воспитания. Я и решил коснуться этого вопроса.

В первом томе я еще ни о какой педагогике, собственно, не говорю и поэтому решительно отвожу обвинения, почему о школе я не сказал, о чтении, о культурном воспитании и т. д. Не сказал потому, что это у меня будет сказано в других томах, не мог сказать все в первом томе. Здесь я хотел сказать о структуре семьи.

Что я пытался сказать? Прежде всего я пытался сказать, что семья есть коллектив, то есть такая группа людей, которая объединяется общими интересами, общей жизнью, общей радостью, а иногда и общим горем. Я хотел доказать, что советская семья должна быть трудовым коллективом.

Во-вторых, я хотел коснуться нескольких тем, относящихся к структуре этого коллектива.

Что меня в этой структуре заинтересовало? Прежде всего, величина семьи. Я являюсь сторонником большой семьи. Изображая семью Веткиных, исключительно сложную, я ничего не выдумывал, все это взято из тех многочисленных примеров, которые я наблюдал. Семья Веткиных — это действительные события семейной жизни одного из моих друзей, прав-

да, фамилия изменена, так как он не дал разрешения писать о его семье³.

Большая семья, переживающая борьбу и всякие лишения и неприятности, все-таки очень хороша, в особенности если отец и мать здоровые, трудящиеся люди, если никто не пьянствует, никто никому не изменяет, нет всяких таких любовных происшествий, если все идет нормально, то большая семья — это замечательное явление, и, сколько я таких семейств не видел, люди из них выходят хорошие. В такой большой семье, где 12—13—14 ребят, бывает шумно, ребята шалят, трудности, огорчения, а все-таки дети вырастают хорошие, потому что и дружба есть, и радость — коллектив есть.

Я и описал такую большую семью вовсе не с той целью, чтобы сказать: вот как Веткин воспитал, учитесь у него, а только для того, чтобы кое-кого, может быть, увлечь желанием иметь большую семью. Это была моя цель — возбудить интерес к большой семье, а показывать, как нужно эту большую семью воспитывать, я буду в других томах, а не в этом.

Точно так же я изобразил семью, где единственный ребенок, не для того, чтобы показать, как неправильно его воспитывают, а для того, чтобы осудить стремление иметь только одного ребенка. У нас это еще распространено: «родится один ребенок, и стоп!» Говорят — будет лучше одет, обут, лучше будет питаться. А это неверно. Он одинок, у него нет настоящего общества. Я показал, что происходит от этого. Это тоже вопрос структуры семьи.

Вопрос о структуре семьи встает и в том случае, когда семья распадается. Наиболее болезненные явления — это, конечно, уход одного из супругов из семьи в другую семью. Я прекрасно понимаю, что мы не можем возвратиться к старой норме, когда родители должны были жить всегда вместе, независимо от их отношений, как говорят украинцы: «Бачили очі, що купували». На этом я не настаиваю. Но все-таки по отдельным примерам очевидно, что уход из семьи иногда происходит легкомысленно. Если бы люди посерьезнее, построже к себе относились, если бы у них было больше тормозов, может быть, не уходили бы. Посмотришь, и любовь возвратилась бы. Любовь нужно тоже уметь организовать, это не то, что с неба падает. Если талантливый организатор, то и любовь будет хорошая. Нельзя любить без организационных усилий.

Это отдельный вопрос, о нем можно отдельно говорить, но вот, например, мои коммунары так относились к «Ромео и Джульетте» Шекспира. Они говорили: «Плохие организаторы. Подумаешь, девушке каких-то порошков дать — потом хоронить, что это за организаторы? Потом кого-то послали с известием, не пустили в город. Плохие организаторы, вот и любовь плохая. А у нас такого Лоренцо так отдули бы на общем собрании, чтобы он таких фокусов не устраивал».

Коммунары были совершенно правы. У нас большая общественная ответственность, и поэтому мы можем организовать наши чувства и нашу любовь⁴.

Я получил писем сорок от мужей, платящих алименты, которые обрушились на меня со страшным гневом, как это я смел сказать, что алиментщик иногда враг по отношению к своему ребенку: «Что же вы хотите эту свободу — сегодня люблю одну, а завтра другую — зачеркнуть?»

Это я не хотел сказать. Я хотел сказать, что там, где отец или мать ухо-

дят из семьи, там семья как коллектив разрушается и воспитание ребенка затрудняется. Так что если вы чувствуете долг перед своим ребенком, то перед тем, как уйти, вы серьезно подумайте. Я всего не сказал в книжке, но вам по секрету скажу, что, если у вас есть двое ребят и вы разлюбили вашу жену и полюбили другую, потушите ваше новое чувство. Плохо, трудно, но вы обязаны потушить. Оставайтесь отцом в вашей семье. Вы это обязаны сделать, потому что в вашем ребенке растет будущий гражданин, и вы обязаны пожертвовать в известной мере своим любовным счастьем.

К структуре семьи я отнес вопрос и о родительском авторитете. Я вовсе здесь не хотел говорить о том, как этот авторитет делать. Хотелось только показать, что если у вас нет авторитета или авторитет ложный, придуманный, фокусный, то у вас в семье идет все немного кувырком.

К структуре семьи относится отчасти половое воспитание.

Я не считаю, что должны быть особые методы полового воспитания. Половое воспитание есть отдельная отрасль дисциплины и режима. С этой точки зрения я и ввел главу о половом воспитании в этом томе.

К структуре семьи я отношу также неправильное расположение семейных сил, когда мать превращает себя в прислугу своих детей — эта структура семьи неправильная. Можно было больше сказать по этому вопросу, но я не хотел чересчур увеличить книгу. Можно было сказать, что если мать превращает себя в прислугу, то дочь или сын живут как господа на основе труда матери, а с другой стороны, мать теряет прелесть своей личной жизни, полнокровной своей личной жизни и поэтому как потерявшая эту полнокровность жизни становится матерью уже неполноценной. Настоящей матерью, воспитывающей, дающей пример, вызывающей любовь, восхищение, желание подражать, будет только та мать, которая сама живет настоящей полной человеческой, гражданской жизнью. Мать, которая ограничивает свои обязанности простым прислуживанием детям, — это уже раба своих детей, а не мать воспитывающая.

Я коснулся еще одного вопроса, относящегося к структуре семьи, — вопроса о солидарности в семье и хотел показать, что эта солидарность иногда из-за пустяков начинает разрушаться. В новелле о семье Минаевых говорится о том, что отец не съел пирога, сын этот пирог стащил. В этом мелком факте — а жизнь складывается из мельчайших явлений — уже трещинка в семейной солидарности. У сына нет ощущения, что он и отец — члены одного коллектива и нужно думать не только о себе, но и об отце. Я хотел показать, что на такие трещинки в семейной солидарности нужно обращать серьезнейшее внимание, потому что в последнем счете неудачи в семейном воспитании объясняются забывчивым отношением к мелочам. Думают люди — крупное хорошо сделаем, а если сын, как в этом примере с пирогом, не подумал об отце, это мелочь, ее не замечают и много теряют.

Повторяю, в этой первой книге я хотел только коснуться вопроса о структуре семьи и о тех причинах, которые эту структуру в той или иной мере нарушают, иногда катастрофически, например уход одного из родителей в новую семью, а иногда и по мелочам.

Второй, третий и четвертый тома посвящаются вопросам воспитания воли и характера, воспитания чувства, устойчивых нервов, воспитания чувства красоты, причем под этим я понимаю не только воспитание чувства

красоты неба, картины, одежды, а и красоту поступков, эстетику поступков. Поступки могут быть красивыми или некрасивыми.

Все это, вместе взятое, по моему мнению, составляет фундамент большого, настоящего, гражданского политического воспитания.

Еще раз скажу, трудно надеяться, что по книге можно научиться воспитывать, но научиться мыслить, войти в сферу мыслей о воспитании, мне кажется, можно. Я только на то и рассчитывал, что эта книга поможет читателям самим, на примерах, задуматься над вопросами воспитания и прийти к тем или другим решениям.

Вот все, что хотелось сказать во вступительном слове. Теперь я слушаю вас и, если будут вопросы или замечания, в заключительном слове отвечу.

Заключительное слово

Я очень благодарен всем за указания и говорю это не для комплимента, а по существу. Дело в том, что это первое обсуждение моей книги на заводе. До сих пор мне приходилось разговаривать с педагогами главным образом и со случайными читателями, перед которыми я выступал в Политехническом музее.

Я очень рад, что моя книга вызвала справедливое отношение: не хвалебное, а деловое, что для меня наиболее важно.

Собственно говоря, я хотел написать книгу, рассматривая ее исключительно с точки зрения пользы, и поэтому не думал о ней как о художественном произведении, которое принесло бы мне славу. Я прекрасно понимаю, что на такой теме писательской славы не заработаешь и, как ни напишешь, все равно будут ругать. Чтобы приобрести популярность, для этого есть много легких тем, где можно развернуть свои писательские склонности. Эта тема острая, деловая, и я к ней так и подхожу.

Очень рад, что вы высказываете желание дальше продолжать работу вместе, и даже призываю вас к этому. Давайте при вашем заводе начнем постоянную работу по организации воспитания в семье. Будем хотя бы каждую шестидневку собираться. Эта работа будет иметь большое значение и может помочь не только вам, а всему советскому обществу, прежде всего московскому. Это вопрос чрезвычайно важный политически и жизненный. Неудачно воспитанный ребенок — это, прежде всего, сам человек несчастный и несчастные родители. Это — горе, а правильное воспитание — это организация счастья. Поэтому необходимо потратить на такое дело какие угодно силы.

Начну с того, что отвечу на ваши вопросы.

Могут ли родители написать книгу под моей редакцией? Не знаю. Книгу надо написать для широкого читателя. Проще всего было бы сказать: конечно, можно, давайте напишем. Но нужно написать книгу так, чтобы читатель читал с интересом, увлекся, а как написать, какой будет язык книги, все будет зависеть от вашего таланта. Если найдутся люди, которые способны написать хорошо, ярко, интересно, книга получится, но, чтобы я стал писать вместо вас, не годится. Так что, если есть у вас литературный кружок, если будет подходящий материал, я готов отдать силы на редактирование и помощь и уверен, что Гослитиздат в печать такую книгу примет.

Насчет обсуждений моей рукописи. Дело в том, что хороший сценарий

и тот содержит 70—80 страниц, а в моем втором томе будет 300—400 страниц. Я готов отдельные выдержки у вас прочесть, но думаю, что всю книгу читать невозможно.

Теперь следующий важный вопрос. Почему, в самом деле, я должен писать в книге о том, что нехорошо ругаться, а вы на заводе здесь молчите? Вы должны и обязаны поднять кампанию. Я уверен, что у вас на заводе найдется процентов девяносто таких людей, которые эту кампанию поддержат.

Следующий вопрос о детской литературе. Завтра в два часа дня в редакции «Литературной газеты» состоится совещание совместно с Детиздатом о том, какой должна быть книга для детей, где я делаю доклад⁵. Приходите завтра, требуйте от имени завода, и ваш голос прозвучит лучше, чем голос любого писателя, потому что вы будете говорить от имени многотысячного коллектива вашего славного завода.

Теперь о других вопросах, затронутых вами. Я не стану оправдываться, отрицать отдельные указанные здесь недостатки, особенно художественные. Тут нельзя оправдываться. Я получаю сотни писем, и нет ни одного места в моей книге, о котором бы все одинаково говорили: один говорит — это лучше всего, другой — это. Здесь читатель пусть судит как хочет, а я буду говорить по педагогическим вопросам.

Коснусь несколько тех тем, которые я разрабатываю во втором томе. Его вы прочтете, когда Гослитиздат издаст, а он не очень быстро издает: «Педагогическую поэму» полтора года издавал. А пока давайте будем говорить о педагогике.

Здесь я прежде всего останавлиюсь на вопросе, поднятом одним из ораторов, о том, что успех воспитания человека определяется в младшем возрасте до 5 лет. Каким будет человек, главным образом зависит от того, каким вы его сделаете к пятому году его жизни. Если вы до 5 лет не воспитаете как нужно, потом придется перевоспитывать. Казалось бы, какие могут быть события в жизни ребенка до 5 лет. Родителям кажется, что все идет очень хорошо. А в 10—11 лет все неожиданно изменяется к худшему и начинает расцветать полным цветом. И родители ищут, кто испортил мальчика. Сами они его регулярно портили от первого до пятого года.

Этой теме я посвящаю половину своего второго тома. У меня не было «собственных» детей, но «чужих» я в своей семье воспитал все-таки как своих, так что известный опыт у меня есть, но не обязательно писать о своем опыте, я писал, как другие воспитывают — хорошо или плохо.

Нельзя думать, что до 5 лет должны быть какие-то особые принципы воспитания, отличные от принципов воспитания в десятилетнем возрасте. Принципы те же самые.

Главный принцип, на котором я настаиваю, — найти середину — меру воспитания активности и тормозов. Если вы эту технику хорошо усвоите, вы всегда хорошо воспитаете вашего ребенка.

С первого года нужно так воспитывать, чтобы он мог быть активным, стремиться к чему-то, чего-то требовать, добиваться, и в то же время так нужно воспитывать, чтобы у него постепенно образовывались тормоза для таких его желаний, которые уже являются вредными или уводящими его дальше, чем это можно в его возрасте. Найти это чувство меры между активностью и тормозами — значит решить вопрос о воспитании. Это можно до-

казать примером из сегодняшних выступлений.

Вот говорили, что не нужно давать деньги детям, потому что они будут развращаться и тратить как угодно и куда угодно. Да, конечно, в том случае, если вы дадите детям деньги и позволите тратить как угодно, сколько угодно, вы воспитаете только активность, а тормозов не воспитаете. А вот надо так давать детям деньги, чтобы они могли тратить куда хочу — юридически, а на самом деле, чтобы на каждом шагу тормозили свое желание.

Только при таких условиях карманные деньги принесут свою пользу. «Вот тебе рубль, трать куда хочешь», — и тут же рядом воспитывать такое чувство, что, хотя можно купить мороженое, ребенок купит что-нибудь другое, более полезное.

Это воспитание активности и тормозов должно начинаться с первого года. Если ваш мальчик что-нибудь делает, а вы говорите на каждом шагу — не бегай туда, там травка, не иди туда, там мальчишки тебя побьют, вы воспитываете только одни тормоза. В каждой детской шалости вы должны знать, до каких пор шалость нужна, выражает активность и здоровое проявление энергии и где начинается плохая работа тормозов и силы тратятся впустую. Каждый родитель, если захочет, научится видеть эту середину. Если вы этого не увидите в своих детях, вы никогда их не воспитаете. Нужно только начать искать это чувство меры, и опыт в течение месяца вас научит находить. Вы всегда поймете границу, где активность должна быть остановлена тормозами самого ребенка, воспитанными вами.

Сюда же относится вопрос, который вызвал сомнение у многих читателей, в особенности у педагогов. Как это так, говорят, Тамара была плохая, потом вдруг пришел фрезеровщик, и она стала хорошая. А я говорю, что именно так и бывает. Если человек растет так, что ему удержу никакого нет, его можно затормозить только таким образом. Я как раз являюсь сторонником такого быстрого торможения. Я на своем веку перековал много сот, даже до трех тысяч людей. Это можно делать взрывом, атакой в лоб, без всяких обходов, без всяких хитростей, решительным категорическим потоком требований...

Пока я был молодым педагогом, я старался каждого беспризорника обходить, разговаривать, изучать, думать за него. Казалось, он поддается влиянию, но он снова крал, убегал, и все время приходилось начинать сначала. В дальнейшем я уже понимал, что нужен взрывной метод⁶. В Харькове мы применяли этот метод к группе новичков в 30—50 человек.

Так и в индивидуальном порядке перевоспитания если были случаи счастливого перелома личности, то путем взрыва.

Иногда бывало, что воспитанник совершил какой-нибудь проступок. Я делал вид сначала, что ничего не замечаю, как будто все благополучно. Я жду, пока соберется основательный материал, и тогда поднимаю шум на всю коммуны. На общем собрании он выходит на середину, все требуют его выгнать немедленно, перед ним стоит опасность, что его выгонят, а потом его немного накажут, и он считает, что счастливо отделался.

Так и с Тамарой. Такие случаи я наблюдал и в семейной жизни. Если ребенок разболтается, нужно как-то умеючи накопить материал и потом потребовать от него ответа так, чтобы мальчик или девочка понимали, что вы в гневе, что вы решили прекратить это, и вы увидите, как ваш сын или дочка станут на ноги. Многие в это не верят, но это так.

Но, конечно, такой способ — это самая крайняя мера, и вообще перевоспитание в семье дело очень трудное. Я смог перевоспитывать 500 человек в коллективе, а в семье перевоспитать ребенка очень трудно. Поэтому в семье чрезвычайно важным является воспитание с первых лет жизни ребенка.

Теперь второе положение, на котором я настаивал. Многие думают, что воспитание состоит в цепи мудрых и хитрых приемов, а я решительно возражаю против этого. Если кто-нибудь долго пользуется такими приемами, он часто воспитывает очень плохо.

Недавно на одном совещании пионервожатых мне показали альбомы. Несколько звеньев пионерских отрядов соревнуются между собой в том, кто составит лучший альбом об Испании. Все пионервожатые в восторге, что они делают хорошее педагогическое дело. Я посмотрел на эту работу и сказал: кого вы воспитываете? В Испании трагедия, смерть, героизм, а вы заставляете ножницами вырезать картинки «жертвы бомбардировки Мадрида» и устраиваете соревнование, кто лучше наклеит такую картинку. Вы воспитываете так хладнокровных циников, которые на этом героическом деле испанской борьбы хотят подработать себе в соревновании с другой организацией.

Помню, как у меня возник вопрос о помощи китайским пионерам. Я сказал своим коммунарам: хотите помочь, отдайте половину заработка. Они согласились. Получают они 5 рублей в месяц, стали получать 2 рубля 50 копеек. Так они отдали сознательно свой труд в пользу пионеров без фанатизма, без шика, не так, как было с этими вырезками для альбома. А ведь организаторам соревнования казалось, что они делают замечательное педагогическое дело и что здесь есть педагогическая логика. Я видел девочек, которые дома говорят матери: почему у Лиды крепдешиновое платье, а у меня нет? Почему вы идете на «Анну Каренину», а я нет, вы все видели, а я ничего не видела. Эта девочка, наверное, добродетельно вырезывает картинки «жертвы бомбардировки Мадрида», а дома она просто хищник.

Эта самая «мудрая» педагогическая логика, утверждающая полезность средства, потому что в основу его положены самые лучшие намерения, часто подводит.

Между прочим, если родители получают удовольствие, ходят в театры, ходят в гости, шьют себе хорошее платье, то это хорошее воспитание для их детей. Родители на глазах у детей должны жить полной радостной жизнью, а родители, которые сами ходят обтрепанные, в стоптанных башмаках, отказывают себе в том, чтобы пойти в театр, скучно добродетельно жертвуют собой для детей, — это самые плохие воспитатели. Сколько я ни видал хороших веселых семейств, где отец и мать любят пожить, не то, что развратничать или пьянствовать, а любят получить удовольствие, там всегда бывают хорошие дети. У вас растет мальчик. Ему 3—4 года, 5—6 лет, он каждый день видит перед собой счастливых, веселых, жизнерадостных отца, мать, к которым люди приходят в гости, и, если тут же в присутствии вашего пятилетнего вы поставите графин, не напивайтесь пьяным, но чтобы было весело, никакого вреда от этого нет. Самочувствие родителей является, с моей точки зрения, одним из основных методов воспитания.

Я в коммуне применял этот метод. Я был веселым или гневным, но не был

никогда сереньким, отдающим себя в жертву, хотя много отдал здоровья и жизни коммунарам, из-за них не женился до сорока лет. Но никогда не позволил себе сказать, что я собой для них жертвую. Если вы будете такими счастливыми, это очень хорошо. Я чувствовал себя счастливым, смеялся, танцевал, играл на сцене, и это убеждало их, что я правильный человек и мне нужно подражать. Если вы будете такими счастливыми, это очень хорошо. Ведь метод подражания в воспитании имеет большое значение. Как же ребенок будет вам подражать, если вы будете все время с кислой физиономией, с таким видом, будто вы жертвуете вашей жизнью.

Если вы будете жить полной, радостной жизнью, в таком случае вы найдете правильные приемы, особенно если будете помнить, что вы должны найти меру между активностью и тормозами. Если вы веселы, жизнерадостны, не скучаете, не тужите, даже если трудно, то вы так же весело скажете — нет, стоп, этого делать нельзя. Вы не позволите себе сесть и сказать:

— Детка, я тебе расскажу, как нужно жить, вот ты этого не делай.

А нужно прямо сказать:

— Этого больше не делай, баста.

— Почему?

— Вот потому, что я не позволяю.

Это будет сильнее действовать, весь авторитет вашей жизни будет поддерживать ваши требования.

— Тут разрешается и другой вопрос, который задавали, — вопрос о жене и муже. Я сознательно стараюсь их не разделять, потому что если они как-то расходятся между собой, то весь процесс воспитания становится под удар. Если у вас жена отсталая, женились случайно на отсталой, то вы сами виноваты, почему вам не выбрать было жену по себе, по своим запросам. Вы уже отвечаете за воспитание детей, когда выбираете жену. Я от своих коммунаров настойчиво требовал: влюбился, этот человек будет матерью твоих детей, если будет хорошей матерью, влюбляйся дальше, а если ты видишь, что она не способна воспитать детей, — тормози назад!

Допустим, вы уже выбрали себе жену отсталую. Прежде всего, что такое отсталая? Вы читаете газеты быстро, а она медленнее. Научите ее грамоте. Но вопрос не в этом. Для воспитания детей не так важно, насколько ваша жена развита по сравнению с вами. Надо, чтобы ваша жена, мать ваших детей, была тоже довольна жизнью. Пусть она радуется своей жизни. Если вы поднимаете жену до себя, то поднимайте так, чтобы это ей доставляло удовольствие, а если вы будете рассуждать так, что я высокий, а ты поднимайся, никакой воспитательной работы не будет. Пускай она поднимается весело, пускай это будет для нее радостью, а если вы не можете это сделать с радостью, то не поднимайте, но пускай она живет полной человеческой жизнью. В таком случае тот, кто выше, пускай найдет в себе мужество не очень гордиться своей высотой и не показывать ее на каждом шагу. Пускай он всем своим поведением доставит своей жене радость, и в этой радости она будет расти.

У меня есть новелла, которая называется «Секрет воспитания». Секрет заключается в том, что муж всегда хотел дать жене счастье, и поэтому дети у них были прекрасные. Везде, где муж хочет жене счастья, а жена мужу, там дети хорошие, — конечно, если дело идет о двух толковых людях. Есть известный предел интеллекта у родителей, ниже которого опускаться

ся нельзя. Какой угодно счастливый дурак едва ли воспитает хорошего ребенка. Известный интеллект — ум, рассудок, активность, внимание должны быть. И вот я снова вернусь к тому утверждению, которое некоторые неправильно поняли, — насчет жены «второго сорта». Я не покажусь вам отсталым человеком, если скажу, что мать, которая не работает на заводе или в конторе, но воспитывает четырех детей дома, делает большое, хорошее дело, и говорить о том, что она не занимается общественной деятельностью, что она — «второй сорт», нельзя. Мать, воспитывающая 2—3 детей дома, совершает большое государственное и общественное дело, и упрекать ее в том, что она не работает на заводе, никто не имеет права, но нужно, чтобы она жила общественной жизнью. Пусть она читает книги, работает в домкоме. Вот идет кампания по выборам в Верховный Совет. Здесь обширное поле деятельности. Пусть найдет такой кружок, где она будет работать. Не обязательно, чтобы она была на производстве, — и без этого она может быть активной общественницей.

Я называю неполноценной матерью ту жену, которая дома обращается в прислугу.

Тут мы переходим к вопросу о трудовом воспитании.

В моей теореме об активности и тормозах без трудового воспитания обойтись нельзя. Здесь затронули вопрос о мальчике, который говорил: ты мне игрушек не покупаешь, ты плохая мать. Мальчик говорит правду, это плохая мать, потому что у хорошей матери мальчик так говорить не будет. Не надо стесняться сказать:

— Да, мы меньше зарабатываем, не можем купить. Вырастешь, поможешь, или я стану больше зарабатывать, купим. Ты помоги, помой посуду, а я книжку почитаю.

Надо, чтобы это было общее семейное дело, и тогда ребенок не скажет:

— Ты плохая мать.

Если вы знаете вашего мальчика и любите его, вы найдете слова, чтобы объяснить ему:

— Мы с тобой живем вместе, у нас общие дела, общие радости, ты не думай, что, если я тебе не купила лошадку, это только для тебя горе. Это наше общее горе. Поэтому давай добиваться лучшей жизни, помоги мне, чтобы я хотя бы нервы не трепала.

С двух лет ребенок должен быть членом коллектива, разделяя ответственность за счастье и несчастье.

Очень нетрудно с ребенком об этом поговорить, а не отталкивать, как здесь говорили:

«Отстань, я читаю, а ты мне мешаешь».

Я согласен с одним из товарищей, который говорил, что как можно ближе должны быть родители к детям, но не допускаю бесконечной близости. Должна быть близость, но должно быть и расстояние. Приблизиться совершенно вплотную к ребенку, чтобы не было никакого расстояния, нельзя. Чем-то в глазах ребенка вы должны быть выше. Он должен в вас видеть что-то, что больше его, выше, отлично от него. Такое расстояние, некоторая такая почтительность небольшая, неофициальная должна быть.

Именно поэтому я не допускаю слишком откровенных разговоров о половых вопросах. Вот я — твой отец, ты — мой сын, но об этом я с тобой стесняюсь говорить. Простое чувство стеснения в некоторых вопросах необхо-

димо. Без этого вы будете приятелем, собутыльником, но не отцом. Это расстояние должно быть, и в некоторых случаях ребенок должен это понимать. Если он не будет этого понимать, у вас не будет авторитета и ваши приказания не будут иметь никакой действенности.

Чувство расстояния необходимо воспитывать с первых дней. Это не разрыв, не пропасть, а только промежуток. Если ребенок с 3 лет будет в вас видеть какое-то высшее существо, авторитетное по отношению к нему, он будет выслушивать каждое слово с радостью и с верой. Если он будет уверен в 3 года, что между вами никакой принципиальной разницы нет, все ваши слова он будет принимать с проверкой, а какая у них проверка, вы знаете. Он убежден, что он прав. Нужно, чтобы иногда правота приходила без доказательств, потому что вы сказали. Тот ребенок, которому все доказывают, может вырасти циником. Во многих случаях ребенок должен принимать на веру ваше отцовское утверждение, здесь у него вырабатывается то качество, по которому мы верим нашим вождям. Не всегда мы проверяем все. Если нам говорят, что Донбасс перевыполнил программу, мы верим этому, потому что есть какой-то авторитет, которому мы безоговорочно верим, и это уважение к авторитету нужно у ребенка воспитывать с самых малых лет.

Вот ответы на заданные мне вопросы.

Что касается ключа от квартиры, то, если хорошее, правильное воспитание, я не знаю, почему нельзя дать детям ключа. В коммуне все ключи были на руках у ребят, причем не обязательно у старших. (*Голос: «У него вытащить легко».*) Воспитайте так, чтобы нельзя было вытащить. Очень нетрудно воспитать чувство ответственности, без которой успеха воспитания быть не может, и о ней как раз в педагогике нигде не говорится. Это способность ориентировки. В 5 лет у вашего ребенка должна быть эта способность, он должен знать, о чем можно говорить, о чем нельзя. Он должен чувствовать, что за спиной делается.

А у многих детей в школе этой способности ориентировки совершенно нет. Они не видят — сзади свой или чужой сидит. Это ощущение своего или чужого нужно воспитывать с 3—4 лет. Нужно воспитывать способность разбираться в окружающей обстановке и знать, что где происходит. Если вы это воспитаете, тогда ключ можно дать.

И еще один вопрос, который я ставлю во втором томе, кстати сказать поднятый сегодня одним из наших читателей. Вопрос о том, как родители любят детей для себя. Вы, наверное, наблюдали такую картину: по улице идут отец с матерью, ребенок разряженный, и по выражению глаз родителей видно — ребенка вывели, чтобы похвастать. Для них это игрушка, которой можно похвастать. Разве отец, который вызывает ребенка при гостях, чтобы заставить его остроумно отвечать на вопросы, не из тщеславия делает это? Особенно часто это у матери бывает: похвалиться своим ребенком, доставить себе удовольствие. А на самом деле ребенок ничего не стоит, потому что избалован.

Я недавно ехал в Минск, и в одном купе со мной ехала мать. Ей захотелось похвастать своим ребенком. Ему 2 года, он даже еще не говорит, а она его тормозит, чтобы он смеялся, и кричит: «Почему ты не смеешься?»

Ребенок смотрит с удивлением: что это за глупая женщина? Но ей удается заставить его улыбнуться. Себялюбие матери здесь совершенно очевидно: для нее не ребенок важен, а важно, чтобы в купе поезда мне, совершен-

но случайному, не нужному ей человеку, показать способность ребенка улыбнуться после ее мудрых приемов. Такая мамаша до 18 лет будет воспитывать ребенка на показ. Он может выйти хулиганом, шкурником, а она будет им гордиться. Такое воспитание ребенка для собственного тщеславия — это не педагогика.

Мне остается ответить на записки.

Почему не показаны положительные женщины? Как не показаны? Там, где положительная семья, там и положительная женщина. Вообще, товарищи, вы меня простите, я люблю счастливые концы. Я чувствую, что без этого читатель будет обижен, и я всегда даю счастливый конец. Пусть он будет как-нибудь привязан, но все-таки счастливый, я знаю, что читателю это приятно. (Голос: «Значит, несчастные родители не могут воспитывать детей и у них не могут быть хорошие дети?») Да, но ведь от вас зависит быть счастливой. (Голос: «Не всегда».) Всецело от вас. Я не представляю себе такого случая, который мог бы сделать вас несчастной. У вас уже возраст счастливый. Сколько вам лет? (Голос: «Тридцать восемь лет».) Замечательный возраст! А мне пятьдесят лет. Я охотно меняюсь с вами, со всеми вашими несчастьями. То, что вам кажется несчастьем, — это просто нервы, дамская болезнь.

Дальше, насчет единственного ребенка. Бывают случаи, когда один ребенок вырастает хороший. Я не говорю, что обязательно нужно тринадцать. Я хотел показать, что если тринадцать хорошо, то как же будет хорошо, если только шесть. Все-таки шесть — легче.

Некоторые товарищи говорили, что в «Книге для родителей» не нужна публицистика, а вот в этой записке женщина пишет, что нужна: иллюстрация иллюстрацией, но скажите, как нужно делать? Она спрашивает: стоит ли воспитывать чувство любви к отцу, оставившему семью? Я считаю, что здесь не может быть никакого вопроса. Отец ушел из семьи, надо прекратить о нем разговоры. Если мальчик спросит — плохой или хороший, — не знаю, не интересуюсь. Другое дело, если отец помогает в полной мере, как-то дружба сохраняется. Но если только издали следит, не помогая, не отвечая ни за что, я бы таких отцов судил уголовным процессом, они страшный вред приносят своим детям. Во всяком случае, если появится новый отец и мальчик будет называть его отцом, я считаю, что это единственный выход из положения. Почему дети должны отвечать за своих любвеобильных отцов?

Не отражаются ли квартирные условия на воспитании?

Конечно, отражаются, но не обязательно в дурную сторону. Там, где у ребенка отдельная комната, иногда воспитание идет хуже.

Была книга задумана как художественное произведение или нет? Нет, просто была задумана как книга для родителей.

Если отец арестован, нужно ли у ребенка вызывать чувство ненависти к отцу?

Если ребенок маленький, он забудет, но, если он сознательный и политически грамотный, нужно, чтобы он считал этого отца врагом своим и своего общества. Конечно, воспитывать специально чувство ненависти не нужно, потому что это может расстроить ребенку нервы и измочалить его, но вызывать чувство отдаленности, чувство, что это враг общества, нужно, иначе быть не может, иначе ваш ребенок останется в таком разрыве: с одной стороны — враг, с другой стороны — отец. Тут нельзя никаких компромиссов

допускать. Одна мать пишет: не такое большое дело, если отец оставил семью. Я сама могу воспитать. Пожалуйста. Если появится второй отец, тоже совсем не плохо.

Как быть с ребятами, которые предоставлены самим себе? Я видел много таких случаев: мать и отец на работе — и все-таки ребенок растет хорошо. Это потому, что с детства его воспитывали правильно. Я склоняюсь к такому положению. Если до 6 лет ребенок воспитывается правильно и в нем воспитаны определенные привычки активности и торможения, тогда уж это не страшно, на такого ребенка никто не подействует дурно. В таких случаях обычно говорят: за ним не смотрим, а он хорошо развивается, наверное, наследственность. На самом деле, не наследственность, а хорошее воспитание⁷.

Последний вопрос: «Около половины жизни вы отдали воспитанию детей. Профессия это или ваша большая любовь к человеку?» Вот человек работает на токарном станке, работает бухгалтером, хорошо делает свою работу — это любовь к своему делу или профессия? Не может быть профессии без любви. Но это не значит, что каждый родится бухгалтером или педагогом. Конечно, я сначала был плохим педагогом.

Между прочим, воспитание детей — это легкое дело, когда оно делается без трепки нервов, в порядке здоровой, спокойной, нормальной, разумной и веселой жизни. Я как раз видел всегда, что там, где воспитание идет без напряжения, там оно удается. Там, где идет с напряжением и всякими припадками, там дело плохо.

Спасибо вам за внимание, надеюсь, что мы с вами продолжим нашу работу.

Воспитательное значение детской литературы

Каждая книга для детей прежде всего должна преследовать воспитательные цели. К сожалению, мы еще не имеем исследований о воспитательном влиянии литературы, и в каждом отдельном случае нам приходится опираться главным образом на наш опыт — педагогический и литературный.

В жизни очень трудно бывает определить, какие поступки детей являются следствием чтения. Мне приходилось очень часто наблюдать неожиданный воспитательный результат чтения — совершенно не тот, на какой можно было надеяться, судя по содержанию книги. Неопытному человеку очень трудно предсказать, какое — положительное или отрицательное — влияние она произведет на молодого читателя. Вообще, надо прямо сказать: для такого заключения требуется очень тонкая педагогическая логика. И конечно, такая логика должна быть и у тех людей, которые руководят изданием детских книг, и у тех, которые пишут для детей.

Нашей целью, целью советской детской литературы, должно быть воспитание цельной коммунистической личности.

Художественная литература не должна развивать в ребенке только воображение или ставить перед собой узкопознавательные задачи.

Точно так же нельзя выделять и какую-нибудь специальную политическую цель, потому что каждая наша книга должна быть книгой политической. Но как раз в области политического воспитания у нас часто грешат «толстой» логикой, не замечая всей ее неповоротливости и вредности.

Я знаю, что в пионерских звеньях у нас иногда занимаются соревнованием в составлении альбомов, посвященных событиям в Испании. Руководители при этом уверены, что делается дело очень полезное для политического воспитания. Пионеры разыскивают во всех иллюстрированных журналах картинки, вырезают их, наклеивают в альбомы, снабжают надписями и с гордостью посматривают на своих менее удачливых соперников.

Испанская борьба, ее напряжение, ее ужасы, мужество, героизм очень близки нам, они непреложно утверждают для каждого советского гражданина единство фронта трудящихся, и именно поэтому нужно со всей серьезностью подойти к интернациональному воспитанию ребенка. Поручая составление альбомов детям, не воспитываем ли мы в них хладнокровных наблюдателей, способных с ножницами в руках «препарировать» какое угодно общественное явление.

Конечно, это вовсе не значит, что каждая книга или каждая строчка должны ставить перед собою такую грандиозную цель, как воспитание цельной личности, и достигать немедленно этой цели. Воспитательный процесс — процесс очень длительный и сложный, одна литература вообще не способна справиться с этой задачей. Но каждая книга должна видеть перед собой эту цельную советскую личность как общую нашу цель, к которой следует стремиться.

«Рассеянный с улицы Бассейной» на первый взгляд просто веселое детское стихотворение, но в нем содержится синтетический образ молодого советского читателя, который не просто зубоскалит, а смеется здоровым смехом.

Мы находимся в исключительно благоприятных условиях, потому что настоящая художественная литература всегда была литературой гуманистической, всегда отстаивала лучшие идеи человечества. Поэтому мы можем давать нашим детям и Марка Твена и Жюль Верна и других. На первый взгляд, что особенно ценного заключается в «Томе Сойере»? И взрослые плохие, и дети шалуны, а иногда даже хулиганы. Но в книге так много человечески цельного, проникнутого радостным и деятельным чувством бытия, что она принципиально созвучна с нашей эпохой.

Только книги, преследующие цель создания и воспитания цельной человеческой личности, несомненно полезны для наших детей. И не всякая книга, написанная на прекрасную тему, сама по себе прекрасна. Трудно представить себе, например, книгу о товарище Кирове, если в ней не будут ярко изображены его характер, его воля в политической борьбе.

Этому основному требованию, которое нужно предъявить к каждой детской книжке, больше всего противоречит очень распространенная у нас добродетельная манера наших авторов. Часто писатели хотят быть «лучше», чем это требуется для наших детей. Источниками этой добродетели являются не советские идеи и не идеи гуманизма, а идеи христианской морали. Это скучная, серенькая, бездеятельная, прибранная христианская добродетель, «доблесть» воздержания, «героизм» умеренности и непротивленчества. Очень живучи эти силы, они еще находят себе место и на стра-

ницах нашей книги, и в работе некоторых педагогов.

В нашей книге должно быть очень много энергии, смеха, проказливости — все это прекрасные детские черты, определяющие силу характера, его мажорность, его устойчивость и коллективизм. Наша детская книга должна быть ярко жизнерадостной.

Несколько слов о стиле нашей детской книги.

Критики любят вопить: «Детская книга должна быть высокохудожественной книгой!» Подобные заявления кажутся настолько похвальными, что никому в голову не приходит возражать.

В самом деле, как можно возражать против высокой художественности? Но что вкладывается в эти слова? Честное слово, ничего. Никакого конкретного значения такие заявления не имеют. Мы хорошо знаем, что все дети раньше или позже начинают читать Толстого и Горького¹. У одних это происходит в 15 лет, у других в 13. В известном возрасте детям становится доступной настоящая «взрослая» литература, высокохудожественная. Но до тех пор детям нужна специальная детская литература.

В чем отличие ее стиля, ее письма? Этой литературе должна быть присуща художественность в особом смысле. Простота рассказа, его строгая логическая последовательность, отсутствие каких бы то ни было словесных изощрений — это еще не все. В детской литературе должны быть особая яркость и полнокровность красок, совершенно явный реализм, точное разделение светлого и темного. Здесь неуместен никакой импрессионизм, не должно быть никаких эстетических оттенков. Та прямая борьба светлого и темного, какая есть в сказке, должна быть и в каждой детской книжке, в ней не нужны тонкая психологическая игра, слишком детальный анализ. Еще менее уместны в ней пассивно созерцательная лирика, старческие, грустные размышления над природой.

Общее различие стиля детской литературы по сравнению с литературой «взрослой», мне кажется, должно определяться некоторым, самым незначительным (повторяю, самым незначительным!), приближением ее к лубку. Такое приближение есть и у Купера, и у Жюль Верна, и у многих других. В нашей литературе наблюдалось всегда сопротивление такой тенденции, и, прямо нужно сказать, это не принесло особенной пользы. В лубке есть тоже своя необходимая эстетика, которую нельзя просто игнорировать. Такое приближение к лубку требует от авторов и таланта, и изобретательности, и, самое главное, яркости чувства.

Письмо А. Ромицыну

Ялта, 8 июня 1938 г.

Дорогой товарищ Ромицын!

К величайшему моему душевному сожалению, я должен Вас огорчить: сценарий на школьную тему, в настоящее время по крайней мере, я выслать Вам не могу, хотя совершенно честно выполнил свои обязательства и сценарий написал. Вероятно, Вы уже догадались, в чем дело: сценарий меня не удовлетворяет, и я не хочу подвергать свою работу ничьим разгромным анализам, и не хочу вообще выступать с вещью по меньшей мере посредственной. Причины те самые, которых я боялся, когда Вы предло-

жили мне договор: в школьной нашей действительности, несмотря на известное Вам утверждение украинского Наркомпроса, я не мог найти ничего интересного, а лакировка содержания не моя специальность¹. Поэтому в моем сценарии получилось так: есть наводнение, есть дети, есть семья, но школа надумана и без своего лица — работа в общем чрезвычайно средняя.

В этой «честной» неудаче едва ли можно найти основания для угрызений совести, и ничего у меня не угрызается, хотя положение и печальное. Жаль не только Вас, жаль и своего потраченного напрасно времени. Можно было бы прямо говорить о возвращении аванса, но я предлагаю Вам иной выход.

По моему новому роману «Флаги на башнях», который сейчас печатается в журнале «Красная Новь», московским режиссером и сценаристом М. А. Барской, с моей помощью, конечно, сделан сценарий, по моему мнению очень хороший. Это настоящая советская идиллия на юношеском материале, поданная на темах борьбы за человека, борьбы с врагом, на теме мобилизации готовности всего нашего общества. Сценарий уже готов и находится в стадии последней правки текста. По своей теме эта работа гораздо ближе стоит к темам сегодняшнего дня, а по качеству и свежести красок она гораздо лучше сделана, чем моя работа о школе.

Теперь о «но» ... «Но» заключается в том, что я не представляю себе, чтобы «Флаги на башнях» [могли] быть поставлены не т. Барской, а другим режиссером. Здесь вопрос не только в авторском праве т. Барской, но и в моем непреклонном желании работать вместе с нею — больше всего я боюсь «развесистой клюквы», а у т. Барской я нашел удивительное понимание материала.

Вот теперь и решайте. Насколько мне известно, т. Барская еще не прикреплена ГУКом к определенной студии. Сама она, кажется, предпочитает Ленинград. Во всяком случае мое желание, чтобы фильм делать в Одессе, может иметь решающее значение и для т. Барской.

Прошу Вас сообщить Ваши соображения по всем этим вопросам.

В случае Вашего согласия и реальных согласований вопроса о постановщике сценарий я Вам вышлю. В противном случае придется возвратить аванс и договор ликвидировать.

Привет. А. Макаренко

Отвечайте в Москву:
Лаврушинский 17/19, кв. 14

Против шаблона

Статья т. О. Войтинской «Стандарт и жизнь» (Литературная газета, 1938, № 34) поднимает вопрос чрезвычайно важный, гораздо более важный, чем может показаться с первого взгляда. Давление стандарта на часть нашей литературы — одно из самых печальных явлений нашего «литературного» сегодня.

Однако т. О. Войтинская очень ошибается, если думает, что стандарт художественного образа вытекает из прямой воли писателя или из его

творческой никчемности. Поговорите с любым писателем, и вы увидите, что сложная, напряженная, многообразная жизнь советского общества, ее многокрасочность, здоровье, оптимизм, богатство и новизна перспектив всем видимы, все живут в этой жизни, она просится на полотно и требует изображения. И каждый писатель (разумеется, мы говорим о настоящем писателе, обладающем талантом и синтетическим умом) хорошо знает, что показать нашу жизнь в богатом блеске, пожалуй, даже легче, чем выводить добродетельные и скучные типы.

Но писателям известно и другое. Попробуйте написать картину настоящих живых движений наших людей, попробуйте выйти из стандарта. На вас со всех сторон набросятся по какому-то недоразумению существующие в нашей жизни мертвые души, окололитературные мелкие жители, присвоившие себе право судить о литературе. Ваши живые краски невыносимы для них, губительны для их существования, принципиально, а еще более практически неприемлемы. Чтобы разобраться в живых красках, нужно знать и любить нашу жизнь, нужно уметь в ее сложных и тонких проявлениях находить общие законы и животворные идеи советской эпохи. Для того чтобы все это увидеть, узнать и определить, нужно иметь аналитический талант, богатый художественный вкус и положительное отношение к новому. А если ничего этого нет?

Наша жизнь сплошь новая. Все в этой жизни: единство, строительство, борьба, победы — все по-новому богато, по-новому радостно и по-новому трудно. Каждый день приносит нам самые новые и самые неожиданные открытия в самой природе человека, в его красоте, в его радости, любви и даже в его слабости, страдании, ошибке.

Художественная литература теряет смысл, если писатель не будет открывать это новое, если он не способен показать наше общество в движении, если он не способен предчувствовать завтрашний день. Для этого требуется не только острый глаз и выразительное слово. Для этого требуется и смелость, и умение с товарищеской прямоотой сказать новое слово.

И необходимо сказать правду: наша критика давно уже отбила у писателей охоту к смелости и к активному проникновению в жизнь. Я не хочу обвинять всю нашу критику в целом. У нас появляются иногда живые и искренние критические статьи. Но гораздо чаще «в обычном порядке» в роли критиков у нас выступают люди, ничем не вооруженные, кроме шаблонов, и шаблонов этих у них немного. На глазах у всех, при явном попустительстве редакций, эти критики открыто предаются своему ужасному делу. С безмятежной хладнокровностью они расправляются с любым художественным произведением, расправляются коротко и безапелляционно. Бывает, авторские образы не лезут ни в какие шаблоны, и критик насильно впихивает их, в его руках все обращается в сплошной перекося, но критик не замечает этого. Он работает с завидной добросовестностью: выбирает словечки и цитаты, передергивает, подшабривает и то, что противоречит шаблону, пропускает и отбрасывает. Эта своеобразная композиционная работа с внешней стороны чем-то напоминает критический анализ, а такого отдаленного сходства достаточно, чтобы статья печаталась и вызывала подражание и зависть других таких же владельцев двух-трех шаблонов.

Я сам недавно подвергся такой «критической» операции. В «Литера-

турном критике» т. Малахов поработал над моим романом «Честь»¹. Критик с таким увлечением набросился на меня, что даже не заметил, что напечатана только первая половина романа, — все равно! В его руках имеется два шаблона для провинциального рабочего эпохи 1914 года: «рабочий пораженец», «рабочий шовинист». Критик вертел, вертел моих героев, тискал их в свои шаблоны, и сначала ему даже показалось, что они ни в какой шаблон не лезут. Потом-таки втиснул и объявил, что они шовинисты. Все это сделано с самым невинным выражением лица и даже сопровождено подходящими поучениями.

Я не хочу защищать свой роман. Я допускаю, что «Честь» — слабая вещь. Я готов принять с самой искренней покорностью от читателя и критика отрицательный отзыв, даже без доказательств, в самой простой форме: «Не нравится». Если одному не нравится, другому не нравится, третьему, — что же, значит, роман плохой и нужно с этим считаться. Но если критик пускается в доказательства, то это уже касается не одного меня, а является установкой для всей литературы. В таком случае я хочу уважать своего критика, я не люблю, когда он меня смешит, мне тяжело, когда он размахивает перед моими глазами своими двумя шаблонами. Я замечаю, как во мне зарождаются отвратительные наклонности: невольно в своей работе я начинаю примериваться к тем двум шаблонам, которые мне предъявлены, я начинаю работать на критика. В моем романе сказано, что женщины, провожая мужей на немецкий фронт, «не кричали, а тихонько плакали». Критик совершенно серьезно вывел отсюда заключение, что женщин этих нужно причислить к шовинистам.

Т. О. Войтинская протестует против стандарта. И я протестую. Протестует и читатель. Но, дорогие товарищи, почему же в таком случае свободно пишут и свободно печатаются владельцы немногочисленных стандартов, которые среди бела дня открыто требуют от меня именно шаблона, которые делают погоду в литературе, которых я должен бояться и, признаюсь... уже боюсь?

Надо иметь большое мужество, чтобы игнорировать подобные явления. Но если даже у писателя найдется это мужество, то оно не всегда найдется у редактора или издателя. Я еще готов, например, отстаивать «тихо плакали», но редактор всегда может сказать на это:

— Стоит ли из-за такого пустяка переживать? Давайте зачеркнем «тихо» и напишем «громко». Все-таки спокойнее!

И вот я уже сдался, я начинаю изучать шаблоны, часто даже бессознательно. Я делаю преступление, и вместе со мной делают преступление многие мои коллеги. И я вижу, как замолкают порой талантливые критики, как они уступают дорогу мелким налетам схематиков, у которых так мало вкуса и ума, но зато так много развязности, самоуверенности и странной, ничем не объяснимой безответственности.

Т. О. Войтинская подняла важный вопрос, но он не может быть разрешен без ревизии той системы измерителей, которая зачастую у нас практикуется. На любом правильно организованном советском заводе решающую роль играют отделы контроля. Контрольное хозяйство заводов — это богатейшее и сложнейшее дело. Это научно организованная система точности, это не только шаблоны — это микрометры, допуски, знание материала, инструментов, приспособлений.

Жизнь советского общества неизмеримо более сложна, чем работа самого прекрасного завода. В нашем Союзе более 170 млн. индивидуальностей, совершенно отличных, неповторимых, каждая в своей мере исключительная. Эта сложнейшая картина усложнена тем важнейшим обстоятельством, что все эти индивидуальности живут на свободе, что для них открыты широкие дороги, что они не задавлены эксплуатацией и нищетой.

Мы, писатели, обязаны показать эту богатую многокрасочность нашей жизни. И мы хотим показать ее, но мы требуем, чтобы наша работа измерялась и оценивалась с таким же уважением к советскому миру, какое требуется и от нас, писателей. И нас и нашу жизнь оскорбляет применение кустарных критических шаблонов.

Идеологическим источником стандартизации наших литературных героев является упрощенное представление о нашем советском человеке и вообще о нашем трудящемся. Между нами говоря, критики его упростили до последней степени, его раздели донага, его снабдили стандартными добродетелями, от которых за сто километров несет христианством. Его научили кротко умирать от чахотки, его научили произносить непогрешимо-прописные речи, в которых, конечно, не бывает ни одного грамма риска. Этого самого нашего героя освободили от всех конфликтов и радуются: какое счастливое бесконфликтное существо! Наш герой давно отвык раздумывать, мучительно решать, страдать от неудобства. У нашего героя нет лирики, юмора, сарказма. Это какое-то облегченное существо, у которого все решено, все известно и которому неизвестен только грех.

Разве наши люди таковы, разве так скучна и однообразна их жизнь?

И счастье нашего человека вовсе не заключается в свободном и безоблачном существовании, наше счастье ни в какой мере не напоминает райского житья, полного святости и бездеятельности.

И прежде всего, наш, советский человек вовсе не бесконфликтен. Напротив, характерной особенностью нашей жизни является ее конфликтный характер. Как раз свобода нашей жизни прежде всего приводит к обнажению конфликта, к возможности атаки на конфликт. Наша жизнь именно потому прекрасна, что мы способны бороться, т. е. разрешать конфликты, смело идти им навстречу, смело и терпеливо переживать страдания и недостатки, бороться за улучшение жизни, за совершенствование человека. Только человечество, задавленное эксплуатацией, способно прийти к бесконфликтному прозябанию, к покорности судьбе и фатуму, к затушевыванию противоречий жизни, к остановке.

Жизнь в Советской стране строится по диалектическому принципу движения и совершенствования. Мы избавлены от проклятия безвыходных социальных конфликтов, но как раз именно поэтому сделалась более выразительной наша борьба с природой. Разве полет Громова и Чкалова, разве подвиг папанинцев не представляют собой преодоление конфликтов? Разве так проста и примитивна проблема советского героизма? Разве это такое легкое и логически прямое действие? Советская отвага, советская смелость — это вовсе не бесшабашное, бездумное, самовлюбленное действие. Это всегда служба советскому обществу, нашему революционному делу, нашему интернациональному имени. И поэтому всегда у нас рядом со смелостью стоит осторожность, осмотрительность, не простое, а страшно сложное, напряженное решение, волевое действие не безоблач-

ного, а конфликтного типа. Характер нашего героя отнюдь не бесконфликтностью должен отличаться, а готовностью к конфликту, способностью идти ему навстречу. Эта готовность проистекает из идеологической вооруженности, из мужественной ориентировки, из общих эмоциональных и интеллектуальных установок, но вовсе не проистекает из бытовой упрощенности или бесчувственности нашего человека.

И поэтому наша литература должна быть литературой конфликта и его разрешения. Мы, писатели, должны искать цельность наших характеров не в натуре, данной от бога, как это, допустим, делает Джек Лондон, а в социальном самочувствии гражданина СССР, большевика, участника великой нашей борьбы. И поэтому наша литература не должна бояться конфликтных положений. Секрет и прелесть нашей жизни не в отсутствии конфликта, а в нашей готовности и в умении его разрешать².

Письмо А. Ромицыну

Москва, 1 июля 1938 г.

Уважаемый товарищ Ромицын!

Сценарий «Флаги на башнях» я Вам выслал, о чем и сообщил телеграммой. А что к нему прибавить? Я не вполне понимаю, что происходит у Вас в кинематографии, не понимаю, почему ограничены темы, почему так узко разумеется содержание интересов нашего общества. Если рассмотреть темы с точки зрения интересов обороны, что вполне правильно, то при помощи какой логики можно исключить темы о воспитании? Неужели воспитание нашей молодежи не имеет никакого отношения к обороне? Как видите, я многого не понимаю.

Сценарий, который я Вам послал, все-таки ближе стоит к современной теме, чем тот «школьный», который мы намечали по договору. В самом сценарии возможны какие угодно поправки и переделки, роман для этого дает большой простор.

Что касается вопросов о режиссере, то спорить, очевидно, не приходится. У т. Барской я нашел понимание темы и чувство той воспитательной концепции, которая представлена в сценарии. Мне казалось, что это может обеспечить успех работе. Какие-то обстоятельства, находящиеся также в сферах выше моего понимания, не позволяют вместе сделать работу. Ничего не поделаешь, возможно, что у Вас есть более подходящий режиссер.

Во всяком случае, если «Флаги на башнях» будете снимать, мне придется принять более близкое участие, чем это обыкновенно принято, так как вся композиция деталей в сценарии не выдумана, а взята из жизни.

Очень прошу Вас сообщить, как пойдут дальше дела.

Привет. А. Макаренко

О подписке на заем

Я с горячим одобрением встречаю Государственный заем третьей пятилетки. Я ощущаю в нем новые победы социалистического строительства и новый подъем военной мощи моей Родины. Приветствую этот заем и как увеличение моего личного участия в великом нашем деле. Уверен, что подписка на заем будет проведена с таким же общественным единодушием, с каким мы только что провели выборы в Верховные Советы союзных и автономных республик.

Подписываюсь на заем в сумме 3000 рублей.

А. Макаренко

О книге «Честь»

30 июня в «Литературной газете» в статье «Против шаблона» я мимоходом коснулся выступления критика т. Малахова в журнале «Литературный критик» с разбором первой книги моего романа «Честь». Я обвинил критика в том, что он требует от меня шаблона, побуждает к стандартному изображению жизни.

Критик ответил очень оригинально: он заявил, что мое обвинение — неправда, и в доказательство ...перепечатал свою статью почти полностью в «Литературной газете»¹.

Можно еще несколько раз перепечатать статью, и все же она останется прежней статьей. Может быть, повторение одних и тех же текстов произведет на читателя гипнотическое действие: критик настолько уверен в своей правоте, что и спорить не хочет, а повторяет все одно и то же. Читатель в таком случае возьмет и подумает:

— Наверное, правильно пишет: и в журнале, и в газете одно и то же напечатано.

К сожалению, я не имею возможности перепечатать свой роман в «Литературной газете», чтобы использовать метод внушения, и тем не менее я продолжаю обвинять критика в том, что он требует от меня и, разумеется, от других писателей следования шаблонам.

Описанное происшествие совершенно выбило из моей души последние остатки авторского самомнения. Сейчас у меня такое настроение, которое обычно характеризуется формулой «Быть бы живу». Я не мечтаю ни о каких похвалах моему роману, не вспоминаю никаких его достоинств. Для простоты я готов признать, что «Честь» — плохой роман, неудачный.

Меня интересует уже не роман и его качества. Меня страшно заинтересовали критические методы критика, его публицистические высказывания и тот самый шаблон, из-за которого он на меня напал. О романе можно и забыть, а высказывания критика есть в некотором роде поучение, директива, педагогика — о них забыть нельзя. Кроме того, критическая статья есть еще и литературный быт, отражение литературных нравов.

В чем заключаются главные удары критика? Он обвиняет меня в том, что я неправильно, неправдиво изобразил рабочее общество в уездном городе в начале империалистической войны. Он утверждает, что в моем изображении рабочие вышли шовинистами. Он старается доказать это цита-

тами из моего романа и такими невинно вопрошающими абзацами:

«Но действительно ли требовала рабочая честь и войны до победы, и поддержки царя? Может быть, семья Тепловых так восторженно исповедует такой исступленный шовинизм потому, что это редкостно отсталая и темная семья? Может быть, только поэтому старик Теплов говорит такие вещи, до которых редко в то время договаривались даже самые откровенные ренегаты и социал-шовинисты».

Могу одно сказать: повезло моему герою, старому Теплову! Он восторженно исповедует исступленный шовинизм! Не какой-нибудь просто шовинизм, а «исступленный», и не как-нибудь, а восторженно. Если мне удастся показать, что старый рабочий Теплов есть самый обыкновенный, так сказать, скромный шовинист, то и в таком случае я могу обвинить критика в совершенно необъяснимом пристрастии, в нарочитом искажении моего романа. Я не сомневаюсь в том, что каждый сколько-нибудь вдумчивый читатель не увидит в Теплове никакого шовинизма. Спрашивается в таком случае: при помощи каких приемов критик обратил старого Теплова в шовиниста? И потом еще спрашивается: для чего он это сделал?

Что такое шовинизм? Во всяком случае это совершенно определенное, активное национальное самомнение, это неприязнь к другим народам, это стремление к порабощению других народов или, по крайней мере к победе над ними.

В моем романе нет ни одного слова, в котором бы старый Теплов или другой какой-нибудь рабочий выражал свое пренебрежение к другим нациям. Ни в одном слове он не высказывает стремления к победе, ни в чем не проявляется его оправдание империалистической войны. Критик не нашел такого слова, и все-таки он доказывает, что Теплов — шовинист. Интересно, как это он делает?

Получается это следующим образом. Критик выписывает такой текст:

«А когда уезжал Алексей на фронт, отец вышел на двор, холодно миновал взглядом неудержимые, хоть и тихие слезы жены, позволил Алексею поцеловать себя и только в этот момент улы б н у л с я н е о б ы к н о в е н н о й и п р е к р а с н о й у л ы б к о й, которую сын видел первый раз в жизни.

— Ну, поезжай, — сказал Семен Максимович радостно, — когда приедешь?

Алексей ответил весело, с такой же искренней, простой и благородной улыбкой:

— Не знаю, отец, может быть, через полгода.

— Ну, хорошо, приезжай через полгода. Только обязательно с «Г е о р г и е м».

Я сейчас подчеркнул те слова, которые подчеркнул критик. Только одно слово я подчеркнул по собственной инициативе, ибо оно действительно пахнет шовинизмом: «б л а г о р о д н о й» (улыбкой). Только это слово не мое, а критика. У меня написано «благодарной улыбкой». Я не обвиняю в сознательной замене одного слова другим. Это сделано нечаянно, только потому, что критику страшно хочется так читать. Получается действительно букет: сын шовиниста отправляется на фронт и благородно улыбается!

Поддача этого отрывка, даже после произведенных над ним манипу-

ляций и подчеркиваний, может быть, не достигнет цели. Читатель может подумать, что же тут особенного, старик ни слова не сказал о победе над немцами, ничем не выразил своего квасного патриотизма, может быть, это и не шовинизм? Может быть, это что-нибудь другое?

Критик не даст читателю опомниться. Перед тем как процитировать отрывок, он напишет:

«Ликование достигает своего наивысшего предела, когда старик Теплов провожает на фронт сына».

Раньше чем познакомиться с отрывком, читатель уже знает, что в нем изображается л и к о в а н и е (никак не меньше!). Читатель уже ошеломлен. Критик не оставит его в покое. После цитаты он пускается в такие «критические» восторги:

«Что их так обрадовало? Ведь не «Георгий» же, которого требует отец от сына. И неужели можно найти хотя бы одну рабочую семью, в которой проводы единственного сына на империалистическую войну воспринимались как радостное событие. Едва ли пресловутый герой... Козьма Крючков столь бодро вел себя, отправляясь на фронт».

После такого напутствия любой отрывок может показаться сомнительным. Критик имеет право надеяться, что цель достигнута и можно подавать на стол второй отрывок, с таким же усилием препарированный. Все делается очень просто, уединенная цитата, без указания на места предыдущие и последующие, оглушительный подбор «критических» словечек: «ликование», «обрадовало», «радостное событие», «всплакнувшая мать Алеши тоже поддается общей радости».

Мне хочется объяснить поведение критика. И как бы я ни хотел быть к нему снисходительным, объяснения напрашиваются самые печальные: или критик не способен, элементарно не способен разобраться в художественном произведении, или он сознательно, нарочито искажает мою работу. Какая из этих двух возможных причин заставила, например, скрыть от читателя страницу, предшествующую сцене прощанья. На этой странице совершенно ясно объясняется отношение старика Теплова к войне.

«— Поехали воевать, значит?.. Напрасно на немцев поехали. Надо было на турок.

— А что нам турки сделали?

Семен Максимович редко улыбался, но сейчас провел рукой по усам, чтобы скрыть улыбку.

— На турок надо было. Война с турками легче. Смотришь, и победили бы.

— И немцев победят.

— На немцев и кишка тонка, и царь плохой. С таким царем нельзя на немцев. У них царь с какими усами, а наш на маляра Кустикова похож. Сидел бы уж тихо...»

Я отдаю себе отчет в том, что такое высказывание старого рабочего удовлетворить критика не может. Он, конечно, потребует, чтобы в словах рабочего были на местах все формулы политического определения империалистической войны, чтобы старик в 14-м году высказывался в тех самых словах, в которых мог высказываться только Ленин. Но все-таки... хотя бы миниатюрное внимание на это место критик обратить должен. Разве

в этих словах выражается шовинизм? Разве здесь не высказано глубокое презрение к царю, к войне, к дипломатии?

Критик не хочет замечать и других мест, расположенных буквально по соседству со сценой прощанья. Я принужден привести из этих абзацев несколько отрывков. Они расположены на левом столбце страницы, а сцена прощанья на правом:

«Война тяжелой, неотвязной былью легла на дни и ночи людей, былью привычной, одинаковой вчера, сегодня и завтра. Дни проходили без страсти, и люди умирали без подвига...

Тихо плакали на Костроме матери в своих уединенных уголках, ожидая прихода самого радостного и самого ужасного гостя того времени, — почтальона, ожидали, не зная, что он принесет, письмо от сына или письмо от ротного командира. Иногда переживания матерей становились определеннее, это тогда, когда приезжал сын, искалеченный или израненный, но живой, и матери не знали, радоваться ли тому, что хоть немного осталось от сына, или плакать при виде того, как мало осталось».

Пропускает критик и изображение сурового горя отца перед отъездом сына, и даже в приведенном отрывке не видит, не читает и не понимает простых и ясных слов:

«...Отец вышел на двор, холодно миновал взглядом неудержимые, хоть и тихие слезы жены, позволил Алеше поцеловать себя и только в этот момент улыбнулся необыкновенной и прекрасной улыбкой, которую сын видел первый раз в жизни».

Трудно представить себе читателя, который не понял бы, что в своей улыбке, в своем поведении отец преследовал только одну цель: поддержать мужество сына, не смущать его выражением горя, не унижить и свое человеческое достоинство. Читатель тем более должен это понять, что он уже знаком с гордой и независимой натурой Теплова. Как может критик не разобраться в самом характере диалога, в котором нет ни одного слова прямого:

«— Поезжай! Когда приедешь?

— Не знаю точно, отец. Может быть, через полгода.

— Ну, хорошо, приезжай через полгода».

Отец говорит не о войне, а о возвращении сына. Неужели критик так-таки и не замечает в этом диалоге мужественной, суровой, ободряющей шутки. Неужели критик не понимает, что так именно должны были или могли разговаривать уважающие себя люди в минуты тяжелого, но неотвратимого горя. И неужели ничего не открывают критику последние слова отца:

«Хорошего сына вырастили мы с тобой, мать. Умеет ответить как следует».

Отец требует от сына мужества, совершенно необходимого в те времена, и сын это мужество обнаруживает. И если бы критик слово «благодарный» не переделал на слово «благодарный», даже из его статьи читателю было бы ясно, за что сын благодарит отца.

Что я могу поделать? Я могу изображать жизнь такой, какой вижу ее. Я не выдумал своих героев. В нашем рабочем классе, в русском народе я видел и всегда вижу богатые силы, сложные личности, тонкие движения ума и сердца. Я знаю свой народ прекрасным, сильным, способным на подвиг и мужество. И таким я изобразил старого Теплова. Он суровый, гордый,

умный человек. Он, правда, не знает того, что знает критик в 1938 г., но он умеет проводить своего сына на войну, в которую сам не верит, но которую принужден признать как явление неизбежное. Критик нечаянно или нарочно объявляет старого рабочего «исступленным шовинистом», а проводы сына — «ликованием и радостным событием». Что я могу поделать?

Так же удачно и так же основательно критик находит шовинизм и в других случаях. Он, например, выписывает и, конечно, подчеркивает:

«Прянский полк развертывался в два полка военного времени. Рядом с безусыми кадровиками выстраивались люди постарше, усатые и бородатые, с лицами и шеями, обожженными на жатве, с волосами, выгоревшими на солнце. Они с испуганным вниманием выслушивали командные слова. Распорядительные, пружинные, упоенные властью унтера покрикивали на них без злобы, больше радуясь и кокетничая, чем беспокоясь. Прапорщики запаса в новеньких погонах, в свежих ремнях и «шарфах» гуляли по тротуарам, женские и мальчишеские взгляды со всех сторон провожали их, и им не хотелось думать о будущих боях, которых, может быть, и не будет».

«Теперь уже офицеры шли по тротуарам, окруженные грустными женщинами, улыбались и шутили. Когда солдаты допели до рискованного места, капитан крикнул высоким радостным тенором:

— Отставить!

Солдаты поправили винтовки на плечах и ухмыльнулись на веселого капитана».

В этой сцене критик тоже нашел шовинизм. Критик готов утверждать, что дело происходило не так. А как? Солдаты не могли ухмыльнуться, капитан не мог командовать радостным тенором, унтера не могли кокетничать? А как же было?

Что я могу поделать? Я попытался нарисовать картину первых дней войны, дней мобилизации. В эти дни можно было увидеть самую сложную смесь из остатков патриотизма, ошеломленности, мужества, страха, бездумья, покорности, игры... Как умею, я нахожу краски для этой сложной картины. Красная Армия не пойдет на войну с похабной песней, а царская армия могла их петь. Красные командиры, отправляясь на войну, будут думать о предстоящих боях, о победе, стремиться к победе, царские прапорщики старались не думать о боях, которых, может быть, и не будет. Но и тогда и солдаты и офицеры все же оставались мужчинами, они могли улыбаться и шутить, они могли прятать страх. Откуда у критика взялось такое пренебрежительное мнение о нашем народе: «Едва ли даже пресловутый «герой»... столь бодро вел себя, отправляясь на фронт!» В этой фразе высываются весьма сомнительные рожки настоящего презрения к народу, которому критик отказывает даже в бодрости.

Но, как бы я ни изобразил дни мобилизации, все же в моем изображении нет ни одной черточки шовинизма. Наоборот, есть строчка, утверждающая нечто противоположное.

«А потом солдаты запели песню горластую и вовсе не воинственную».

Эту строчку критик предусмотрительно выбросил из цитаты. Он вообще чрезвычайно вольно обращается с моим романом: подбирает слова «радостный», «весело», «ухмыльнулись», не замечает слов противоположного оттенка — «испуганно», «грустные», пропускает строчки, которые про-

тиворечат его утверждениям, не читает текстов соседних, не замечает общего тона рассказа. В моем романе проводы полков заканчиваются такими словами:

«А потом полки запаковали в вагоны, сделали это аккуратно, по-хозяйски, так же аккуратно проиграли марш, свистнули, и вот уже на станции нет ничего особенного, стоят пустые составы, ползют старые маневровые паровозы, из окна аппаратной выглядывает усатый дежурный и приглядывается к проходящим девицам... По кирпичным тротуарам потекли домой говорливые потоки людей, среди них потерялись покрасневшие глаза жен и сестер и склоненные головы матерей. Матери спешили домой, спешили мелкими шажками слабых ног и смотрели на щербины и ямки тротуаров, чтобы не упасть».

Дорогие читатели, критики, люди понимающие! Скажите, разве в этих словах не снимается улыбка мужчин, разве теперь не видно, что прикрывала эта улыбка, разве не понятно, что все это событие было не шовинизмом, а горем.

В художественном произведении я имею право на определенный прием, сообщающий моим глазам те или другие тоны и окраски. И конечно, я беззащитный стою перед самоуправством критика, который игнорирует прием, разрушает его, выхватывает отдельные его элементы и размахивает ими перед глазами читателя, а другие элементы прячет в тайной надежде, что никто этого не заметит. По отношению к только что приведенному отрывку это сделано особенно грубо — бесцеремонно грубо. Начало и конец цитаты сведены критиком в один отрывок. В романе между началом и концом цитаты помещается небольшая сценка, в которой изображается беседа молодежи о переходе войны (империалистической) в войну гражданскую. Именно эту беседу критик игнорирует. Почему? Все-таки интересно: почему?

Еще оригинальнее такой... анализ, что ли: в романе есть две строчки, буквально две:

«— Здорово бабы кричали?

— Нет, тихонько...

— Поехали воевать, значит...»

А посмотрите, какой отклик критика:

«Даже матери и жены, провожавшие своих сыновей и мужей, понимали, насколько неудобно им нарушать общее веселье, и старались плакать тихонько. Об этом рассказывает отцу Алеша, а он врать не будет, он юноша честный, такая у него в повести должность».

Не правда ли, сколько в этих словах остроумия, милой развязности и еще чего-то... похожего на вульгарность! В романе есть много мест, посвященных матерям и их слезам, критик десятой дорогой обходит эти места, но зато с какой экспрессией и с какой, можно сказать, критической квалификацией набрасывается на этот тихий плач. А почему? Потому, что по шаблону, принятому в некоторых литературных канонах, полагается матерям плакать громко. Что я могу поделать? Собственно говоря, вопрос стоит о культуре критики.

Я остановился на некоторых местах статьи, чтобы выяснить сущность критического приема. Я не буду говорить о всех остальных высказываниях: прием везде одинаков.

Меня все же интересует не технология «критики», а другое. Чего хочет

от меня критик, как он сам представляет себе рабочих людей в уездном городе в начале империалистической войны?

Ответ ясен. Критик никак и ничего не представляет, всякие там люди, в том числе и рабочие, для него просто безразличны. Вместо людей у критика есть шаблон. Ничуть не стесняясь, он открыто предъявляет мне этот шаблон, он настойчиво требует, чтобы я за ним следовал. Он решительно отказывается предоставить мне некоторое право... нет, не право на изображение живых людей, а хотя бы право на шаблон № 2. Что? Уездный город? Реальное училище есть? Женская гимназия тоже есть? Даже река имеется? Несколько заводов? Никаких разговоров — требуется шаблон номер один: обыкновенный сознательный рабочий!

Раз определен номер шаблона, критик действует уверенно, как по справочнику: по шаблону № 1 полагается:

- а) все рабочие с первого дня войны были пораженцами,
- б) все рабочие читали легальные и нелегальные издания большевиков,
- в) всякие там понятия о чести — это понятия офицерски-шляхетные,
- г) никакой бодрости, никакого мужества людям не полагается,
- д) женщины должны плакать громко.

Для критика все просто, ясно, определено. В своей статье он несколько раз требует от меня «типичного» поведения героев, а у него типичный значит — удовлетворяющий шаблону № 1.

В доказательство своей правоты критик приводит цитату из Ленина:

«Единственным классом в России, которому не удалось привить заразы шовинизма, является пролетариат. Отдельные эксцессы в начале войны коснулись лишь самых темных слоев рабочих... В общем и целом рабочий класс России оказался иммунизированным в отношении шовинизма» (Соч., 5-е изд., т. 26, с. 331).

Интересно, что и по отношению к Ленину критик также применяет свой любимый прием выбрасывания отдельных предложений. Пропущено: «Участие рабочих в московских безобразиях против немцев сильно преувеличено». Пропущено нарочно, чтобы исказить действительное мнение Ленина. Для чего это нужно критику? Для того чтобы на свободе могла существовать его собственная концепция, ничего общего с ленинской не имеющая.

По т. Малахову, в России с шовинизмом было замечательно благополучно. Никакого шовинизма просто не было, не с чем было бороться, уже в 14-м году все было готово, все сделано; для товарища Ленина, для большевиков оставалось прийти на готовое и сделать Октябрьскую революцию. Вот некоторые высказывания критика:

«В ряде городов (в первые дни войны. — А. М.) происходили стачки протеста. В самый канун войны в Петербурге и в других городах, как известно, дело доходило до баррикадных боев. В повести нет намека на такое отношение к войне».

«Неправильно было также представлять себе, что начало войны, разгром, который учинило царское правительство большевистским организациям, закрыв «Правду», сослав депутатов, что все эти репрессии вырвали рабочий класс из-под влияния партии».

«Суд над депутатами-большевиками показал, что депутаты... после начала войны до своего ареста успели объехать в целях пропаганды почти всю Россию...»

«Ничего этого не существует для героев повести».

«Совершенно неправдоподобно, чтобы почти до февраля 1917 г. старый рабочий ни от кого не слышал большевистского определения войны как войны империалистической».

Вот как, по т. Малахову, все у нас было прекрасно, вот как замечательно был воспитан рабочий класс в самом начале войны, как все было подготовлено, все определено, все настроено пораженчески. Интересно в таком случае, как себе представляет критик гениально-напряженную работу Ленина и большевиков с начала войны и в особенности после Февральской революции? Даже рабочему в уездном городе, в котором кое-как прозябают 2—3 кустарных заводика, критик предлагает иметь то самое широко политическое и глубоко точное отношение к событиям, которое имеется у него через 20 лет после Октября.

Так ли было на самом деле?

Всем хорошо известно, что Ленин с первых дней войны главное внимание уделил борьбе с социал-шовинистами. Он именно потому придавал этой борьбе такое большое значение, что знал цену спекуляции на худших и, вместе с тем, самых прочных предрассудках (Соч., т. 26, с. 25). Всем хорошо известно, что до самой Октябрьской революции Ленин требовал неустанной работы в этом направлении. Именно поэтому он придает такое большое значение суду над депутатами-большевиками:

«В-третьих, — и это самое главное, суд над РСДРП. Фракцией впервые дан открытый, в миллионном числе экземпляров распространенный по России, объективный материал по важнейшему, основному, существеннейшему вопросу об отношении к войне...» (т. 26, с. 174).

Признавая большие успехи большевистской пропаганды и точно указывая, что подавляющее большинство сознательных рабочих России стоит в русле большевистской партии, Ленин никогда не успокаивался и всегда трезво указывал на необходимость дальнейшей работы. Уже в сентябре 1916 г., отвечая Мартову, Ленин пишет:

«В России организованная кампания борьбы против войны до сих пор не начата»... Во-первых, это неправда. Она начата хотя бы в Питере прокламациями, митингами, стачками, демонстрациями. Во-вторых, *если* она где-либо в провинции не начата, *ее надо начинать...*» (т. 30, с. 233).

Не было никакого успокоения в этом вопросе, так как на глазах у Ленина протекал сложный общественный процесс. То, что видел Ленин с высоты своего гения, с высоты марксистских диалектических вершин, то в самой толще народа могло принимать самые разнообразные формы, самые тонкие извилины. Внешний вид этих форм очень часто мог слабо напоминать строгое содержание ленинских формулировок. Рабочий Теплов мог ненавидеть царизм, презирать войну и в то же время мог уважать георгиевский крест как доказательство силы и мужества — качеств, далеко не безразличных и в рабочем классе. Важно, конечно, было не строгое поведение рабочего по букве широкой политической формулы, а те тенденции, стремления, чувства, которые все время вели рабочего вперед, все время открывали перед ним новые возможности и новые перспективы жизни. Начальная стадия этого диалектического процесса условно может быть обозначена любой хронологической датой. Во всяком случае это время, близкое к началу войны. С замечательной точностью Ленин определяет эту стадию не словом «по-

раженчество», а словами «иммунизированы в отношении шовинизма». В то же время Ленин видел и возможность самых разнообразных форм этого иммунитета, видел, куда он направляется, и поэтому требовал от большевиков постоянной работы, постоянного направляющего влияния. Ни в какой мере критик не понимает этой диалектики Ленина, Допуская в среде рабочих даже остатки шовинизма, Ленин никогда не смешивал рабочих в одну кучу с социал-шовинистами, никогда не презирал их и всегда видел те причины, которые задерживали или искривляли развитие правильного отношения к войне. Уже после Февральской революции мы слышим из уст Ленина такие слова:

«В виду несомненного наличия оборонческого настроения в широких массах, признающих войну *только по необходимости*, а не ради завоеваний, надо особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять им, что кончить войну не насильническим миром нельзя без свержения капитала. Эту мысль необходимо развивать широко, в самых широких размерах» (Соч., т. 31, с. 105).

И тогда же Ленин сказал:

«Когда рабочий говорит, что хочет обороны страны, — в нем говорит инстинкт угнетенного человека» (там же).

Можно привести очень много примеров такого тонкого, такого точного, такого динамического отношения Ленина к данному вопросу.

Пристраиваясь к цитатам из Ленина, мой критик не понимает ни этих цитат, ни их диалектического движения. У критика ярко выраженный цитатный идеализм: рабочие должны быть пораженцами потому, что на такой-то и на такой-то странице сказано о пораженчестве. Рабочие должны страдать, стенать, стонать, плакать, в этом критик и видит признаки типического поведения. Уезжая на войну, они должны разрываться от горя, должны... трудно даже сказать, сколько уже раз на этом «должны» срывалась наша художественная литература. Разве не надоел всем такой штамп: солдаты уезжают на фронт, жены кричат, поп говорит паскудно-елейные речи, офицеры кроют матом и вообще угнетают, а большевики под шумок говорят речи, составленные тоже из цитат. При этом все глубоко понимают, в чем дело, все отрицают войну, все преисполнены не только революционного настроения, но и революционного понимания, и только одного нет у этих людей: жизни, ощущения своей личности, бодрости, мужества, силы. Стоит ли повторять такой штамп, стоит ли критику так горячо беспокоиться о его сохранении? Мой рабочий Теплов говорит: «Жизнь всегда хороша, плохая жизнь у вора и у нищего». Критик пришел в негодование: как смеет рабочий так говорить, как он смеет любить жизнь, как он смеет прекратить стон, если стон полагается по шаблону! В том, что рабочий любил жизнь, ценил ее, в том, что он презирал попрошайничество, — во всем этом заключались действительные силы жизни и культуры, те самые силы, которые только и могли привести рабочий класс России к победе. Разве не это принципиальное признание жизни имеет в виду Ленин, когда говорит:

«Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы *особенно* ненавидим *свое* рабское прошлое... и свое рабское настоящее...» (т. 26, с. 108).

Рабочие люди старой России тоже любили жизнь и способны были переживать гордость, именно поэтому они стремились к свободе. Люди, не об-

ладающие чувством достоинства, не способны и на борьбу.

Перед тем как писать свою книгу, я перечитал Ленина и еще раз был поражен его знанию русской жизни, несмотря на то что Ленин был оторван от России в течение многих лет. Формулировки Ленина в моем представлении совершенно не расходились с тем знанием рабочей жизни, которое я вынес из своего детства и молодости. Руководствуясь своим жизненным опытом и проверяя себя словами Ленина, я посчитал себя вправе отказаться от шаблона, который был мне давно известен и который никогда не вызывал моего уважения. Я прекрасно понимал, что вызову протесты со стороны критиков, для которых отступление от шаблона просто невыносимо.

Я взял участок рабочей жизни, наиболее мне известный, — провинциальный, запущенный уездный городок, в котором хотя и есть реальное училище, но нет промышленности, за исключением слабых кустарного типа заводов. В такие места большевистская литература совершенно не доходила, но большевистские идеи просачивались через сотые руки и создавали не столько изменения в мыслях, сколько изменения в чувствах. Если уже говорить прямо, я мог и имел реалистическое право изобразить даже рабочего-шовиниста, активного и слепого, созданного многочисленными листами социал-шовинистических газет и собственной неспособностью разобраться в событиях. И такие рабочие были, и довольно много. Они должны были интересоваться меня и вас в особенной степени, ибо из них было замечательно ярко видно значение классового чутья, на их жизни можно было проследить и великолепное революционное влияние большевиков. Но я не изобразил таких рабочих только потому, что в этом месте моя смелость дошла до пределов; я все-таки боялся вас, «критик».

Я теперь вижу, что мой страх имел серьезные основания. Я хорошо сделал, что ограничился тем комплексом средних настроений, который у Ленина называется иммунитетом к шовинизму. Как нужно представлять себе этот иммунитет? Это еще не пораженчество, вообще это не активный свод убеждений, это прежде всего безразличие к завоевательным лозунгам, это отсутствие национального самомнения и национальной ненависти. Таковы и мои герои. Даже Алеша, студент, потом офицер, не проявляет никаких захватнических намерений, собственно говоря, стоит на позиции оборончества. Оборончество могло происходить не только из шовинистических переживаний. Не приходится теперь говорить о том, было отечество у пролетариата или не было, это неизвестно. Но родина была, была та самая национальная гордость, о которой говорит и Ленин. И во всяком случае было желание иметь родину, была тоска по родине, вполне естественная даже и у рабочего человека, не говоря уже о юноше, получившем образование. У Алеши эта тоска по родине была выражена сильнее, у отца — слабее, у рабочего Павла она и в начале войны близка уже была к большевистским выражениям. В то же время идеи пораженчества были исторически неожиданны, они не могли так легко быть усвоены людьми, как это кажется критику. Ведь только в эти дни Ленин впервые бросил эти идеи в широкие массы.

Вся эта ситуация не была простой, она всегда проходила конфликтный период, период прояснения и становления, и у разных людей этот процесс был по-разному мучителен и был разной длительности. Реальной ареной, на которой разрешался конфликт, была, конечно, война. Критик чрезвычайно просто представляет себе проблему отношения к войне: пораженчество — и

все! Из текстов критика очень трудно представить себе, как он сам относится к войне.

«Мы — патриоты своего народа, но это не значит, что всякую войну, какую только ни вела в прошлом Россия, надо стремиться оправдать».

Это, конечно, поучительно сказано. И это легко сказать за письменным столом, через 20 лет после войны. Интересно, в каких бы выражениях эта самая мысль была сказана моим критиком во время войны, в тот момент, когда он находится в действующей армии. Что значит оправдать войну или не оправдать войну, если война не стоит, как подсудимый перед письменным столом, а если война обрушилась на голову? Я приведу несколько мыслей Ленина, из которых видно, с какой глубочайшей диалектикой Ленин мыслил о войне:

«Не саботаж войны, а борьба с шовинизмом...» (т. 49, с. 14).

«Отказ от военной службы, стачка против войны и т. п. есть простая глупость, убогая и трусливая мечта о безоружной борьбе с вооруженной буржуазией...» (т. 26, с. 41).

«Но обещать людям, что мы можем кончить войну по одному доброму желанию отдельных лиц, — политическое шарлатанство» (Соч., т. 31, с. 105).

«Войну нельзя кончить «по желанию». Ее нельзя кончить решением одной стороны. Ее нельзя кончить, «воткнув штык в землю»...» (т. 31, с. 161).

Можно без конца продолжать этот список страниц — Ленин никогда не имел в своей программе тот пацифизм, которым так пахнет от шаблона критика.

Стоит прочесть у критика такой абзац:

«Война воспринимается как неожиданное несчастье, внезапно обрушившаяся катастрофа, развалившая в общем приемлемый строй жизни. Отсюда особенно ощутимой становится идея, что дело все в том, что войну плохо вели.

А если бы офицеры умели не только красиво умирать, а и побеждать, тогда что же? Судя по приводимому выше замечанию Алеши, пролетариат, очевидно, удовлетворился бы и не стал бы совершать никакой революции?»

Видите, с какой издевкой спрашивает мой критик, в каком глупом виде он выставляет и меня, и моих героев. Этот глубоко самоуверенный тон разве не раскрывает всех идеалистических карт критика? Победа или поражение — все равно: ведь революция произошла в 1917 г., значит, она была предопределена.

Чтобы не долго спорить по такому ясному вопросу, приведу несколько слов Ленина:

«Крайние бедствия для масс, создаваемые войной, не могут не порождать революционных настроений и движений, для обобщения и направления которых должен служить лозунг гражданской войны» (т. 26, с. 163).

«Поражение правительственной армии ослабляет данное правительство, способствует освобождению поработанных им народностей и облегчает гражданскую войну против правящих классов.

В применении к России это положение особенно верно. Победа России влечет за собой усиление мировой реакции, усиление реакции внутри страны и сопровождается полным поработанием народов в уже захваченных областях» (т. 26, с. 166).

Какая диаметрально противоположность с концепцией критика! Эта противоположность производит такое яркое впечатление, что приходится удивляться не только критику, но и редакции журнала, для которой знание ленинских положений о войне во всяком случае обязательно.

Ленин знал диалектическую сложность обстановки. Это сложность движения, сложность революции, запутанность психологических этюдов эпохи, их взрывной характер. Так же запутана могла быть и духовная жизнь отдельных героев. Сохраняя общую свою направленность к революции, они могли и должны были переживать острые изломы мысли и чувства. Именно поэтому Алеша мог болезненно задуматься над вопросом о своей верности товарищам, погибающим рядом с ним на фронте, мог искать оправдание смертному подвигу, искать очень долго, до тех пор, пока не нашел. Именно поэтому старый Теплов мог некоторое время думать, что немцев пускать нельзя. Не имеет никакого значения, как думали эти люди, важно только одно: к чему они шли и к чему пришли. Алеша нашел для себя решение вопроса, старый Теплов нашел самого себя, нашел место для своей суровой гордости. Они все это нашли в революции, в революции они нашли и родину, о которой тосковали.

Революционный процесс можно представлять только как процесс предельной сложности, так, как представлял его Ленин. На с. 251 тома 21 Ленин говорит, что война вызывает в массах самые бурные чувства, главные из которых: ужас и отчаяние, усиление религиозных чувств, ненависть к «врагу», ненависть к своему правительству, к буржуазии.

Если художник захочет описать этот процесс, он прежде всего должен отказаться от шаблона. Та идеалистическая концепция, которую предлагает критик, — концепция вредная. Готовый, неизменный тип рабочего-пораженца, способного произносить только непогрешимые речи, препарированный по всем правилам литературного штампа, — для кого это нужно? Это нужно только для тех, кто хочет преуменьшить значение Ленина и партии большевиков в творчестве нашей революции.

В заключение все-таки хочется спросить: почему критик пристрастно, так исторически ошибочно на меня напал, почему ему померещились шовинисты в моих скромных героях?

Может быть, для этого имеются очень серьезные причины, но есть и причины, так сказать, менее серьезные. Мысль о них вызывается следующими интересными обстоятельствами:

Первое. В моей книге есть абзац, который начинается так:

«До немецкой войны люди жили спокойно, и каждый считал себя хорошим человеком...»

Критик по поводу этих строк и себя не помнит:

«Представление о довоенной России как об идиллической стране, в которой собственно «всем живется хорошо...»

В моей книге очень много мест, в которых подробно говорится, как плохо жилось в старой России. А этот абзац — ирония! Ирония — известный литературный прием. В старых учебниках теории словесности было сказано: «Ирония есть намек на противоположность». Пора все-таки нашим критикам знать, что такое ирония. Нельзя же упрекать Лермонтова в том, что его герои из «Бородино» — изменники. Нельзя, например, написать в критической статье:

«Лермонтов неправильно изобразил солдат. Один из солдат говорит: «Угощу я друга». Куда это годится! Не угощать нужно французов, а стрелять в них. И ни в коем случае нельзя француза называть другом. И наши солдаты это понимали, а Лермонтов на них наклеветал».

Это первое обстоятельство, которое наводит меня на некоторые размышления.

Второе обстоятельство. Критик невнимательно читал мой роман. *Благородный* вместо *благодарный* — мы уже видели. На одной из страниц критик ехидно замечает:

«...Рассчитывались полки. Не будем придирается к тому, что для уездного города полков что-то многовато».

А через пять строчек сам же цитирует:

«Прянский полк развертывался в два полка военного времени».

Два полка — это и будет «полки». Чего ж тут придирается, просто нужно быть более внимательным.

Такие обстоятельства могут много повредить в критической работе. Они могут подвигнуть критика на некоторые странности. Я, например, утверждаю, что Алешу отправили в военное училище, а критик мне не верит. Не может быть, говорит, это он добровольцем пошел, потому что я хорошо знаю: студенты пользовались отсрочкой до середины 1916 г. Это он безусловно добровольцем...

И последние два слова: почему нельзя было подождать второй половины романа? Почему такая спешка?

Беседа с начинающими писателями

Товарищи! Я себя причисляю к начинающим писателям, и поэтому вам будет особенно полезно обменяться со мной опытом. Называя себя начинающим, я говорю совершенно искренне. Успех «Педагогической поэмы» дела не меняет. В этой книге заключен богатый жизненный материал; очень часто этот материал и делает погоду, а вовсе не мое писательское мастерство. С другой стороны, я и скромничать не хочу: я очень много над собой работал и, собственно говоря, всю жизнь готовился к писательской работе.

Давно, в 1915 г., я написал рассказ, который назывался «Глупый день». Мне тогда было 27 лет, но я имел очень слабое понятие о писательском мастерстве и вообще о законах художественного творчества. Я взял интересный случай из жизни и просто о нем рассказал. Отправил рассказ к А. М. Горькому, который тогда издавал «Летопись». Через две недели получил от Алексея Максимовича письмо, которое помню дословно:

«Рассказ интересен по теме, но написан слабо: не написан фон, диалог не интересен, драматизм переживаний главного героя не выяснен. Попробуйте написать что-либо другое».

Из этого письма я очень хорошо понял, что я писать не умею и что нужно учиться. Очень может быть, что в глубине души остался неприятный след, но учился я основательно и долго. Тринадцать лет я не повторял писательских попыток, даже старался не думать о них, но все-таки завел себе записную книжку, в которую заносил все, что казалось мне достойным. В первое время в этой записной книжке преобладали афоризмы и сентенции, а потом

я привык записывать детали жизни, пейзажи, сравнения, диалоги, портреты, темы, словечки. К концу 1927 г. у меня собрался богатейший материал, но я все не решался приступить к книге, все мне казалось, что я не готов быть писателем¹. Очень часто вспоминал письмо Алексея Максимовича. Фона я не боялся, но интересный диалог и теперь казался мне недоступным. Интересно вот что: я работал в трудовой колонии им. Горького, мимо меня проходила сложная и напряженная жизнь нескольких сот молодых людей, но я считал, что эта жизнь настолько обыкновенна и проста, что она не может быть предметом художественного изображения. В моих записных книжках ничего не было записано именно об этой жизни, которую я лучше всего знал. Мне все казалось, что если я когда-нибудь напишу роман, то он будет на самую важную тему — о человеке, о любви, о великих революционных событиях. А беспризорщина — это обыкновенная жизнь, о которой и писать нечего, которую все знают.

В 1928 г. у меня в колонии три дня гостил Алексей Максимович. Ему очень понравилась и сама колония, и тот стройный комплект педагогических приемов, который в ней выработался. Я очень много беседовал с Алексеем Максимовичем о колонии и о своих педагогических находках, о принципах воспитания. Темы нашей беседы совершенно не касались вопросов художественного творчества. Мои старые мечты быть писателем я старался не шевелить, я не напомнил Алексею Максимовичу о посланном ему в 1915 г. рассказе «Глупый день», а он, конечно, забыл о нем.

Беседуя с Алексеем Максимовичем, я чувствовал себя только педагогом, чувствовал тем более остро, что в эти дни меня занимали довольно трагические переживания, связанные с моей педагогической борьбой, с настойчивыми атаками наркомпросовских бюрократов на мою колонию.

И Алексей Максимович моей колонией интересовался исключительно с точки зрения педагогической революции. Его интересовали новые позиции человека на земле, новые пути доверия к человеку и новые принципы общественной, творческой дисциплины. Алексей Максимович сказал:

— Вы должны писать обо всем этом. Нельзя молчать. Нельзя скрывать то, к чему вы пришли в вашей трудной работе. Пишите книгу.

Я этот завет Алексея Максимовича принял как директиву и немедленно, как только он уехал, начал писать. Первую часть «Педагогической поэмы» я написал очень быстро, в два месяца, несмотря на чрезвычайно тяжелые условия работы в колонии, несмотря на то что мои враги выгнали-таки меня из колонии. Работая над первой частью поэмы, я все же был уверен, что пишу педагогический памфлет, что никакого отношения эта работа к художественному творчеству не имеет. Тем не менее я придал ей беллетристическую форму, руководствуясь при этом исключительно таким соображением: для чего мне доказывать правильность моих педагогических принципов, если жизнь лучше всего их доказывает, буду просто описывать жизнь. В то время еще очень сильна была педология, выступавшая под знаменем «марксистской» науки. Я боялся педологии и ненавидел ее. Но прямо напасть на все ее положения было все-таки страшно. Мне казалось, что в беллетристической форме удобнее будет если не развенчать, то хотя бы начать атаку на нее.

Когда первая часть была написана, я продолжал находиться в уверенности, что это не художественное произведение, а книга по педагогике, толь-

ко написанная в форме воспоминаний. Книга мне не понравилась. По-прежнему я был убежден, что жизнь колонии беспризорных никого особенно занимать не может, что о беспризорных уже много написано, и написано неплохо. Поэтому я не послал книгу Алексею Максимовичу, а подержал ее несколько месяцев в ящике стола, потом еще раз прочитал, печально улыбнулся и отправил на чердак, где у меня лежали разные ненужные вещи, чтобы они не загромождали мою тесную комнату.

Через 4 года, когда я не только забыл об этой книге, но забывать начал и о своей мечте сделаться писателем, когда цвела и славилась на весь мир во всех отношениях замечательная коммуна им. Дзержинского, где я работал, и, когда меня в наибольшей степени увлекали проблемы производства «ФЭДов», один из моих приятелей, начальник финансовой части коммуны², в какой-то служебной папке нашел несколько страниц «Педагогической поэмы», прочитал их и заинтересовался. Он настойчиво потребовал от меня, чтобы я дал ему почитать книгу, которая в то время не имела даже названия. Я не особенно сопротивлялся, в самом деле, пусть читает! Я был очень удивлен его читательскими восторгами, но они не вскружили мне головы. Я думал: провинциальный читатель, да еще бухгалтер, что он там понимает в литературе. Неожиданно я получил письмо, а потом и телеграмму от Алексея Максимовича с требованием немедленно представить книгу. Делать было нечего, я собрался в Москву и повез с собой названную уже «Педагогическую поэму».

Алексей Максимович прочитал книгу в течение одного дня и немедленно отдал ее в печать.

Я очень благодарен своему терпению и своей неторопливости. Моя книга вышла в 1933 г., когда мне было уже 45 лет. За 45 лет я накопил богатый опыт жизни и борьбы, я сделался специалистом в области воспитания, я создал две колонии и выпустил из них более тысячи человек³, которые сейчас работают как настоящие честные граждане страны трудящихся. И самое интересное я научился писать о жизни. Тот самый диалог, который в первом моем рассказе был просто неинтересен и которого я всю свою жизнь больше всего боялся, благодаря моей упорной работе над собой составляет в настоящее время наиболее доступную для меня форму письма.

Незаметно для себя, в течение всех 13 лет моего писательского молчания, я работал над диалогом. В этом деле огромную роль сыграли мои записные книжки.

Я и сейчас веду их очень аккуратно и считаю, что это очень важная часть писательской работы. К сегодняшнему дню в записных книжках у меня собралось около 4 тыс. заметок⁴. Каждому писателю, и в особенности начинающему, я очень рекомендую записную книжку.

На записной книжке я останавлиюсь подробнее. При этом я не думаю, что нашел какой-нибудь секрет. Наверное, все писатели ведут такие книжки, и каждый делает это по-разному. Мой опыт — только незначительная часть общего опыта.

Записная книжка писателя не должна быть дневником. Собственно говоря, в ней не нужно записывать ничего такого, что составляет основание жизни, ее главный ход. Записывать нужно только то, что способно держаться в памяти очень короткий миг, а потом может исчезнуть. Что я запи-

сываю? Чье-нибудь интересное слово, чей-нибудь рассказ, детали пейзажа, детали портрета, характеристики, маленькие спешные мысли, соображения, кусочки темы, сюжетные ходы, обстановку жилища, фамилии, споры, диалоги, прочие разнообразные мелочи.

Записная книжка важна даже не в качестве поправки к памяти. В сущности, когда пишешь роман, в записную книжку почти не заглядываешь. Книжка эта важна как арена, на которой обостряется внимание к мелочам жизни, воспитывается умение видеть и замечать, способность не зевать, не проходить мимо мелких, но выразительных и всегда важных деталей. Поэтому такая книжка приносит пользу только в том случае, если она ведется регулярно, если вы ни по лени, ни по занятости, ни по забывчивости не пропускаете ни одного дня в работе над записной книжкой.

Разумеется, неудобно и часто невозможно пользоваться такой записной книжкой в присутствии многих людей, пожалуй, и некрасиво и не деликатно при всяком случае ее вынимать и записывать. Поэтому свою записную книжку я держу дома и при посторонних никогда в ней ничего не записываю. Но при мне всегда есть миниатюрный блокнот, в котором я очень коротко, одним словом, отмечаю то, что потом более подробно вношу в записную книжку.

Работа с такой книжкой интересна еще вот в каком отношении. В процессе самой записи рождаются дополнительные, созданные воображением ходы, образы, усложнения. Это та черновая работа, которая не связана еще ни договором, ни строгим планом романа, ни боязнью критики. Это совершенно интимная лаборатория, в которой ваше воображение имеет полный простор и в которой вы можете упражнять свои силы, как в гимнастическом зале.

Такую книжку вести довольно трудно. Очень часто устаешь, хочется отложить на завтра. В первое время нет навыка работать с книжкой продуктивно. Нужно заставлять себя производить эту работу. Потом она становится совершенно необходимой потребностью, образуется привычка к такой работе, умение выбирать самое интересное и нужное.

Записная книжка вплотную подводит нас к вопросу об отношении материала и литературного изображения. Приходится встречать молодых людей, которые во что бы то ни стало хотят изображать революцию 1905 г., или гражданскую войну, или старый режим. Недавно я прочитал роман одного начинающего писателя. Он изображает поповскую семью. Мальчик, сын попа, спит на диване. Почему-то автору, вероятно для создания определенного колорита, захотелось укрыть мальчика не одеялом, а ризой. И автор серьезно, даже красочно, описывает, как перекопился накладной крест на ризе, повторяя изгибы тела мальчика. Тот же автор пишет: «гнусавое пение дьячков перемежалось дробным чтением евангелия» — это во время обедни. Этого автора можно упрекнуть только в том, что он выбрал материал, совершенно ему неведомый. Только поэтому он свободно представляет себе, что в поповском доме мальчики укрываются ризами, что церковная служба состояла в чтении евангелия. Если бы автор наблюдал поповскую жизнь, он хорошо знал бы, что ризы никогда не находились в поповской квартире и что евангелие читается во время обедни только один раз, и при этом никогда не читается «дробно», а всегда торжественно, протяжно, с особыми, специально для этого дела придуманными завываниями.

Записная книжка помогает организовать знания жизни, но она никогда не заменит их. Не может быть писателем тот человек, который не знает хорошо никакой реальной жизненной среды, который не знает никакой работы, никакого быта. В особенности в нашей советской литературе это очень важно. Тургенев мог описывать охоту, чувства людей, привыкших к безделью, их разговоры, мечты, судьбы. В нашей стране нет таких людей. Каждый гражданин Советской страны обязательно что-нибудь делает, непременно участвует в производительности труда. И его характер, и его личность не могут быть описаны, если отбросить те черты характера, которые возникают и развиваются в процессе работы, в процессе трудового общения с другими людьми.

Кажется, у нас все хорошо понимают этот закон, но иногда делают из него неправильные выводы. Полагают, что можно просто со стороны приглядеться к трудовой жизни и увидеть все ее детали. Находятся люди, которые прямо утверждают, обращаясь к писателям:

— Не сидите на месте, путешествуйте, наблюдайте, смотрите.

Многие так и делают. Путешествуют, наблюдают, смотрят и при этом глубоко убеждены, что они изучают жизнь, собирают материалы для литературного произведения. Мне хочется всегда возразить на подобные призывы, хочется сказать:

— Наоборот: не передвигайтесь, не путешествуйте, сидите именно на месте.

Представьте себе, что вы решили описать коллектив завода. Вы жили рядом с заводом месяц или два месяца, вы беседуете с рабочими или с инженерами, вы запоминаете или записываете их портреты, события на заводе, рассказы, ситуации. Вам кажется, что вы узнали все, что вам нужно, — вы собрали материал.

Я утверждаю, что ничего вы не собрали и что никакого материала в вашем распоряжении нет. Только тогда, когда вы сами участвуете в работе завода, когда вы переживаете все его удаchi и неудачи, когда вы отвечаете за них перед советским обществом, только тогда вы по-настоящему узнаете то, что вам нужно, узнаете не в качестве холодного, хотя и пристально-го наблюдателя, а в качестве участника. Вы можете сколько угодно беседовать с рабочим, но пока вы не поспорите с ним, пока вы не порадуетесь вместе, не помиритесь на чем-нибудь, до тех пор вы не узнаете ни его характера, ни характера тех идей, которые им руководят⁵. В то же время только в качестве участника вы можете приобрести тот эмоциональный накал, который совершенно необходим для художественного произведения.

Мои слова вовсе не обозначают, что необходимо писателю обязательно работать в каком-нибудь предприятии или учреждении. Может наступить момент, когда воспитанный в работе жизненный опыт позволит писателю более или менее свободно разбираться в человеческом коллективе соседнего ряда, но накопить такой человеческий опыт все же необходимо. Я лично убежден, что советский писатель должен пройти какой-то рабочий жизненный стаж перед тем, как начать писать. Прелесть «Танкера «Дербента» Юрия Крымова заключается в глубоком знании не только людей на каспийском пароходстве, но и вещей, техники этого пароходства. Не зная техники, нельзя представить себе силу того сопротивления, которое испытывает каждый трудящийся со стороны природы, со стороны вещей и пред-

метов, со стороны технических условий труда, в таком случае нельзя представить и психику этого человека.

Кто хочет быть хорошим советским писателем, тот должен начинать с вопроса о своем отношении к жизни. Он должен активно участвовать в этой жизни, активно ее изучать.

Только правильно разрешив вопрос о материале, можно приступить к разговорам и о писательской технике.

К сожалению, у нас нет свода этой техники. В особенности плохо обстоит дело с прозой. Каждый писатель только по мере прохождения своего авторского пути постепенно разбирается в таинствах этой техники. Даже терминологии, в той или иной мере определяющей эту технику прозы, у нас нет.

В своей работе я до сих пор часто испытываю технические затруднения, и мне приходится их заново преодолевать.

Наиболее трудными отделами этой техники я считаю следующие:

Композиция.

Диалог.

Портрет.

Тон.

В настоящей беседе я не имею в виду изложить свои технические выводы или мысли. Я только касаюсь для примера некоторых вопросов, чтобы показать, какие затруднения встречается писатель в своей работе и как с этими затруднениями нужно бороться.

В композиции меня больше всего затрудняет вопрос о плотности рассказа. Под плотностью я понимаю количество содержания на единицу текста, например на страницу или на главу. Всякий читатель знает, что на немногих страницах описываются иногда события чрезвычайно подробно, с перечислением самых мелких деталей, самых неуловимых движений, не только внешних, но и внутренних — психических. Этот случай и будет случаем наибольшей плотности. С другой стороны, сплошь и рядом автор описывает на странице целый период, характеризуя его приблизительно такими словами: «В течение двух месяцев Иван Иванович познакомился с товарищами и увидел...» Такие места мне хочется назвать местами наименьшей плотности.

Нет никаких законов, позволяющих прийти в этом вопросе к каким-либо выводам. Мы знаем писателей, которые не любят большой плотности и почти все повествование ведут большими, крупными мазками, их произведения от этого не делаются менее ценными. В известной мере к таким писателям относится Эренбург. С другой стороны, мы знаем писателей — мастеров наибольшей плотности, например Леонов. Обычно же у каждого писателя свои законы композиции и свое индивидуальное отношение к вопросу о плотности. В каждой книге вы можете встретить различные типы чередования мест большой плотности и малой, иногда это получается удачно, иногда менее удачно. Наибольшим недостатком повести Первенцева «Кочубей» я считаю нелогичное распределение плотности.

Каждый автор должен серьезно учиться этому, должен найти свои законы композиций, достаточно стройно и прямо соответствующие содержанию и общему стилю. Во всяком случае я пришел к таким правилам для себя:

- а) нельзя показывать второстепенные лица в прозе большой плотности;
- б) нельзя держать читателя более или менее долго на плотности одного и того же напряжения;
- в) нельзя разнообразить плотность в пределах одного эпизода;
- г) в пределах одной главы желательно наибольшую плотность иметь в конце главы.

Можно еще много и более пространно сказать о плотности, но я думаю, что этого не следует делать в такой короткой статье.

Диалог — один из самых трудных отделов прозы. Нужно знать диалог в жизни. Выдумать интересный диалог почти невозможно. У наших молодых писателей слабее всего выходит именно диалог.

Диалог должен быть очень динамичным, он должен показывать не только духовные движения, но и характер человека. Он никогда не должен обращаться в болтовню, в простое зубоскальство, и он никогда не должен заменять авторского текста. Многие у нас так и думают: то, что хочет сказать автор, пускай говорят герои, будет интереснее. Это ошибка. То, что должен сказать автор, никому из героев поручать нельзя. В таком случае герои перестают жить и обращаются в авторский рупор. И наоборот, те слова, которые уместно произносить героям, автор не должен брать на себя и говорить от третьего лица.

Портрет я считаю самым трудным отделом прозы, так как этот отдел меньше всего разработан в русской литературе. В нашей литературе, безусловно, лучше всего разработан пейзаж. Движения же лица, глаз, рук, описание всех движений тела у нас еще не достигли настоящей культуры, и поэтому нам очень трудно хорошо описывать все это.

В области тона автор должен находиться в постоянном напряжении. Очень важно для определенной вещи найти соответствующий тон и держаться в этом тоне до конца произведения или по крайней мере до конца главы. Что такое тон? Это определенное количество таких явлений, как юмор, ирония, сарказм, торжественность, холодность, точность, грусть, печаль, радость, пессимизм, оптимизм. В пределах одной главы, а еще лучше целой вещи, нельзя произвольно менять соотношения этих элементов в языке. Если, например, в определенных печальных обстоятельствах, отраженных в стиле, происходит перелом, совершается радостное событие, лучше на нем и оборвать главу, чтобы следующую начать в другом тоне. Следить за тоном очень трудное дело, но без умения руководить своим тоном не может быть хорошего прозаика.

Я коснулся нескольких отделов техники прозы, чтобы показать, что эта техника требует напряженной работы, требует раздумья, анализа. Все это очень важная работа, которую каждый должен проделать.

В заключение скажу следующее: решающим в писательской работе является все-таки не материал, не техника, а культура собственной личности писателя. Только повышение этой культуры может привести к повышению качества писательской продукции. Чтение книг, и не только художественных, учеба, знание — знание по возможности разностороннее, чтение научных книг, развитие слуха, глаза, осязания, музыкальное развитие и развитие техническое — все это совершенно необходимо писателю. Не может быть хорошего прозаика, если человек не знает на память луч-

ших наших поэтов, если он не слышит, как звучит слово, как чередуются в нем звуки.

Во всем этом лучшим образцом для нас всегда был и будет Максим Горький.

Письмо А. Ромицыну

Москва, 31 августа 1938 г.

Уважаемый тов. Ромицын!

Ваше письмо огорчило меня в ином плане. Я и без того точно знал, что сценарий «Флаги на башнях» принят не будет, и знал, что причины этого заключаются в отходе от тех тематических, а еще более сюжетных, а еще больше идейных стандартов, которые приняты в нашей кинематографии и от которых почему-то мы никак не можем избавиться. Я хорошо знал, что нужно писать нечто похожее на сценарий «Семиклассники» (сейчас по этому сценарию снимается фильм), где обязательно модельный кружок, благословенные пионеры и добрые дяди.

Меня огорчило другое. Что общего можно найти в моем сценарии и в «Аристократах» или в «Путевке в жизнь»?¹ Я изображаю счастливый и активный детский коллектив в моменты наивысшего и красивого подъема его жизни, изображаю настоящий, живой уголок социализма, в котором как в фокусе отображаются все явления нашей «взрослой» жизни и, прежде всего, отражается борьба с врагом. Я рассчитывал, что такой уголок жизни, показанный детям, даст очень много живых политических и этических толчков для их духовного развития, сообщит им начала того советского благородства, которое так необходимо. Я мог ожидать письма о том, что эта художественная цель выполнена в сценарии плохо, я никак не ожидал сравнения моей работы с «Путевкой в жизнь». В моем сценарии действуют «нормальные» дети и юноши, и тема перековки вообще не поднимается.

Все это меня так удивляет, что я склонен даже сомневаться, прочитали мой сценарий с достаточным вниманием.

Впрочем, в этом случае спорить — совершенно излишнее дело. Я глубоко убежден, что после выхода из печати книги «Флаги на башнях» одна из студий по собственной инициативе предложит переделку повести в сценарий.

Что касается вопроса о новом сценарии, предлагаю следующее. У меня есть тема о советской семье и школе, намеченная для 2-го тома «Книги для родителей». В центре темы лежит политическое и моральное развитие двух мальчиков, затрудненное отдельными обстоятельствами. На деле именно эти затруднения диалектически вызывают мобилизацию энергии воспитателей и приводят к успеху выдающемуся. Тема развивается в остром сюжетном плане.

Сценарий могу представить к 1 декабря.

Сейчас я нездоров (был обморок на улице) и раньше как через две недели приступить к работе не могу.

О Вашем согласии прошу написать.

Москва 17,
Лаврушинский пер., 17/19, кв. 14

Привет А. Макаренко

Стиль детской литературы

Мы привыкли к мысли, что понятие художественной литературы есть нечто совершенно определенное. Во всяком случае с представлением о художественной литературе у нас связывается мысль о настоящем, высоком искусстве.

Когда мы говорим о литературе для детей, мы одновременно чувствуем два определения: во-первых, мы утверждаем, что эта литература тоже должна быть художественной, во-вторых, мы утверждаем, что она обладает какими-то особенностями, которые делают ее именно литературой для детей.

Что это за особенности, которые заключаются в художественной литературе для детей, и не заключаются ли эти особенности в изменении самого понятия «художественный»?

Этот вопрос становится особенно острым, когда мы вспоминаем, что слова «детская литература» объединяют целый ряд возрастных критериев: одно дело литература для детей 8 лет, другое дело — для детей 16 лет.

С первого взгляда может показаться, что и возрастные разделы в самой детской литературе и отличие художественной детской литературы от литературы для взрослых заключаются главным образом в тематике, в номенклатуре идей, в содержании. Однако трудно представить себе такую тему, которая не могла бы быть предложена детям. Даже любовь, обыкновенная половая любовь, не может быть исключена из сферы «детской» тематики, во всяком случае, можно представить себе книгу для детей, в которой будет написано: «Он женился на ней, и они любили друг друга».

Если бы кто-нибудь указал такую тему, которая возможна в литературе для взрослых и кажется противопоказанной в литературе для детей, то это значило бы только, что проблема такой детской тематики еще не разрешена и следует над этой проблемой потрудиться. В самом деле, возьмем наши сегодняшние темы, наиболее для нас важные и захватывающие: защита страны, подготовка кадров, патриотизм, социалистическое строительство, дружба народов, счастье трудящихся, бдительность и борьба с врагами, стахановское движение, советская демократия. Все эти темы не только могут быть, но и должны быть предложены нашему молодому читателю. Сколько-нибудь серьезных и принципиальных ограничений «детской» тематики указать нельзя.

Интересно рассмотреть тематический вопрос с другой стороны: нет ли таких комплектов тем, которые уместны только в детской литературе и для взрослого читателя не годятся? Если бы такие темы нашлись, они могли бы в известной мере характеризовать особенности детской литературы и ее отличия от литературы для взрослых. Однако при самых тщательных поисках ультрадетских тем нет никаких оснований утверждать, что такие темы могут быть найдены. Даже такие до конца беззубые новеллы, в которых рассказывается о том, как птичка прыгает на ветке, или изображается безмятежная вневременная и внепространственная идиллия:

А у нас над рекой
Тишина и покой,

даже такие «детские» идеи свободно могут быть предложены и взрослым, среди которых есть немало охотников достать налима рукой и вообще насладиться природой без каких бы то ни было дополнительных приспособлений или соображений. Может быть, трудно найти в литературе для взрослых целые книги, посвященные подобным наслаждениям, но отдельные страницы и вставки попадают часто.

Особенности, которые отличают «детскую» литературу от «взрослой», заключаются не в том, о чем рассказывается, а в том, как рассказывается.

Писателям, работающим в большой литературе, мы предоставляем обычно полную свободу стиля. Больше того, мы требуем, чтобы у каждого писателя был свой стиль, отличающий его от всех остальных писателей. Мы не требуем от писателя, чтобы у него обязательно был разработанный пейзаж, чтобы у него практиковались лирические отступления. Мы не обязываем его непременно показывать диалог, и можно назвать много авторов, у которых диалог почти отсутствует. Мы предоставляем писателю полную свободу в выборе метафор и не возражаем, если у него метафоры просто отсутствуют. Собственно говоря, очень трудно назвать или перечислить те стилевые каноны, которые считались бы общепринятыми и могли бы составить какой-нибудь свод художественных правил. Проза Пушкина и проза Л. Леонова стоят на разных концах стиливой линейки, оставаясь каждая в отдельности высокохудожественной прозой. То, что мы требуем от писателя в обязательном порядке, лежит за пределами стиля как такового: реалистическая наполненность темы, яркость и выразительность образов и характеров, эмоциональная взволнованность текста или подтекста — вот то, чего мы во всяком случае ожидаем от художественного произведения, предоставляя автору какими угодно средствами идти навстречу нашим ожиданиям. И если писатель беден в самой своей реалистической правде, невыразителен и неразборчив в образах, сер и скуп в своих явных или скрытых эмоциях, мы осудим его произведение, независимо от того, какие им употреблены художественные приемы и средства, лаконичен он или многословен, употребляет метафоры или избегает их, живописует природу или обходится без природы.

Художественный минимум, невыполнение которого выбрасывает произведение из художественной литературы, обязателен и для произведений, предназначенных для молодого читателя. И в этом случае мы должны требовать реалистической полнокровной правды, яркости, впечатляемости образа и эмоционального подъема. При наличии всех этих качеств мы признаем художественную ценность произведения достаточной. Но теперь мы уже не можем предоставить художнику такую же свободу в выборе изобразительных средств, иначе говоря, мы ограничиваем его в стиливом отношении. Если такое ограничение не выполняется, мы угрожаем автору... в лучшем случае мы угрожаем ему тем, что отнесем его произведение к разряду «взрослых». Фактически такая угроза никогда не существует, ибо обычно дело обстоит хуже: удовлетворяя нашим стиливым требованиям в одном приеме, автор не выполняет их в другом. Произведение

останавливается где-то посередине, между детским и взрослым читателем.

По отношению к детской литературе можно, стало быть, говорить о некотором своде стилевых ограничений или правил. В своей сущности они представляют педагогические акты, вполне естественные всегда, когда дело касается ребенка или подростка. Их происхождение заключается в самой природе ребенка, описывать которую в настоящей статье нет необходимости отчасти потому, что она более или менее синтетически известна, отчасти потому, что эта природа отражается и в самых законах наших стилевых требований.

Размеры настоящей статьи не позволяют развернуть широкую логическую картину, не позволяют связать стилевые особенности детской книги с тем или другим признаком детства. В большинстве случаев бывает полезно выводить эту связь не из педагогической логики, а из прямого опыта, достаточно у нас известного и широкого. Вообще в области детского чтения наиболее уместной остается индуктивная логика. В нашей советской действительности она должна направляться марксистским представлением о личности и коллективе, диалектическими законами развития. Именно поэтому мы прежде всего должны отказаться от какой бы то ни было идеи «остановившегося детства» (обычный порок педагогической дедукции). Ребенок растет с каждым своим днем. Книга, прочитанная им сегодня, и та же книга, прочитанная им через несколько дней, встречает, в сущности, разных читателей и разный читательский прием. Наша книга не должна поэтому строго следовать за возрастным комплексом психики, она должна быть всегда впереди этого комплекса, должна вести ребенка вперед, к тем пунктам, на которых он еще не был. Поэтому в нашей детской литературе важны не стилевые законы формы, а стилевые законы движения. Нужно говорить не о канонах стиля, а о тенденциях стиля, принимающих самые разнообразные выражения в зависимости от того, какой ребенок, с какой подготовкой, с какими устремлениями берет в руки нашу книгу. Наше детство настолько многообразно, что, в сущности, становятся совершенно условными наши возрастные представления. Одну и ту же книгу читают с одинаковым интересом и ребята 11 лет, и юноши 17 лет, и даже многие взрослые. Таких книг много, и это самые лучшие книги. Та книга, которая интересна только для определенного, точного возраста, — всегда слабая книга: в ней слишком ограничен комплекс идей и представлений.

Переходя непосредственно к описанию стилевых требований к детской литературе, мы должны еще раз об этом напомнить: речь идет не о правилах формы, а о тенденциях стиля.

Нам представляется удобным вести разговор о стилевых особенностях детской книги по определенным разделам:

Сюжет и фабула

Мы находим возможным по отношению к сюжету и фабуле предложить такую формулу: сюжет должен по возможности стремиться к простоте, фабула — к сложности. Сюжет — это схема развития идей и отношений. В детском возрасте опыт идейной жизни и опыт человеческих отношений еще весьма незначителен, почти не знает синтеза и обобщения, не знаком с исключениями и искривлениями. Сюжет «Преступления и наказания»

или «Анны Карениной» — сюжеты, слишком сложные для молодого опыта. Эти сюжеты предполагают большее знание у читателя в области духовной жизни. Для молодого читателя необходимы простые (более или менее простые), совершенно доступные пониманию и воображению схемы духовной борьбы. Какого бы то ни было «психологического» расцветивания сюжета не должно быть в детской книге. Дети должны иметь перед собой совершенно ясные и совершенно здоровые картины отношений. Даже тематика внутренних конфликтов, колебаний, соблазнов, то, что в литературе для взрослых может послужить основанием для очень сложных драматических сюжетов, в детской книге должна выражаться в виде простых и коротких моментов. Тем более неуместны для молодого читателя сложные и изощренные сюжетные ходы по линиям духовного разложения, духовного страдания или наслаждения.

Фабула, то есть схема событий, внешних столкновений и борьбы, наоборот, может быть как угодно сложна и действенна. Ребенок любит движение, любит события, он горячими глазами ищет в жизни перемен и происшествий, его воля требует движения и перемены мест, и поэтому в детской книге не нужно бояться самой сложной фабулы, самой изощренной сетки событий. Если сюжет прост, книга не боится в таком случае никаких фабульных ходов, никакой таинственности, прерванных движений, таинственных остановок. Нужно с сожалением констатировать, что в нашей (русской) литературе мало мастеров фабулы, и поэтому до сих пор остаются у нас на первом плане такие авторы, как Марк Твен, Жюль Верн, Вальтер Скотт, привлекающие читателей напряженным и многообразным действием.

Из этого требования к фабуле вытекает, между прочим, и еще одно требование, которое может показаться на первый взгляд даже странным. Дети не любят коротких книг. В небольшой книге трудно развернуться действию. Не успев начаться, действие в них заканчивается. Даже при самой драматической и сложной завязке действие это количественно незначительно, оно не может втянуть в себя достаточное количество лиц, оно все-таки не сложно, оно не способно впитать значительную территорию.

Детское требование к сложности фабулы очень настойчиво: это не только любовь к сильным движениям, это и любовь к многообразию лиц, мест, времен, обстановок, напряжений. Именно поэтому дети больше любят «Детей капитана Гранта», чем «Таинственный остров». Остающийся на одном месте Робинзон, несмотря на свою старую славу, на самом деле не пользуется особенной любовью ребят. Робинзон относится к тем книгам, относительно которых взрослые самостоятельно решили, что они обязательно должны нравиться детям.

Точно так же дети не особенно любят читать «Дон Кихота», особенно в полном издании. Сюжет этой книги, та настоящая поэзия человеческого духа, которая так привлекает взрослых, детьми почти не воспринимается, фабула же этой книги, при всей ее действенности, очень однообразна.

Характер

Законы изображения характера в детской книге вытекают из соображений, высказанных выше. Простой сюжет и сложная фабула возможны

только при очень экономной подаче характера. Психологический анализ обязательно усложнит сюжет и остановит движение действия. Поэтому нужно требовать, чтобы в детской книге действовали ясные, определившиеся и прямые люди. Описывать какое-либо становление образа, его постепенное формирование довольно безнадежно в книге для детей. Айртон Жюль Верна¹ проходит путь от пирата и разбойника до в общем хорошего человека в очень скрытых формах, дети готовы принять на веру, что в душе он что-то, может быть, и длительно переживал.

Такое расположение духовных сил человека имеет и свое педагогическое оправдание. Наши дети должны вырастать цельными личностями, не нужно очень рано знакомить их с неясностью и неопределенностью человеческого типа. Герои детской книги должны быть цельными людьми, и между ними должна идти такая же цельная и напряженная борьба. Симпатии читателя должны без всяких колебаний становиться на сторону положительного героя.

Все это вовсе не значит, что все люди в детской книге не должны иметь характерных особенностей или характерного языка. Читатель должен различать своих героев и узнавать их с первого взгляда. Эти герои должны вызывать положительное или отрицательное чувство, но обязательно с разными оттенками. Одни должны вызывать преклонение, другие — уважение, третьи — любованье, четвертые — радостную улыбку, пятые — заботу и нежность и т. д. Но все эти характерные извилины чувства должны быть только типичными извилинами и никогда не индивидуалистическими. Только очень квалифицированный читатель способен наслаждаться редкими индивидуальными особенностями, усложняющими картину личности и делающими ее неповторимой. Дети еще не способны на такое эстетическое наслаждение. Личность героя для них важна не сама по себе, не в своей личной неповторимости, а исключительно как носитель действия, как участник борьбы. Какой бы занятой ни представлялась та, или другая фигура в книге, ребенок принимает ее только по измерителям действия. Все личные особенности для него пропадают и мешают чтению, если они статичны, если они не отражаются на действии. Молодой читатель с радостью принимает юмор, насмешку, иронию, сарказм, если все эти выражения относятся к действию, а не назначены только живописать красоту личности.

Для автора в этом вопросе очень много и трудного и интересного. Он должен организовать в книге большое сложное действие, для этого необходимо как можно больше действующих, активных лиц. Они должны резко отличаться друг от друга, их лица должны быть разнообразны. И в то же время эти отличия не должны закрывать действие, не должны существовать сами для себя, и поэтому они должны быть по возможности ясны и действенны.

Живопись

Пейзаж, портрет, натюрморт, многие другие отделы живописи в детской книге должны иметь свое место, но в особом выражении. Безнадежно было бы рекомендовать для детского чтения пейзаж Бунина или портреты Чехова. Изошренность письма всегда соответствует изошренности

сюжета. Пейзаж всегда отражает простую или гурманскую подачу героя. В простом сюжете детской книги неуместны никакие нюансировки пейзажа и невозможен никакой, даже самый слабый импрессионизм. «Стеклышко разбитой бутылки»² в детской книге не сделает лунной ночи. Должна быть названа луна, и должно быть сказано, что она освещает.

Это вовсе не значит, что в детской книге не должно быть описания красивого вида, но в таком случае кто-нибудь должен этим видом обязательно любоваться. В портрете необходимы только такие черты, которые позволяют представить себе внешность человека и которые прямо вызывают к нему симпатию или антипатию.

Вот приблизительно все, что хотелось сказать о стиле детской книги. Было бы очень печально, если бы мои слова были приняты как призыв к опрощению. Выше я уже сказал, что детская книга способна выдержать любую тематику, и я поддерживаю эту мысль настойчиво. Понятие действия вовсе не ограничено темой приключения и войны, то есть прямых схваток на поле. Детский интерес очень многообразен. Даже научные открытия, самые сложные детали техники, самые глубокие проблемы морали могут быть предложены детскому вниманию. И это внимание всегда встретит писатель, если он расскажет обо всем этом в простом по сюжету и сложном по действию произведении, если у него будут действовать яркие и ясные герои, привлекающие любовь читателя и стремление следовать за собой.

Советские летчицы

Перелет В. С. Гризодубовой, П. Д. Осипенко и М. М. Расковой¹, как событие авиационной истории, как еще один шаг вперед в деле завоевания власти человека над природой, сам по себе отличается той величественной красотой, которая присуща человеческому подвигу. В нашей стране подвиг сделался необходимым признаком эпической нормы советского гражданина, и мы встречаем каждый подвиг не только благодарной мыслью о герое, но и уверенностью, что всякий гражданин СССР не обнаружит малодушия, если наша советская жизнь, если наша борьба с природой и врагами призовут его к подвигу. Гордясь каждым подвигом, каждым проявлением героизма в нашей стране, мы возвращаемся мыслью к основным причинам нашего нового социального самочувствия — к Октябрьской революции. Только в социалистических условиях общественной жизни у человека вырастают настоящие крылья, и вырастают они у всего народа, обрадованного возможностью развернуть и расправить плечи.

Но в подвиге В. С. Гризодубовой, П. Д. Осипенко и М. М. Расковой есть еще и особенная высота чрезвычайно большого, мирового значения — это высота освобождения женщины.

В нашей стране с первого дня революции женщина реально стала рядом с мужчиной, она получила право и полную возможность быть человеком и гражданином. Эта возможность заключалась и заключается не только в общественной уверенности в человеческой высоте женщины, но и в настойчивой, повседневной заботе Советского правитель-

ства о путях женщины. Советская действительность предоставила женщине не только права, но и обязанности, она предоставила ей все арены деятельности и все формы почина и ответственности. И только благодаря этому мы начинаем уже забывать о том, что между мужчиной и женщиной когда-то лежала непроходимая грань.

Подвиг В. С. Гризодубовой, П. Д. Осипенко и М. М. Расковой не простое усилие личности, не каприз богатых спортсменов. Это результат большой, терпеливой и высококвалифицированной работы целого коллектива, в котором женские и мужские роли уже не разграничены. Мы читаем в дневнике капитана П. Д. Осипенко²:

«Со мной занялся инженер Воскресенский. Он предложил схему доски приборов. Мне важно было сконцентрировать приборы для слепого полета так, чтобы их расположение не обременяло моего внимания в полете. Приборы, контролирующие работу моторов, собрали в одно место, электроприборы также вместе. Валентина размещала приборы по своему».

Таково творческое вмешательство советского человека в область техники и его уверенность в своем праве на такое вмешательство. Никто не способен точно подсчитать, когда и в каких деталях родилось и воспиталось у нас это творческое свободное самочувствие, — оно родилось в порядке большого и счастливого общего для мужчины и женщины человеческого опыта нашей двадцатилетней жизни.

И самый полет — это не только сверхмерное, выпирающее из жизни явление, это уже порядок большого человеческого и гражданского значения, и это порядок, находящийся в глубокой и органической связи со всей советской жизнью. В этом порядке и высота души, и женская судьба, и техника, и человеческая защищенность — все это как следствие строгих законов нового общества, как естественный результат великого нашего роста.

О повести «Флаги на башнях»

Встреча А. С. Макаренко с читателями

в Ленинградском Дворце культуры им. С. М. Кирова

Вступительное слово

Товарищи, я полагаю, что все или почти все присутствующие здесь товарищи прочли «Педагогическую поэму». Но другое мое произведение «Флаги на башнях», которое является продолжением «Педагогической поэмы», многие из вас, вероятно, не читали, поэтому о «Педагогической поэме» говорить не буду, а о последней книге дам некоторое объяснение.

В «Педагогической поэме» меня занимал вопрос, как изобразить человека в коллективе, как изобразить борьбу человека с собой, борьбу коллектива за свою ценность, за свое лицо, борьбу более или менее напряженную. В «Флагах на башнях» я задался совсем другими целями. Я хотел изобразить тот замечательный коллектив, в котором мне посчастливилось работать, изобразить его внутренние движения, его судьбу, его окружение.

Это счастливый коллектив в счастливом обществе. И я хотел показать, что счастье этого коллектива, нередко выражающееся в глубоко поэтических формах, заключается тоже в борьбе, но не в такой напряженной борьбе с явными препятствиями, с явными врагами, как было в колонии, а в борьбе тонкой, в движении внутренних человеческих сил, часто выражаемых внутренними, еле заметными тонами. Все это очень важные и сложные вопросы. Только в коммуне им. Дзержинского я особенно остро понял, почувствовал, что недостаточно охватил еще всю сложность процесса воспитания нового человека.

Этот процесс происходит не только внутри самого коллектива, он происходит во всем нашем социалистическом обществе¹. Это процессы труда и внутренних отношений, роста самого человека и, наконец, многочисленные чрезвычайно тонкие внутренние междумальчишеские и междуколонистские отношения. Все это я и стремился показать. Может быть, с такой задачей в произведении «Флаги на башнях» я и не справился. Решения этой задачи, вероятно, хватит не одному поколению. Но я обратил внимание, что мальчики и девочки в таком коллективе — это прежде всего граждане. И в этом заключается отличие наших детей от детей какого угодно общества... Чем больше гражданский долг связывается с их ростом и воспитанием, тем более полноценные воспитываются из них люди.

Это социальные движения, имеющие характер важнейших движений, и в то же время явно детские движения — они тоже движения в нашем обществе, в нашей борьбе и сопровождаются тем же удовлетворением, теми же правами, той же степенью благородства, и деликатности, и смелости и другими лучшими человеческими качествами.

Вот это я стремился показать, а как удалось, как вышло — судите вы, ибо очень часто бывает, что хочется написать и рассказать многое, но не всегда это удается. Только читатель может судить о том, насколько удачно получилось.

Каковы действующие лица этого произведения? Захаров, заведующий колонией, несколько старших колонистов-комсомольцев и бригада малышей, четвертая бригада. Это бригада мальчиков 10, 11, 12 лет...

В то же время они умели находить прекрасную середину, умели находить слушателей и не поддаваться давлению старших. Очень сложная конъюнктура. «Вечером 7-го Захаров с дежурным бригадиром... (читает) ... проходили мимо. Председатель: «Товарищи, теперь мы приступим к разговорам. Слово имеет т. Коваленко...»

Заключительное слово

Хвалиться мне неудобно, но могу прямо сказать, что мы со своей коммуной шагнули значительно дальше, чем вам кажется. Я действительно не считал и не считаю своих воспитанников «морально дефективными», и они не были дефективными ни одного дня.

Некоторым читателям хочется, чтобы воспитатели мучились, перековывая беспризорников в новых людей. Но я не мучился и не перековывал. Я достиг больших успехов в своей коммуне, достиг такого поло-



1. Билет А. С. Макаренко — члена Союза писателей СССР



2. А. С. Макаренко — помощник начальника отдела трудовых колоний НКВД УССР



3. Грамота А. С. Макаренко — ударника коммуну имени Ф. Э. Дзержинского



*4. А. С. Макаренко за рабочим столом
(30-е гг.)*



5. А. С. Макаренко (июнь 1934 г.)

6. А. С. Макаренко (1935 г.)



7. А. С. Макаренко (середина 30-х гг.)



8а. Дом, в котором жил А. С. Макаренко в Киеве (ул. Леонтовича, д. 6а) с 1935 по 1937 г.

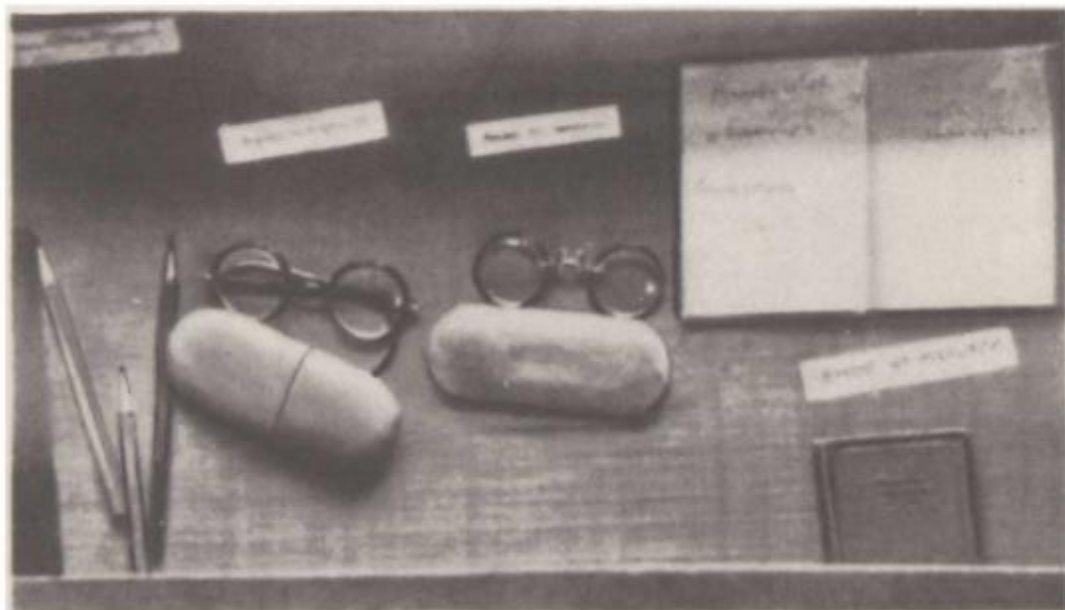


8б. Мемориальная доска

9. Рабочий стол А. С. Макаренко в московской квартире (Лаврушинский пер., д. 17/19), 1937—1939 гг.



10. Личные вещи
А. С. Макаренко
(экспонаты
Педагогическо-
мемориального
музея А. С. Макаренко
в г. Кременчуге)



Киев, 10 июля 1936.

Уважаемая Татьяна
Александровна!

Сегодня я получил Ваше письмо, от-
правленное через Социализм и семью и
людей. Я очень благодарен Вам за
искренний и открытый отзыв о некото-
рых моих и тенденциях „НП“, — поверьте
это для меня дороже самой квалифи-
цированной критики. В основном
моей благодарности отдалось Вам то
же искренно и точно подробно. Только
давайте по пунктам:

1. Ваше общее отношение к книге Вам
хочется ругать, и все таки Вы читали
и переживали книгу. Ами же, это меня
больше всего радует, это доказывает,
что к книге писателя презумпция и пред-
полагает отношение всегда пристра-
стное. Жизнь не состоит из одних иде-
альных вещей, и в этом ее прелесть.
Мало ли есть и есть и моя жизнь

11. Фрагмент письма
А. С. Макаренко
учительнице Т. А. Миллер



12. А. С. Макаренко (1938 г.)



13. Значок почетного колониста-горьковца (экспонат Педагогическо-мемориального музея А. С. Макаренко)

14. Скрипка, на которой играл А. С. Макаренко (экспонат Педагогическо-мемориального музея А. С. Макаренко)





15. Митинг в воинской части, второй слева воспитанник коммуны имени Ф. Э. Дзержинского З. С. Клямер (1945 г.)

16. Коммунары-дзержинцы (слева направо): З. С. Клямер, В. Г. Зайцев, В. Т. Цимбал (впоследствии Герой Советского Союза, посмертно), А. А. Яценко (1937 г.)





17. Воспитанник коммуны имени Ф. Э. Дзержинского В. И. Ключник (первый слева) на встрече со студентами и преподавателями МГПИ имени В. И. Ленина, крайний справа — известный советский педагог, профессор И. Т. Огородников (1948 г., кадр кинохроники)

18. Один из первых колонистов-горьковцев С. А. Калабалин с женой Г. К. Калабалиной (заслуженные учителя школы РСФСР), 1962 г.



жения, что мог брать группы по 50 человек прямо с вокзала. Мы брали только тех, кто путешествует в поездах. Я брал, скажем, сегодня вечером, а завтра я не беспокоился, и никто не беспокоился, как ведут себя вновь принятые дети в коммуне².

Вы скажете, что это чудо? Нет, это не чудо, это наша советская действительность.

Совершеннейшая правда написана во «Флагах на башнях», даже с сохранением фамилий, с сохранением событий и разговоров. Мы принимали много делегаций — советских и иностранных. Иностранные делегации удивлялись и не верили. Но наши советские люди не могли не верить; они понимали, что это был счастливый коллектив. За все 8 лет не было ни одного черного дня, не было ни одного несчастья. Я не хочу сказать, что это чудо. Это норма. И именно потому, что я в этой жизни жил, видел, ощущал каждый нерв, именно поэтому считаю себя вправе настаивать на этом. Я ни к какой фантастике не прибегаю.

Я считаю, что при нормальной организации детского коллектива он всегда будет похож на чудо. У нас в советской школе часто хулиганят в V—VI классах, в X классе учатся, а потом делаются студентами и летчиками. А сколько хулиганов? Ни одного. А сколько кричали, что в школе хулиганы!

Если имеется настоящая организация детского коллектива, то можно сделать настоящие чудеса.

Нам указывают на кинокартину «Путевка в жизнь», что вот, мол, какие ребята вредные, испорченные. Я бы сказал так: попал в нормальные человеческие условия и на другой день стал нормальным. Какое еще счастье нужно? Это и есть счастье! И так бывает всегда в хорошо построенном детском коллективе. Все дети любят дисциплину.

Что касается «Чести», то я не совсем согласен с оценкой, хотя это, может быть, самое бездарное мое произведение.

К сожалению, выступление т. Тихомирова сводится только к одной критике; своих мыслей он не дал. Повторяю, я не совсем согласен с плохой оценкой романа «Честь». Критика была построена на цитатах. А к чему это приводит? Т. Тихомиров процитировал мои слова: «Вы меня все знаете», мол, фамилия Макаренко. Эта цитата может быть приведена с некоторым изменением. Я только что приехал в Москву из Киева и на собрании сказал: «Вы меня не знаете, моя фамилия Макаренко». Это записано в стенографическом отчете данного собрания.

Теперь несколько замечаний по отдельным выступлениям.

Товарищ, читавший «Флаги на башнях», ставит некоторые вопросы, характеризующие его как читателя вдумчивого, но все-таки вопросы недоуменные. К сожалению, ответить на них развернуто я не в состоянии за неимением времени. Отвечу кратко.

Почему я не удерживал Воленко, когда он решил уйти из колонии? Да по традиционной педагогике я должен был его удерживать. По нашей, советской педагогике его надо было удерживать. Я не боюсь риска и знаю, что перемена обстановки бывает очень полезна, иногда полезна, иногда полезно пережить то или иное потрясение. Вот поэтому я не за-

хотел удерживать Воленко. Он считал себя ответственным за то, что в его бригаде происходит кража. Колония считала его ответственным. Это совершенно необычное для старой педагогической логики явление, чтобы в детском коллективе считали бригадира ответственным за кражи. Но в бригаде Воленко были воры, потому что Воленко — мягкий человек, всепрощающий человек. Он не мог оставаться в колонии со спокойной совестью, должен был уйти. Это было требование, его собственное требование к себе. Я понимал, что уход из колонии был для него тягостным, но я хотел, чтобы он пережил это. Очень хорошо, когда человек предъявляет к себе большие требования, это воспитывает человека. У многих наших педагогов есть такое ошибочное желание не слишком перегружать человека требованиями к себе или вообще совсем не перегружать, а все расписать, как и что нужно сделать. Я с этим не согласен и поэтому не удерживал Воленко в колонии.

Кто такой Рыжиков? Это не сознательный вредитель, но по натуре пакостник.

Почему я не применил никаких методов? Главнейший метод — это была вся колония, все общество, весь коллектив. Ни я, ни другой педагог никакими уговорами не можем сделать того, что может дать правильно организованный гордый коллектив. Рыжиков ничего не смог усвоить даже в этом коллективе. К сожалению, сейчас об этом распространяться я не могу и в романе не распространяюсь. Об этом я напишу в той большой серьезной книге, которую задумал написать о методике коммунистического воспитания.

Относительно перековки. Товарищ спрашивает, почему я не показал перековки Игоря? Трудно показать, когда не было этой перековки, не было у меня дефективных людей; приходили люди несчастные, им трудно жилось в тех условиях, в которых они жили раньше. Я не верю в то, чтобы были морально дефективные люди. Стоит только поставить в нормальные условия жизни, предъявить ему определенные требования, дать возможность выполнить эти требования, и он станет обычным человеком, полноценным человеком нормы. Мы это хорошо понимали, и, когда мы брали с вокзала 30—35 человек новых воспитанников, мы выходили на вокзал всей колонией в 400 человек в парадной форме с оркестром. Мы их встречали салютами, знаменами и маршем. Они этого не ожидали. И это внимание, эта любовь уничтожали немедленно всю дефективность. Ну какая тут может быть дефективность? Я считаю, товарищи, что бывают только дефективные методы, а дефективных людей не бывает.

Я получил интересную записку: расскажите в своем заключительном слове *об отношении к педагогической общественности*. Если под общественностью понимать учительское общество, то я не предполагал бы, что у нас могли быть плохие отношения. Я любил учителей. А если под педагогической общественностью понимать тех людей, которые по разным причинам почему-либо оказывались «мудрецами» педагогики, то наши отношения известны.

Я стою за общественность в педагогике. Когда я воспитываю человека, то должен знать, что именно выйдет из моих рук. Я хочу отвечать за продукцию свою и моих сотрудников, за будущих инженеров и масте-

ров, за всю эту организацию, за летчиков, студентов, педагогов. За эту продукцию я несу ответственность.

Но для того чтобы можно было отвечать за свою продукцию, нужно в каждый момент своей педагогической жизни знать, чего я хочу и чего добиваюсь.

Среди наших педагогических руководителей оказались и враги народа, которые охотно пользовались порочной логикой: такое-то средство якобы обязательно приводит к таким-то результатам. Поэтому это хорошее средство. Проверка опытом здесь и логически не допускалась.

Я повторяю, что если ребенок становится хулиганом, то в этом виноват не он, а виноваты педагогические методы.

В «Педагогической поэме», изданной в 1933 г., сказано, как я относился к педологам; я педологов всегда ненавидел, никогда этого не скрывал, и они боялись со мной встречаться. Однажды они пожелали проверить организованность нашего коллектива и начали задавать ребятам вопросы: «Представьте, у вас есть лодка, она затонула. Что вы будете делать?» Ребята на это ответили: «Никакой у нас лодки нет, и ничего мы делать не будем». Следовательно, коллектив наш прекрасно знал, что такое педология. Ребята очень хорошо знали, что это такое. Детский коллектив может знать и о педологии, и о педологах и может отвечать за свое к ним отношение.

Интересный вопрос относительно Задорова. «Неужели вы думаете, что этот метод принес пользу?» — спрашивает меня автор записки. — Конечно, никогда я этого не думал. Это было полное отчаяние, бессилие. Если бы на месте Задорова был кто-нибудь другой, может быть, это привело бы к катастрофе, но Задоров был благородным человеком, он понял, до какого я дошел отчаяния, он нашел в себе силу протянуть руку и сказать: «Все будет хорошо». Разве этого не видно? Если бы я ударил того же Волохова, то мог быть им избит. Я был действующим лицом, а победителем Задоров, и только благодаря ему я мог сохранить авторитет, он поддержал меня. Вот в чем заключается успех, а не в том, что я ударил. Разве удар — метод? Это только отчаяние.

Меня спрашивают: *«Преподавателем какой дисциплины я был раньше?»* — До колонии я в школе преподавал историю³.

Где я сейчас работаю? — По состоянию здоровья и по другим причинам сейчас нигде не работаю, только пишу.

Где бы я хотел работать? — Я бы хотел работать в так называемой нормальной школе. Семейные дети в тысячу раз труднее беспризорных. У беспризорников никого не было, только я один, а у семейных есть мама и папа в запасе. И вот с этими-то нормальными детьми я бы очень хотел поработать.

Автор записки спрашивает, *за какие я стою наказания?* — Я ни за какие наказания не стою, но в колонии я применял наказания. Вот тот же самый Ключник был командиром первого комсомольского взвода, и ему попадало гораздо чаще, чем кому-нибудь другому. Почему? Да потому, что он был командиром и на него возлагалось больше ответственности, с него больше спрашивалось, чем с кого-либо другого. Такие наказания, которые выражают одновременно и уважение к человеку, и требование к нему, я считаю возможными, когда они применяются умело, а вообще

наказание в большом масштабе мне не приходилось применять. У меня был хороший коллектив.

Говорят, что недостаточно уделено внимания отношениям между девочками и мальчиками. Верно, это трудный вопрос. Я всегда был уверен, что не отдельное личное влияние определяет отношения, а организация. Я постарался, чтобы у меня не было половины девочек и половины мальчиков, так как я знал, что тут я уже ничего не сделаю. У меня было 25% девочек. На одну девочку приходилось по два мальчика. В таком положении особых «любвей» быть не могло.

В первое время существования коллектива комсомольской организации не было. Если я видел, что молодой человек слишком увивался за какой-нибудь воспитанницей, судьба которой мне дорога, то я вызывал его и говорил: «Брось, понимаешь, брось». Он говорил: «Понимаю».

Это я вам говорю по секрету, и вы никому не рассказывайте. Это ни в какой мере не педагогично, но это приносило большую пользу. Меня боялись.

Одно время я начал либеральничать и прозевал. Вижу такие парочки, которых не разгонишь. «Влюблен, не могу». Я очень испугался. Восемнадцатилетний мальчик, шестнадцатилетняя девочка — ну какая тут может быть любовь? Какая любовь в 16 лет!

Комсомольская организация встала на мою сторону. Мы стали агитировать, уговаривать, собирать и говорить: «Рано, подождите, тебе кажется, что это любовь». Кое-кого уговорили, а кое-кого и не уговорили.

Тогда мы нашли блестящий метод: влюблен — женись! Что же получается? Беззаботная юность, а тут нужно пойти и на базар, и в очередь за галошами. Сразу обнаружилось, что характеры как-то не подходят.

Начнет какой-нибудь парень увиваться за девочкой. Ты влюблен? Женись!

— Нет, нет, — говорит, — не влюбился.

Мы пришли к норме. Гриша влюблен в Валю. Влюблен, ну и хорошо. Гуляет, разговаривает. И очень многие парочки потом ушли в вуз и только на курсе поженились. Такая духовная любовь хорошо действует на характер и на самоопределение человека. Это я считаю нормой.

Какое я принимал участие в составлении учебника педагогики? — Меня пригласили профессора помочь им написать учебник. Я ответил согласием, но при условии, если они ответят на один вопрос: будем мы писать педагогику сегодняшнего дня или завтрашнего? Они сказали, что не могут писать педагогику завтрашнего дня. Тогда я сказал — пока вы будете писать педагогику сегодняшнего дня, жизнь вас перегонит, и в результате вы напишете педагогику не сегодняшнего, а вчерашнего дня⁴.

Что касается замечания, будто «Книга для родителей» не нужна, то оно не совсем правильно. Хотя родители и взрослые люди, но не всегда знают, как им поступать со своими детьми. Неправильно считать, что взрослому человеку нечему учиться.

Также неправильно мнение, что взрослая девушка не должна поцеловать человека, который ей помог. Почему не должна, что же тут предосудительного?

Об Игоре, что он сейчас делает? — Игорь учится, любит отца, уважает его, любит Оксану, и они, наверное, поженятся.

Останавливаться на больших проблемах я сейчас не могу, но должен сказать: ваше внимание, указания и замечания очень помогают в моей работе, и я эти указания использую.

Письмо А. Ромицыну

Москва, 21 октября 1938 г.

Уважаемый тов. Ромицын!

Я поехал в Ленинград и заболел, поэтому отвечаю с опозданием, прошу прощения.

Сценарий могу представить Вам не раньше, как к 1 февраля.

Как и раньше просил, так и теперь прошу избавить меня от представления либретто. Что касается так называемой тематической завязки, то не выберете ли Вы одну из следующих программ:

1. **Тема семьи и школы**¹. Сюжет выражается на фоне трех коллективов: не вполне благополучная семья, не вполне благополучная школа и школа вполне благополучная. В семье намечается разлад, причины которого лежат в неравновесии характеров, в прямой, бестактной придирчивости и суровости отца и в неряшливой доброте матери. Центральный герой — мальчик 14 лет. В семье он проявляет себя хмурым и слепым эгоистом, хотя на самом деле он хочет любить и отца, и мать. В школе он выступает как дезорганизатор. Другие дети проявляют в семье оттенки того же характера, а в школе они намечают линии приспособляемости, на самом деле их развитие для зрителя идет совершенно нездоровым путем. Школа пытается воздействовать на мальчика при помощи обращения к родителям, этот путь только усиливает конфликт.

Дело кончается исключением мальчика из школы, усилением драмы в семье. Мальчик переходит в другую школу, в которой уже учится его старшая сестра. Вторая школа отличается от первой явной бодростью и требовательностью школьного коллектива и целеустремленной линией педагогов. Директор школы, посетив семью, понимает, что нельзя от этой семьи ждать помощи, а, напротив, школа сама должна помочь семье и главным проводником помощи должен быть сын. Несмотря на то что мальчик и в этой школе начинает с протеста и нарушения дисциплины, директор школы и педагоги, а также старшие ученики с большим доверием встречают его и этим способом вскрывают у него и большие личные силы, и большие запасы настоящего характера. Они подготавливают перелом в общих представлениях мальчика. Мальчик в один прекрасный день начинает помогать матери, и это производит сильное впечатление на всю семью. Отец начинает видеть в сыне личность. Перестройка семейных отношений получается настолько убедительная, что отец сам отправляется в школу, чтобы окончательно выяснить для себя некоторые детали своего семейного быта.

2. **Тема настойчивости и уступчивости**². Основанием для развития темы являются два характера, выраженные в четырех лицах друзей: два мальчика 15 лет и две девочки приблизительно того же возраста или несколько моложе. Сюжет несколько приближающийся к комедии. Приключения героев происходят в школе, семье и на улице. Общий вывод, что ни-

какие достоинства настойчивости и уступчивости не решают вопроса без принципиальных отношений к действительности. Эта принципиальность рождается только как результат расширения политического и нравственного кругозора.

Прошу сообщить, какую тему Вы предпочитаете. 28 уезжаю в Кисловодск и там думаю писать. Мой адрес в Кисловодске: санаторий КСУ им. М. Горького.

Очень прошу срочно возвратить в Москву сценарий «Флаги на башнях» — он мне нужен до зарезу.

Привет. А. Макаренко

Ответ товарищу А. Бойму

Очень возможно, что мои высказывания в статье «Стиль детской литературы» в журнале «Детская литература» № 17 могут и должны вызывать возражения. Это совершенно естественно, если вспомнить, что у нас чрезвычайно мало работ по теории детской литературы и даже ее специфика как следует нигде не разработана. В своей статье я опирался исключительно на свой учительский опыт, на педагогические мои представления о том, как дети читают книги и что они от детской книги требуют. Чрезвычайно интересны и требуют внимания те обстоятельства, которые сопровождают переход читателя от детской литературы к литературе общей. Нигде не исследовано, как совершается этот переход, что дети принимают, чего не принимают, что читают с увлечением, что с трудом, что их особенно увлекает, что вызывает особенную скуку. Вообще в этой области очень много всяких вопросов, которые, вероятно, просто невозможно разрешить, если отказаться от наблюдения за детским чтением, от регистрации массовых явлений в этой области.

Весь смысл выступления т. А. Бойма в том и заключается, что в своей статье «Откровения А. Макаренко» в номере «Комсомольской правды» от 2 декабря он не хочет признавать никаких вопросов, никакой проблемности в области детской литературы. По совести говоря, из его статьи можно сделать только одно заключение: никакой детской литературы просто не нужно, тем более не нужно никаких статей, посвященных вопросам стиля детской литературы. Т. А. Бойм склонен ограничиться в этом деле довольно коротким и с внешней стороны убедительным лозунгом: литература должна быть высокохудожественной! Но такой лозунг, в справедливости которого, разумеется, нельзя сомневаться, приложим ко всякой литературе, но и совершенно не определяет, чем же все-таки отличается стиль детской литературы от литературы общей и должно ли иметь место такое различие.

Допустим, в своей статье я высказал несколько спорные положения. Почему бы т. А. Бойму не возразить мне с той серьезностью, которая вполне уместна в такой важной теме? Почему т. А. Бойм прежде всего заподозрил наличие у меня столь же добрых намерений, какие есть у него? Вместо всяких возражений т. А. Бойм зажимает мне уста довольно неприветливым кляпом: «Детская литература должна быть высокохудожественной... и прекратите разговоры!»

Правильно ли это? Достаточно ли одного лозунга о высокой художественности, совершенно, впрочем, справедливого и делающего честь добрым немерениям и эстетической выдержанности т. А. Бойма? Совершенно очевидно, что одного такого лозунга недостаточно и что разработка вопросов теории детской литературы должна иметь место на страницах нашей печати. Протест т. А. Бойма против самих попыток такой разработки имеет вид довольно странный и... несовременный. При этом протест не сопровождается никакой аргументацией — нельзя же считать аргументом указание на то, что дети читают «Ромео и Джульетту», Тургенева, Чехова и Л. Толстого. Совершенно верно, в известном возрасте дети начинают читать этих авторов и вообще переходят к общей литературе. Что же отсюда следует? Следует только то, что дети становятся более взрослыми, но вовсе не следует, что «Ромео и Джульетта», или «Дворянское гнездо», или «Скучная история» относятся к детской литературе. Вопрос об особенностях этой литературы все же остается вопросом, и я думаю, что позволительно людям иногда по этому вопросу высказываться.

Стоя все на той же высокохудожественной позиции, тов. А. Бойм обвиняет меня в том, что я призываю: «нельзя ли попроще». Поскольку в таком призыве нет еще ничего предосудительного, т. А. Бойм делает нарочно страшное лицо и усиливает обвинение фразеологически: «призывы к упрощенчеству и к обеднению детской литературы». Это уже звучит, это низвергает меня, так сказать, в пучину преступления, а т. А. Бойма характеризует, напротив, с лучшей стороны, как защитника высокохудожественной детской литературы.

Позволю себе высказать предположение, что эти ужасы несколько излишни. Дети вырастут и начнут читать Тургенева и Чехова. Некоторые сделают это раньше, некоторые позже, и все же детская литература останется детской литературой. Чтение двенадцатилетнего мальчика или тринадцатилетней девочки должно все же чем-то отличаться от чтения взрослого. Высокая художественность детской книги должна быть высокой, но выражаться она должна в своеобразных формах, особенных, свойственных имен о детской книге. Старшие дети могут увлекаться пейзажем Тургенева, но это вовсе не значит, что специфические детские писатели должны повторять «пейзажные» приемы Тургенева. Почему нельзя допустить, что в пейзаже детской книги должны быть свои методические особенности, несколько, однако, не уменьшающие художественной высоты изображения. Лично я, например, считаю художественное выполнение детской книги настолько трудным и требующим такой высокой писательской квалификации, что сам не решаюсь написать книгу для детей¹.

То же самое можно сказать и о других приемах, которых я касался в своей статье. Я указал на желательность более быстрого становления образа. Т. А. Бойм вместо того, чтобы обсудить мое предложение, просто поднял крик... караул!

Вопросы стиля детской книги заслуживают серьезного и спокойного внимания, и нельзя от них отделываться простым и довольно оскорбительным окриком. Нельзя встречать авторов, высказывающихся по этим вопросам, обидно намекающими ужимками, подобными тем, которые позволил себе т. А. Бойм по поводу моего утверждения, что детям можно пред-

лагать любые темы, даже темы о «половой любви». Т. А. Бойм заливаются краской и стыдливо отворачиваются: «Ромео и Джульетту» читать можно, а половая любовь... какой пассаж! Неужели т. А. Бойму до сих пор неизвестно, что «Ромео и Джульетта» рассказывает именно о половой любви, что этим двум героям платоническая любовь отнюдь не импонирует. Ведь я не призывал разрабатывать тему о половом сожитии, а именно о любви. Если в детской книге говорится, что герои любили друг друга и сочетались законным браком, то здесь тоже идет речь о половой любви, и вовсе не нужно представлять это дело так, чтобы дети ни о чем не догадались. Безусловно, в своей чопорности т. А. Бойм перегнул палку, а это доказывает, что он тоже может ошибаться. А мои ошибки, пока еще не доказанные, а только возможные, т. А. Бойм встретил совершенно необъяснимой и высокомерной враждебностью. Он расправляется со мной при помощи убийственно остроумных словечек «законотворчество», «глубокомысленный», «поучает». Наконец, т. А. Бойм без всякой уже связи с вопросом о детской литературе утверждает, что я «возомнил себя монополистом в толковании основ марксистской педагогики». Откуда он знает, чем я себя возомнил? И почему «монополистом»? Каким образом я могу помешать т. А. Бойму или кому угодно другому выступать с изложением их педагогических взглядов? Ведь я не руковожу никаким педагогическим журналом, не работаю ни в каком научном учреждении, не имею ни одного труда с претензией на курс или на учебник.

Тон т. А. Бойма невольно заставляет меня думать, что в своей статье т. А. Бойм не столько заинтересовался вопросами детской литературы, сколько хотел надо мной учинить ничем не мотивированную расправу.

Письмо в редакцию «Литературной газеты»

Глубокоуважаемая Ольга Сергеевна!

Прошу Вас передать т. Мих. Лоскутову¹ мою горячую благодарность за благородный товарищеский тон его статьи «Два писателя». После зашатательства т. Бойма этот тон особенно для меня приятен.

Это вовсе не значит, что я во всем согласен со статьей т. М. Лоскутова. Между прочим, и в романе «Флаги на башнях» вовсе не отразилась моя мечта. Все описанное в романе есть настоящая советская действительность, почти без выдумки. Как видите, в этом случае повторяется анекдот, известный по главному своему выражению: «не может быть». Но это, конечно, категория не литературного порядка.

Привет. А. Макаренко

Книги, которых я жду

Я люблю больше психологические романы. Чувства, страсти людей меня всегда очень интересовали и в жизни, и в литературе. Мне кажется, что писатели слишком мало пишут о переживаниях своих героев, описывая главным образом факты, события, т. е. то, что происходит вокруг людей, а не в людях.

В книге описывается разворот потрясающих событий, с кинематографической быстротой сменяющих друг друга.

...Вступает в строй новый цех завода. Герой влюбляется и тут же женится, совершает героический поступок и получает орден, раскрывает вредительство и спасает завод от аварии, у него рождается ребенок и т. д.

Все это события огромной важности! Каждое из них может потрясти человека. Но в книге вы не ощущаете даже волнения героя.

Очень хочется прочесть книгу, где были бы настоящие переживания, которыми наполнена жизнь каждого из нас.

Очень хочется прочесть роман о современной семье, о нашей советской женщине, которая глядела бы со страниц книги живым лицом обыкновенного хорошего человека, а не штампованным образом «дежурной героини», наделенной всеми добродетелями.

Я люблю городскую тематику. Меня интересует жизнь людей большого города.

Жаль, что Шолохов пишет только о деревне. Именно от этого писателя, который с необычайной глубиной и яркостью анализирует переживания своих героев, можно ждать той книги, о которой я мечтаю.

Но наша действительность хороша именно тем, что она опережает мечтания и с каждым днем выявляет все новые таланты среди советских людей всех профессий.

И моя литературная мечта, высказанная в этот новогодний день, очевидно, сбудется, осуществленная, быть может, не известным еще писателем, который сейчас водит самолет, учится в вузе, работает где-либо в учреждении или, быть может, на Урале исследует горные залежи.

Медынский Г. А. «Бубенчики»

Мне кажется, что повесть Медынского можно печатать. Ее достоинства представляются мне в следующем комплекте:

1. Она правильно, без усиления и подкраски, изображает нашу современную школу. Общий колорит советской молодежи изображен в ней свободно и в общем оптимистично, вполне соответствуя нашей действительности. Типы юношей и девушек вышли у Медынского очень живыми и симпатичными, срывы и уклоны показаны так, что не внушают паники, а в то же время ставят серьезно воспитательные проблемы. Хорошо и художественно показаны те трудности, которые имеются в школе в деле создания классного коллектива.

2. Интересно затронуты вопросы отношения семьи и школы и правильно намечены некоторые типы родителей, безусловно существующие у нас.

3. В общих чертах показана инертность и неслаженность педагогического коллектива при одновременном наличии хороших педагогов.

4. Есть достаточно указаний на качества хорошего учителя, и правильно изображен тот цикл напряжений и состав мыслей, в области которых приходится учителю работать.

Принимая все это во внимание, думаю, что напечатание повести будет вообще полезно, несмотря на многие и существенные недостатки, которые, вероятно, будут указаны критикой — и общей, и специальной. В то же время

думаю, что автор не в силах будет предварительно эти недостатки исправить, так как не обладает необходимой для этого педагогической культурой.

Недостатки эти следующие:

1. У автора нет никаких представлений о возможности улучшения школьной организации как целого. Он мыслит в тех рамках, в каких мыслит и его главная героиня Мария Митрофановна, — в пределах одного класса, а еще чаще в пределах индивидуальной истории отдельного ученика. Иначе говоря, у автора нет педагогически-философских (марксистских) обобщений, как нет их и у Марии Митрофановны. И автор и Мария Митрофановна пробавляются злободневными житейскими соображениями, которые, будучи по существу правильными, не выходят все же за границы самой узкой эмпирики сегодняшнего дня.

2. Образ учительницы Марии Митрофановны вышел в общем слабым и, к сожалению, даже малосимпатичным. У нее всегда ощущается некоторый уклон в обыкновенную учительскую вульгарность: словечки, остроты, некоторая склочность по отношению к коллегам, самомнение, рассудочность и не всегда со вкусом сделанная и небогатая афористичность. Самая деятельность Марии Митрофановны, если не учитывать ее преподавание в классе, несмотря на усилия автора, представляется однако малоэффективной. Она ограничивается чисто словесным прикосновением к тому или другому «несчастному» случаю, возникающему в семье или в классе. Организующего влияния, настоящего воспитания, создающего характеры и предупреждающего «несчастные» случаи, у Марии Митрофановны нет. Нет никакой борьбы и за единство педагогического коллектива, напротив, Мария Митрофановна скорее имеет склонность порадоваться неудачам соседа-педагога.

3. Заметна в книге пренебрежительность педагога к родителям. Все родители представляются более или менее беспомощными... Положительной семьи не изображено.

4. Повесть нужно сократить. Выборы в Верховный Совет сюжетно слабо связаны с темой. Есть и другие длинноты.

Записки педагога

Г. Семушкин определил свою книгу «Чукотка» очень скромно — записки педагога. Еще скромнее эта книга сделана. Нельзя привести ни одного места, где автор соблазнился бы чисто словесной игрой, захотел бы украсить свой рассказ новым сравнением, стилевым приемом или лирическим отступлением. Трудно найти в книге Г. Семушкина и формальные признаки того, что мы обычно называем образом. Литературный критик, обладающий старомодным высокомерием, отнесет книгу Г. Семушкина к разряду очерков на этнографическую тему и забудет о ней — она как бы выпадет из привычных рамок художественного произведения.

Однако, несмотря на резкую определенность темы и отсутствие формальных художественных претензий автора, «Чукотка» является художественным произведением с очень широким тематическим захватом, гораздо более широким, чем этнографический очерк.

В своей книге Г. Семушкин рассказывает о том, как небольшая группа русских, советских учителей прибыла в «Культбазу», расположенную в дикой тундре среди не тронутых никакой культурой чукотских стойбищ. Учителя начали работать в школе, впервые организованной в этих краях. Чукчи не знали, что такое школа, не знали они и русского языка. Учителя же не знали языка чукотского. Никакой письменности, никакого понятия не только о книге, но даже о бумаге у чукчей не было. Таким образом, предприятие советских учителей с самого начала представляется состоящим из сплошных противоречий довольно трагического свойства. Если бы «Чукотка» написана была не советским учителем, если бы она изображала некую «культурную» миссию в буржуазном обществе, она имела бы вид совершенно иной. Она изображала бы, с одной стороны, непобедимую отсталость «дикаря» и, с другой стороны, высокомерный героизм «просветителей».

Г. Семушкин ничего не прикрашивает в чукотском быту. «...В углу тикал будильник, подвешенный за колечко на оленьих жилах. В обычное время этим будильником никто не пользовался. Люди отлично распределяли время и без часов. Будильник висел «для хорошего тона». Только перед приездом русских Ульхвургын брал его за «ухо» и накручивал. Теперь он исправно «тикал», и не удивительно поэтому, что время, показываемое будильником, ничего общего с настоящим не имело.

...Будильником этот представитель Советской власти здесь пользоваться не мог. Он только все это видел в квартирах культбазы, на пароходах и теперь подражал, как умел. Настоящее, сознательное представление обо всех этих вещах Ульхвургын получил позже, на своем родном языке, от будущих школьников из его стойбища».

В этом отрывке замечательно поданы и тема, и стиль, и тон книги Г. Семушкина: чукчи очень отстали в культуре, для преодоления их отсталости требуются героические усилия, но во всем этом ни сам Семушкин, ни его коллеги, ни другие работники культбазы не видят ничего особенного.

Семушкин изображает чукчей с настоящей товарищеской симпатией. В его тексте всегда чувствуется глубокая уверенность в том, что чукчи — самые обыкновенные люди, ничем принципиально не отличаются от других людей.

Их отсталость — категория исключительно историческая. На эту тему у нас достаточно писалось и говорилось, но редко кто это умеет делать с такой высоконравственной убедительностью и так просто, как это делает Семушкин.

Если в книге Семушкина нет разработанных индивидуальных образов, то в ней есть замечательно сделанный образ чукотского народа, веками заброшенного в холодной тундре, веками оскорбляемого и обижаемого и тем не менее сохранившего в чистоте умственную, нравственную и физическую энергию. Главное впечатление, какое получается из рассказа Семушкина, — это прекрасная, счастливая эпоха, когда от такого глубокого, векового сна так просто и с таким радужным спокойствием просыпается целый народ. Чукчи сопротивляются «вторжению» культуры, они еще цепляются за шаманов, они еще боятся злых духов, они недоверчиво, а иногда и панически относятся к школьному начинанию культбазы. Но Семушкин умеет с пленительной точностью изобразить характер этого сопротивления:

в этом сопротивлении наряду с привычным подозрительным отношением так ясно видишь добродушную доверчивость к новому, большие человеческие способности, расправляющиеся плечи освобожденного народа. И хотя Семушкин не произносит никаких филиппик по адресу вековых угнетателей чукчей и им подобных, у читателя возникает неожиданное и гневное обращение к ним, к тем, кто виноват в отсталости этих народов и кто и сейчас продолжает эту темную линию мракобесов.

Это общее впечатление от книги Семушкина усиливается той совершенно исключительной скромностью, с которой он изображает советских работников. Нет ни одной строчки, ни одного слова, которые пытались бы изобразить их работу как нечто героическое. Скорее можно обвинить Семушкина в том, что работа этих людей представлена чересчур скупой — обыкновенной советской работой, ничего особенного. Никакого самомнения, никакой позы, ни одного слова хвастливого, ни одного штриха, говорящего об усталости, напряжении, колебании. С бытовой стороны в книге показаны ничем не выдающиеся, прекрасные советские будни, именно поэтому книга дышит такой светлой уверенностью, такой основательностью и так убедительна.

Для того чтобы книга говорила так много и так впечатлительно, нужно иметь настоящее дарование художника. Семушкин достигает цели не словесными ухищрениями, не украшениями текста, а очень тонкой организацией материала; у него в книге главное — колорит: колорит природы, людей, настроений, идей и уверенности.

Открытое письмо товарищу Ф. Левину
(см.: «Литературный критик», № 12; Ф. Левин.
«Четвертая повесть А. Макаренко»)¹

Уважаемый товарищ Левин!

В статье своей Вы вспоминаете:

«Наша критика, и автор этих строк в том числе, приветствовала появление «Педагогической поэмы».

Давайте уточним. Вы и другие критики «приветствовали» мою первую книгу... через 2—3 года после ее появления. Между прочим, в Вашей статье было и такое выражение:

«...материал, столь несовершенный по своему художественному мастерству...»

Признавая некоторые достоинства моей книги, Вы тогда довольно решительно настаивали:

«...профессиональные писатели имеют гораздо бóльшие возможности создать исключительные, замечательные книги».

Вы упомянули о некоторых правилах и канонах, якобы известных профессиональным писателям и не известных мне.

Несмотря на общую хвалебность Вашей тогдашней статьи, я почувствовал, что Вы относитесь ко мне с высокомерным снисхождением «профессионала». Между делом у Вас промелькнули довольно выразительные, намекающие словечки: «фактография», «материал вывозит».

Подобное к себе отношение я встречал и со стороны других «профессио-

налов» и уже начал привыкать к своему положению «фактограф». Совсем недавно в журнале «Литературный современник» была напечатана эпиграмма (не помню автора), в которой была такая строка:

«Сначала брал он факты только...»

Можно привыкнуть, не правда ли?

Теперь Вы выступили со статьей по поводу «Флагов на башнях». В этой статье, даже не приступив к разбору моей повести, Вы более или менее деликатно припоминаете, что «некоторые молодые авторы плохо учатся и плохо растут», что «одну неплохую книгу может написать почти всякий человек», что «даже весьма удачная книга, описывающая яркий период жизни самого автора, еще не делает его литератором» и т. п.

Одним словом, Вы продолжаете свою линию, намеченную еще в 1936 г., — линию исключения меня из литературы.

Я хочу знать, с достаточным ли основанием Вы это делаете.

Ликвидация меня как писателя — дело, конечно, серьезное, и я в качестве лица заинтересованного могу требовать, чтобы Вы сделали это солидно, с профессиональным мастерством, опираясь на те «правила и каноны», о которых Вы упоминали 2 года назад. В известной мере в этих «правилах и канонах» и я могу разобраться, ибо еще пушкинский Варлаам², попавший в положение, подобное моему, сказал:

«...худо разбираю, а тут уж разберу, как дело до петли доходит».

В моей повести «Флаги на башнях» Вы указываете, собственно говоря, один порок, но чрезвычайно крупный: повесть — это «сказка, рассказанная добрым дядей Макаренко». Все в ней прикрашено, разбавлено розовой водой, подправлено патокой и сахарином, все это способно «привести в умиление и священный восторг самую закоренелую классную даму института благородных девиц, самую строгую «цирлих-манирлих».

Если отбросить все эти Ваши «критические» словечки: «сахарин», «патока», «классная дама», «священный восторг» (удивительно, как это Вы не вспомнили Чарскую³, по некоторым «канонам» это полагается), то остается чистое обвинение меня в прикрашивании действительности.

Вас это страшно возмущает. Вы не допускаете мысли, что такая счастливая детская жизнь возможна в Советском Союзе. Вы думаете, что рассказанное мною — сказка (Лоскутов в «Литературной газете» думает, что это моя мечта).

Приходится мне раскрыть карты с опасностью на всю жизнь остаться «фактографом». «Флаги на башнях» — это не сказка и не мечта, это наша действительность. В повести я описал коммуну им. Дзержинского, которой руководил 8 лет. В повести нет ни одной выдуманной ситуации, очень мало сведенных образов, нет ни одного пятна искусственно созданного колорита.

С некоторым расчетом на смертельный удар Вы пишете и цитируете:

«Ведь он и в самом деле попал во дворец из сказки, рассказанной добрым дядей Макаренко».

Сказка начинает разворачиваться сразу. «Между цветами проходили яркие золотые дорожки, на одной из них, поближе к Игорю, шли две девушки, настоящие девушки, черт возьми, хорошенькие и нарядные...»

Между нами говоря, даже по литературным канонам, я мог бы это и выдумать, что же тут особенного: цветы и золотые дорожки, две девушки,

которые показались Игорю хорошенькими. Но мне не нужно было выдумывать: в колонии, которую я описываю, был гектар замечательного цветника, лучшая в Харькове оранжерея, и были хорошенькие девушки. Мне в голову не могло прийти, что для хорошеньких девушек в литературе существует какая-нибудь зверская процентная норма, ибо в жизни, допустим, в советской жизни, такие девушки — довольно распространенное явление. И жили мои колонисты, представьте себе, во дворце, в специальном здании, нарочно для них выстроенном хорошим архитектором, светлом, красивом, удобном. Это могут подтвердить товарищи Юдин, Гладков, Безыменский⁴, которые в этом здании были и все видели.

Я вот не знаю, можно ли по литературным канонам представлять список свидетелей, но что же мне делать, если Вы не верите?

В этом и есть главный момент нашего расхождения: Вы не верите, что это возможно, а я утверждаю, что это существует, возможно и необходимо. И чувствуем мы с Вами по-разному. Я утверждаю потому, что я **знаю, хочу и требую** от других. Вы не верите потому, что это не соответствует Вашим литературным вкусам.

Вы разбираете мою книгу исключительно с точки зрения литературного профессионала. А я бы хотел, чтобы Вы посмотрели на нее и с точки зрения советского гражданина. Ибо в последнем счете я могу поставить далеко не лишний вопрос: если Вы изображенный мною, хотя бы и фактографически, кусок нашей жизни обливаете презрительным сомнением и посылаете меня с таким изображением к классным дамам, то во что же Вы сами верите? И какое значение в таком случае имеют литературные каноны, которые пользуются и моим некоторым уважением?

Например, такой «канон», как тема.

Вы, профессиональный критик, не заинтересовались такими важными «канонами», как тема, содержание книги, система идейной нагрузки повести, авторское утверждение, авторское требование.

На какую тему написана моя книга? По странному недоразумению Вы не занялись этим вопросом. Без какого бы то ни было анализа вместо моей темы Вы подставляете свою и с точки зрения своей темы требуете от меня экзотических подробностей «перековки», а я и не думал о такой теме. Вот сравнение.

Ваша тема

Колония, в которой живут дети, «изуродованные и искалеченные беспризорностью», с трудом поддающиеся «исправлению», и педагоги, с опасностью для жизни, с нечеловеческим напряжением совершающие свой педагогический подвиг. Колония растет мучительно от катастрофы к катастрофе, от провала к провалу. Педагогика здесь еще не уверена в себе и технически несовершенна.

Моя тема

Образцовый воспитательный советский коллектив, давно сложившийся, растущий материально и духовно на основе больших концентрированных коллективных сил, обладающий традицией и совершенной формой, воору-

женный тончайшей педагогической техникой — социалистической, — детский коллектив, в котором срывы и катастрофы невозможны (и нежелательны, хотя бы это и нравилось литературным критикам).

Товарищ Левин! Ваша тема уже прошла 10 лет тому назад — это тема «Педагогической поэмы». Тема нашего времени, вполне назревшая, оправданная жизнью, а для меня — и моим опытом, — счастливый детский коллектив, свободный от антагонистов и настолько могучий, что любой ребенок, в том числе и правонарушитель, легко и быстро занимает правильную позицию в коллективе. Тема «Флагов на башнях» ничего общего не имеет с темой «Педагогической поэмы». Между прочим, Вы и сами кое-что заметили в этом направлении, когда написали:

«...конечно, эта система замечательна».

Отсюда уже нетрудно было сделать заключение, что замечательная система должна иметь и какие-то более или менее счастливые последствия.

Если Вы так слабо разобрались в теме, то еще слабее разобрались в идейной нагрузке повести, но об этом говорить долго. В общем, Вы не доказали своего профессионального умения орудовать канонами и правилами, а для Вас это, пожалуй, более необходимо, чем для меня: в крайнем случае я останусь фактографом, а чем Вы останетесь, если забудете нормальную критическую технику?

Недостаток места не позволяет мне остановиться на других «канонах», упущенных Вами. Но еще 2—3 замечания:

1. Вы уклоняетесь от истины, когда говорите, что я изображаю «неестественно-сладкое счастье». Вы приводите абзац, в котором прямо говорится о счастье, но в книге 24 печатных листа, и таких строчек очень немного. А кроме того, почему бы мне не говорить о счастье, если тема всей книги — счастье и поэзия детской жизни? Только это не то счастье, которое может понравиться классным дамам. Вы думаете об этих дамах лучше, чем они заслуживают. Я хотел изобразить счастье в борьбе, в коллективных напряжениях, в требовательной и даже суровой дисциплине, в труде, в тесной связанности с Родиной, со всей страной.

2. Я не принимаю Вашего упрека в том, что в моей повести много красивых. Я такими вижу детей — это мое право. Почему Вы не упрекаете Льва Толстого за то, что у него так много красивых в «Войне и мире». Он любил свой класс — я люблю мое общество, многие люди кажутся мне красивыми. Докажите, что я ошибаюсь.

3. Я пишу для того, чтобы в меру моих сил содействовать росту нашей социалистической культуры. Как умею, я пропагандирую эту культуру в художественной форме. Я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы разобрали мои художественные приемы и доказали, что они не ведут к цели. Но Вы этого не делаете. Вас не интересуют мои цели. Вы рассматриваете меня в эстетическую лупу и доказываете, что я не профессиональный писатель, потому что у меня не выходят «синтетические» образы. Откуда Вы знаете, какие образы у меня синтетические, а какие списаны с натуры? Вам было бы приятнее, если бы я изображал «исковерканных» детей с той экзотической терпкостью, которая для меня является признаком дурного вкуса, ибо я больше, чем кто-нибудь другой, имею право утверждать, что детская «исковерканность» — в значительной мере выдумка неудовлетворенных

романтиков. Вы отстали от меня, товарищ Левин, и поэтому, если и в дальнейшем Вы будете именовать меня «фактографом», я страдать не буду.

4. Не кажется ли Вам, что некоторые «каноны», при помощи которых действуете Вы и еще кое-кто из критиков, несколько устарели и требуют пересмотра. «Синтетический образ», «характер», «типизация», «конфликт», «коллизия» — все это, может быть, и хорошо, но к этому следовало бы кое-что и добавить, принимая во внимание те категорические изменения, которые произошли в нашем обществе. Советское общество по характеру человеческих взаимоотношений не только выше, но и сложнее, и тоньше старого общества. Впервые в истории родился настоящий человеческий коллектив, свободный от неравенства и эксплуатации. В настоящее время понятие «образ», особенно в том смысле, в каком оно обычно употребляется, не вполне покрывает требования жизни, в нем иногда чувствуется некоторый избыток индивидуализма. Гораздо важнее, чем раньше, стали категории связи, единства, солидарности, сочувствия, координирования, понимания зависимости внутренней и многие другие, которые, в отличие от образа, можно назвать «междуобразными» категориями. Коллектив — это не простая сумма личностей⁵, в нашем коллективе всегда что-то рождается новое, живое, только коллективу присущее, органичное, то, что всегда будет и принципиально социалистическим.

Я позволю себе употребить сравнение из области музыкального творчества. Вопросы мелодики, даже камерной гармонии, даже гармонии более широкой нас уже не могут удовлетворить в своем охвате. Нас уже должны особенно интересовать вопросы оркестровки — созвучия разных и количественно значительных тембров, колоритов, сложных красок коллектива.

Я как автор в особенности заинтересован в этом вопросе, ибо мой герой всегда коллектив и Ваши измерители для меня уже недостаточны. Но и во многих произведениях советских писателей я вижу эту линию потребности. «Разгром», «Чапаев», «Поднятая целина» заключают очень большие коллективные образы и коллективные явления. Есть и критики, которые чувствуют это.

Но есть и другие критики. Они не замечают новых требований социалистической литературной эстетики. У них в руках заостренные критические каноны, и они пользуются ими, как шаманы своими инструментами: шумят, стучат, кричат, пугают — устрашают «злых духов». И смотришь, находятся нервные люди — побаиваются.

А. Макаренко

Литература и общество

Не правда ли, какое мирное заглавие? Не так уж и давно под ним ясно прощупывался знаменитый подтекст: «Писатель пописывает, а читатель почиывает». На самом деле было не совсем так. Русская литература всегда была активным участником общественной борьбы, а читатель не только почиывал, но и учился и умел глубоко чувствовать.

И все же какое глубокое различие лежит между старым и новым. Мы не только новее, мы и принципиально отличное.

Советское общество — это общество на великом походе. Мы живем в то замечательное время, когда человечество закончило какой-то тысячелетний период предварительной жизни и впервые в истории подняло знамя ч е л о в е ч е с к о й организации. Мы вооружены стратегией марксизма-ленинизма, мы ведем бой за новое счастье, за новый разум, новую жизнь. Двадцать второй год продолжается наша борьба, и сейчас мы уже хорошо знаем, что победа наша, хотя борьба еще продолжается.

В первые годы революции могло казаться, что линия борьбы очень проста: есть четыре стороны света, и на эти четыре стороны обращен был наш фронт — четыре фронта: север, восток, юг, запад. Так оптимистически мы представляли себе события тогда, когда победа была очень далеко. А сейчас, когда наше могущество определилось так убедительно, когда в нашем языке почти исчезло слово «поражение», именно сейчас мы хорошо знаем, что фронтов у нас бесчисленное множество. Нет никакой статистики в нашей жизни. Каждую минуту мы живем в среде сильнейшего, целеустремленного, боевого движения. Движение это выражается в самых разнообразных формах удара и сопротивления, начиная от Хасана¹ и кончая мельчайшими вихриками становления в каком-нибудь далеком бытовом углу, в психике вчерашнего дикаря, в формовке мальчика в советской семье. И если в некоторых областях наша победа звенит уже по всему свету, вызывая ужас и предсмертные судороги у наших врагов, то в других областях победа еще прячется в процессе борьбы, а в третьих и вовсе еще нет победы, а бой идет на последних напряжениях перед концом, перед победой.

Советская литература должна не только отражать то, что происходит. В каждом ее слове должна заключаться проекция завтрашнего дня, призыв к нему, доказательство его рождения. На боевом пути советского общества литература вовсе не играет роли фронтового информатора, она — разведчик будущего. Она должна обладать могущественным напряжением, чтобы в динамике нашей жизни предчувствовать формы напряжения и победы.

На днях я награжден орденом¹, и вместе со мной награждены многие писатели. В этом акте партии и правительства, следовательно в этом выражении народного одобрения, я хочу видеть не только награду. В этом я вижу, прежде всего, утверждение, что в общей линии борьбы мне поручен определенный участок, за который я отвечаю перед народом, утверждение того, что я не художник-партизан, выражающий свои чувства, а художник-организатор, уполномоченный народом выражать стремления и перспективные профили нашей жизни.

Орден, полученный мною, прежде всего подчеркивает идею моей ответственности, и поэтому, прежде всего, я должен знать, за что я отвечаю.

Я отвечаю за то, чтобы в моей работе было прямое, политическое, боевое влияние, тем более сильное, чем больше мое художественное дарование.

Я отвечаю за то, что в своей работе я буду честен и правдив, чтобы в моем художественном слове не было искажения перспектив и обмана. Там, где я вижу победу, я должен первым поднять знамя торжества, чтобы обрадовать бойцов и успокоить малодушных и отставших. Там, где я вижу прорыв, я должен первым ударить тревогу, чтобы мужество моего народа успело как можно раньше прорыв ликвидировать. Там, где я вижу врага, я

должен первым нарисовать [его] разоблачающий портрет, чтобы враг был как можно раньше уничтожен.

Советская литература — это орган художественного народного зрения, умеющий видеть дальше и проникать глубже, в самую сущность событий, отношений и поступков. Советская литература должна обладать эстетикой боевой эпохи, эстетикой нового общества и его радостного рождения.

Работа писателя поэтому вовсе не мирная работа, и место его деятельности — весь фронт социалистического наступления.

Писатель кроме таланта должен еще иметь и храбрость. Участие в борьбе всегда сопряжено с опасностью, ибо в каждом случае нашего движения, даже в самом мелком, всегда есть и сопротивления. Иногда эти сопротивления концентрируются в узких местах, и там получают даже временное преобладание. Мы хорошо знаем, до каких современных степеней доходит их способность маскироваться, мы не раз видели марксистские знамена в их предательских руках.

Литературный боевой участок, порученный нам советским народом, еще не вполне оборудован боевой техникой. Надо прямо сказать — о многом мы еще не успели подумать. Вопросы тематики, стиля, тона, вопросы классификации литературы, вопросы нового вкуса требуют большой и новой разработки. Ни в чем мы сейчас так не нуждаемся, как в организации нашего планового хозяйства, ибо основным коррективом нашего плана должен быть прекрасный, политически насыщенный и требовательный вкус, свободный от старомодных канонов успокоенной эстетики.

Предстоит большая работа над собой

Трудно найти точные слова, чтобы в полной мере оценить великое значение нашей эпохи. Мы находимся на переходе к коммунистическому обществу, мы приближаемся к таким целям, о которых человечество еще так недавно могло только мечтать.

Но величина наших побед равна величине наших напряжений... может быть, самая главная трудность расположена на том участке, который в известной мере поручается нашему писательскому отряду, — в деле коммунистического воспитания трудящихся, в деле борьбы с пережитками капитализма. Именно на этом участке предстоит грандиозная работа для «инженеров человеческих душ». Те души, которые должны вырасти, расцвести, действовать и побеждать, которые сверх всего обязаны быть не только прекрасными творческими душами, но и душами красивых, счастливых людей, — это будут души нового человечества, человечества коммунистического.

Я не уверен, что мы, писатели, готовы к выполнению стоящей перед нами задачи. Я убежден, что нам предстоит большая работа над собой и над законами нашего творчества, и мы сознательно обязаны дать себе отчет в размерах и трудностях этой работы.

Во-первых, нам нужно больше знать, невозможно дальше рассчитывать на созидующую тишину наших кабинетов. Как это сделать, я не знаю, но я чувствую, что Союз советских писателей должен поставить перед

собой вопрос о серьезных познавательных процессах, которые необходимо предложить товарищам писателям. Может быть, основную массу средств Литфонда нужно направить именно на это дело.

Во-вторых, мы, писатели, должны ближе стать к вопросам коммунистического поведения, должны приблизиться к ним практически, не только наблюдая образцы коммунистического поведения граждан Советской земли, но и предъявляя к себе серьезные требования коммунистической этики. Новый человек должен быть коллективистом в каждом своем поступке, в каждом своем помышлении. Я не представляю себе, что описывать и создавать этого человека в нашем воображении можно, оставаясь самому по старинке индивидуалистом.

В-третьих, мы должны пересмотреть самые законы художественного творчества. То, что годилось для общества, построенного на эксплуатации, те причудливые орнаменты личной судьбы и личной борьбы, личного счастья и личного страдания, которые составляли тематику старой литературы, — все это требует пересмотра и анализа. Новое общество, новый характер должного, новый характер борьбы и преодоления, новые условия для счастья, новая этика и новые связи между людьми требуют и новой эстетики. Можно и нужно любить классиков, учиться у них, преклоняться перед ними, но нельзя в наши дни слепо подчиняться их эстетическим канонам, их определению прекрасного.

В-четвертых, нужна совершенно особенная, маневренная и талантливая организация нашего производства. Больше нельзя терпеть такого положения, когда судьба художественного произведения, его доброе имя, его значение для миллионных масс читателей находятся в распоряжении одного или двух товарищей в аппарате издательства. Читательская масса — истинный ценитель, потребитель и объект нашей художественной работы — должна иметь не только пассивные, но и активные функции в литературном деле. Издательство должно быть народным учреждением, отражающим требования, запросы, мнения и решения читающего советского народа.

В-пятых, и это особенно важно, необходимо создание сильного и влиятельного литературного контроля — критики. То, что происходит сейчас на этом участке, способно вызывать только удивление. Перед лицом важнейших задач, стоящих перед нашей литературой, бесталанная, невежественная и зачастую нечестная болтовня некоторых «критиков» кажется просто анекдотом.

Прежде всего поразительно полное отсутствие вкуса в некоторых критических писаниях наших дней. Получается такое впечатление, что первым основанием для критической деятельности является потеря вкуса. Те немногочисленные кадры настоящих, творческих, ответственных, мыслящих критиков, которые у нас имеются, должны поставить перед собой самую серьезную задачу оздоровления и организации этого важнейшего участка.

Великая награда

...Горячо благодарим дорогих наших читателей и обещаем: будем писать для вас больше и лучше, а кроме того, постараемся и других писателей при-

влекать к вашему журналу. До сих пор многие писатели побаиваются вас: они думают, что вы очень строгие критики. Это, конечно, верно: критики вы строгие, но без критики тоже не проживешь.

Привет! А. Макаренко

Отзыв о рукописи «Золотые деньги»

«Золотые деньги» нельзя рассматривать как [обычное] литературное произведение, и поэтому неправ т. Никитин, когда предъявляет к [автору] такие требования: «В упрек автору можно поставить, что в основу конфликта в повести положено стихийное революционное начало, он не дал никакого развития началу творческому, созидательному». «Золотые деньги» даже и не повесть, а небольшой рассказ, в котором трудно уместить все начала. Наконец, ничего стихийного в повести нет.

«Золотые деньги» нужно отнести к формам устного творчества. Это сказ, сделанный, может быть, совершенно интуитивно, сделанный достаточно неряшливо, но обнаруживающий исключительные особенности авторского стиля. Темой сказа является наивно-революционное представление о событиях революции. В деревне остались старики, больные и женщины. В деревню приходят различные «власти», они то говорят речи, то пытаются приступить к репрессиям, то требуют деньги и хлеб. Старики по-своему реагируют на все эти требования. В известной мере старики не вполне понимают, что происходит, но истинное содержание «конфликта» для них понятно. Они встречают «конфликт» с тем спокойствием, юмором и силой, на которые способны только старики. Столкновение заканчивается кровавыми событиями.

Автор не всегда удерживается на линии собственного стиля. Надо найти писателя, который хорошо поймет, в чем прелесть рассказа, и сумеет восстановить его настоящее звучание. Сейчас уже можно сказать, что в результате хорошей обработки может получиться исключительно хорошая и оригинальная вещь. У автора есть природное дарование, особенный тембр рассказывания. У него поэтому хороши не только слова, принадлежащие крестьянам, но и его собственные авторские тоны.

При работе над сказом нужно быть очень осторожным и внимательным к мелочам. Будет очень печально, если после обработки получится литературно обработанная повесть, лишенная всяких противоречий. У автора, например, вместе с немецкими солдатами приходят какие-то офицеры. Автор наивно не интересуется вопросом: что это за офицеры? Если это немцы, то почему они все говорят по-русски? Если это русские, то какие? Оратор, который приезжает во фраке, тоже реалистически невозможен, а в сказе будет очень хорош. Убийство Антоном нескольких офицеров плохо, неубедительно звучит в литературной форме и будет интересно звучать в сказе.

Я позволяю себе высказать предположение, что в «Золотых деньгах» мы встретили очень важное и интересное явление, которое до сих пор не появлялось на свет, но которому обязательно соответствует что-либо в устном народном творчестве. Есть сказы великорусского происхождения,

по моему мнению, гораздо более слабые, чем намеченный Волкогорцем сюжет. У него что хорошо: дышит замечательная народная уверенность, крепкое презрение к насильникам, совершенно непобедимая улыбка. По настроению это замечательный комплекс. Он нуждается не столько в литературной, сколько в стилиевой обработке, в усилении своих собственных линий. Поручить до конца довести новеллу Волкогорца можно только человеку с большим вкусом и ни в коем случае не формалисту.

Отзыв о повести «Республика победителей»

Книга Андрея Новикова производит общее очень приятное впечатление. Письмо замечательно симпатичного тембра, простое и спокойно-добродушное, что очень удачно оттеняет напряженность событий. Люди интересны, но еще интереснее вещи. Автор [описывает] квалифицированно и с любовью.

Главный недостаток — часто встречающаяся неточность языка.

Примеры:

«Свободная страна числится друзьями трудящихся всех народов» (22).

«Угол отгрызла артиллерийская перестрелка» (112).

«Военный в полковнике виден был по выправке, по красным кантам на штанах и по выцветшему кителю» (172).

«Чувствовал... войну и что-то лучшее за нею предвидел» (214).

«Не будучи военным по существу, он захотел стать именно таковым» (453).

Таких мест очень много. Требуется серьезная редакторская правка и, кроме того, сокращение (полагал бы процентов на 25), ибо есть лишние словесные поля.

Отзыв о романе А. Явича «Леонид Берестов»

По Вашему¹ поручению я прочитал роман А. Явича «Леонид Берестов», подготовленный к отдельному изданию, в прошлом году напечатанный в журнале.

У меня впечатление от романа чрезвычайно сумбурное. Прежде всего обращает на себя внимание полная неорганизованность и темы, и композиции, и самого текста. Над романом произведена большая редакторская работа. Очень много мест, из журнального варианта выброшенных. Но трудно сказать, почему выброшены одни места и оставлены другие. Я уверен в том, что из оставшегося текста можно выбросить еще 75%, можно восстановить некоторые места, но от этой операции роман выиграет только в величине, и трудно сказать, насколько выиграет в общем своем качестве.

Поражает в романе обилие явной руды. Целые сцены, целые образы кажутся часто случайными, введенными в роман без применения какой бы то ни было художественной логики. Еще больше руды чисто словесного характера. Можно на каждой странице указать такие места. Выбираю буквально наугад:

С. 126. «Зажимая салфетку под мышкой, официант расторопно оправил скатерть на столе и подsunул Головину карту вин и блюд. Приняв заказ, он упорхнул, раздувая белую салфетку».

С. 147. «Ощупывая языком вспухшую десну и морщась от боли, Леонид рассказал...»

Никакого значения в течение событий ни ловкий официант, ни вспухшая десна Леонида не играет. Это якобы реалистические подробности введены автором неизвестно для чего: просто упражнение в реализме. Таких подробностей, хаотических, ненужных, представляющих неорганизованную игру памяти, в романе видимо-невидимо.

Несмотря на такое обилие словесного материала, в романе много пробелов. Важнейшие сюжетные линии совершенно не обслужены в фабуле, например мотивировка отъезда Егора на белый фронт, пленение Леонида, освобождение Елены из-под замка и т. д. И одновременно уделяется много места эпизодическим лицам вроде отца Анны Трунова и его смерти, при этом с подробностями, имеющими целью возбудить сочувствие читателя.

Неряшливость в композиции сюжета и текста приводит к тому, что даже главный герой — Леонид Берестов не ощущается как живой образ. Очень много говорится о его мыслях, настроениях, приключениях, и к концу романа с удивлением узнаешь, что ему только 23 года, до сих

пор он вовсе не кажется молодым. Его молодость забывается, несмотря на усилия авторских ремарок. Еще менее определены другие фигуры, между прочим — Елена. Враги сделаны точнее, но зато и стандартнее, особенно по старому, бандитскому рецепту устроены все попы и старцы.

К концу роман значительно улучшается, во всяком случае делается напряжение и читается с большим интересом, но этот интерес достигается главным образом фабульными ходами: допросы Леонида, издевательства над ним, бегство.

Темой романа является гражданская война и революция. Но автор слишком много внимания уделяет родственным отношениям героев, и поэтому очень часто идейная нагрузка заслоняется боковыми обстоятельствами семейных встреч и настроений.

Все сказанное выше тем более печально, что автор владеет хорошим литературным почерком и мог бы сделать вещь гораздо более организованную.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СЦЕНАРИИ

Настоящий характер

Действующие лица

Фа б з а у ч н и к и:

В а с я К у л е ш о в — 16 лет. Довольно высокий, худощавый, блондин, очень спокоен, но есть склонность к улыбке. У него должны быть хорошие волосы.

К о л я П о с т н и к о в — 17 лет. Черный, хорош собой, строен и тонок. Одевается аккуратно, чем других.

В о л о д я Б о р о в о к — 16 лет. Неактивен, вял, немного неудачник, есть склонность к упадническим настроениям.

А л е ш а З а б о л о т н ы й — 17 лет. Невысок ростом, коренаст. Человек страстный.

Т е р е ш к а О р л о в — 16 лет. Неаккуратен, неряшливо одет. Но у него обязательно должно быть ироническое лицо с богатой игрой. Весельчак.

К а т я Д у б р о в а — 16 лет. Умница, спокойная, душевная девушка. Хороша собой.

Н и н а — экспансивна, есть наклонность к небольшому детскому кокетству.

Ш у р а — рассудительна, недоверчива, но в то же время очень добра и впечатлительна.

Н и к о л а й И г н а т ь е в и ч З а г о р с к и й — главный инженер, еще не старый, энергичный человек.

И в а н П а в л о в и ч — мастер, добродушный человек, но любит казаться сердитым.

К о н с т а н т и н С о к о л о в — инструктор и секретарь комсомольской организации, добрый, спокойный, может быть, даже слишком.

У ч и т е л ь н и ц а — молодая, внимательная.

1. Вход в большой завод, расположенный недалеко от рабочего поселка. Где-то близко протекает река. Местность в общем провинциальная. Ворота. Сетчатая вывеска:

З а в о д № 89

Конец зимы.

2. Отдельное здание ФЗУ. Слева виден тот же вход в завод, и ясно, что ФЗУ помещается за стенами завода.

Перед зданием — площадка с палисадником и стоят садовые скамейки.

3. Вывеска ФЗУ. Вход. К двери направляется девушка лет 16 — Катя Дуброва. В руках книги, сверток чертежей. Она взялась за ручку двери. Слышен молодой, звонкий голос:

— Катя, подожди!

Катя оглянулась. Бегом к ней спешит Коля Постников. Он в ушастой шапке.

К о л я. Ты говори решительно! Прямо говори!

Она отвечает ему с трехступенного крылечка, опираясь на перила.

— А если я нерешительна? Тогда что?

К о л я. Как это нерешительна? Ты с кем поедешь?

К а т я. А может, я поеду с Васей...

К о л я. С Васькой? Хо! С Васькой она поедет! Терешка, ты слышишь?

Веселый, иронический голос:

— С Васей? Убиться можно!

Терешка Орлов подходит с другой стороны. Походка вразвалку, кепка на одно ухо. Он ехидно ухмыляется.

4. Часть коридора в школьном этаже ФЗУ. Звонок на урок. Последние фабзаучники пробегают к классным дверям. Вася Кулешов идет не спеша. На него налетает Катя.

К а т я. Вася! Давай на одной лодке запишемся!

Вася молчит, смотрит на Катю со спокойным удивлением.

К а т я. Чего же ты молчишь? Может, ты не хочешь ехать?

В а с я. Это еще не скоро...

К а т я. Уже все записываются. Понимаешь?

Пробегают Терешка, оглянувшись, кричит:

— Уговорила, уговорила, честное слово, уговорила!

Катя обратила к Терешке сердитое лицо. Терешка показал язык, скрылся в классе. Вася наблюдает эту сцену с застенчивой улыбкой. Катя смотрит на него с гневом:

К а т я. Ну?!

В а с я. Это еще через два месяца...

К а т я. Какой ты... ужас!

5. Классная парта. Сидят рядом Володя Боровок и Вася.

В о л о д я. Ты с Катей едешь?

Подперев голову рукой, Вася с веселой внимательностью смотрит на Володю:

— Может быть, и с Катей.

Володя оглядывается предусмотрительно.

В о л о д я. Лучше не соглашайся. У Кольки, знаешь, какой характер... Скандал... Она нарочно, она нарочно, чтоб только его дразнить...

В а с я. Это... это ничего...

6. Класс. Учительница Лидия Васильевна заканчивает:

— Экскурсия по реке — замечательный отдых. Только готовиться нужно заранее. Завком поможет. Но... при одном условии: если ваш цех выполнит план...

К о л я. Все равно, нам отпуск полагается.

Все к нему оглянулись. Лицо у Коли задорно-вызывающее.

Л и д и я В а с и л ь е в н а. Я говорю, Коля, не об отпуске, а об экскурсии на лодках.

Ш у р а. А вы с нами поедете, Лидия Васильевна?

Л и д и я В а с и л ь е в н а. Если выполните план.

К о л я. Опять план!

В а с я. Лидия Васильевна, собаку с собой можно взять?

Общий смех. Улыбается и Лидия Васильевна.

Л и д и я В а с и л ь е в н а. Я думаю, можно...

7. Класс. Перемена. Вокруг Кати собралась группа. Вася один сидит за партой, просматривает книгу.

Т е р е ш к а. Катя! Васька с тобой не поедет. Ты знаешь, с кем он поедет?

К а т я. С кем?

Т е р е ш к а. Он поедет с Шариком.

Все смеются, оборачиваются к Васе. Он улыбается.

Т е р е ш к а. Только в этом нет ничего смешного. Если Шарик умеет править...

Смех усиливается. Нина подходит к Васе.

Н и н а. Вася, Шарик умеет править?

В а с я. Нет, он еще не умеет.

Т е р е ш к а. Какая глупая собака!

8. Большой с верхним светом цех ФЗУ. С левой стороны стоят станки: несколько токарных, фрезерный, малые сверлильные. Ближе к зрителю большой пресс, на котором работает Нина. С правой стороны узкими концами к стене поставлены верстаки слесарей и столики сборщиков. За ближайшим столом Вася, Володя и Коля. Их работа состоит в том, что они из отдельных деталей собирают выключатели для прибора № 15. На узком далеком простенке цеха — портрет И. В. Сталина.

В о л о д я. Разве это работа?

К о л я. Я все равно поеду в Арктику.

В о л о д я. Я хочу быть механиком, а здесь какая-то сборка...

Подходит Иван Павлович. Посмотрел. Пересчитал готовые выключатели.

И в а н П а в л о в и ч. Что? Сотня выключателей? На всех? Вот я начну хвосты крутить с такой работой!

В о л о д я. Сотня — и то хорошо! Это буза, а не работа.

И в а н П а в л о в и ч. Это у тебя такая буза? Для Красной Армии это у тебя буза? Наш цех должен давать в день тысячу выключателей. Тысячу.

К о л я. Да знаем, слышали. Издохнет наш цех, а никогда не будет давать тысячу.

В о л о д я. А я хочу быть механиком, а не то что...

И в а н П а в л о в и ч. У тебя до механика борода еще не выросла. Норма на каждого сто, извольте норму выполнить!

Отошел сердитый.

К о л я. Для Красной Армии! Красная Армия — это... эх! Это что, какие-то паршивые выключатели?

В а с я. Мне они тоже не нравятся, эти выключатели, а только для Красной Армии... очень, говорят, нужна эта машина № 15.

К о л я. Ну, заговорил! Тебе все равно ничего не нужно, кроме собаки.

9. Дорога от завода к рабочему поселку. Она проходит по берегу реки, еще покрытой вздувшимся льдом. Вася быстро идет по дороге. Навстречу ему мчится небольшая собака. Она с разгона взбрасывает на Васины колени передние лапы. А Васю уже догнал Коля.

К о л я. Васька! Запомни: на лодке с Катей поеду я.

В а с я. Пожалуйста.

Коля. И лучше не лезь. Понял?
Вася. Но ведь... она с тобой не хочет ехать.
Коля. Это не твое дело.
Вася. Почему? Мне тоже интересно.
Коля. Новость! Кулешову Васе интересно! Куда ты годишься, дрессировщик! Ну и дружи с твоим Шариком.
Догнал их Терешка.
Вася. Шарик? Шарик что ж? Хороший товарищ!
Коля в состоянии сарказма.
Коля. Вот тоже человек! Товарищ у него — Шарик!
Терешка. А ну, покажи, какой он товарищ.
Коля. Ничего он не покажет.
Вася. Я могу доказать. Сейчас?
Коля. Пожалуйста, сейчас.
Вася показывает Шарiku на Колю:
— Шарик, видишь — враг!!!
Шарик бросился на Колю. Коля испуганно отскочил в сторону, Шарик за ним. Коля в страхе и в гневе ударил собаку ногой. Шарик озлобился, ощерил зубы. Вася позвал:
— Шарик, назад!
Шарик послушно, пересиливая гнев, отходит к Васе. Терешка хохочет.
Терешка. Ох ты, испугался, Колька, прямо замечательно!
Коля, гневный, подошел к Васе.
Коля. Как ты смеешь говорить, что я враг?
Вася. Это я к примеру.
Коля. А если я тебе к примеру морду набью?
Коля схватил Васю за воротник, но в этот момент Шарик с новым остервенением уцепился за пиджак Коли. Коля обернулся отбиваясь. Шарик отскочил в сторону, но находится в полной боевой готовности, Терешка хохочет.
Терешка. Колька! Давай все-таки признаем, что Шарик — хороший товарищ.
Вася. Пиджак у тебя цел?
Коля. Отойди!
Терешка. Пальтецо не пострадало.
Коля. Интересно, что бы ты без собаки сделал?
Вася. Давай попробуем.
Коля. Буду я с тобой пробовать...
Пренебрежительно ушел.

10. Вася дома читает учебник. Мать накрывает на стол. Входит отец. Шарик сидит посреди комнаты.
Отец. Весна начинается, люблю. Ты чего это такой серьезный?
Вася. У меня один вопрос.
Отец. Ко мне?
Вася. К тебе.
Отец. Ладно.
Вася. Только секретный.

М а т ь. Это что ж, от меня секреты?

В а с я. Заводское дело.

М а т ь. Пускай... *(Вышла.)*

О т е ц. Говори.

В а с я. № 15 — это важный аппарат?

О т е ц. Очень важный. Для тяжелой артиллерии.

В а с я. А для чего он нужен?

О т е ц. Э, брат, это действительно секрет.

В а с я. Не можешь сказать?

О т е ц. Сказать могу, только уж ты, голубок, выйди и Шарика с собой уведи.

В а с я. Такой секрет?

О т е ц. Такой или не такой, а болтать нечего. Да тебе для чего?

В а с я. Мы делаем выключатель для № 15.

О т е ц. Вы делаете... Ничего вы, такие-сякие, не делаете. Нужно 1000, а вы даете 600. Просто срываете! Чертовы молокососы!

В а с я. А почему нам дали, если так важно?

О т е ц. А кому дать? В заводских цехах — во! *(Показывает на горло.)* Да и неувязки есть... с шестеренками... А вас сколько, не можете сделать несчастную тысячу.

В а с я. Так он вредный.

О т е ц. Кто вредный?

В а с я. Выключатель.

О т е ц. Шарик, видел когда-нибудь чудаков? Выключатель у него вредный!

Шарик смотрит на Васю неодобрительно. Отец смеется.

О т е ц. Вот он понимает, что у вас руки не туда стоят.

11. Берег реки. Ледоход. Лед идет сплошной массой, но кое-где уже отбились отдельные льдины. Группа ребят стоит на высоком берегу, любуется ледоходом. Коля и Катя отдельно.

К о л я. Катя, пойдем завтра за подснежниками.

К а т я. Что ты? Рабочий день.

К о л я. Что там... один день.

К а т я. Попадет.

К о л я. Бояться! Ничего не попадет — больны были, и все.

К а т я. Нет.

К о л я. Ты ничего... со мной не хочешь. И на лодке с этим... собачником.

К а т я. А может, и не с ним вовсе.

К о л я. Со мной?

К а т я. Я еще не знаю.

К о л я. Вот он идет... мой соперник! И сейчас с собакой.

12. Мальчики бросают на лед камни.

А л е ш а. Пока мой дальше всех.

Т е р е ш к а. Камень — это легко! А вот палку!

Он бросил палочку. За ним другие.

В а с я. Дай-ка и я.

Бросил. Видно, что его палка полетела очень далеко. Она лежит на льдине, и ее хорошо видно.

13. В тот же момент Шарик стремительно бросился на лед за палкой. Среди ребят возгласы:

— Шарик, Шарик, смотрите!

— Пошел, пошел...

— А симпатичная собачонка!

Вася наблюдает с свободной симпатией. Коля, напротив, смотрит, прищурившись, поглядывает на Катю. Катя вскрикнула:

— Ой!

Шарик в этот момент перепрыгнул с разгона через узенький проток. Перепрыгнул через другой, схватил палку и бросился назад, но его льдину отнесло уже довольно далеко. У Кати испуганное выражение лица. Озабочены и другие девочки.

Ш у р а. Как же теперь?

Н и н а. Он погибнет, честное слово, он погибнет!

14. Мальчики смотрят напряженными взглядами. Лицо Васи серьезно-спокойное.

К а т я. Вася, как же ему помочь?

Вася молчит. Льдина, на которой находится Шарик, все больше и больше отходит на свободную воду.

К а т я. Что это за дрессировка — погубить такую собаку!

Вася молчит. Все на него смотрят.

К а т я. Чего же ты молчишь?

Вася молчит.

К а т я. Что-нибудь нужно делать...

В а с я. Ничего не нужно... Он выберется.

В о л о д я. Из такого положения?

В а с я. Из такого положения.

В о л о д я. Вон там — течение и льдину ломает!

А л е ш а (страстно). Твоя собака — спасай, я за ней не полезу.

Н и н а. Она плачет, слышите?

Т е р е ш к а. И палку бросила, пропала твоя дрессировка.

К а т я. Что это такое?!

Шура начинает плакать.

К о л я. Василий, ты не пойдешь?

В а с я. Нет.

К о л я. Хорошо. Тогда я пойду.

Он поднял длинную палку и направился к воде.

Т е р е ш к а. Куда тебя несет?

А л е ш а. Брось, Коля, не валяй дурака!

Коля не обращает внимания на возгласы. Попробовал крепость льда у берега и смело пошел по еще сплошному льду... Кое-где перепрыгнул сомнительное место.

К а т я. Рисковать жизнью из-за собаки, да?

А л е ш а. Молчи!

Ш у р а. Я не могу смотреть.

К а т я (*резко*). Почему ты не пошел за своей собакой?

Вася не ответил, подошел ближе к берегу.

Коля идет уже довольно далеко. Подошел к краю сплошного льда, пробует притянуть к себе при помощи палки ту льдину, на которой находится Шарик. Шарик зарычал, потом грозно залаял на Колю.

К а т я. Какая мерзкая собачонка!

Коле удалось приблизить к себе льдину. Шарик попятился от него, бросился к противоположному краю льдины, вдруг возвратился, схватил палку и прыгнул в довольно широкий проток.

Т е р е ш к а (*вразумительно*). Собачий характер!

Ш у р а. Плывет, плывет, смотрите!

К а т я. Да отстань ты! Ты о человеке думай!

Коля двинулся в обратный путь. Подумал над трудным местом, потом прыгнул, удачно попал на край сплошного льда. Все следят за ним. Шарик выскочил на берег и бросился к Васе с палкой в зубах. Вася молча гладит собаку. Терешка смотрит на собаку с восхищением, Катя — со злобой. Коля быстро идет по льду.

Ш у р а. Благополучно!

Н и н а. Прямо как камень с души!

Коля выпрыгнул на берег. Все закричали «ура» и бросились к нему.

Вася стоит отдельно. Вокруг Коли галдеж и отдельные возгласы:

— Молодец!

— Зачем ты полез?

— Если хозяин струсил?

— Страшно было?

Вся группа шумно проходит мимо Васи, не обращая на него внимания. Одна Катя бросила на него презрительный взгляд. Но Алеша отстал от других, стал боком к Васе, заложив руки в карманы, спрашивает, глядя на облака:

— Почему ты не пошел за собакой?

В а с я. А зачем? Зачем Колька полез?

А л е ш а. Он хотел помочь твоему Шарику.

Вася оживленно-добродушно обернулся к Алеше:

— Алеша, помогает тот, кто сильнее.

А л е ш а. Кто сильнее?

В а с я. Шарик легче? Легче Кольки?

А л е ш а. Легче.

В а с я. Ловчее?

А л е ш а. Ловчее.

В а с я. Плавать умеет?

А л е ш а. Ну... правильно.

В а с я. Смелее?

А л е ш а. Допустим...

В а с я. И умнее.

Алеша чуть-чуть рассердился.

А л е ш а. Как это так можно говорить — умнее?

В а с я. А ты на глаза посмотри!
Они подняли голову Шарика. Шарик от неожиданности насторожился.
А л е ш а (*рассматривая его морду*). Ха! А действительно, у него... того... умные глаза!

15. Коля и Катя отстали от других. Они идут по берегу реки и посматривают друг на друга.

К а т я. Ты заходи за мной...

16. Остальные идут по берегу.

В о л о д я. Что дороже, жизнь или собака?

Н и н а. И собака гадкая — неблагодарная!

Т е р е ш к а. Вы ничего не понимаете: здесь другая формула.

Н и н а. Какая формула?

Т е р е ш к а. Шарик плюс Катя.

Все засмеялись, повернулись назад. Видят: Катя и Коля идут рядом. Слышен голос Терешки:

— И еще один плюс: я знаю то место, там через всю реку по колено.

17. Цех. За передним столом работают двое: Вася и Володя. Иван Павлович стоит перед ними строгий.

И в а н П а в л о в и ч. Где Николай?

Молчание.

И в а н П а в л о в и ч. Где Николай, спрашиваю?

В о л о д я. Да не знаем. Может, заболел.

И в а н П а в л о в и ч. А Катя тоже заболела?

Голос Терешки издали:

— Вот я — доктор: у Кати испуг после вчерашней собаки.

И в а н П а в л о в и ч. Константин, поди-ка сюда.

Подходит Константин Соколов.

И в а н П а в л о в и ч. Это что, комсомольцы? Комсомольцы, да? Такая дисциплина? Постникова нет и Дубровой нет.

К о н с т а н т и н. Я и сам думаю.

И в а н П а в л о в и ч. Думаешь! Вам наплевать, что из-за такого пустяка прорыв! Выключатель! Жестянка паршивая, и то нельзя вам доверять. Сколько сегодня дадите? Четыреста? Вот я тебя в партийный комитет вытасу.

Иван Павлович отошел сердитый. Константин стоит расстроенный.

К о н с т а н т и н. И так стыдно, а тут еще гуляют...

А л е ш а. Нашли причину: два человека не вышли! Поважнее есть причины.

К о н с т а н т и н. Какие причины?

А л е ш а. Этот выключатель — дрянь. Такой пустяк, а сколько над ним сидишь!

В о л о д я. Это он верно!

А л е ш а. Сидишь, сидишь, завинчиваешь, завинчиваешь, а смотришь — один сделал.

Вася встал за столом, задумчиво вертит в руках один выключатель. Константин. А ты придумай другую конструкцию.

А л е ш а. Я придумаю! А конструкторское бюро для чего? Ты нажимать должен.

Т е р е ш к а. Он такой — нажмет!

18. В кабинете главного инженера Загорского. Перед столом стоит Иван Павлович.

З а г о р с к и й. Короче... Сколько сегодня?

И в а н П а в л о в и ч. 410.

З а г о р с к и й. Черт... Это же, наконец... Такой завод в руках у мальчишек! Почему?

И в а н П а в л о в и ч. Двое не вышли.

З а г о р с к и й. Почему?

И в а н П а в л о в и ч. Не знаю еще.

З а г о р с к и й. Почему вы не знаете?

И в а н П а в л о в и ч. Да не успел еще. Завтра.

З а г о р с к и й. Да все равно: а если бы они вышли — 600! Что это такое? Нам нужно 1000, понимаете, 1000!

И в а н П а в л о в и ч. На конструкцию жалуются.

З а г о р с к и й. Конструкция! Выключатель! Редкая машина! В каждой квартире десяток...

И в а н П а в л о в и ч. Николай Игнатьевич, нельзя же равнять: тут место плоское.

З а г о р с к и й. Вот еще... проблема. *(Звонит.)*

Заглянул в кабинет секретарь.

С е к р е т а р ь. Звонили?

З а г о р с к и й. Пригласите срочно заведующего конструкторским бюро.

19. Заведующий конструкторским бюро стоит перед столом главного инженера.

З а г о р с к и й. Ничего не сделали?

С е м е н П е т р о в и ч. Стыдно сказать, ничего не придумали.

З а г о р с к и й. Надо упростить технологический процесс. Вот, нечистая сила: стыдно даже говорить, технологический процесс в выключателе.

С е м е н П е т р о в и ч. А вот посмотрите. У вас есть?

Иван Павлович достал из кармана выключатель.

И в а н П а в л о в и ч. Есть.

Загорский взял.

З а г о р с к и й. Чушь какая! Эти... упорчики ввинчиваются?

С е м е н П е т р о в и ч. Ввинчиваются.

З а г о р с к и й. А нельзя заклепывать?

С е м е н П е т р о в и ч. Пробовали. Хуже получается, и времени все равно много.

Загорский. Знать ничего не хочу. Извольте думать. Неделю сроку.

20. Вася с Шариком медленно идут по опушке леса. Далеко видны трубы завода. В руках у Васи выключатель, он рассматривает его, иногда останавливается, соображает.

Шарик вдруг, зарывав, бросился вперед.

Вася. Шарик, назад!

Шарик недовольно возвращается. Из лесу выходят Коля и Катя. В руках у них большие букеты подснежников. Катя первая увидела Васю, вскрикнула:

— Вася, здравствуй!

Она подошла ближе, несколько смущенная. Вася отвечает:

— Здравствуй.

Катя. Как там на заводе? Нас ругали?

Вася. Да, Иван Павлович и Костя недовольны. И мы тоже.

Коля. Новости! И мы! А вы чем недовольны? Вы — тоже начальство?

Вася. Сегодня сдали 410.

Катя. Ох! Коля, это мы виноваты.

Коля. А если бы мы заболели?

Вася молчит.

Коля. Говори, если бы мы заболели?

Вася. Это было бы... тоже плохо.

Коля. Какое важное горе! Выключатель!

Вася. Да... но ведь это для Красной Армии!

Коля. Да иди ты к... Я виноват перед Красной Армией, да?

Вася. Да.

Коля. Перед всей страной, да?

Вася. Да.

Коля. Политик какой. А газет, наверное, не читаешь, с собакой все возишься.

Вася рассматривает Колю серьезным, спокойным взглядом.

Катя. Попадет нам за это, правда?

Вася. Попадет.

Коля. За что? Я могу заболеть? Могу? А может, я завтра двойную норму сделаю. Подумаешь!

Он сердито рванулся вперед. Цветы ему мешают. Он рассердился, взмахнул рукой, цветы полетели на землю. Шарик бросился к цветам, остановился.

21. У Васи дома. Отец и Вася за столом. Налитые стаканы чаю. Вечер. В руках у Васи пластинка выключателя.

Вася. Эти дырочки нужно просверлить, потом резьбу.

Пластинка крупным планом.

Вася. Упорчики тоже отрезать, нарезать резьбу, сколько мороки!

Отец. Да.

Вася. А в сборке тоже морока: завинчиваешь, завинчиваешь, а они не завинчиваются.

Отец. Конечно, железо. Если бы сталь. Плохая конструкция.

Вася. Вот это и все. И ничего нельзя придумать.

Пластика крупным планом, то в отдельных деталях, то в процессе сборки, то готовая с контактной стрелкой.

Отец. Скучно, это верно. А конструкторское бюро завалено более важным делом. И что же ты думаешь?

Вася. Я думаю, думаю и ничего не придумаю.

Отец. Да тут пособить трудно. Наверное, люди думали уже.

Вася. Значит, ничего нельзя придумать?

Отец. Пока не придумали, всегда кажется, что ничего нельзя придумать. Была у нас лекция в клубе. Ученый Соколинский рассказывал: было время, не знали люди, что такое колесо. Понятия не имели. Понимаешь, нет колеса, ни тебе на земле, ни тебе в голове. Вот такой штуки. *(Покатил по столу крышку от сахарницы.)* Тысячи лет так жили. И летом на санях ездили, чудачки такие. А потом кто-то взял и придумал.

Вася. *(смотрит на выключатель)*. Если колеса нет, так его трудно придумать?

Отец. Трудно.

Вася. А если колесо есть, так легко.

Отец. Тогда всякий дурак может.

22. Комсомольское собрание в классной комнате.

Коля. И нечего ко мне приставать. Вот записка. Можете у отца на словах спросить, если подписи не верите.

Костя. А где Катя?

Нина. Катя сейчас придет.

Алеша. А какие причины у Кати?

Коля. Откуда я знаю?

Костя. Если болен, что ж... мы комсомольцу должны верить.

Голос. Правильно.

Володя. Если никому не верить...

Вася. Я хочу спросить у Николая.

Костя. Пожалуйста.

Вася. Отец написал, что ты болен?

Коля. Написал.

Вася. И ты после этого уважаешь своего отца?

Коля. *(гневно)*. Какой у нас вопрос? О моем отце? Какое твое дело!

Алеша. Вася, ты не веришь Николаю?

Вася. Не верю.

Алеша. Какие у тебя основания?

Вася. Коля знает, какие основания.

Алеша. Ты знаешь, Коля?

Коля. Знаю, какие основания. Он на меня после собаки, когда на льду было, чертом смотрит.

Володя. Здорово! Из-за собаки!

Нина. И я тоже скажу. Мы Колю Постникова знаем. И он храбрый и смелый! Он тогда на лед героически, прямо героически! А ты говоришь — не верю!

К о с т я. Кулешов, какие у тебя основания?

В а с я. Вчера я видел Колю и Катю в лесу. Они были с подснежниками.

К о л я (*кричит*). Ты видел?

В а с я. Да.

К о л я. А еще кто видел?

В а с я. Ну... со мной был Шарик.

Смех.

К о л я. Это тебе или Шарику приснилось.

Катя появилась в дверях.

К о с т я. Он врет?

К о л я. Врет.

В а с я. Катя правду скажет.

К о л я. Ты слышишь, Катя? Васька видел нас с тобой в лесу, и Шарик видел. Таким свидетелям можно морду бить.

В о л о д я. Правильно!

Г о л о с. И еще мало!

Т е р е ш к а. Подождите с мордами!

К о с т я. Товарищи!

А л е ш а. Да по стойте. Пускай Катя скажет.

Катя молчит.

А л е ш а. Почему ты молчишь?

К а т я (*с трудом говорит*). Я уже говорила мастеру. Я была нездорова.

А л е ш а. И в лесу не была?

К а т я. Нет.

А л е ш а. И тебя Вася не видел?

К а т я (*склонив голову*). Нет.

Т е р е ш к а. И Шарик не видел?

Смех. Катя свирепо глянула на Терешку.

К о с т я. Товарищи, нельзя же так!

Тишина.

К о с т я. Вася! Что ты теперь скажешь?

Все с холодным, тем не менее напряженным вниманием смотрят на Васю. Коля глядит с презрительной ударной улыбкой. Катя подавлена. Вася оглядел всех серьезным удивленным взглядом, задержался на Кате. Она отвернулась.

К р и к. Отвечай же!

В а с я. Я... я ничего не видел.

Короткая тишина. Встревоженный, быстрый взгляд Кати. У других удивление, смешанное с гневом. Потом общий крик, в котором трудно что-нибудь разобрать. Слышны слова: клевета... нарочно... выкинуть... собака...

Костя поднял руку, восстанавливая тишину.

23. К о с т я. Все выясним. Я с ним поговорю.

24. Весна. Река полная и чистая. Заводской яхт-клуб. Маленькая пристань. Лодки. Несколько плотников работают по починке лодок. По-

дальше на берегу кое-где группы гуляющих. На помосте у лодок группа: Лидия Васильевна, Катя, Нина, Шура.

Шура. «Страна моя» — это наша лодка с Терешкой.

Лидия Васильевна. Катя, а ваша где лодка?

Катя. Здесь нет моей лодки.

Нина. Катя, и зачем ты к сердцу все принимаешь? Мало ли какие сплетни? Вот его выбросят из комсомола.

Катя быстро повернулась и ушла по ступеням вверх.

Лидия Васильевна. Что с нею происходит?

Нина. Обыкновенная история — влюблена!

Лидия Васильевна. В кого?

Нина. В Колю Постникова.

Шура. Нет!

Нина. Влюблена!

Шура. А я тебе говорю — нет!

Нина. Влюблена, все знают.

Лидия Васильевна. Хорошо, влюблена, так почему такая печальная?

Нина. Вы думаете, это легко — влюбиться? А кроме того, он в Арктику уезжает.

Лидия Васильевна. Кто уезжает в Арктику?

Нина. Коля. Он давно уже собирается в Арктику. И он в кружке в арктическом в клубе. И поедут. Летом поедут в Арктику.

Шура. И не в Арктику, а в Мурманск.

Нина. Все равно — Арктика.

Шура. Просто город!

Нина. Ты, Шура, всегда наоборот.

По ступенькам спускаются Коля и Володя.

Нина. Вот она говорит, что Мурманск — это не Арктика. Скажи ей!

Коля. Как же не Арктика, если наш арктический кружок туда едет.

Шура. Ты еще скажешь: Архангельск!

Лидия Васильевна. Вы, как малые дети. Из-за чего вы?

Володя. А если она неправильно. Колька в арктическом кружке, а она говорит — Архангельск. И чего она вмешивается?

Шура. Скажите, пожалуйста! Завоевали себе Арктику, уже и вмешаться нельзя!

Коля. Вы не видели Катю?

Нина. Она... она туда пошла.

Коля. В поселок?

Нина. Туда, в поселок.

Коля. Мне очень нужно с ней поговорить.

Нина. По делу, конечно?

Коля. Конечно, по делу.

Коля побежал наверх.

Нина. Вот я ему завидую. Он такой! Он обязательно будет героем!

Шура. Это еще неизвестно.

Нина. Как же, Шура, неизвестно? У него настоящий большевистский характер!

Шура. Только у него большевистский характер? Да?

Н и н а. А у кого еще? Скажите, Лидия Васильевна.
Л и д и я В а с и л ь е в н а. Я вам расскажу кое-что...

25. По дороге в поселок. Коля догоняет Катю. Издали крикнул: «Катя!» Она оглянулась, но идет вперед прежним шагом, немного склонив голову. Он догнал ее.

К о л я. Ты куда?

К а т я. Мне нужно.

К о л я. Ты к Ваське?

К а т я. Да.

К о л я. Зачем?

К а т я. Нужно мне.

К о л я. Нет, ты скажи. Ты решила, с кем ты едешь в экскурсию?

К а т я. Я ни с кем не еду.

К о л я. Ага. Теперь я понимаю. Ты к нему не ходи.

Он стал на дороге.

К а т я. Уйди с дороги!

К о л я. Не уйду!

Она отступила назад, посмотрела на него гневно.

К а т я. Коля, ты не сильнее меня. Последний раз говорю: уйди!

Она пошла вперед. Он сделал попытку схватить ее за руку. Сильным движением она отбросила его в сторону. Он пошатнулся, чуть не упал, бросился, было, к ней. Она оглянулась, решительно:

— Я с тобой не поеду.

Он остановился. Катя ушла вперед. Он смотрит ей вслед.

К о л я. Ладно!

26. Комната в доме Васи. Он сидит на диване, задумался. Мать на столе раскладывает чистое белье.

М а т ь. Сегодня тепло, солнышко, почему ты гулять не пошел?

В а с я. Мне не хочется, мама.

М а т ь. У тебя неприятности, я знаю.

Молчание.

М а т ь. Говорят, ты какую-то неправду на товарищей сказал. А потом будто бы отказался.

Он достал из кармана выключатель, прищуренными глазами посмотрел на него.

В а с я. Мама, а ты веришь, что я сказал неправду?

М а т ь. Я... не хочу верить...

В этот момент стукнула дверь, вошла Катя. Она чувствует себя очень неловко: одной рукой притворяет дверь, неотрывно глядит на Васю, потом такой же взгляд перевела на мать. Мать удивленно приподымается, потом говорит приветливо:

— Вот и гость — Катюша. Иди, иди, чего ты так несмело?

К а т я. Я на минутку, мне вот с ним поговорить.

М а т ь. Поговорите, что ж... Секретное, что ли?

В а с я. Нет, мама, при тебе не секретное.

М а т ь. Садись, Катя.

К а т я села. Склонила голову, задумалась. Потом встряхнула стриженными волосами, сказала решительно:

— Все равно. Я расскажу, как было дело. Я вам расскажу, хорошо, а он пусть слушает.

М а т ь. Выходит, тебе не с ним нужно, а со мной?

К а т я. С вами, а он пусть слушает.

27. На холме, над рекой, сидит группа фабзаучников.

Т е р е ш к а. Если прямо говорить, ну, знаете, так... в глаза: Вася сказал правду, за подснежниками они ходили. Ведь это же, как апельсин!

Все смеются.

Г о л о с. Ну а как же, конечно, ходили.

Т е р е ш к а. Что ж выходит? Я Василию верю. А ты, Алеша?

А л е ш а. И я верю.

Т е р е ш к а. А ты?

Г о л о с а. Да все верим.

Т е р е ш к а. Получается ерунда. А почему? Потому, что Колька один не верит.

А л е ш а (*сердито*). Да ты не путай! Как это Колька не верит, когда он сам ходил за... за этими...

Т е р е ш к а (*нежно*). За подснежниками.

А л е ш а. За подснежниками! Так как же он не верит?

Т е р е ш к а (*дурашливо*). Ах да, он сам ходил?

А л е ш а. Да чего ты представляешься?

Т е р е ш к а. Стой, стой! Сейчас начинаю соображать... Ага! Значит, Колька тоже верит?

А л е ш а. Кому?

Т е р е ш к а. Ваське?

А л е ш а. Знаешь что? Я тебя сейчас стукну!

Т е р е ш к а. Уже понял. Еще один маленький вопросик. Ты только не кипятись. Значит... Катя тоже верит?

А л е ш а. Ну а как же? Верит!!

Т е р е ш к а. Вот смотри ты: все верят, а почему же так?

А л е ш а. Как?

Т е р е ш к а. У меня в голове опять все путается.

А л е ш а. До брось ты! Почему он отказался? Почему он сказал: ничего не видел?

Г о л о с а. Испугался, конечно! Сдрейфил!

А л е ш а. Трус. Обыкновенный трус. Мы его все равно выкинем.

Т е р е ш к а. Васка-трус? Нет. Это он... это он нарочно так сказал.

28. Комната в доме Васи.

К а т я. Почему он так сделал?

М а т ь. Вот и я думаю: почему?

В а с я. Я хотел, чтобы Катя сама всю правду сказала. Она все равно пойдет к Косте и скажет.

К а т я. Я? Скажу?

В а с я. А как же? Разве ты еще не сказала?

К а т я *(тихо)*. Скажу.

В а с я. Вот видишь, мама!

М а т ь. Когда же ты все это успел там придумать?

В а с я. Я ничего не придумывал. Это же не выключатель. Мне просто... я хотел, чтобы Кате было лучше. И всем.

К а т я *(поднялась со стула)*. Ну вот... Ну вот... Какой он... *(Ей хочется плакать.)*

М а т ь. Поплачь, поплачь, девочка. Иди сюда. Васька, убирайся отсюда!

В а с я. Почему?

М а т ь. Потому что у нас секреты! Не понимает такого пустяка, а еще на военном заводе!

29. Класс. Кончился урок. Учительница говорит:

— В нашей литературе есть много интересных людей и характеров. Есть у кого учиться. Прочитайте «Чапаева», а потом поговорим.

30. У входа в здание ФЗУ против ворот завода. Ребята прогуливаются.

А л е ш а. Ты сделаешь сегодня двойную норму?

К о л я. Сделаю.

А л е ш а. И Вася говорил, сделает. Только у него какой-то особый метод.

К о л я. А я без метода, просто сделаю.

31. К воротам завода подъехал автомобиль. Из него вышел военный и направился к воротам.

32. Кабинет инженера.

З а г о р с к и й. Это будет очень трудно.

К о м д и в. Этого требует дело обороны.

З а г о р с к и й. 2000. № 15!

К о м д и в. 2000.

З а г о р с к и й. Мы и 1000 не могли дать.

К о м д и в. Да в чем препятствие?

З а г о р с к и й. Выключатель, и с тем не справляемся. А еще есть передача, якорь, система шестеренок. Плохая конструкция.

К о м д и в. Выключатель? Какая же там конструкция?

З а г о р с к и й. Представьте себе!

К о м д и в. Кто делает выключатель?

З а г о р с к и й. Фабзайцы.

К о м д и в. Можно на них посмотреть?

З а г о р с к и й. Пожалуйста.

33. Цех. Вася, Володя и Коля подготовляются к работе. Раскладывают детали и инструмент.

Гудок.

Коля. Сегодня две нормы.

Володя. У меня и одна никогда не выходит.

Коля. Две нормы — 200 штук!

Володя. А у Васи сегодня новый метод какой-то...

Коля. Метод, метод! Энергии нужно больше, энергии!

Голос Терешки. Возле Кольки сегодня сидеть опасно!

Коля. Ты на меня еще злишься, Василий?

Вася. Злюсь.

Коля. И злишь. Хотя... какое тебе дело...

Вася. Есть дело...

34. Работа в полном разгаре. Шумят станки. Видно, как быстро ходят руки у Николая. Володя следит за ним и старается подражать. Но Володе не везет. У него то вырывается деталь, то вполне готовый выключатель.

Коля обращается к Васе:

— У тебя какой-то там метод, а у меня...

— Энергия, — отвечает Вася в тон.

— Ну да, энергия.

У Володи снова упала деталь. Он наклоняется поднять ее и падает с табурета. Не прекращая работы, Коля и Вася смеются. Хохочет весь цех. Володя подымается с полу. Подходит Иван Павлович.

Иван Павлович. Чего это ты?

Голос Терешки. Это его энергия сбросила, Иван Павлович.

Иван Павлович. Эх ты, механик! Чего ты суетишься? Надо спокойнее.

Терешка. Он набрал полный живот Колькиной энергии...

Иван Павлович. А ты молодец, Николай. Сколько у тебя уже?

Коля. 120.

Иван Павлович. За полсмены! Здорово! А у тебя, Вася?

Вася. 80.

Иван Павлович. Тоже неплохо, а все-таки отстал.

Мастер отошел. Работа продолжается. У Володи снова что-то упало. Коля говорит ему:

— Брось, Володька! Все равно не справишься, у тебя кишка тонка.

35. Цех. Работа продолжается! Входят главный инженер и комдив.

Комдив. Здравствуйте, товарищи!

Гул голосов. Здравствуйте!

Комдив. Работайте, работайте!

Комдив и инженер молча наблюдают работу. К ним подходит Иван Павлович. Комдив спрашивает:

— Эти двое работают интересно. Как их зовут?

Иван Павлович. Покрасивее который — Николай, а побелей — Вася.

Комдив чуть в сторону отводит инженера и Ивана Павловича.

Комдив. Вот странно: у Васи порядок лучше — настоящий стахановский: пластинки слева, упоры справа. А почему у Коли больше сделано?

Иван Павлович. Интенсивность, товарищ командир!

В этот момент у Коли упала на пол первая деталь. Он смущенно лезет под стол.

Комдив. Ах, досадно, сорвался!

Голос Терешки. У Кольки авария! Девочки, не плачьте. Унесите детей!

Комдив и инженер смеются.

Иван Павлович. Когда уж ты, Терешка, заплачешь, хотел бы я посмотреть.

Терешка. Заплачу, когда замуж выйду.

36. Комдив говорит ребятам:

— Я вижу у вас стахановскую душу, стахановские приемы. И тем более требую: давайте больше. Знаете, что такое мобилизационная готовность?

Ребята. Знаем!

Комдив. Мобилизуйте мускулы, разум, волю. Вместе со всей страной. Теперь нет человека, который не думал бы об обороне. Понимаете?

Ребята. Понимаем, товарищ комдив!

— Сделаем!

Терешка. Фашисты пускай не лезут!

Комдив решительно двинул вниз кулаком:

— Пускай не лезут!

37. Конец работы. Вася работает с прежней методичностью. Володя в панике, у него все рушится. Коля тоже очень устал.

Крупным планом руки Коли. Они стараются завинтить упорчик, не попадают в отверстие. Вместо упора пальцы ухватили шайбу. Коля со злостью бросает шайбу, слишком энергично тычет пальцами в кучку деталей, они разбрызгиваются по столу.

Голос Терешки. Еще есть энергия, Колька?

Коля. Пошел ты к черту!

Терешка. О! Еще есть!

Гудок.

Иван Павлович. Сколько у вас?

Вася. 205.

Иван Павлович. Две нормы!

Общий шум, лица, возгласы:

— Две нормы!

— Вася?

— 205%!

38. У входа в здание. Группа ребят выходит.
Катя выбегает, спрашивает Колю:
Сделал две нормы?
Коля. Нет... 160%. Еще не втянулся.
Катя. А Вася, говорят, сделал.
Коля. Ну и целуйся со своим Васей!
Катя опешила. Выходит Терешка и кричит:
— Вот идет победитель Василий Кулешов! Мировой сборщик!
Нина. Две нормы! А ты, Коля?
Коля. Нечего хвастать!
Вася. Нечего: 1000 все равно не сделали, а теперь, говорят, нужно 2000.
Володя. Разве это работа!

39. У Васи дома. Отец перед столом, заваленным чертежами. Вася стоит, смотрит. Отец что-то считает, измеряет циркулем, думает. Напевает. Между делом спрашивает:
— Ну... Как ваши выключатели?
Вася. Все так же.
Отец. На месте? Колеса не придумал еще?
Вася. Ничего не придумал.
Отец. Значит, на санях ездите?
Вася. Угу.
Отец (*присматриваясь к чертежу*). Пло-охи ваши дела, пло-охи!
Вася. А у тебя это что такое?
Отец. Шестеренки, черт бы их побрал. С этими шестеренками запутались хуже, чем с выключателями. Какой-то дурень конструировал: пять шестеренок. А их от силы три нужно...
Вася. Ты уже придумал?
Отец. Что?
Вася. Три шестеренки?
Отец. Нет еще... Ну, да это придумаем... это придумаем. Значит... шестью шесть — 36, семью девять... Сколько семью девять?
Вася. 63.
Отец. Верно. А как имя Стаханова?
Вася. Алексей.
Отец. Экий народ! Все знает! Ну... и вычищайся отсюда, пойдешь подыши свежим воздухом.
Вася улыбнулся, вышел.

40. Вася во дворе сидит на скамье, у садовой изгороди. Перед ним стена дома, построенного в стиле коттеджа. Шарик играет во дворе, потом подошел к Васе. Вася положил руку на голову Шарика, но думает о своем, о выключателе: выключатель у него в руке.

Против Васи стена дома. Три окна и край крыши. У каждого окна ласточки строят гнезда, вьются близко, развлекают Шарика, он то и дело по-

рывается вперед. Следуя за его движением, и Вася обратил внимание на ласточек.

У одного из гнезд копошится ласточка, ее черный резко раздвоенный хвост хорошо выделяется на белой стене дома, острия хвоста очень четки.

Вася вдруг энергично всмотрелся в этот хвост. Перевел глаза на выключатель и снова на ласточку.

Крупным планом: пластинка выключателя с упорами и наплывом на ней ласточкин хвост. Комбинация эта, трансформируясь, постепенно переходит в металлическую деталь — новую пластинку, в которой упорами служат загнутые кончики хвоста.

Вася поднялся, быстро глянул еще раз на выключатель и на ласточку. Задумался, радостно улыбнулся.

В а с я. Шарик, знаешь что?

Шарик поднял внимательно морду.

В а с я. Шарик! Колесо можно придумать, честное слово можно! (*Быстро пошел в дом.*)

41. Вася входит в комнату. Отец по-прежнему работает над своими шестеренками. Вася достал из своего шкафчика тетрадь, карандаш, сел в углу на стуле, начал набрасывать чертеж.

О т е ц. Что это ты встревожился?

В а с я. Так... один чертежик.

О т е ц. Один чертежик... один чертежик... один черт... (*Задумался.*)
Один черт — плохо!

Вася подходит к столу.

В а с я. Как твои шестеренки?

О т е ц. Все так же.

В а с я. На месте? Колеса еще не придумал?

О т е ц. Не придумал.

В а с я. Значит, на санях ездешь?

О т е ц. На санях. (*Отец поднял вдруг голову.*) Ага! А вы на колесах?

В а с я. А мы на колесах.

О т е ц. Да ну! Рассказывай!

Вася открывает перед ним чертеж.

42. О т е ц. Слушай — замечательно! Это — колесо! И знаешь что? Ты... как бы это сказать... ничего себе!

43. Класс. Катя, Константин и Алеша.

К о с т я. Значит, Вася правду сказал?

К а т я. Правду.

К о с т я. А ты струсила?

К а т я. Да.

К о с т я. Чего же ты боялась?

К а т я. Стыдно было.

А л е ш а. Прогулять тебе не стыдно было?

К а т я. Тоже стыдно.

А л е ш а. Теперь мы вас взгреем!

Катя молчит.

А л е ш а. Взгреем!

К о с т я. Да... теперь... стоит ли?

А л е ш а. Стоит! И Ваське хвост накрутим... Он не видел!

44. Вечер на реке. Вася на лодке с Шариком. Навстречу лодка с Володей. Лодки сошлись бортами.

В о л о д я. Ты на этой лодке поедешь?

В а с я. На этой.

В о л о д я. А с кем?

В а с я (смеется). С Шариком.

В о л о д я. Знаешь что, Вася, покажи мне твой метод.

В а с я. Да... это старый метод.

В о л о д я. Ничего.

В а с я. Скоро будет новый.

В о л о д я. А ты старый покажи...

45. Нина и Шура по дороге домой.

Н и н а. Ну так что — прогульщик? Зато он сегодня 217%!

Ш у р а. Герой твой Коля! Потел, потел, 217%, насилие домой пошел, а завтра ни одного процента не будет.

Н и н а. Он завтра три нормы сделает!

Ш у р а. Ничего он не сделает! И в Арктику не поедет, вот увидишь.

46. Володя и Вася у ворот Васиного дома.

В о л о д я. Я скоро тоже буду три нормы. По твоему методу.

В а с я. Скоро будет новая конструкция.

В о л о д я. Какая?

В а с я. Я придумал.

В о л о д я. А почему ты не заявляешь?

В а с я. Хочу модель сделать.

В о л о д я. Так что? Тогда иначе работать?

В а с я. Иначе. Не нужно завинчивать упоры. Просто загнуть.

Вася чертит на песке. Потом достает из кармана бумажку.

В а с я. Вот так.

В о л о д я. Вырезать и загнуть?

В а с я. Очень просто. Это как ласточкин хвост все равно!

В о л о д я. Как ласточкин хвост! Только... значит, теперь опять переучиваться...

В а с я. Ты так легко учишься. Это... все будет хорошо!

47. Костя и Вася в цехе.

В а с я. Разреши мне остаться в цехе поработать.

К о с т я. Это зачем?

В а с я. Мне нужно одну модель сделать.

К о с т я. Какую модель?

В а с я. Я придумал одну конструкцию.

К о с т я. Брось! Какая там конструкция! В цеху нельзя оставаться.

Костя отошел. Вася грустно задумался.

48. Пристань яхт-клуба. Вася прыгает с лодки на лодку, направляясь к своей будущей. На помосте показалась Катя.

К а т я. Ты какую выбрал, Вася?

Вася поднял голову, улыбнулся.

В а с я. «Звездочку» — вон ту.

К а т я. И я выбрала... «Звездочку».

В а с я. Да... но тут одна «Звездочка».

К а т я. А мы можем... на одной поехать.

В а с я. На одной? А Коля?

К а т я. Мы можем без Коли.

В а с я. Ты потом будешь жалеть?

К а т я. Нет, не буду.

В а с я. Нет, ты не будешь жалеть, потому что... потому...

Катя улыбается застенчиво. Вася тоже неловко что-то ищет на дне лодки.

К а т я. Почему я не буду жалеть?

В а с я. Потому что... (*Широко и по-своему иронически улыбнулся.*)
Потому что у меня есть парус.

К а т я. Парус? Ой, как хорошо!

В а с я. Я умею с парусом.

К а т я. А я не умею.

В а с я. Я тебя научу.

К а т я. Хорошо.

В а с я. А знаешь что? Давай сейчас попробуем. Я хочу посмотреть, как ты правишь...

49. Лодка с Катей и Васей удаляется от пристани. На помосте появился Коля.

50. Конец работы. Все расходятся. Вася прячется за станком. Когда никого не осталось, он выходит и быстро организует работу за слесарным верстаком.

51. Вася работает. Рассматривает в руках новую пластинку для выключателя.

52. Двери цеха снаружи. Дежурный по ФЗУ в присутствии сторожа запирает цех. Начинаются сумерки.

53. Дома у Васи. Отец все работает над шестеренками. Входит мать.
М а т ь. Что это нашего конструктора долго нет?
О т е ц. Василия? Эге... Да он, наверное, остался модель делать. Говорил, что будет просить...
М а т ь. Он же голодный...
О т е ц. Голодный — это ничего. У него зато душа накормлена. А вот у меня с этими проклятыми шестеренками...

54. Шарик у калитки смотрит в сторону цеха. Кто-то показался на дороге. Шарик поднял одно ухо. Потом грустно опустил. Снова смотрит, то стоит, то нервно усаживается на собственный хвост.

55. Вася работает в цехе. Молотком загибает края «ласточкиного хвоста».

56. На клубной площадке игра в волейбол. Играет партия девочек против партии ребят. Во время игры разговор.

— Кажется... Катя, ты выбрала лодку?

— Выбрала.

— «Звездочку»?

— «Звездочку»...

— Что... ты...

— Что... я...

— ...нашла...

— Угу...

— ...в этом...

— Дальше...

— ...Василии...

— Секрет...

Г о л о с с у д ь и. Партия в пользу девочек...

Игра прекращается. Коля, обегая сетку, подходит к Кате.

К о л я. Какой секрет?

К а т я. Нельзя сказать.

Ш у р а. Скажи мне.

К а т я. Скажу.

Они обнялись, отошли в сторону. Начинает темнеть.

К Коле подходит Володя.

В о л о д я. Васька придумал конструкцию.

К о л я. Ну?

В о л о д я. Честное слово. Ласточкин хвост...

К о л я. Как же это?

В о л о д я. Вот... (*Протягивает чертежик Васи.*)

К о л я. Ха! Подумаешь, придумал! Я такое давно знаю. Разве это конструкция? Ласточкин хвост.

В о л о д я. Мы только насобачились... а он придумал...

К о л я. Чепуха! Я это давно... давно забыл...

Г о л о с Ш у р ы. Как завидно!
К о л я. Какой секрет?
Ш у р а. Секрет. У Васи есть, а у тебя нет.
К о л я. Ты думаешь, — он такой изобретатель. Я тоже такое изобрел, пальчики оближете!
К а т я. Что?
К о л я. Секрет, сюрприз...

57. Вася закончил работу. Направился к дверям. Двери заперты. В цехе совсем темно. Оглянулся.

58. Шарик ждет Васю.

59. Вася подошел к окну. Окно закрыто.

60. Шарик ждет. Заскулил. Пошел вперед, к заводу, тревожно осматриваясь.

61. Вася тихо открывает окно.

62. Шарик у здания ФЗУ. Тишина. Проходит старый сторож. Шарик один раз залаял на сторожа.

С т о р о ж. Это еще что за начальник! Ты откуда пришел сюда командовать?

Шарик услышал, как открывается окно. Радостно взвизгнул, бросился к окну.

С т о р о ж. Чего ты нахальничаешь?

63. Вася открыл окно. Видит сторожа и собаку. Слышит лай и слова сторожа. Притаился.

64. С т о р о ж. Тебе тут никакого дела нет. Где это я тебя видел?

65. Вася прыгнул в темноту.

66. Сторож, услышав звук прыжка, кинулся к окну. Тень промелькнула мимо него. Старик протянул вперед руки и закричал:

— Стой!

Шарик вцепился в его штаны. Отбиваясь, сторож забыл о Васе.

С т о р о ж. Пошла ты... Пошла...

Тень быстро скрылась на дороге. Шарик бросился за ней.
Сторож испуганно затоптался на месте:
— Батюшки, грабители! Кому сказать? Кому сказать...

67. Шарик и Вася на дороге. Вася остановился, прислушался. Шарик сидит, поглядывает на Васю.

В а с я. Какого ты... какого ты дьявола приперся? Какое твое дело?

Шарик радостно играет вокруг Васи, довольный, что нашел его на заводе.

Вася наклонился к нему:

— Все-таки... лучше было бы, если бы ты разговаривал.

68. Сторож страдает возле окна. Идет Иван Павлович.

С т о р о ж. Товарищ мастер! Воры сейчас были в цехе!

И в а н П а в л о в и ч. Ну!

С т о р о ж. Только-только выпрыгнул. И собака с ним.

И в а н П а в л о в и ч. Воры с собакой? Первый раз слышу.

С т о р о ж. В окно. Видишь... открыто окно... Это он...

И в а н П а в л о в и ч. Пойдем посмотрим...

69. Дома у Васи. Вася входит в комнату. Шарик прорывается за ним.

М а т ь. Где ты был до сих пор?

В а с я. Вот! Готово! (*Показывает модель.*)

О т е ц. Ничего, мать. Корми его обедом. Хорошо вышло. И у меня хорошо.

В а с я. Шестеренки?

О т е ц. Шестеренки.

В а с я. Поздравляю.

Размахнулись руками, подчеркивая шутку, обменялись рукопожатием.

В а с я. Только... знаешь, меня чуть за вора не посчитали. Я остался в цехе, а меня заперли...

О т е ц. Э, брат, нехорошо. Надо сказать...

В а с я. А может, не надо...

Отец повертел головой.

70. Иван Павлович и сторож в цехе.

И в а н П а в л о в и ч. Все цело. Что за наваждение! Стой. Да тут кто-то работал. Так и есть, какой-то слесарь... добровольный.

71. Раннее утро. Выходит солнце. На реке тихо. Вася на лодке. Он бросает палку и говорит:

— Шарик! Человек за бортом!

Шарик бросается в воду, плывет за палкой, приносит ее в лодку. Вася помогает ему выбраться из воды.

Навстречу другая лодка. На ней Коля.

Коля. Как дела, великий дрессировщик и великий доносчик?

Вася (*круто отгребает в сторону*). Шарик...

Коля. Ну, брось!

Вася. Шарик, посмотри внимательно на плохого комсомольца.

Коля. Посмотрим, кто лучше.

Вася. Я с тобой не соревнуюсь.

Коля. Почему?

Вася. Ты еще маленький.

Вася улыбнулся строго. Коля улыбнулся презрительно. Поплыли в разные стороны.

72. Класс. Урок.

Учительница. Алексей правильно разобрал характер Чапаева. У него не только храбрость, но и разум и осмотрительность.

Алеша. Тормоза!

Учительница. Совершенно верно — тормоза.

Звонок.

Входит Иван Павлович.

Иван Павлович. На одну минутку задержитесь. Вот что, ребята, хочу выяснить. Вчера вечером кто-то был в цехе.

Голоса. В цехе? Вечером? Зачем?

Иван Павлович. Не знаю уж зачем, а только выпрыгнул в окно. Сторож его было схватил, да тут какая-то собачонка вмешалась в дело...

Все смотрят на Васю.

Алеша. Собака? Интересно. Украли что-нибудь?

Иван Павлович. Нет, ничего не украли... Может, потом выясним...

Алеша. Это что ж такое? С собакой?

Терешка. Умная собака или не очень?

Иван Павлович. Да вроде тебя.

Терешка. Умная, значит... Василий, ты своей собаки никому напрокат не давал?

Вася. Нет, не давал.

Алеша. А, может, ты что-нибудь скажешь?

Вася. У меня секретов нет. Вчера я сказал Косте...

Входит инженер. Тишина.

Он стал перед классом.

Инженер. Я пришел, дорогие фабзайчата, поблагодарить вас и поздравить. В последнее время вы работаете по-стахановски. Но нам все мало. А вот сегодня... рано утром такая хорошая новость: один из вас предложил мне новую конструкцию выключателя. Замечательно просто. Девиз — ласточкин хвост!

Лицо Васи.

Лицо Коли.

Лицо Володи.

Инженер. Вот до чего просто. (*Чертит на доске.*) Я уже передал в производство. Это настолько выгодная конструкция, что можем передать ФЗУ несколько новых операций.

Г о л о с. Кто же это?

И н ж е н е р. Как? Вы разве не знаете? Это Николай Постников.

Общее движение. Галдеж. Лица Васи, Коли, девочек, Володи.

И н ж е н е р. Благодарю Колю от всего завода. И вас всех. Только в хорошем коллективе рождаются такие идеи.

И в а н П а в л о в и ч. Это хорошо, а все-таки, кто в цех вечером лазил?

И н ж е н е р. Ну, это мы выясним. Правда, Николай, выясним?

К о л я. Я думаю.

Инженер, Иван Павлович и учительница вышли.

Общий шум и поздравления.

Нина в группе девочек.

Н и н а. Я говорила, я говорила! Вот человек!

Ш у р а. Теперь ты еще больше влюбишься.

Н и н а. Ну как же не влюбиться! Иду поздравлять. Коля! Я тобой горжусь!

К а т я. Поздравляю.

Т е р е ш к а. Что делать? Когда же чем-нибудь прославлюсь. Колька, ты уже и здесь будешь хорош, а я вместо тебя в Арктику.

К о л я. Э, нет...

73. У Васи сложная игра лица. Он не верит Коле и в то же время рад, что его идея привела в такой восторг инженера. Он заставляет себя держаться спокойно, подходит к Коле.

В а с я. Это ты хорошо придумал: ласточкин хвост!

К о л я. Правда, здорово?

В а с я. И как ты до этого дошел?

К о л я. Я давно...

В а с я. Самое главное, знаешь, в чем?

К о л я. В чем?

В а с я. Главное в том, что у нас прорыва не будет.

К о л я. Верно, верно...

74. Кабинет инженера. Коля у стола. Инженер говорит:

— И никто не знал! Между прочим... это ты был вчера в цехе вечером?

К о л я. В цехе? Нет. Это не я.

И н ж е н е р. Не ты? Разве? Но ведь ты... там работал?

К о л я. Нет... Я не был в цехе.

И н ж е н е р. Не был? Странно. Но разве ты не сделал модели?

К о л я. Нет, я не успел...

И н ж е н е р. Ах вот как... Ну, хорошо. Получишь премию. И вообще молодец!

Коля кланяется, уходит.

Инженер один, говорит про себя:

— Странно. Очень странно. Кто же был в цехе?

75. Вася и Володя в палисаднике.

В а с я. Ты никому не говорил?
В о л о д я. Нет, я никому не говорил.

76. Инженер и Павел Павлович во дворе завода.
И н ж е н е р. С собакой... так...
И в а н П а в л о в и ч. Собачка такая очень, говорят, хорошая есть только у Васи Кулешова.
И н ж е н е р. У Васи Кулешова?

77. У Васи дома. Отец, мать, Вася, Катя.
К а т я. Какой же ты друг? Почему ты мне не сказал?
В а с я. Я хотел, но ты... была расстроена.
О т е ц. И никому не говорил?
В а с я. Сказал одному.
О т е ц. Кому?
В а с я. Володе Боровку.
О т е ц. Так.
В а с я. А что теперь делать?
О т е ц. А ничего не надо делать. Все-таки... Ты растрепался. Тоже... большевик!
В а с я. Все равно на пользу пошло.
О т е ц. Коле-то не на пользу. У Кольки нехороший путь.
В а с я. Загрустил.
О т е ц. Колесо ты придумал, а кузова нет, хэ...
М а т ь. Ничего, Вася, ты еще молодой, вырастешь, характер у тебя будет настоящий, большевистский.
О т е ц. Нет... сейчас нужно, сейчас... Откладывать нечего. Ежели теперь нет в тебе большевика, то и вырастешь... трудно будет...

78. У волейбольной площадки. Идет игра. Коля и Катя отдыхают.
К о л я. Мой сюрприз все знают, на общую пользу пошел. А твой?
К а т я. Какой?
К о л я. Что есть у Васи такое, чего у меня нет?
К а т я. У него есть... (Лукаво.) У него есть парус.
К о л я. Парус? да ну? Ого!

79. Ребята в цехе. Инженер наблюдает.
В о л о д я. Теперь иначе будем делать?
И н ж е н е р. Иначе.
В о л о д я. По-Колиному.
И н ж е н е р. Да. Сегодня Нина штампует ласточкины хвосты. Видите, сколько уже есть? Правильно штампует? Как ты думаешь, Коля?
К о л я. Правильно.
И н ж е н е р. А твое мнение, Василий?
В а с я. По-моему, неправильно.

И н ж е н е р. Почему?

В а с я. Загнуть молотками будем?

И н ж е н е р. Молотками.

В а с я. А можно на прессе загнуть.

Инженер понял, в чем дело. Внимательно присмотрелся к Васе.

И н ж е н е р. Само собой, на прессе. (*Быстро вышел.*)

80. Выходной день. На реке. В лодке Катя, Вася, Шарик. Лодка идет под парусом. Далеко по реке также видны лодки. Прошел пароход.

В а с я. Теперь я тебе покажу повороты. Сейчас мы идем под ветром.

К а т я. Вася, давай уйдем на широкий плес, там легче.

В а с я. Давай.

Вася управляет парусом. Лодка быстро понеслась мимо парохода, мимо лодок товарищей. Промелькнули Терешка с Шурой, Алеша с товарищем, другие. Иван Павлович на камнях сидит с удочкой.

— Здравствуйте, Иван Павлович!

И в а н П а в л о в и ч. Ох ты... с парусом... Молодцы! Вася, а... как бы это... это та самая собачка?

Хитро подмигнул, Вася засмеялся, лодка пролетела...

Впереди открылась более широкая часть реки. Здесь других лодок нет, только далеко еще навстречу несется одна, на которой человек гребет стоя.

К а т я. Это Коля?

В а с я. Да...

К а т я. Завтра общее комсомольское.

В а с я. Боишься?

К а т я. Нет, на душе чисто... За это тебе спасибо... Ты настоящий... друг...

В а с я. Я всегда буду твоим другом...

Катя что-то хотела сказать, улыбнулась, ничего не сказала.

Лодка Васи быстро разошлась с лодкой Коли. Коля явно кокетничает, гребя в неудобном положении, стоя.

— Упадешь, — сказала Катя весело.

— Не бойся, — ответил Коля сухо.

Его лодка отошла уже довольно далеко, когда Коля крикнул:

— Катя!

К а т я. Что?

К о л я. От Шарика блох не наберись!

Катя не расслышала.

Коля повторяет, показывая веслом.

К о л я. От Шарика... не наберись блох!

Катя нахмурилась, оглядываясь на Васю, но Вася вдруг встревожился.

Коля не удержал равновесия и полетел с лодки. Лодка от толчка отошла от него. Видна его голова.

В а с я. Он умеет плавать?

К а т я. Не знаю.

Вася крикнул изо всех сил:

— Держись! Идем к тебе!

Лодка под парусом быстро несется к Коле.

Видно, как Коля барахтается в воде, но можно уже понять, что плавает он плохо. Он начал кричать:

— Помогите!

Лодка быстро подходит к месту катастрофы. Вася говорит:

— Ах ты... и раздеться нужно, и править...

Он догадался.

В а с я. Шарик! Человек за бортом!

Шарик давно уже стоит на носу, с тревогой наблюдая происходящее. Теперь он радостно кинулся в реку. Вася начал раздеваться, лодка завертелась на месте.

В а с я. Держи так, на берег, мы его на берег вытащим.

Коля погружается в воду, показывается только его темя, да руки судорожно хватаются за воду. Шарик ухватил его за воротник, потащил к берегу. Лицо Коли показалось над поверхностью воды, он несколько раз глотнул воздух. Вася уже возле него.

Шарик и Вася плывут по бокам Коли, направляют его к берегу.

81. Коля сидит, еще не вполне опомнившись, на берегу. Шарик смотрит на него и тяжело дышит от усталости. Вблизи приткнулась у берега лодка. Катя от лодки идет к мальчикам.

К а т я. Как ты себя чувствуешь?

К о л я. Ничего.

Он не хочет ни на кого смотреть. Он хмуро сидит мокрый на песке и трогает зубы ногтем большого пальца. Вася смотрит на него озабоченно.

В а с я. Тебе холодно?

К о л я. Ничего, ничего, мне хорошо. (*Отвечает он почти грубо.*)

В а с я. Катя, ты побудь с ним, а я поеду его лодку поймаю. И весло.

К а т я. Поезжай.

Вася побежал к лодке с парусом. Шарик ринулся за ним.

82. Катя и Коля на берегу. Кругом песок, река и молодой лес. Место очень живописное.

К а т я. Как ты упал?

К о л я. Катя, пожалуйста, давай не разговаривать...

У него вдруг начинают стучать зубы, он втягивает голову в плечи, отворачивается, кусает губы.

— Ты болен, — говорит Катя.

Он берет себя в руки... отворачивается...

83. По реке плывет лодка под парусом. В ней сидят Вася, Коля и Катя. К этой лодке привязана буксиром другая — лодка Коли. На ней победоносно сидит Шарик и, кажется, доволен своим одиночеством.

84. На передней лодке. Вася говорит:

— Я все-таки оденусь.

Поверх трусиков он надевает штаны и рубаху. Когда он просовывает

голову в рубаху, из кармана падает что-то на дно лодки. Вася этого не видит. Грустный Коля подымает эту вещь и машинально рассматривает ее. Вася тем временем надел рубаху. Он видит, что находится в руках у Коли.

Коля (*спрашивает*). Что это?

Вася. Это? Это модель. А разве ты... ты такой модели не делал?

Коля ничего не ответил, но вдруг с большой силой глянул в глаза Васи и потом, закрыв лицо руками, заплакал. В одной руке он еще держит модель. Вася положил руку на его плечо. Он затих. Вася серьезно посмотрел на Катю.

Вася. Слушай, Коля. Не убивайся. Этот... ласточкин хвост пошел на общую пользу. А что ты упал, мы никому не скажем. Хорошо, Катя?

Катя кивнула.

Вася. Шарик тоже... К сожалению, он не умеет разговаривать.

Услышав свое имя, Шарик встал передними лапами на нос своей лодки и внимательно слушает.

Вася. Ты посмотри на него.

Коля невольно посмотрел и грустно улыбнулся. Потом быстро вытер слезы, сказал почти сурово:

— Спасибо, Василий, я сам все сделаю. А жалеть меня не нужно...

85. Комсомольское общее собрание на волейбольной площадке.

Коля. Я все рассказал, товарищи. Я мог бы утаить, что они меня вчера спасли, они тоже не сказали бы. Но я не хочу. Вы понимаете, почему я не хочу?

Алеша. Понимаем.

Коля (*продолжает*). Меня, конечно, следует взгреть, как говорит Алексей, но, уверяю вас, я многому за эти дни научился и наказывать меня лишнее. Серьезно, Алеша. У Васи настоящий характер, и я хочу у него учиться, как у первого своего друга.

Алеша. Что Васька... как бы это сказать... ну... ничего парень... это одно дело. А другое, его следует... следует...

Терешка. Взгреть.

Алеша. Вот именно. Чего он набрехал тогда на общем собрании.

Нина. Да отстань ты. Сейчас у нас так хорошо...

Алеша (*неожиданно*). Отстань? Да! А знаете что? Согласен. Уже отстал.

Все смеются.

Терешка. А все-таки главный инженер не узнал, кто изобрел ласточкин хвост.

Инженер. Извините. Я очень хорошо знал кто.

Коля. Серьезно?

Инженер. Совершенно серьезно.

Коля. А почему же вы не говорили?

Инженер. А я так, как Василий. Я знал, что вы сами скажете, товарищ Постников. Вы же честный человек, это хорошо видно.

Костя. Кончаем. Есть предложение выбрать Василия Кулешова капитаном нашего похода на лодках.

Аплодисменты.

Г о л о с Т е р е ш к и. Только пускай парус оставит дома, а то завидно, прямо печенки болят от зависти.

В а с я. Нет, парус всем пригодится. Будем учиться под парусом.

И в а н П а в л о в и ч. Постой, не закрывай, не закрывай, у меня заявление. Примите меня в вашу организацию.

Г о л о с. В комсомольскую?

И в а н П а в л о в и ч. Да ну вас, с вашей комсомольской, в эту самую... экскурсию... я вам буду рыбу ловить, а то ведь... вы... куда вам...

Общий восторг.

86. Лодочный поход отправляется в путь. Все готово. Все в лодках. На берегу провожающие. Оркестр музыки, отцы, последние прощальные улыбочивые взгляды.

В а с я (командует). На весла!

На лодках разбирают весла.

В а с я. Вперед!

Поход тронулся. Играет музыка.

87. Крупным планом проходят одна лодка за другой. Улыбающиеся знакомые лица.

88. Лица на берегу. Инженер. Отец. Мать.

89. Поход отплыл от берега. На лодках начали песню.

90. Лодки удаляются. Песня еще доносится.

91. Лодки почти скрылись. Но песня еще слышна.

Командировка

1. Вид с аэроплана: просторная равнина, пересеченная большой рекой. От реки уходит приток, в устье которого небольшой судоремонтный завод — несколько корпусов, доки, стоят суда, катера. Недалеко от завода поселок, — он протянулся по берегу большой реки. В поселке избы и каменные флигеля. Здание школы заметно выделяется, выделяется и парк с хорошо расчерченными дорожками и зданием клуба. На этом здании узкий флаг на флагштоке. Через поселок бежит прямое, как стрела, шоссе, направляясь к большим городам. На берегу реки маленькая пристань.

Противоположный берег реки и берега притока за заводом покрыты лесом, в котором сосна и береза — советский пейзаж в средней России поближе к западу.

2. В семье Орловых. Столовая — чистая небольшая комната: стол, диван, цветы на окнах. На стене портрет Сталина, на другой стене небольшой портрет бритого человека.

Дверь во вторую комнату. В дверях стоит, прислонившись щекой к наличнику, Лена, девочка десяти лет. У нее мелкие черты, интересная кошечка, связанная на затылке замысловатым бантиком. Лена внимательно наблюдает то, что происходит во второй комнате.

Из второй комнаты слышны голоса:

Б о р и с. Надоело меня кормить? Рано!

М а т ь. Боря!

Б о р и с. Вы попрекаете меня куском хлеба!

М а т ь. Боря! Что ты говоришь?

Из передней вошел Петя с книгами в руках. Ему двенадцать лет, он похож на сестру, но в его лице наклонность к серьезной мимике, и вообще в его движениях заметна некоторая раздумчивая сдержанность. Петя услышал спор во второй комнате, остановился, слушает.

Б о р и с. Радуйтесь! Уеду в военное училище, не буду вас объедать!

Борис гневный, вышел из второй комнаты, по дороге небрежно отстранил Лену, не заметил брата, уступившего ему дорогу, вышел.

За ним из второй комнаты никто не выходит. Лена, оправившись от толчка, испуганно заглядывает туда. Потом она с заговорщицким видом оглядывается на Петю, он кивает ей головой — подойди; она на носках подходит к нему. Петя смотрит на нее в упор, нацелившись не столько глазами, сколько лбом, и спрашивает тихо:

— Плачет?

Л е н а. Нет...

П е т я. А что?

Л е н а. Она... думает...

В противоположность брату Лена обладает очень выразительным движением лица. Сейчас она печальна и озабочена, и у нее нахмуренные брови.

Что-то стукнуло во второй комнате — отодвинули стул. Дети напряженно ждут. Вышла мать, она комкает в руках носовой платок, но улыбается Пете, стараясь скрыть следы пережитого волнения. Она рада приходу младшего сына.

Лена встретила улыбку матери отраженно-искренно — она просияла, ей даже захотелось подпрыгнуть, ударить в ладошки. Во всяком случае, она стоит уже рядом с матерью, и мать невольно положила ей руку на плечо.

Петя лучше разбирается в событиях. Он понимает, что мать расстроена, что она хочет скрыть это. Петя активно идет ей навстречу. Он говорит с звонким воодушевлением:

— Мама! Ты знаешь, сегодня по географии «отлично»!

М а т ь (с теплой обыденной иронией). Какой ты у меня молодец! Лена, накрывай на стол.

Лена с готовностью присела возле буфета. Петя у окна раскладывает книги.

П е т я. А по письму тоже «отлично»!

Чуть-чуть высунув язык, он картинно издала показывает матери тетрадь. Мать, направляясь к выходу, качнула головой:

— Какие успехи!

Мать вышла. Лена поставила тарелки на стол. Петя спросил почти сурово, совершенно забыв о своих успехах:

— А чего он кричал?

3. Улица. Палисадник у красного кирпичного заводского домика. Через палисадник ведет к дверям усыпанная песком дорожка. При входе в палисадник скамейка. На скамейке сидит Петя и смотрит вдаль. Лена стоит в калитке.

Петя. Главный инженер едет! Эх! Я тоже буду шофером!

Лена. А сколько Борис получает жалованья?

Петя. Начальник пристани! Это только так называется начальник!

К домику подкатил открытый газик. Главный инженер Василий Васильевич тяжело вышел из машины и направился к домику. Лена посторонилась и протяжно-нежно сказала:

— Здравствуйте...

Василий Васильевич не заметил ее приветствия и прошел к дому. Лена проводила его взглядом, надулась и нахмурилась.

Петя. Сердитый какой!

Лена (*сказала с нажимом и вызовом в поисках компенсации*). Гриша! Здравствуйте...

Шофер Гриша, разворачиваясь, бросил на детей взгляд и ответил:

— Здравствуйте, здравствуйте, детки!

Газик убежал по дороге.

Лена (*довольна. Она провожает машину искрящимся взглядом и смеется для себя*). Как он сказал: детки!..

А женщины бывают шоферы?

4. Квартира главного инженера Василия Васильевича. Кабинет — большая комната. На стенах портреты (в хороших репродукциях) Чайковского, Мусоргского, Пушкина, Дарвина. Большой ковер. На письменном столе бюст Ленина. Пианино. Строго и очень чисто.

Василий Васильевич в домашней курточке убирает на письменном столе — большой белой тряпкой вытирает стекло, отдельные предметы. Он толстый, с небольшой одышкой, и лет ему не меньше пятидесяти пяти. Говорит басом хорошего наполнения, сдерживает голос. Вид у него почти всегда сердитый, и слова он произносит недовольным тоном, но в сущности он очень добрый и добродушный человек.

На диване красного дерева сидит мать Бориса. Она не старше сорока лет, лицо ее круглое и такой же дробной нежности, как у Лены, вообще склонно к радости, но в настоящее время мать имеет грустный вид.

Василий Васильевич (*разводя руками: в одной — тряпка, в другой пресс*). Какой я советчик, соседка? Давно вижу, а только я не советчик.

Мать (*с явным сожалением*). У вас нет сыновей?

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Слава богу, нет. Ни сыновей, ни дочерей! Только теперь вижу, до чего это здорово! Вы подумайте: такой ужас! Окружить себя этими злодеями! На всю жизнь! Не-ет!

М а т ь. Они не злодеи!

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Ого!

М а т ь. Дети — это радость, только...

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Пожалуйста! Кто хочет — радуйтесь. Я — пас!

5. Река. Высокий берег. У самого берега идет лодка. На ней одним веслом гребет Володя. Ему тринадцать лет. У него круглая стриженная голова, и он хорош собой, — лицо серьезно-лукавое, из тех лиц, которые бывают у классных вожаков. В зависимости от нужды эти лица принимают самые разнообразные выражения — от серьезно-внимательного до издевательски-веселого. Но вообще Володя человек дела, у него много энергии и прекрасная ориентировка. Он в трусиках и в нижней белой рубашке.

На краю берега, скрываясь от мира прибрежными кустами, сидят, обнявшись, Борис и Шура. Борис — высокий, стройный, мохнатые брови и хорошая скульптура лица. Он в куртке Наркомвода, и рядом с ним лежит форменная фуражка.

Шура — блондинка с перманентом. Она в том расцвете, когда каждая девушка кажется хорошенькой. Во всяком случае у нее пикантная фигурка. Юбка с некоторым усилием подчеркивает полноту бедер... Парочка заметила лодку и умилилась объятиям. Володя не обращает на парочку внимания. Его лодка приткнулась носом к берегу. Володя на корме устраивается с удочками. Насаживает червяка, посвистывает.

Б о р и с. Эй ты, пацан!

Володя поднял лицо.

Б о р и с. Ты откуда... знаешь... проваливай!

В о л о д я (*встал в лодке, повернулся лицом к парочке*). Я вам мешаю? (*Он спросил приветливо, с некоторой прибавкой удивления*).

Б о р и с (*угрожающе приподнялся*). Ты... еще долго будешь разговаривать?

В о л о д я (*спокойно взялся за весло. Несколько раз гребнул, отплыл от берега и сказал громко*). Это неправильно!

6. Другая часть берега. Лодка Володи подходит с реки. Здесь берег ниже. На берегу рядышком сидят Петя и Лена, они улыбаются, наблюдая, как действует Володя. Его лодка приткнулась к берегу. Володя стал в лодке в той самой позе, в какой он только что стоял перед Борисом, и тем же самым приветливо-удивленным голосом спросил:

— Я вам мешаю?

П е т я (*ответил с мужественным понижением тона*). Нет, вы нам ни-сколько не мешаете.

Л е н а (*вежливо развела руками*). Пожалуйста, пожалуйста.

В общем они поддержали игру Володи.

7. Лодка отходит от берега, Петя гребет. Володя протягивает Лене маленькую удочку с пестрым покупным поплавком.

Володя. Только вы... женщины... разве вы можете ловить рыбу. Я еще не видел, чтобы женщина ловила рыбу. Отчего это так устроено, скажите, пожалуйста?

Лена. Потому, что женщина все время была рабой.

Володя. Отговорки. Рабы тоже ловили рыбу, если мужчины. А вы боитесь.

Лена. Я не боюсь.

Володя. Посмотрим, как вы не боитесь... Поедем на остров. (*Лодка на середине реки.*) Отчего твой брат так задается? Проваливай! Мой брат капитан, и то не задается.

Лена. Какой твой брат?

Володя. Какой! Капитан Тарасов!

8. Лодка плывет по реке. Слышен голос с берега острова.

Василий Васильевич. Эй, на лодке!

Петя. Есть, на лодке!

Володя (*тихо*). А кто это?

Василий Васильевич. Гребите-ка сюда!

Петя. Это Василий Васильевич — главный инженер.

Володя (*кричит*). А чего нужно?

Василий Васильевич. Дело есть.

9. Лодка Володи подошла к берегу острова. Остров зарос березами, ивами и кустами. Ветви деревьев нависли над самой водой. Возле берега стоит маленькая моторка главного инженера. Сам Василий Васильевич, босой, в распоясанной рубашке, сидит на склоненном к воде стволе ивы и говорит недовольным голосом:

— У вас есть черви?

Володя (*стоя в лодке, несколько важно*). Есть.

Василий Васильевич. Одолжите мне немного.

Володя. Вы, наверное, так хотите... без отдачи, да?

Василий Васильевич. А тебе жалко!

Володя. Нет, не жалко... Я могу дать, если вы.. если вы, конечно, хороший человек.

Василий Васильевич (*ухмыльнулся, бросил пристальный взгляд на Володю*). Угу... Ну, что же... Я, кажется, человек... ничего себе.

Володя. А кто это может доказать?

Василий Васильевич (*резко повернулся на стволе*). Смотри ты какой! Да вот он меня знает.

Петя. Я знаю.

Лена. Вы с нами живете в одном доме и все ходите мимо. Я вам говорю «здравствуйте», а вы не говорите ничего. И молчите и даже не смотрите.

Все это Лена проговорила быстрым говорком, деловым и тем не менее немного смущенным, не отрываясь взглядом от лица Василия Васильевича. Володя захохотал, задрал руки. Петя поднял голову к сестре, доволен ее нападением. Василий Васильевич смотрит несколько ошеломленно на Лену, потом строго на Володю.

Володя. Ага! Видите, видите! А вы говорите: ничего себе. Не дам червей!

Василий Васильевич. Неужели? Я не отвечал тебе на поклон? *(Лена пристально смотрит на Василия Васильевича и утвердительно кивает головой.)* Это... действительно... свинство. Знаешь что, я очень прошу меня извинить. *(Лена улыбается почти мечтательно.)*

Володя *(злорадно)*. Видите?

Василий Васильевич вовсе не подыгрывается к детям. Он совершенно серьезно раздражается и спорит. Его обижает придирчивость Володи. Он смотрит на Володю с негодованием и, забывая о своей просьбе, раздраженно говорит ему:

— Вижу! Извинился! А ты, наверное, никогда не извиняешься!

Володя *(тоже обиделся. Этот толстяк просит червей и в то же время кричит)*. Не дам червей!

10. На берегу острова сидят рыболовы. Дети сидят рядышком. Возле Володи банка с червями. Василий Васильевич несколько отдельно. У Володи клюнуло. Он вытащил рыбку, лукаво посмотрел на Василия Васильевича, начал насаживать наживку.

Василий Васильевич забрасывает часто, поплевывает на крючок, наконец, говорит так, будто про себя:

— Одна десятая червяка осталась. Угораздило с соседями... Мальчишки! Были бы охотники...

Пауза.

Володя что-то очень внимательно следит за поплавком. Потом не выдержал. Спросил спокойно, не глядя на собеседника:

— А по-охотнички если... на моторке катают?

Василий Васильевич *(так же угрюмо-хмуро, как будто ворчит про себя)*. По-охотнички... Охотник охотнику всегда поможет.

Володя. И на моторке.

Василий Васильевич. Ну а как же!

Снова пауза и более или менее специальные движения всех участвующих.

Володя. Возьмите червяков... по-охотнички... *(Протянул Василию Васильевичу банку.)*

Василий Васильевич. Характер у тебя...

Володя. А у вас какой характер?

Василий Васильевич. Да... собственно говоря... у меня... такой самый...

11. Борис и Шура на том же месте на берегу. Он лежит, пристроив голову на ее коленях, задумчиво наворачивает на палец собственный локон. Слышен далекий шум пароходного винта.

Шура. Борис, слышишь? Пароход идет!

Борис. Пускай себе идет... Это не к нам...

Пауза.

Ш у р а. Боря, сколько лет в военном училище?

Б о р и с. 3 года.

Ш у р а. Ты меня разлюбишь...

Б о р и с. Брось.

Ш у р а. И сейчас ты неласково... говоришь.

Б о р и с (*поднялся, сел. Ему хочется зевнуть, отвернулся*). Меня дома расстроили.

Ш у р а (*нежно взяла его за руку*). Кто тебя расстроил?

Б о р и с (*оживился и обозлился*). Как же! Дождались сына, жалованье получает — кормилец, поилец!

Ш у р а. А ты не обращай внимания.

Б о р и с. Обидно, Шура. Родная мать... жизни моей не хочет видеть... Серый костюм пошил... ты знаешь, сколько он стоит?

Ш у р а. Тебе очень замечательно в сером костюме!

Б о р и с (*обрадовался*). Вот! А она свое...

12. На берегу острова смятение. Дети забыли об удочках, смотрят в одну сторону, показывают...

В о л о д я. Канонерка! Честное слово, канонерка!

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Не может быть!

П е т я. Да посмотрите, посмотрите! Это канонерка «Буря»!

В о л о д я. Канонерка «Буря»!

13. Довольно далеко видна на реке приближающаяся военная канонерка.

14. Канонерка «Буря» проходит по реке. Борис и Шура стоят, смотрят.

Б о р и с. Военная! Красота!

На канонерке звонок.

Ш у р а (*с тревогой*). Она причаливает!

Б о р и с. Не понимаю... Причаливает! (*Он надел фуражку, на ходу пожал Шуре руку.*) Надо бежать...

Ш у р а. Не успеешь...

Борис быстро пошел по берегу. Шура с одинаковым восторгом смотрит и ему вслед, и на канонерку.

15. На реке, догоняя канонерку, спешит моторка Василия Васильевича. Он сам стоит за рулем. В моторке все ребята. Лодка Володи идет пустая на буксире.

16. Пристань. «Буря» причалила. На ней редкие фигуры краснофлотцев. На капитанском мостике капитан Сергей Иванович. Он небольшого роста человек с круглым лицом, бритый. Кажется, что он полон доброты,

но, когда он начинает говорить, у него находится очень богатый набор модуляций, и тогда его лицо может казаться и очень строгим, и очень холодным. У него высокий, несколько носовой тенор определенно иронического оттенка. На пристани стоит Нечипор, человек лет сорока пяти, — рабочий на пристани. Он давно работает на реке, и его даже канонеркой нельзя удивить. У Нечипора настоящее украинское лицо с подстриженными усами, лицо народного мудреца и человека бывалого.

Капитан. Где начальник?

Нечипор. Никого нэма...

Капитан (*возмущенно, резко*). Как это «нэма»? Почему?

Нечипор (*оглядывается с явной иронией. Он понимает, что должен кто-то быть на пристани к приходу канонерки, но ему не хочется вступать в спор, дело безнадежное*). Нэма... тай годи.

Капитан. Где начальник?

Нечипор. У них свои дела... может, поважнее...

Капитан. Да телеграмму получили?

Нечипор. Та я неграмотный, товарищ капитан!

17. К пристани подходит моторка. Она причаливает у маленькой деревянной площадки, где стоит несколько лодок. Это приходится почти у самой кормы канонерки, и над всей картиной чувствуется большой военный флаг канонерки.

Василий Васильевич. Володька, привяжи моторку.

Володя. Есть привязать моторку!

Василий Васильевич прыгнул на берег.

18. Капитан Сергей Иванович уже на пристани. К нему подходит обрадованный Василий Васильевич.

Василий Васильевич. Сергей Иванович! Чему обязаны?

Сергей Иванович. Что у вас за порядки?

Василий Васильевич. Порядки комсомольские! Надолго к нам?

Сергей Иванович. Ого! Перевооружение! Да где этот ваш... начальник, черт бы его побрал!

Василий Васильевич. Ты у меня остановишься. Я вызываю машину. (*Он ушел в контору к телефону.*)

На пристань быстро, запыхавшись, вбегает Борис. Приложил руку к фуражке.

Сергей Иванович. Паршивая провинциальная дыра! Я же давал телеграмму. Где телеграмма?

Борис (*улыбаясь невинно, смущенно*). Телеграмма? Не было... Стой, стойте... где-то есть... (*Роется в карманах.*) Вот телеграмма!

Сергей Иванович. Это... это утреннее чтение, товарищ начальник. Это обычно читается в момент получения!

Борис. Верно! «Буря»!

Сергей Иванович. Чего вернее, если «Буря» у вас под носом! В затон сообщили? Лоцманов вызвали?

Б о р и с. Да... черт его знает... запутался... с делами!

С е р г е й И в а н о в и ч. Довольно изображать из себя угорелую кошку... или угорелую ворону! Распорядитесь.

19. У моторки. Мальчики прислушиваются.

В о л о д я. Вот долбаёт так долбаёт!

20. С другой стороны к пристани подкатил газик. Гриша выходит из него и направляется на пристань. Гриша в сапогах и рубашке, туго подпоясанной узким поясом. Гриша имеет вид вообще добродушный, он скромный и неразговорчив. Но в каждом деловом его движении совершенно естественно всегда выступает на первый план точная ухватка и строгое отношение к делу, хотя Гриша как будто ничего и не подчеркивает.

21. На канонерке Василий Васильевич стоит у трапа. Сергей Иванович отдаёт распоряжение одному из краснофлотцев. Борис, расстроенный, стоит рядом.

С е р г е й И в а н о в и ч. Через час эта курица...

Б о р и с (просительно). Товарищ капитан!

С е р г е й И в а н о в и ч. ...Этот начальник даст лоцмана, проведете судно в затон.

К р а с н о ф л о т е ц. Есть, товарищ капитан!

Гриша (подошел, сдержанно вытянулся перед Василием Васильевичем). По вашему распоряжению прибыл.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Едем, Сергей Иванович.

22. Василий Васильевич, Сергей Иванович, Борис и Григорий проходят через пристань к машине. Нечипор останавливает идущего последним Григория.

Н е ч и п о р. Тебе письмо, Гриша.

Гриша (остановился, взглянул на письмо, обрадовался). От Кати, ей богу, от Кати!

Н е ч и п о р (провел пальцем под усами). Ага! От Кати, значит...

Григорий (быстро вскрыл письмо). Приезжает с «Лермонтовым»! (Побежал вниз к машине.)

Н е ч и п о р (смотрит вслед ему). Хороший був шофер... А теперь Катя...

23. Василий Васильевич входит в машину с Сергеем Ивановичем. К машине подбегает Григорий — радостный, в руках у него письмо.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Письмо получил?

Гриша. Катя приезжает. На практику, понимаете.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Понимаю, голубчик, понимаю.

Григорий. Нет, вы ничего не думайте. Она к тете приезжает.

Василий Васильевич. Все ясно: к тете и на практику. Ты в стороне.

Он смеется. Смеется и Сергей Иванович. Улыбается и Гриша, трогая машину с места. Борис один остается на пристани.

24. Машина подошла к домику Василия Васильевича. Из нее вышли все, Гриша с некоторым смущением обращается с просьбой.

Гриша. Василий Васильевич, вечером Катя... с «Лермонтовым».

Василий Васильевич. Да... слышал...

Гриша. Разрешите... я подам машину... у нее все-таки вещи.

Василий Васильевич. Ну... если вещи... подавай.

Гриша. Спасибо.

Он отъехал на своем газике. Василий Васильевич и Сергей Иванович у входа в дом.

Сергей Иванович. Влюблен?

Василий Васильевич. Золотой парень!

25. Театральный зал в клубе. В зале пусто. Драмкружок собрался для репетиции. Присутствуют Алексей, Надя, Иван, Борис, еще несколько девушек и юношей. Руководит Алеша. В сторонке тихо сидят в креслах Володя и Петя.

Алеша сердит. Он небольшого роста, у него прямые брови и строгий взгляд, тонкие подвижные губы и мужественный точный голос.

Алеша. Как записываться в драмкружок, так целые сотни, а как репетиция, так одно бюро остается.

Надя. Многие на работе!

Алеша. А где Шура?

Иван. Шура расстроена. Ей попалась плохая любовная роль...

Алеша. Плохая роль?! Марья Антоновна?

Иван. Да... нет, другая роль, вообще любовная!

Все с улыбками, довольно холодными, оглянулись на Бориса. Борис встречает эти улыбки с привычным пренебрежением.

Алеша. Почему она не пришла, Борис?

Борис (*насмешливо передвинул плечами*). Я не сторож!

Алеша. Кто за нее будет играть? Все заняты!

Он оглянулся. Его строгий взгляд переходит с лица на лицо в поисках выхода, и когда он машинально пробегает взглядом по линии Володя — Петя, Володя говорит, держа голову на кулаках:

— Я свободен.

Алеша. Что?

Володя (*с трудом пересиливая смущение и даже охрипнув*). Я могу сыграть.

Надя. Марью Антоновну?

Володя. Ага.

Все смеются.

Алеша. А почему? Может! Честное слово, может!

Надя. Да нет, он маленький.

Алеша. Как раз... А ну, идем, я тебя наряжу...

26. В одной из артистических уборных. Алеша, Надя и Володя. Надя — серьезная девушка, лучший тип комсомольского лица. У нее вьющиеся мягкие волосы, тонкое лицо. При первом взгляде на такое лицо оно кажется не вполне женственным, зато, когда эта женственность неожиданно проявляется, она кажется счастливым и замечательным нежным подарком.

Володя уже одет в какое-то женское платье, никакого отношения не имеющее к «Ревизору».

А л е ш а *(натягивая на круглую голову Володи парик)*. Ну и башка у тебя!

Володя смущенно поглядывает на свои голые ноги.

На д я. Только ты ходи правильно! Помни, что ты женщина.

Во л о д я. Так? *(Прошелся мелким шагом.)*

На д я *(смеется)*. В этом роде.

27. На сцене Иван, изображающий Хлестакова, и Володя — Марья Антоновна. Иван — высокий юноша с насмешливым лицом. У него большой выразительный рот.

Б о р и с *(из зала)*. А хорошенькая девчонка, просто прелесть!

И в а н *(со сцены)*. Ты, Боря, смотри, не влюбись.

А л е ш а. Продолжаем! Марья Антоновна!

Во л о д я — М а р ь я А н т о н о в н а. Для чего же близко, все равно и далеко.

И в а н — Х л е с т а к о в. Отчего же далеко. Все равно и близко.

Во л о д я — М а р ь я А н т о н о в н а. Да к чему же это?

Все аплодируют.

На д я. Хорошая дочка городничего!

А л е ш а. И никаких капризов!

Во л о д я. А для Петьки нет роли?

Вошли Сергей Иванович и Василий Васильевич, за ними Гриша.

С е р г е й И в а н о в и ч. Говорят, в «Ревизоре» все бюро участвует.

А л е ш а. Правильно. Все бюро.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. А это что за девица!

И в а н. Позвольте познакомиться. Марья Антоновна!

Володя сдержанно, жеманно подает руку.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Знакомое лицо. Это ваш брат — Володька, вредный такой...

Во л о д я *(серьезно)*. Это мой брат. Он очень вредный.

Все смеются.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Он мне червяков не давал на реке. *(Переходя на деловой тон.)* Товарищи, мы вот пришли к вам поговорить.

А л е ш а. Давайте.

С е р г е й И в а н о в и ч. Здесь все комсомольцы и бюро?

А л е ш а. Все. Да нет... стойте. Эй вы, вычищайтесь!

Во л о д я. Я никому не скажу.

А л е ш а. Марш, марш, да скорее!

Володя молниеносно, через голову сдирает с себя женское платье. Быстро мелькают его голые ноги, трусики. Василий Васильевич испуган-

но вскакивает, совершенно ослобенел и Сергей Иванович. Вместе с платьем Володя стащил и парик. Он метнул в дверях лукавый взгляд в гостей и исчез. За ним прошмыгнул в двери и Петя. Оправляясь от смущения, гости смеются.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Тот самый... чертенок!

28. В зрительном зале на стульях для зрителей собралось импровизированное бюро комсомольской организации. Сидят несколько вразброс, но внимание всех притягивается к капитану Сергею Ивановичу. Он сидит на одном из стульев переднего ряда, повернувшись лицом к залу. Говорит очень серьезно, нажимая голосом в соответствующих местах, но в то же время в его словах много дружески доверчивого, теплого.

С е р г е й И в а н о в и ч. Граница близко. Запах, чувствуете запах *(пошевелил пальцами)* несет оттуда? Канонерка, конечно, не линейный корабль, а только на этой реке, ого! Залп у нее все-таки... лучше не лезь! *(Все присутствующие радостно смеются.)* Так вот, что ж тут говорить? Это вы должны сделать, комсомольцы, на заводе вас большинство. Коротко: сроки, качество — высокое качество. Точность, прилаженность — никакого брака, ни одной тысячной процента!

29. В а с и л и й В а с и л ь е в и ч *(говорит стоя, тяжело опираясь на стул)*. Терпеть не могу хвастунов! Никаким словам не верю, дайте дело. Так и знайте, придирайтесь буду, как собака, как тигр, как... *(затруднился в выборе слова)* как крокодил. *(Он сказал это искренно, без намека на шутку, но все расхохотались, и Василий Васильевич удивлен.)* Чего вы? Он же говорит: ни одной тысячной процента?

Б о р и с *(сорвался с места, воздел руку, вдохновенно провел по шевелюре)*. Товарищи! Мы, комсомольцы, должны приветствовать, и поддерживать, и принять все меры. Для Красной Армии — это наша родная Красная Армия. Мы все тоже будем в Красной Армии, и если нашему заводу оказали такую честь...

С е р г е й И в а н о в и ч. Ты о себе расскажи!

Б о р и с. А?

С е р г е й И в а н о в и ч. Расскажи, как ты принял канонерку. Телеграмма в кармане — нераспечатанная, лоцманов нет, порядка нет. Как ты будешь принимать материалы, где тебя искать?

Б о р и с. Я постараюсь.

С е р г е й И в а н о в и ч. Постараюсь — обещание среднего качества.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Вдох пресвятой богородицы!

Б о р и с. Я еще молодой.

Г р и ш а. Тебе что, 7 лет?

С е р г е й И в а н о в и ч. Может быть, здесь все такие... «молодые»?

И в а н. Не беспокойтесь, Сергей Иванович, семилетний — один Борис.

Б о р и с. Да что вы все на меня?

С е р г е й И в а н о в и ч. Правильно! На тебя. Ты гражданин или нет?

Б о р и с. Гражданин.

С е р г е й И в а н о в и ч. Так вот: не прикидывайся маленьким! С тебя

и требуют, как с гражданина.

30. Пристань. Заходит солнце. На пристани довольно много людей — пассажиры. У кассы очередь. Борис продает билеты. Нечипор с видом начальственным наводит порядок.

Нечипор. Чего вы тут той... гармидер заводите?

Иван. Дедушка, мы на природу смотрим.

Нечипор. Сам ты дедушка! Здесь не природа, а пристань.

Иван. Мы на пристань не смотрим, не бойтесь.

Нечипор. Ты не той... не базикай, а отойди от того... от барьера.

Шум подъезжающего автомобиля.

Иван. Григорий приехал, жених, жених!

Вся молодежь шумно идет навстречу.

Нечипор. Чего вы тут той... заводите?

Иван. Дедушка, жених приехал!

Гриша вошел с большим букетом в руках.

Нечипор. Який жених?

Иван. Да вот же! Григорий Васильевич Волосатый!

Гриша (оглядываясь смущенно). Товарищи! Честное слово, не понимаю...

Алеша. Где ты букет достал?

Гриша. Алешка, отстань...

Иван. Да мы ничего, мы только посмотрим.

Гриша. И смотреть нечего.

Борис. Интересная твоя невеста?

Гриша. Никакая не невеста! И это очень с вашей стороны...

Нечипор. И чего притой... Дайте человеку невесту встретить... А потом будет видно.

31. Причаливает «Лермонтов». Причаливает медленно.

Нечипор (кому-то кричит). Давай конец!

Среди пассажиров на палубе стоит и Катя. Она в треухе, сделанном из газеты. Она ласково улыбается Грише, но Гриша смущен и опускает глаза.

Борис (шепчет ему в ухо). Какая? Какая? Скажи, какая?

Гриша. Отстань.

Борис. Какая? В зеленом платке, да?

Иван. Нет, что ты! Вон она, в соломенной шляпке!

В соломенной шляпке стоит толстуха с маленькими глазками.

32. Положены сходни. По ним проходят пассажиры. Одной из первых выходит толстуха в соломенной шляпе. Иван ласково берет ее за руку и подводит удивленную к Григорию. Григорий сердито отворачивается.

Толстуха. Да я его не знаю.

Иван. Извиняюсь.

Наконец, выходит Катя. Она очень хороша. У нее большие глаза и темные тонкие брови. Она свежа и полна сил юности. Она с дружеским приветом направляется к Грише, улыбается букету и немного смущается.

Григорий (хрипло говорит). Катя!

Он пробивается к ней, немного краснеет, букет ему мешает. Он перекладывает его в правую руку, но Катя протянула ему свою правую, и Григорий в затруднении. Иван с дружеской предупредительностью берет у него букет, и Гриша этого не замечает. Он пожимает руку Кати и говорит:

— Очень приятно. У меня есть машина.

Иван (*стоит сбоку и громко читает на газетной шапке Кати крупную надпись*). Долой кустарщину! За культурный ремонт вагонов!

Катя, смеясь, оглядывается и встречает веселый взгляд Ивана.

Иван (*ей говорит внимательно-вежливо*). Это у вас на шапочке написано.

Катя. Неужели? (*Снимает шапку.*) Действительно, написано!

Иван. А у нас не вагоны, а пароходы. Понимаете, недоразумение.

Катя надевает на себя треух, но в этот момент Гриша крепко схватил руку Ивана с букетом.

Гриша. Отдай!

Иван. Да чудак! Букет не тебе, а Кате. Дорогая Катя, приветствуем вас от всего комсомольского актива, а также драмкружка на территории нашего... нашего... одним словом, просим вас принять этот скромный букет, который доставал все-таки один Гриша.

Катя. Какой драмкружок?

Иван. Замечательный! Вот первый любовник — Борис Орлов, комик — Григорий Волосатый, трагик — он же секретарь комсомольский — Алеша Грузинцев.

Не чипор. Не той... Не загораживайте прохода!

Катя. А где мои вещи?

Алеша. У меня, у меня.

Гриша. Товарищи! Ну, посмотрели и убирайтесь. (*Он отнимает у Алеши чемодан.*)

33. У машины. Катю усадили на заднее сиденье. Гриша на месте шофера. Иван пытается тоже залезть в машину, но Гриша, улыбаясь, показывает ему кулак. Иван что-то шепчет остальным. Все хором кричат:

— Долой кустарщину! За культурный ремонт па-ро-хо-дов!

Иван (*вежливо напоминает Кате*). А не вагонов!

Катя просто улыбается. Машина уезжает. Юноши смотрят ей вслед.

Борис (*продолжая так же зачарованно смотреть*). Э нет, это кусочек не для Григория!

Алеша (*неожиданно-неприязненно*). А для кого? Для тебя?

Борис (*удивился*). Да чего ты?

Алеша. Я спрашиваю: для тебя «кусочек»?

Борис (*нахально, обозлившись*). А хотя бы и для меня.

Алеша. Ее Григорий давно любит...

Борис. Куда твой Григорий ходит?

Иван. Дети, не шумите. У тебя, Боря, все равно ничего не выйдет.

Борис. Почему?

Иван. Потому что... потому что... тебе 7 лет.

Борис. Посмотрим.

34. Конструкторская завода. Большая светлая комната. За чертежными

столами работают чертежники. Иван и Шура работают рядом. Они разговаривают, не прекращая работы. Шура, впрочем, очень интересуется темой. Иван говорит спокойно, выдерживая паузы, подчеркивая тоном явно несоответствующие места.

Шура. Вчера приехала?

Иван. Вчера приехала.

Шура. Интересная, говорят...

Иван. Ничего интересного! Все то же самое.

Шура. Как это «то же самое»?

Иван (*таким тоном, как будто его счет имеет для Шуры большое значение*). Понимаешь, — один нос, глаза... два, вот не заметил, сколько рук. (*Вспоминает.*) Кажется, две руки. Обыкновенная девушка. Платье пошито из газеты...

Шура. Ты всегда говоришь несерьезно...

Иван. Дай лекало.

Шура. Она учится в судоремонтном техникуме...

Вошел сердитый Василий Васильевич. Он спрашивает таким тоном, словно ему нужен ответ только для того, чтобы немедленно избить ответчика.

Василий Васильевич. Кто делает приспособление для револьверных?

Шура (*немного испугавшись*). Я делаю.

Василий Васильевич. Воляните!

Шура. Василий Васильевич!

Василий Васильевич. Воляните! Покажите, что сделано?

Шура разбирается среди чертежей, находит один, показывает. Василий Васильевич, стоя, хмуро просматривает чертеж.

Василий Васильевич. Стойте... Откуда у вас этот размер — семнадцать и пять десятых?

Шура. Такой давали.

Василий Васильевич (*смотрит на нее в упор, с осуждением*). Кто давал? Ничего подобного! Из-за этого размера забраковали, а вы опять ставите!

Шура (*бросилась к своим папкам, быстро нашла листок бумаги, хочет победно показать его Василию Васильевичу, но вдруг узнает ошибку, невольно отступает назад*). Ах!

Василий Васильевич (*долго смотрит на нее, склонив лоб, словно приготовился боднуть*). Ах! Что такое «ах», скажите, пожалуйста? Что это за терминология: «ах»?

Иван (*не прекращая работы, совершенно серьезным, очень убедительным голосом*). По некоторым данным, «ах» — это пережиток капитализма.

Василий Васильевич (*внимательно прослушал заключение Ивана, но плохо сообразил, что оно обозначает, его уже привлекает грустное настроение Шуры, он говорит ворчливо, но гораздо более ласково*). Пережиток капитализма! У вас чем-то голова забита, товарищ Устинова! Не пять десятых, а пять сотых. Семнадцать и пять сотых. Придется вам сегодня посидеть вечер. Приспособление очень срочно нужно.

Шура (*со стоном отчаяния*). Ах, я не могу вечером...

Василий Васильевич (*с имитацией такого же стоны*). Ах, я

вам приказываю! (*Ушел.*)

Ш у р а (*заломила руки под подбородком*). Я же не могу...

И в а н. Придется подчиниться насилью...

35. Заводской цех. Линии разных станков, на которых работает главным образом молодежь. Большой порядок. Револьверный станок Алеши. Он работает напряженно-быстро, лицо у него сейчас озабоченно-увлеченное. Подходит Надя — контролер механического цеха. Весь разговор Нади и Алеши, в сущности, любовный разговор. В лицах беседующих, в тоне много ласки и внимания, но все это прячется за деловым интересом и за настоящим деловым раздражением. Эти двое людей настолько сильны, что могут выдерживать двойную линию тона, не уступая ничего в любви и не поступаясь даже капелькой дела. При этом у Нади любовь выражается больше в движении лица, у Алеши — больше в голосе, явно подчеркивающим его особое отношение к Наде.

Впрочем, к концу разговора самая тема становится такой трагической, что какая угодно любовь может исчезнуть и... она все же остается. Наде досадно, что Алешу постигла неудача. Алеше стыдно, что именно перед Надей он так оскандалил.

На д я. Здравствуй, Алексей.

А л е ш а. Здравствуйте, товарищ контролер!

На д я. Давай деталь 115.

А л е ш а. Есть, деталь 115.

Он выкладывает перед ней на тумбочку стопку деталей. Надя начинает проверять их при помощи шаблона. Алеша продолжает работу на станке, но его очень интересует результат Надиной проверки. Проверая, Надя что-то шепчет, очевидно, тревожное, потому что Алеша бросает работу и прислушивается. Он теперь ясно слышит:

— Прослаблена, прослаблена, прослаблена...

А л е ш а. Прослаблена?! Что ты выдумываешь?

На д я. Пожалуйста! Запорол 23 детали!

А л е ш а. Запорол? Каким ты шаблоном проверяешь?

На д я. Мой шаблон.

А л е ш а. Твой шаблон! Твоему шаблону 100 лет. А я вчера получил новый. Вот! (*Он выложил на стол новый шаблон.*)

На д я. Дай чертеж!

А л е ш а. Будьте добры! (*Подает ей чертеж. Надя проверяет шаблон по чертежу. Алеша в нетерпении.*) Ну?!

На д я. Твой шаблон нужно выбросить.

А л е ш а. Новый?!

На д я. Все равно!

А л е ш а. Кто делал шаблон?

На д я. Такие, как ты, делали — разини.

А л е ш а. Это все в конструкторской...

На д я. А ты принимал, куда смотрел?

А л е ш а (*быстро собирает шаблоны, чертежи, детали*). Иду к главному.

На д я. Ты сам главный!

А л е ш а. Я виноват?

На д я. 23 детали!!

36. В кабинете Василия Васильевича. Сидит сбоку Сергей Иванович. Перед столом стоят Алексей и Надя. Алексей представляет из себя соединение злости и смущения. Ему стыдно в особенности перед Надей.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (гневно). Никакими словами! Никакой мерой! Вы понимаете, что это такое? (Стук в дверь.) Войдите! (Катя вошла и замерла у порога, понимая, что в кабинете происходит драма. Василий Васильевич уже стоит за своим столом, он сверлит взглядом Алешу и, очевидно предупреждая его возражения, кричит.) Виноватого искать? Это моя работа? Я инженер, а не следователь! Все виноваты, все портачи! Все! Сергей Иванович, с твоей канонеркой ничего на выйдет! У них руки калеченые, головы калеченые, души калеченые! Разговорщики, танцоры! (Он увидел только теперь Катю, и она его раздражает не меньше.) Вот приехала новая! Думаете, лучше.

Все обратили лица к Кате. Надя смотрит почти с таким же осуждением, как и Василий Васильевич, Алеша с таким же сожалением, и только Сергей Иванович улыбается так, чтобы не видел Василий Васильевич.

К а т я (покраснела, но все-таки защищается, как умеет). Вы же меня не знаете!

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (теперь он убежден, что Катя ничего не стоит). Я не знаю? По глазам вижу, по походке! «Ах, я ошиблась!»

Последнюю фразу он произнес, передразнивая девицу, и свалился в кресло, вытаскивая из кармана пиджака огромный платок, чтобы вытереть пот. Этим моментом пользуется Сергей Иванович.

С е р г е й И в а н о в и ч. Конфузно, товарищи...

И этот маленький удар окончательно обозлил Алешу. Он обращается к Сергею Ивановичу.

А л е ш а. Дали шаблон! Догадайся, что там ошибка!

На д я (говорит почти с презрением). Стыдно тебя слушать! Ты обязан... обязан догадаться!

А л е ш а (не выдержал этого укора). Надя! (Больше он слов не находит, махнул рукой, пошел к выходу. Катя внимательно посторонилась, он ее не заметил. В дверях обернулся.) О канонерке не беспокойтесь, Сергей Иванович! (Он выскочил.)

Катя подвинулась к дверям.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (к этому моменту вытер пот и спросил угрюмо, обращаясь к Кате). Вам чего?

К а т я (шмыгнула к двери и оттуда сказала иронически-ласковым шепотом). Я... в другой раз, Василий Васильевич... (Она исчезла за дверью.)

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (возмущенно повернулся к Сергею Ивановичу). Видите! Какие фокусы?

Сергей Иванович рассмеялся неудержимо. Надя сдержанно улыбнулась.

37. Ворота в заводской гараж. На свежем воздухе недалеко от ворот Гриша возится со своей машиной. Мотор разобран. На двух листах фанеры Гриша разложил части мотора, перебивает их, пересматривает, мурлычет про себя какой-то мотив.

На дорожке, ведущей к гаражу от завода, показалась Катя. Гриша обрадовался, осторожно положил на фанеру какую-то деталь, поднялся с низенького обрубка, на котором сидел, и сделал несколько шагов навстречу Кате, расставляя пальцы, измазанные в масле, и этим давая понять, что рукопожатие невозможно. Его спецовка и лицо тоже не блестят чистотой.

К а т я. Какой ты чистенький!

Г р и ш а. Полюбите нас черненькими!

К а т я. Что ты делаешь?

Г р и ш а. Профилактика!

К а т я. Такая профилактика! Ужас!

Г р и ш а. Это тебе не пароход какой-нибудь, автомобиль — скорость не десять километров, а девяносто!

К а т я. Гришка! Не смей трогать пароход!

Г р и ш а. Есть... осторожно обращаться с пароходом!

Они подошли к фанерным листам. Катя заинтересовалась тем порядком, в котором разложены части мотора на листах. Она наклонилась над ними и любуется.

К а т я. Как у тебя красиво... Василий Васильевич на тебя никогда не кричит?

Г р и ш а (*улыбнулся высокомерно*). Красиво! Это тебе не цветочки, а машина... Потому и красиво.

К а т я (*тронула что-то пальцем*). Подари мне этот тросик, он у тебя лишний, я вижу.

Г р и ш а. Я... лучше цветочки.

Катя подняла глаза. Григорий спокойно улыбается.

38. В конструкторской. Алеша стоит около Шуры.

Ш у р а (*опустила глаза*). Всякий может ошибиться.

А л е ш а. У тебя, Шура, в голове или в душе...

И в а н. Дело не в душе, а в любви!

Ш у р а (*с подозрительным укором*). А вы против любви, да?

А л е ш а. Во!

И в а н. Я против.

Ш у р а (*прищурил глаза*). Против любви?

И в а н. Да нет! Я против неправильного чертежа.

Ш у р а. При чем тут чертеж?

И в а н. Ты шаблон запарола? (*Шура молчит, выжидая.*) И любовь запароть можешь! (*Шура отвернулась к окну.*)

А л е ш а. К чертям любовь! А вечером тебе придется попотеть. Стыдно в глаза смотреть! Государственное дело!

Ш у р а (*посмотрела Алеше прямо в глаза. Может быть, у нее в глазах слезы*). Сделаю, Алеша!

39. Часть парка на берегу реки. На скамейке Борис и Шура. Видно, что они уже давно здесь сидят и за это время Шура успела сильно огорчиться, а Борис сильно соскучиться.

Ш у р а. Я не пойду вечером в конструкторскую. С какой стати? Пойдем танцевать.

Б о р и с. Шура, пойми, наконец, какое значение имеет твоя работа. Оборонное значение!

Ш у р а. Я понимаю.

Б о р и с. Конечно, было бы приятнее нам потанцевать, но здесь дело о канонерке, о Красной Армии, нельзя же так ставить на одну доску. Ты не забывай...

Ш у р а (*резко поднялась со скамейки, быстро повернулась к Борису*). Я ни о чем не забываю. Я знаю, что такое Красная Армия... А только ты врешь!

Б о р и с. Я? Мое почтение!

Ш у р а. Красная Армия не может мешать любви!

Б о р и с. А видишь, мешает.

Ш у р а. Не мешает, не мешает. Тут что-то другое мешает, ты врешь, ты напрасно все сворачиваешь на Красную Армию. (*Шура гневно стоит против Бориса, но она уже испугалась своего гнева, ей уже кажется, что она наговорила глупостей. Борис с обиженным лицом поднялся. Шура подошла к нему.*) Ну, прости!

Б о р и с (*с чувством*). Не забудь, что я тоже гражданин!

Ш у р а. Прости, Боря! Я пойду в конструкторскую...

40. Вечер в конструкторской. Шура одна. У нее много работы. Весь стол завален чертежами, инструментами, записками. Она работает напряженно, но что-то у нее не ладится. Она с удивлением смотрит на чертеж, хватая резинку, наконец, разорвала чертеж, бросила, достала чистый лист, начинает сначала. Задумалась. Решительно взяла циркуль, но так с циркулем в руках и заплакала, положив голову на руки. Циркуль торчит у нее в руке.

Вошел Иван. Остановился в дверях, внимательно смотрит на Шуру. Шура прекратила рыдания, быстро вытерла глаза, спрашивает с досадой:

— Чего ты пришел?

И в а н (*подходя к столу*). Люблю страшно смотреть, как девушки плачут.

Ш у р а. Я не плакала. У меня глаз засорился.

И в а н. Ты займись шаблоном, а я сделаю приспособление.

Ш у р а. Ты пришел помочь?

И в а н (*примеряясь глазами к какому-то масштабу, сказал спокойно*). Служу Советскому Союзу.

Ш у р а (*вдруг подошла к нему, поставила локти на стол и сказала душевно*). Спасибо! Слышишь, спасибо!

И в а н. Шура, сократи чувства на 50 процентов.

Ш у р а (*засмеялась*). Есть, на 50 процентов.

41. Вход в клубный парк. Широкая площадка, цветники. Проходит народ в праздничных костюмах, направляется в глубь парка. Недалеко от ворот дежурит Гриша. Он в свежем костюме, в новой кепке. Рядом появляет-

ся Борис, он наблюдает за Гришей и, наконец, подходит к нему. Гриша недоволен соседством Бориса, но отвечает на его салют.

Гриша. Разве сегодня парохода нет?

Борис. «Рылеев». Там... Нечипор управится.

Гриша. Раз ты начальник, обязан там быть!

Борис (*с деланным уверенным тоном знатока своего дела*). Важно руководить...

Гриша (*посмотрел на него иронически*). Чудак... ты.

42. Вечер. На пристани в ожидании парохода. Володя и Петя стоят у барьера, выходящего на реку. У окошка кассира очередь. Касса закрыта.

Человек в картузе. Да где начальство?

Человек в кепке. Очень ты начальству нужен.

Первый в очереди (*стучит кулаком в деревянный щиток, закрывающий кассу*). Эй, проснись там!

Нечипор (*вышел из своей каморки*). Чего стучишь?

Голос. Открывай кассу!

Нечипор вышел на балкон. Далеко на реке блещут огни парохода.

Нечипор. От... сто чортив! Петька, где Борис?

Петя. Клубы позаводили! Разве для такого народа можно клубы?

В очереди снова волнуются, колотят в щиток.

— Давай его сюда!

— Где такое видано?

Нечипор безнадежно махнул рукой. Он обижается на Бориса, который в таком плохом виде представляет перед публикой работу всего учреждения. Нечипор вышел к площади, всматривается по улице, не идет ли Борис. К нему подошел Володя.

Володя. Может, пойти позвать?

Нечипор. Некогда теперь звать... (*Помолчали.*) Ну, что ты будешь делать? Он же грамотный человек, как же такое можно? (*У кассы снова крики. Слышен шум колес подходящего парохода. С неожиданной просительной энергией.*) Хлопцы! Поможете?

Петя. Поможем, только как?

Нечипор. Ходим... той... продавать билеты. Вы ж грамоте знаете?

Володя (*с воодушевлением*). Ходим!

Нечипор. От молодци!

43. В кассе происходит горячая работа. Очередь быстро тает.

Пассажир. До Синяковки.

Петя подпрыгивает, выхватывает из кассы билет, передает Володе. Володя бросает на билет молниеносный взгляд и, передавая билет Нечипору, говорит негромко:

— Рубль семьдесят.

Нечипор (*с достоинством*). Платите гроши, да не той... Не задержуйте! Рубль семьдесят.

Голос в очереди. Сегодня в кассе артель работает.

Нечипор. Не задержуйте, вам говорят. Следующий.

Г о л о с. Это кассовый колхоз.

Н е ч и п о р. Колхоз, хибба це погано? Следующий, говорю.

44. У входа в парк. Катя быстро подходит к Григорию.

К а т я. Гриша, родной, я не могу... надо в конструкторскую.

Г р и ш а. Ничего не поделаешь. Я провожу.

Б о р и с. Разрешите и мне.

Г р и ш а. Борис, «Рылеев» подходит.

Б о р и с. Ничего.

45. Перед заводской проходной будкой.

Б о р и с. Какая жалость, что у меня нет пропуска.

К а т я. Но ведь у вас и дела нет на заводе.

Б о р и с. Очень жаль. Когда вы будете в клубе?

К а т я. Не знаю. *(У Кати теперь совершенно деловой тон.)* До свиданья.
(Прошла в будку.)

Г р и ш а *(тоже направился к будке, но вернулся и сказал Борису конфиденциально)*. Ты дурак. Этой девушке лодырь не может понравиться.
(Григорий тоже ушел в проходную будку.)

Б о р и с *(один. Он смотрит презрительно вслед Григорию. Сквозь зубы)*. Подумаешь... эта девушка!

На реке «Рылеев» дал три гудка.

46. Недалеко от пристани на камнях молча сидят Нечипор, Володя и Петя. По реке уходит пароход, сияет огнями. Из клуба слышна далекая музыка. Молчание.

Н е ч и п о р *(серьезно и очень тепло, с некоторой стариковской застенчивостью)*. Знаете, что хлопцы? Чи вы той... не покажете мне буквы?

Мальчики радостно вскочили с мест.

47. Вечер. Конструкторская. Работают Катя, Шура и Иван. У каждого свое дело. Молчание. Слышна та же клубная музыка.

К а т я *(не поднимая головы над чертежом)*. Товарищи, в этом разрезе пропуски.

И в а н. Мин херц! Это ложное сообщение!

Иван серьезно-умильно смотрит на Катю. Катя удивлена и его ласковостью, и его категоричностью. Она взглянула в глаза Ивана и чуть-чуть покраснела.

Ш у р а. У Вани ошибок не бывает.

К а т я *(заинтересованная, взбирается коленями на стул, протягивает к Ивану чертеж и говорит ласково-осторожно)*. Что это такое?

И в а н. Крепление стойки.

К а т я. Пусть непогрешимый Ваня объяснит мне, почему в разрезе этого крепления нет.

И в а н. Пусть девушка, приехавшая из столицы, вооружит свои прекрасные глаза... очками.

К а т я (*едва не улыбнулась — к этому ведет упоминание о прекрасных глазах. Но гораздо более сильное впечатление производит на нее упоминание об очках. Она быстро разглядывает чертеж*). Ах!

И в а н (*передразнивая Василия Васильевича*). Что это за терминология!

Девушка заливается смехом.

48. Первая комната Орловых. Борис только что вошел, вешает фуражку на вешалку. Мать из-за стола, на котором лежит открытая книга, внимательно посматривает на сына.

Б о р и с. Пожрать есть что-нибудь?

М а т ь. Вот приготовлено: молоко и хлеб!

Б о р и с (*с иронически-грустной улыбкой*). Для взрослого мужчины!

М а т ь. Больше ничего нет...

Б о р и с. Ты работаешь в буфете. Могла бы что-нибудь...

49. Борис молча ужинает. Вид у него не только недовольный, но даже страдальческий. Мать делает вид, что читает книгу, но украдкой поглядывает на сына.

М а т ь (*осторожно*). Все-таки, Боря, ты должен бы давать в семью что-нибудь. (*Борис жует и отворачивается*.) Ведь ты получаешь жалованье... И больше моего.

Б о р и с (*встал из-за стола, с силой отодвинул стул*). Старая песня!

М а т ь (*тоже встала, машинально перелистывает страницы книги*). Боря, мне трудно.

Б о р и с (*более громко, чем следует, обращаясь к матери через плечо*). Мне одеваться нужно?

М а т ь. Но ведь и нам одеваться нужно?

Б о р и с. Наплодили детей, я не отвечаю.

М а т ь. Борис!

Б о р и с (*свирепеет*). Чего, «Борис»? Вы хотите, чтобы Борис содержал вашу семью? У Бориса свои дороги. (*Он гневно заходил по комнате, отшвырнул стул, попавшийся по дороге. Мать следит за ним, хмурит брови. В комнату вошел Василий Васильевич*.)

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Что случилось?

Борис гневно на него глянул, прошел мимо наружу, хлопнул дверью.

50. Маленькая комната комсомольской организации в заводском клубе. Вечер. Алеша за столом читает длинную бумагу. На диване Надя увлеклась газетой, ее лица за газетой не видно. В углу за большим столом склонились головы Ивана, Кати, Шуры и Сергея Ивановича.

С е р г е й И в а н о в и ч. Это оригинально и просто.

К а т я. Только давайте выключатель переставим сюда, а то высоко.

И в а н. Снаряды подают бойцы, а не девочки.

К а т я. А вдруг и нам придется — девочкам.

С е р г е й И в а н о в и ч. Правильно, Катя, давайте переставим.

Вошел Борис. На него никто не обратил внимания. Он в настроении развязно-оживленном. Бросил фуражку на стол, подставил стул поближе к Алексею и сказал приглушенно:

— Получена командировка, Алеша?

А л е ш а. Получена.

Б о р и с. Конечно, это моя командировка?

А л е ш а. Через два дня соберем бюро с активом и решим.

Б о р и с. Алексей, я давно заявил: еду в военное училище.

А л е ш а. Хорошо. Но, может, найдется кандидат лучше.

Б о р и с (*ухмыльнулся по-приятельски, встал, прошелся по комнате, сказал громче*). Кто? Я конкурентов не вижу.

Надя опустила газету, посмотрела на Бориса внимательно. Обернулись все за большим столом. Шура бросила влюбленный взгляд.

А л е ш а. Мой голос будет против тебя.

Б о р и с (*остановился, с удивлением*). Ты шутишь, Алеша?

А л е ш а. Нет.

Н а д я (*снова опустила газету*). Интересно, Алексей, почему?

А л е ш а. Борис знает.

Б о р и с. Ну, Алеша, если так придирааться... у каждого человека есть недостатки. Человек же не кукла.

Н а д я. Правильно!

И в а н (*вдруг выпрямился за своим столом и сказал неожиданно звонко*). А по-моему, это моральный оппортунизм!¹

Все обратились к Ивану.

Н а д я (*улыбаясь, завертела головой*). Какие ты слова закручиваешь?

И в а н (*вышел из-за стола. В руках у него карандаш*). Моральный оппортунизм! А как это иначе назвать? У человека должны быть достоинства и недостатки? С какой стати недостатки? Почему у комсомольца должны быть недостатки? Кто эту норму придумал?

Б о р и с. По-твоему, все люди должны быть ангелами?

Н а д я. Похоже.

И в а н. Не ангелами, а большевиками.

К а т я. Ай, интересно, а только, честное слово, ты путаешь!

Н а д я. Люди без недостатков — это скучно, Ваня! Скучно.

И в а н (*начинает сердиться*). Чушь! Ничего не скучно! При коммунизме так и будет!

Н а д я. Ну, при коммунизме, а сейчас?

И в а н. А сейчас каждый должен... понимаешь, должен... раз, раз, раз, к черту все недостатки!

К а т я. Все?!

И в а н. Все!

Н а д я. Ваня — это максимализм!

И в а н. Ох, какие ты слова закручиваешь!

Н а д я. Докажи!

И в а н. Докажу!

Г о л о с а. Доказывай! Слушаем!

Все приготовились слушать длинную речь.

Иван (*стал в позу, протянул руку вперед*). Доказательство первое: Надя, какие у тебя недостатки?

Все ошеломлены, Надя больше всех.

Надя. Да... много, наверное...

Иван. Какие?

Надя. Да отстань! Не буду же я исповедоваться.

Иван. Алеша, какие у Нади недостатки?

Алеша (*увлеченно вскочил за столом*). Ты прав, у Нади нет недостатков.

Все засмеялись.

Надя (*смугилась, рассердилась... К Алеше*). Ты врешь!

Алеша. Есть! Есть! Она... страшно придирчивый контролер!

Снова смех. Потом тишина.

Шура (*вдруг говорит негромко*). Что же ты у Алеши спрашиваешь? Алеша... он в Надю...

Алеша. Шура! Не твое дело!

Шура. А вы спросите у Василия Васильевича.

Общий смех.

Иван (*решительно заявляет*). Василий Васильевич не считается.

Сергей Иванович (*сидит еще за большим столом и до сих пор внимательно следит и за словами, и за лицами. Молодежь, кажется, забыла о том, что он присутствует. Сейчас и Сергей Иванович вмешался*). А второе доказательство?

Иван. Пожалуйста, второе! Катя, пять шагов вперед!

Катя (*вышла вперед с изгибой послушностью. Все на нее смотрят, она смотрит Ване в глаза и говорит негромко*). Ваня, у меня очень много...

Иван. Нет, мы на тебя с другой стороны. Скажи только правду, в глаза, какие недостатки ты простила бы своему любимому?

Катя (*она понимает поэтическую ценность поставленного вопроса, и в ее голосе звучит хорошая эмоция*). Моему любимому?

В дальнейших вопросах, отвечая на них, Катя сначала говорит весело, с кокетливым раздумьем, вертя иногда головой, потом нахмуривает брови и отвечает все более убежденно, серьезно и страстно. На последние вопросы вместе с нею шепотом отвечает и Шура.

Иван. Да! Воровство простила бы?

Катя. Что ты!

Иван. Шкурничество...

Катя. Нет!

Иван. Пьянство...

Катя. Нет!

Иван. Хамство...

Катя. Нет, нет!

Иван. Разврат?

Катя. Ни за что!

Иван. Плохую работу?

Катя. Никогда!

Общее воодушевление.

Алеша (*стукнул кулаком по столу*). Иван правильно сказал! Правильно сказал! Я на его стороне! Кто еще?

К а т я (смотрит на Ваню благодарно, склонив голову чуть-чуть набок). И я на твоей стороне, Ваня!

С е р г е й И в а н о в и ч (поднялся за столом). Я как старый большевик уже 25 лет на твоей стороне.

И в а н (с гордостью). Вот видите!

Вдруг открылась дверь, и в дверях стал Василий Васильевич.

К а т я (не сходя с места, поворачивается к нему лицом). Василий Васильевич, будьте добры, скажите, какие недостатки у Нади Горчаковой? (Показала на Надю рукой.)

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (весело, но с гримасой осуждения махнул рукой). Эх! Все вы одинаковы!

51. В каморке Нечипора на пристани. На пристани тишина и зной. В окно видны гладь реки и далекий лесной берег. По реке плывет лодка с парусом.

Н е ч и п о р (читает по книжке). Кра... Кра...

В о л о д я (сидит против Нечипора, говорит с профессиональной уверенностью). Вы сразу... Вы так... сразу!

Н е ч и п о р. Красная... Армия... зо... зорыко...

В о л о д я. Неправильно!

Н е ч и п о р. Чего ж там неправильно! Зорыко!

В о л о д я. Неправильно!

Н е ч и п о р (рассердился). Да чего ты причепился? Смотри!

В о л о д я (не может больше скрывать теснящих его чувств). А сегодня мой брат приезжает! Степан!

Н е ч и п о р (его увлекает книга, а не брат Володи). Нехай приезжает! Зор... ага! Зорко! Ох, ты... сто чортив! Зорко, оказывается!

52. Берег реки подальше от поселка. У берега стоит лодка. Лес начинается несколько отступя от берега. На опушке леса на большом пне сидит Шура. Борис стоит против нее. Шура, подняв лицо, смотрит на Бориса с последним остатком надежды. Ей еще хочется верить его искренности. Борис ей по-прежнему кажется великолепным. Вид у Бориса уверенный, даже гордый, и это придает ему определенную привлекательность.

Б о р и с. Я хочу быть командиром! И буду!

Ш у р а. И ты уедешь?

Б о р и с. Шура! И тебе будет лучше!

Ш у р а. А если... тебе не дадут командировку?

Б о р и с (презрительно). А кому дадут? Ивану? Чертежнику? Командиром не всякий может быть! Дадут как тепленькие!

Ш у р а. Все равно... ты меня забудешь...

Б о р и с (присел к ней, обнял за талию). Пойдем сегодня на танцы?

53. Балкон пристани, выходящий на реку. Нечипор шваброй моет пол. Вылетел на балкон Володя, обрадовался, что нашел Нечипора. За ним показался Петя.

Володя (*еще на бегу*). Нечипор, Нечипор!

Нечипор. Здравия желаю, товарищ учитель!

Володя. Смотри: приеду в три часа! На чем он приедет? (*Показывает телеграмму.*)

Нечипор (*с охотой читает телеграмму. Он теперь вообще любит читать*). Ппприеду... Правильно, приеду... тери...

Володя. Да не тери, а три!

Нечипор. Та бачу: три, чего ты кричишь?

Петя. А на чем он приедет, вот интересно!

Нечипор (*с лукавой игрой, продолжая мыть палубу*). А то вже я знаю, на чем он приедет...

Володя. А ты скажи!

Нечипор. Эге! Скажи! А може то военный секрет!

Петя. Ну?!

Нечипор. А може то военный катер?

Володя. Военный катер?

Нечипор. Красная Армия зорко смотреть... Хэ! Чуешь?

Он повернул ухо к реке. Мальчики увлеченно прислушиваются. Слышен далекий звук мотора военного катера. Мальчики побежали по балкону. Слышен голос Володи: «С флагом, смотри, с флагом!»

На балкон вошли Василий Васильевич и Сергей Иванович.

Василий Васильевич. О! Эти уже здесь! И откуда пронюхали?

Володя (*ухватил Василия Васильевича за рукав*). Смотрите, Красная Армия! С флагом!

На реке видно, как стремительно-быстро, вспенивая поверхность реки, глубоко зарываясь носом, развевая красный военный флаг, приближается катер.

Володя (*очень страстно, он не находит слов*). Ох, и здорово!

Сергей Иванович присмотрелся к нему, улыбнувшись, взял его за круглую голову, повернул к себе лицом.

54. Катер причалил к пристани. С катера ловко выскочил на пристань стройный высокий военный. Василий Васильевич подошел к нему.

Василий Васильевич. Товарищ Тарасов?

Тарасов. Да.

Василий Васильевич. Я главный инженер. Вот капитан канонерки — Заболотный.

Капитан Тарасов прикладывает руку к козырьку, пожимает руки встречающим. В этот момент Володя с разгона налетает на него, повисает на шее, задирая ноги.

Василий Васильевич (*с укором*). Володька!

Володька, оборачивая лицо, смеется Василию Васильевичу:

— Мой брат!

55. Канонерка в затоне. На ней совершается большая работа. Палуба кое-где вскрыта, видно, как под палубой производится работа по укреплению оснований для орудий. Часть рабочих производит окраску

канонерки, повиснув на стремянках. У будущей носовой пушки остановились Сергей Иванович, Василий Васильевич и капитан Тарасов.

Т а р а с о в. Прекрасно. Завтра прибывает вооружение. Кранов у вас хватит?

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Хватит.

С е р г е й И в а н о в и ч. И пробную произведем здесь.

Т а р а с о в. А что же... Постреляем...

И в а н (*подошел с чертежами, приложился к кепке*). Василий Васильевич, вы просили... рабочие чертежи.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Ага! Вот посмотрите, товарищ Тарасов!

56. В каюте Сергея Ивановича. Хозяин угощает гостей чаем, но Тарасов увлечен рассматриванием рабочих чертежей Ивана. Он несколько раз тянется к стакану с чаем, но немедленно же забывает об этом. За его спиной стоит Иван и внимательно следит за его карандашом.

Т а р а с о в. Электрическая подача. Об этом мы и не мечтали. Кто это сделал? Вы?

И в а н (*серьезно*). Нет... это бригада...

Т а р а с о в. Я вас знаю. Вы Ваня Зоренко. Я оканчивал, а вы были в пятом.

И в а н. Да.

Т а р а с о в. Замечательно! Да! А какие вы поставите моторы? (*Иван перевернул несколько страниц.*) А хватит?

И в а н. Должно хватить. Ведь здесь семидесятипятимиллиметровка? Вес снаряда... килограммов.

Т а р а с о в (*поднял голову*). Да... вы что? Артиллерист?

И в а н (*смутился*). Нет... Интересно очень!

57. В той же каюте. Иван уже ушел. Тарасов, наконец, может пить чай.

Т а р а с о в. Советская молодость — это благородная вещь!

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Это вещь зеленая.

С е р г е й И в а н о в и ч (*прошелся по каюте, вдруг задумался мечтательно*). Это вещь завидная, очень завидная!

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Извините, я ничего не хочу им уступить. Я моложе их, так и знайте! Моложе. Они только зеленее!

Т а р а с о в. Придется уступить, Василий Васильевич!

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (*наконец, рассмеялся искренно, сбросив с себя всю свою суровость*). Ох, не хочется. Если бы вы знали, до чего не хочется.

Сергей Иванович смеется с увлечением, положил руку на плечо приятеля. Тарасов любовно рассматривает Василия Васильевича и улыбается.

58. Клубный парк на берегу реки. Вечер, начало гулянья. «Невидная» музыка играет вальс. По дорожкам проходят гуляющие. Под ручку идут Борис и Шура. Он в новом пиджачном костюме, очень элегантен.

59. Буфет в парке. За буфетной стойкой мать Бориса. Несколько столиков, публики в буфете еще мало. За одним из столиков Сергей Иванович и Василий Васильевич.

М а т ь. Чем вас угостить?

С е р г е й И в а н о в и ч. Да что... по-стариковски... дайте пивка.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Как ваш сын, соседка?

М а т ь. Плохо. Скорее бы уже уезжал в военное...

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. А он... годится в военное?

М а т ь. А почему же не годится?

60. На скамейке в парке Катя и Гриша. Катя внимательно-задорно поглядывает на Григория.

Г р и ш а (*говорит раздумчиво*). Борис вот едет в военное. Иван... ого! Иван, он чертовски способный. А я человек простой — шофер!

К а т я. Дальше!

Г р и ш а. Чем Борис лучше меня? Я никак не разберу... А только... Я за ним не угонюсь.

К а т я. Ты лучше! Ты в миллион раз лучше.

Г р и ш а (*посмотрел на нее с удивлением*). Как же можно тебе верить. Ты же... умница, а говоришь такие глупости. Значит... неправду говоришь.

К а т я. Дело в другом... Дело в том, что ты совсем не умник.

Г р и ш а (*разочарованная правда в его словах*). Вот видишь...

К а т я. Гриша, через год я тебя поцелую...

Г р и ш а (*смотрит на нее с мужественным покоем*). Я могу ждать и десять лет...

61. Танцевальная площадка. На эстраде рядом заводской оркестр играет фокстрот. Пары кружатся на дощатом полу. Гораздо больше зрителей, чем танцующих. Зрители завидуют развязности и элегантности танцующих, но в то же время в чем-то осуждают их. В отдельной группе Алеша, Надя, Катя, Григорий, Иван. Недалеко от них наблюдают танец Василий Васильевич и Сергей Иванович. Рядом с ними капитан Тарасов.

Среди танцующих Борис и Шура. Борис танцует самозабвенно, выделяя подчеркнуто-задержанные па, волоча ноги и томно переворачивая в руках свою даму. Шура не столько танцует, сколько отдается власти Бориса и наслаждается его близостью.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (*смотрит на танцы с презрением*). У меня от этого... изжога — разве это культура?

62. Две девушки с увлечением наблюдают танец Бориса и Шуры.

П е р в а я. Как он танцует!

В т о р а я. Шурка... счастливая!

63. Борис и Шура в танце. Борис увидел группу вокруг Кати.

Б о р и с. Довольно, Шура!

Шура. Еще немного.

Борис. Нет, довольно!

Шура. Ты с другой хочешь?

Борис. Не танцевать же только с тобой.

Шура. Еще немножко!

Борис. Отстань! *(Он остановил танец и довольно грубо подвинул Шуру к краю площадки, немедленно здесь ее бросил и поспешил к Кате. Изогнувшись галантно, сказал.)* Катя!

Катя. Я... не танцую... этого...

Борис. Что вы!

Сергей Иванович *(прислушался к разговору)*. Вам не нравится, Катя?

Катя. Нет.

Сергей Иванович. А вам, товарищ Надя?

Надя лукаво посмотрела на Алешу.

Алеша *(задорно решил)*. А хотите, мы вам покажем новый танец?

Сергей Иванович. Какой такой новый? Откуда вы знаете?

Алеша. Никто еще не знает. А мы приготовили к празднику.

Надя. Что ты, Алеша! Нельзя показывать!

Алеша. Почему? Сейчас устрою. *(Он направился к оркестру.)*

Надя. Алешка! Не надо!

Алеша *(возвращается)*. Надя! Шикарно выйдет. Мы покажем этим...

Гриша. Пижонам!

Сергей Иванович. Интересно!

Иван. «Веселый комсомолец»?

Алеша. «Веселый комсомолец»!

Иван. Ха! Где же моя дама?

Катя. Твоя дама?

Иван. Шура! Мой друг Шура!

Оркестр играет на эстраде.

Дирижер *(склонился к Алеше, помахивая машинально палочкой)*. Сюрпризом же хотели.

Алеша. А мы сегодня... сюрпризом...

Дирижер. Идет.

64. Тишина. Алеша перед площадкой поднял руку:

— Товарищи! Сейчас мы вам покажем новый танец — «веселый комсомолец»!

Публика зашумела, многие удивленно подвинулись к Алеше. Слышны возгласы:

— Какой?

— Откуда такой танец?

— «Веселый комсомолец»?

— Воображаю!

— А ну, жарь, Алешка!

— Давно слышали! Интересно!

Женский голос. Чепуха, наверное!

Алеша. Давайте круг!

Круг раздался. На круг выскочил Иван, он за руку тянет Шуру. Шура упирается. Иван дурашливо стукнул каблуком по полу:

— Эх, и танец же! Шура! Пожалуйте!

Шура. Я не в настроении.

Иван. Борька, скройся, а то у моей дамы настроение портится.

Борис. Я не мешаю. *(Он отошел к Кате, что-то зашептал ей на ухо.)*

Шура взглянула в его сторону и с хмурой решительностью пошла к Ивану.

Алеша взял Надю за руку и вышел на площадку. Надя взглянула на него с дружеским осуждением, но, когда он стал на свое место и гордо поднял голову, она сверкнула улыбкой и с неожиданным кокетством приняла нужную позицию. Сергей Иванович закричал «браво» и засмеялся. Надя стрельнула на него глазами. Кругом стало весело.

Борис *(наклонившись к уху Кати)*. Захолустный балет!

Катя. Посмотрим.

Оркестр грянул танец. Его мотив настоящий танцевальный, очень веселый, с юмором, но в то же время и очень лирический, с чуть-чуть намекающей грустью, немедленно уничтожаемой, как только она возникает в мотиве.

Первые па танца имеют характер задорного марша. Ни в какой мере танец не напоминает старых танцев. В нем нет чопорности вальса, пошлости польки, откровенности фокстрота. Это танец комсомольцев, и при этом веселых. В нем много задора, бодрости, свободы, ловкого движения и в то же время много нежности, кокетства и улыбки.

В первой паре танцуют Алеша и Надя. Алеша танцует строго, с нахмуренной бровью, требовательно, со скрытой, вызывающей мужской улыбкой. Надя, напротив, обнаруживает богатейшую умную женственность. Она отдается танцу с хорошим намеком, как будто подчеркивая, что не уступит Алеше ни одной капли первенства, но способна сделать это весело и любовно.

Во второй паре Иван и Шура. Иван танцует раздольно-насмешливо, поддразнивая свою даму и увлекая ее в какой-то легкомысленный переплет. У Шуры нашлись прелестные выражения почти царственной гордости. Она серьезна, поглядывает на кавалера свысока, она печальна, но уже видно, что в танце доказываются богатства ее души и грации.

Танец захватил зрителей с первых своих движений. Публика сначала любит танцорами, потом начинает жадно присматриваться к ним, изучать танец.

Катя. Какая прелесть! Это — наш танец!

Борис. Пойдемте, попробуем!

Василий Васильевич *(подчиняясь своей горячей натуре, вспомнив свою молодость, он не может смотреть спокойно)*. Извините! Катя танцует только со мною!

Катя. Конечно, только с вами!

Новая пара неожиданно очутилась на площадке. Алексей увидел, что-то крикнул весело. Василий Васильевич и Катя прибавили танцу новое содержание. Василий Васильевич толст, но тем очаровательнее его юмор и сдержанно-улыбчивое ухаживание. Катя посматривает на своего кавалера с кокетливой лаской. У нее много настоящей чисто девичьей неж-

ности. Василий Васильевич, может быть, ошибается в точности па, но зато он по-старинному свободен и не стесняется. Танцуя, он даже разговаривает.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Когда-то и я был грозой для вашего брата.

К а т я. Вы и теперь небезопасны.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Только в цехе, к сожалению, только в цехе.

В толпе зрителей засмеялись, загалдели, кое-кто ударил в ладоши. Оркестр оборвал музыку, раздались общие аплодисменты.

65. Василий Васильевич несколько манерно выводит свою даму из круга. Он по-старинному предложил ей руку.

К а т я *(радостно смеется)*. Какой вы молодец, Василий Васильевич!

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Я не молодец, я веселый комсомолец! Спасибо.

Он подвел Катю к Борису и сам направился навстречу овациям, которыми встречает его Сергей Иванович.

66. К а т я. Пить хочу.

Б о р и с. Буфет здесь. *(Они направились к буфету.)*

Шура смотрит вслед удаляющейся паре. Потом машинально побрела за ними, вошла в темную аллею, потеряла их из виду, опустилась на скамью и вдруг, склонившись на спинку, заплакала.

67. У буфетной стойки очередь.

Б о р и с. Вам чего?

К а т я. Я сама.

Б о р и с. Да зачем же...

68. У буфета. По одну сторону мать, по другую — Борис.

Б о р и с *(тоном обычного распоряжения)*. Мама, дай бутылку сидро.

М а т ь *(как будто ее спрашивали только о цене)*. 85 копеек.

Б о р и с *(приглушенно)*. Я тебе потом отдам.

М а т ь. Сейчас плати.

Б о р и с. Да у меня нет.

М а т ь *(строго, негромко)*. Значит, обойдешься без сидро.

Среди публики все-таки услышали этот разговор. Засмеялись.

Г о л о с. А ты из бочки напейся, там бесплатно.

Б о р и с *(обошел стойку, приблизил лицо к матери, зашипел)*. А я тебе говорю, дай, что ты меня позоришь!

М а т ь *(упорно смотрит ему в глаза)*. Без денег не дам.

Б о р и с. Не дашь, не надо. *(Он не спеша, свободно, как свою, взял из ящика бутылку и ушел. Мать положила руку на лоб.)*

Г о л о с. Это сынок? Героический сынок.

Сергей Иванович *(из очереди)*. Это он для меня, получите. *(Он положил на стойку деньги.)*

69. К Кате подходит Борис. В руках у него бутылка.

Борис *(говорит с деланным оживлением)*. Только... как открыть?

Катя. А стакан?

Подошел сбоку Сергей Иванович, молча протянул руку.

Борис. А что такое?

Сергей Иванович. Отдай бутылку. Я все видел.

Борис *(не может не отдать, он боится Сергея Ивановича, но и отдать не может, ему стыдно перед Катей)*. Я... не понимаю...

Сергей Иванович *(молча берет у него из рук бутылку, достает из кармана стакан и протягивает Кате)*. Держите.

Катя, не понимая в чем дело, взяла у него стакан. Из другого кармана Сергей Иванович вынимает штопор. Борис стоит молча и неподвижно смотрит в сторону буфета. Сергей Иванович открыл бутылку, налил Кате.

Катя посмотрела на Бориса вопросительно. Он отодвинулся в сторону.

Сергей Иванович *(улыбается)*. Напоить девицу водой... тоже нужно уметь... Хочешь?

Этот вопрос относится к Борису. Борис отрицательно и обиженно вертит головой.

Катя. Спасибо. *(Она еще посмотрела на Бориса.)* Что случилось, никак не пойму...

Сергей Иванович. Да ничего особенного. Все, можете продолжать дальше, молодой человек!

Катя, удивленная, трогается к выходу. Борис поправил кепку и сумрачно пошел за ней. Но через несколько шагов он как ни в чем не бывало говорит ей:

— Здесь замечательная аллея. Пройдемся!

70. Шура сидит одна на скамейке. Она уже наплакалась и теперь только вздыхает про себя. Возле той скамейки, на которой она сидит, темно, но возле следующей скамейки по аллее горит фонарь. К этой именно освещенной скамье подошли Катя и Борис. Их Шура хорошо видит и слышит голоса.

Борис грубовато взял Катю за руки, она вырвалась и удивленно отодвинулась.

Катя. Товарищ Орлов!

Борис. Вы мне нравитесь!

Катя. Мало ли кому я нравлюсь?

Борис *(обнаглел. Он считает, что так нужно действовать. Он протянул руку, чтоб взять ее за талию. Она отступила)*. Я вас поцелую...

Катя *(с громким изумлением)*. Борис, вы же хотите в военное училище!

Борис *(с кокетливой развязностью)*. А военные что... не любят?

Катя. Это у вас называется любовью?

Борис. Называется... А как же называется.

К а т я. Вы и Шуру... так любите?

Б о р и с. Ну ее к дьяволу, Шуру! *(Он быстро обнял Катю и привлек к себе.)*

К а т я *(отталкиваясь от его груди, она тихо вскрикнула)*. Пустите!

Б о р и с. Не ломайтесь, Катя!

К а т я. Я закричу! Слышишь, болван! *(С неожиданной силой она толкнула его, и он упал на скамейку. Она сказала с гневом.)* Хамик!

Борис вскочил на ноги, но не решился подойти к ней. Она быстро повернулась и направилась по аллее, но, пройдя несколько шагов, обернулась.

К а т я. А скажите, бутылку эту... вы украли?

Он смотрит на нее угрюмо. Она пошла дальше и сказала, не оборачиваясь, как будто про себя:

— Бедный! Сколько неудач за один вечер.

Она ушла, еще долго видно в темной аллее ее белое платье. Борис положил руки в карманы пиджака, обтягивая его на своем заду, и не спеша двинулся в противоположную сторону.

Проходя мимо скамейки, на которой сидит Шура, он остановился и сбоку посмотрел на нее. Она давно сидит, положив руку на спинку скамейки, а на руке пристроив голову. Может быть, плачет, может быть, кусает руку у локтя.

Борис секунду смотрел на Шуру, потом с досадой махнул рукой, одернул пиджак и ушел по дорожке. Шура не посмотрела в его сторону.

71. Открытый ресторан. Алеша и Надя за столиком. Подошел Борис, хмуро посмотрел, присел на незанятый стул, сказал хрипло:

— Алеша! Одолжи трешку! *(Алеша достал кошелек, протянул Борису кредитку. Борис положил ее на стол, застучал по ней пальцами, о чем-то раздумывая. Подошел официант. Борис сказал ему угрюмо.)* Рюмку водки и бутерброд! *(Официант ушел. Опираясь локтем на стол, Борис неудобно повернул к Алеше лицо.)* Алеша, ты должен помочь, я здесь не могу больше оставаться.

А л е ш а. Почему?

Б о р и с. Не могу! Здесь все на меня! *(Официант принес водку и бутерброд.)* Эх! *(Борис безнадежно махнул рукой и выпил. Забыл закусить.)* Ты должен мне помочь, Алеша. По-комсомольски.

А л е ш а *(требовательно)*. Слушай, Борис, не ломайся!

Б о р и с. Да как же я...

А л е ш а. Закусывай!

Б о р и с. Это не имеет значения...

А л е ш а. Закусывай, тебе говорю!

Б о р и с *(обмяк, покорился)*. Ну... хорошо. *(Он начал есть. Надя улыбнулась. Он заметил улыбку.)* Вам смешно! *(Это он постарался сказать с мягким укором.)*

Н а д я. Ты просишь помощи, как будто у тебя несчастье случилось.

Б о р и с. Все на меня!

А л е ш а. Ничего подобного. Против тебя только один человек.

Б о р и с *(с живейшим интересом)*. Кто?

А л е ш а. Комсомолец... один...

Б о р и с. Кто?

А л е ш а. Борис Орлов!

Б о р и с (*он понял слова Алеши, как призыв к хорошему поведению*). Я все сделаю! Алеша, я все сделаю! Дай только командировку в военное. В этом моя жизнь.

А л е ш а. Не я даю... дает организация.

Б о р и с. Организация даст... Только ты не мешай... (*Алеша улыбнулся наивности Бориса, но Борис эту улыбку понял как обещание. Он весело поднялся со стула, протянул руку.*) А за Бориса Орлова будь покоен, он не подкачает. До свидания. (*Он сделал шаг от стола, но снова повернулся к столу.*) И знай... знай... лучше кандидата у нас нет...

72. Ночь. На берегу реки. За рекой — над лесом, луна. По берегу бредет Шура. Остановилась, задумалась, посмотрела на реку. Села на опрокинутую лодку.

С реки плеск весел. Плывет на лодке Нечипор и напевает «Партизанскую». Толкнулся в берег, оглянулся.

Н е ч и п о р. А кто это тут?

Ш у р а. Это я, товарищ Нечипор!

Н е ч и п о р (*с лодки подошел к ней*). Скучаете... или, может, так сидите?

Ш у р а (*слабо улыбнулась*). Все равно.

Н е ч и п о р (*набивая трубку*). А где же молодой человек, товарищ начальник?

Шура молчит, отвернулась, опущенной рукой царапает смолу лодки.

Н е ч и п о р. Мабудь... уже... той, оттолкнулся от берега, га?

Шура быстро вытерла слезу, встала, сделала шаг в сторону.

Н е ч и п о р (*зажег спичку. Осветил свое небритое лицо*). А от... по той... постойте! От я вам шось скажу... (*Он хлопнул рукой по лодке и сам уселся, раскуривая трубку. Шура послушно села рядом с ним. Нечипор склонился к коленям, пыхает трубкой, говорит не спеша, задушевно.*) От бывает... плачет дивчина, рыдает, слезы льет... думает сдуру: ой, какая беда, ой, какое горе, несчастне кохання! Вроде как бы в речку стрыбать або петлю на шею.

Ш у р а. А так разве не бывает?

Н е ч и п о р. Ото ж и кажу... а на самом деле, ставь, серденько, магарыча, та и старого Нечипора почасть на радостях.

Ш у р а. Да какая ж радость, товарищ Нечипор!

Н е ч и п о р. А такая радость, что и сказать не можно. Живешь ты на свете, молодая, красивая, не батрачка, не беднячка, службу советскую выполняешь, якого биса тебе не хватает? Може молока соловьиного?

Ш у р а (*ей нравятся надежные слова Нечипора, только в одном пункте для нее что-то неясно. Она говорит с некоторым трудом, касаясь интимной темы, но Нечипор сидит рядом с ней, как хорошая судьба, перед которой нечего стесняться*). А любовь, товарищ Нечипор?

Н е ч и п о р (*выбивая трубку*). Та кто же тебя не полюбит? Разве ж найдется такой остопоп? Выбирай, кого хочешь!

Шура. Я уже выбрала.

Нечипор (такого вопроса он ждал. Он отвечает на него с убежденной небрежностью, поднимаясь с лодки). Та куды он годится! То ж разве тебе пара. Скажи спасибо, что вырвалась. Он же еще человек... такой... вроде... ни в себе... Выбрала... То ж просто... осечка произошла. (Он стоит перед Шурой и добродушно посмеивается, оглядываясь на луну. Шура зачарованно смотрит на него, но улыбаться ей еще не хочется. Пауза. И вдруг Нечипор говорит медленно.) Он же... спекулянт... той Борис...

Шура. Спекулянт?

Нечипор. Конечно... Он же только для своей души...

Он совсем уже обернулся к луне. На луну засмотрелась и Шура, подперев голову руками.

73. Утро в доме Орловых. Петя закончил завтрак и начинает собирать удочки. За столом Лена. Мать встала из-за стола.

Мать. Чай не выпил. Куда ты спешишь?

Петя. Мама, так сейчас Володя придет.

Мать. Володя... какое событие...

Из второй комнаты выходит Борис. Он в черных брюках и в ночной рубаше. Руки в карманах, голова всклокочена.

Борис (остановился в дверях). Разве ты мать? (Общее молчание.) Из-за 80 копеек ты вчера меня опозорила перед всеми. Какая ты мать? Ты буфетчица! Все сволочи!

Мать отступила к окну и с тупым вниманием смотрит на Бориса. Петя с удочками в руках выступил, гневный, вперед.

Петя. Что ты сказал? Что ты сказал?

Борис посмотрел на него сверху презрительно, потом быстрым толчком бросил Петю к дивану. Петя полетел, зацепился за стул, но удержался на ногах и, размахнувшись, ударил Бориса тупыми концами удочек по голове. Лена громко закричала, мать закрыла лицо руками. Петя повторил удар. В дверях появился Володя с удочками. Оправившись от неожиданности, Борис схватил Петю за плечо и размахнулся кулаком, но в этот момент на него обрушились удочки Володи.

Володя. Петька! Не поддавайся!

Мальчики молотят Бориса, удочки их переломились, но короткими концами им действовать еще удобнее. Борис пытался поймать одного из них, но это сделать трудно, мальчики легко уклоняются от его рук. Мать бросилась вперед, чтобы остановить детей, но она боится их оружия.

Из сеней вошли Василий Васильевич и Сергей Иванович. Борис, получив один особенно удачный удар Володи, скрылся во второй комнате, закрыв дверь.

Василий Васильевич. Володька!

Володя (стоит перед дверью, упоенный победой). Спрятался! Ага!

74. Во второй комнате. За вторым окном сидит Борис, опустив голову на руки. Мать сидит на кушетке и хочет плакать. Сергей Иванович и Василий Васильевич стоят.

Борис. Все меня травят, все: мать, комсомол, все! А помочь никто не хочет.

Сергей Иванович. Ну, хорошо, мы поможем. Как?

Борис. Мне нужна командировка в военное училище. Уеду, всем будет лучше! Помогите! А то на словах все хорошие.

Сергей Иванович. А скажи... вот так по совести. Ты — достоин военного училища?

Борис. А кто достоин? А чем я хуже других...

Сергей Иванович. Не знаю... Но вот вчера я видел... с бутылкой этой...

Борис. Не ваше дело... Я бутылку взял у матери...

Сергей Иванович. Мать не тебе служит, а нам...

Борис. Кому это...

Сергей Иванович. Ты никаких прав на мать не имеешь...

Борис. Ну... вот всегда такие разговоры!

75. Первая комната. Петя и Володя о чем-то шепчутся у окна. Лена, грустная, сидит у стола.

Петя. И пускай едет!

Володя. Разве такие военные бывают?

Вышел Борис. Мальчики притихли, зажали в руках удочки. Борис молча прошел наружу.

76. Василий Васильевич и Сергей Иванович у себя в комнате.

Сергей Иванович. А что делать?

Василий Васильевич. Никаких нежностей! Никакого прощения! Почему жалеть Бориса, а не жалеть мать, ее детей, эту самую Шуру, эту самую пристань? Почему? Что это за благотворительность?

Сергей Иванович. Постой, постой...

Василий Васильевич. Не хочу стоять! Не хочу терпеть! Не хочу!

77. Заседание бюро комсомольской организации с активом. Заседание происходит в театральном фойе. За столом президиума Алеша, Иван, 3—4 комсомольца, Тарасов. В зале среди других комсомольцев Шура, Надя, Борис, Григорий. У стены сидят Василий Васильевич и Сергей Иванович.

Алеша. Слово имеет Борис Орлов.

Борис (*выходит вперед, заметно волнуется, теребит шевелюру. Говорит, высоко держа голову, держась за спинку стула*). Товарищи! Я с самых малых лет мечтаю быть в Красной Армии. Для меня это не только мечта, но и самая высокая честь...

78. Василий Васильевич рядом с Сергеем Ивановичем.

Василий Васильевич (*добродушно ворчит*). Насобачились говорить... никакого спасения!

79. *Б о р и с (заканчивает).* А если были у меня ошибки, я уверен, Красная Армия исправит их. Я прошу, товарищи!

Он кончил свою речь. В зале пробежал шум каких-то местных разговоров. Борис пошел на место. Кто-то, мимо которого Борис проходит, говорит ему по-приятельски:

— Не робей, Борис, поедешь...

А л е ш а. Слово предоставляется Наде Горчаковой.

Надя пошла к столу президиума.

80. *Сергей Иванович и Василий Васильевич.*

С е р г е й И в а н о в и ч. Хорошая девка!

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Все одинаковы!

81. *Н а д я.* У Бориса есть, конечно, ошибки, но в общем он неплохой парень. А у нас нет других кандидатов.

Г о л о с. Здесь все кандидаты!

А л е ш а. К порядку! Возьми слово и говори. Продолжай, Надя!

82. *В а с и л и й В а с и л ь е в и ч.* Это... досада... Такого подлеца, смотри, еще командируют.

83. *К а т я (на месте оратора).* Кто это неплохой парень? У тебя, Надя, христианская душа или комсомольская? Он плохой парень, и плохой комсомолец, и плохой сын, и плохой друг, и плохой работник. Спросите Сергея Ивановича, спросите Нечипора, спросите мать, спросите Шуру.

Б о р и с (с места). Прошу без намеков!

К а т я. Я и не намекаю. Я в глаза говорю.

Б о р и с. Ты меня утопить хочешь!

К а т я. Хочу.

А л е ш а. Товарищ Катя, как это утопить?

К а т я. Я в переносном смысле.

А л е ш а. И в переносном нельзя!

К а т я. Хорошо, беру свои слова назад. А только пусть Борис еще подождет, а в военное училище нужно послать самого лучшего товарища.

Г о л о с с м е с т а. Кого ты предлагаешь?

К а т я. Очень многих могу предложить. Пожалуйста: Иван Зоренко...

На своем месте поднялся Василий Васильевич, протянул руку:

— Э нет, товарищи, протестую.

А л е ш а. Вы отвод делаете?

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Отвод, конечно.

А л е ш а. Почему?

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Да с кем же я останусь?

А л е ш а. Такие отводы потом...

К а т я (продолжает). Василия Леснова...

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (решительно вскочил). Нельзя же так:

то Зоренко, то Леснов, Леснов у нас лучший токарь!
А л е ш а. Не перебивайте, Василий Васильевич!

84. На своем месте Василий Васильевич возмущенно бурчит:
— С ума сошла, треклятая девка. То Зоренко, то Леснов!

Слышен голос Кати:

— Или Семена Овчинникова.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (*опять подскочил, как ужаленный*). Послушайте, Катя, это вы нарочно говорите?

К а т я. Нарочно!

Общий смех.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Овчинников! Овчинников выполняет норму на 500%; (*Аплодисменты. Василий Васильевич доволен, он считает, что аплодисменты относятся к его протесту. Сел на место. К Сергею Ивановичу.*) Вы слышали! Она нарочно! До чего бестолковый народ!

Г о л о с К а т и. Алеша Грузинцев, Гриша Волосатый!

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (*снова вопит на весь зал*). Это издевательство! Это просто... Вы знаете, какой Алеша револьверщик, какой Гриша шофер? У Гришки машина прошла двести тысяч километров на одном профилактическом...

А л е ш а. Хорошо. Кого же вы предлагаете?

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Я? Кого я предлагаю? Сейчас! (*Он оглядывает зал. Его встречают смеющиеся лица. Он тихо говорит, обращаясь к Сергею Ивановичу.*) Ну... кого я предложу. Они вон смеются! (*Громко.*) Да кого же... Ну, вот и пошлите этого самого Бориса.

А л е ш а. В военное училище?

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Ах, в военное? Нет, куда он там в военное...

И в а н. «Ах» — это не терминология, Василий Васильевич.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (*окончательно смущен*). Не терминология? Совершенно верно... (*Тихо соседу.*) Вот вам... советская молодежь! Даже мне заморочили голову. Это черт его знает...

85. А л е ш а. Товарищи! У нас дело государственное, и я прошу с места не говорить. Слово капитану товарищу Тарасову.

Т а р а с о в. Ленинский комсомол, советская молодежь везде, на каждом шагу, на каждом квадратном метре нашей земли совершает трудовые, военные, летные, человеческие подвиги. Вы все слышали сейчас, как горячо отзывался о нашей молодежи главный инженер Василий Васильевич!

86. В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (*поднял голову, страшно удивлен*). Что он там такое? Это я горячо отзывался?

С е р г е й И в а н о в и ч. Конечно, вы!

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Когда?

С е р г е й И в а н о в и ч. Да только что.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Да что вы... смеетесь?

С е р г е й И в а н о в и ч. Смеюсь. (*Он и в самом деле смеется.*)

Г о л о с Т а р а с о в а. Борису нужно подождать, он еще слабоват, он не умеет уважать даже самого себя, не говоря уже о других.

К р и к Б о р и с а. Неправда, я уважаю... кого следует...

Г о л о с Т а р а с о в а. Я поддерживаю кандидатуру Григория Волосатого. Крепкий человек, настойчивый, широкий и скромный...

Аплодисменты, овация. В разных местах ошеломленно поднялись головы Гриши и Василия Васильевича.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Вот вам! Пожалуйста! Я горячо отзывался? Да? Наш гараж без Гришки не стоит ломаного гроша...

С е р г е й И в а н о в и ч. А Семен? А Егор?

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч *(устало опустил плечо. Больше он спорить не может)*. Считайте! Вы все мастера считать... Этим дай волю, они всех командуют куда-нибудь...

87. На освещенную фонарем площадку перед входом в клуб вышли Василий Васильевич и Катя.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч *(возмущенно жестикулирует, машет головой вниз)*. Какой Гришка военный! Гришка механик! А вы приехали... наговорили, наговорили! И капитан! Прямо не понимаю. Умный человек.

Катя идет рядом, внимательно посматривает, куда ступают ее ноги, изредка бросает лукавый взгляд на Василия Васильевича. Он не видит ее выражения.

К а т я. Я больше не буду, Василий Васильевич.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Рассказывайте!

Навстречу им неожиданно из темноты вышла фигура Бориса. Он загородил дорогу.

Б о р и с *(угрюмо)*. Мне нужно поговорить с Катей.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Эге! Без меня тут дело не обойдется!

Б о р и с. Вас никто не просит. Мне нужно с Катей.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Придется быть непрошеным.

Б о р и с. Да все равно! Ты меня хотела утопить! Радуйся! Своего приятеля устроила? Он лучше меня? Вы все хорошие? Без недостатков!

К а т я. Чего ты хочешь?

Б о р и с. Я хочу... я хочу... чтобы ты знала. Если что случится, так это из-за тебя.

К а т я. Что случится?

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Собственно говоря, все понятно. Мы будем знать, что если что случится, так это из-за нее. Так?

Б о р и с. Так.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Хорошо. Больше ничего не скажете?

Б о р и с. Ничего. Прощайте! *(Он произнес это с трагическим дрожанием голоса и уступил дорогу.)*

88. Ясный солнечный день. Берега реки наполнены народом. Пристань в флагах. В одном месте на берегу сооружена трибуна, тоже украшенная флагами. На трибуне оратор говорит речь, которой не слышно. Слышно после речи общее «ура».

На реку из затона выходит канонерка, расцвеченная флагами. Она блестит новизной красок, свежими пушками, свежими флагами. Краснофлотцы выстроились в шеренгу лицом к берегу. На капитанском мостике Сергей Иванович.

Раздается три пушечных выстрела. Это канонерка салютует заводу, который помог ей закончить перевооружение. Потом канонерка останавливается и спускает трап. От берега спешат к ней лодки и моторки.

89. На канонерке. У носовой пушки выстроились Иван, Катя, Шура, Алеша и Надя. Против них стоят Тарасов, Сергей Иванович, Василий Васильевич, секретарь партийной организации завода и три краснофлотца.

Сергей Иванович (*вышел вперед*). Долго говорить не будем. За нас за всех скажет секретарь партийной организации завода товарищ Огнев.

О г н е в. Друзья-комсомольцы! Здесь не митинг, не общее собрание, Вечером, в клубе, мы будем говорить перед всем народом. А сейчас у этой пушки — место деловое и ответственное. То, что вы сделали, даже не подлежит оглашению. Ваша бригада никому не известна, да и сама за славой не гонялась. Вы ничего не изобрели, вы не поразили мир секретным открытием — все гораздо проще и гораздо дороже. В такое небольшое дело, как ремонт канонерки — маленького военного судна, вы вложили много души, много любви, находчивости, честности, любви к Родине. А за вашей бригадой шел и весь завод. Поэтому и хочется вас особенно поблагодарить, пожать вам руки и порадоваться. Вы замечательные люди, и за вами стоят тысячи таких же замечательных, по-новому благородных людей. И сама наша «Буря» и вся наша Красная Армия нужны только для того, чтобы защищать таких людей, как вы, чтобы защищать жизнь, создающую таких людей. Спасибо вам от имени партии, от имени советского общества.

Огнев пожал руки юношам и девушкам. Потом подошли с пожатиями Сергей Иванович и Тарасов, потом подошли краснофлотцы, все смешалось в приветственном гуле.

Сергей Иванович. Приезжайте к нам на пристрелку.

90. Отдельно у борта канонерки стоят капитан Тарасов и Шура.

Т а р а с о в. Я хорошо вас помню маленькой-маленькой. Ведь вы наши соседи.

Ш у р а. Мне говорила мама.

Т а р а с о в. Вы молодцы — ваша бригада. Я любовался вашей работой! Но скажите... я не знаю...

Ш у р а. Пожалуйста.

Т а р а с о в. Говорят, мне говорили... вы замуж выходите, за этого... за Бориса...

Ш у р а. Нет... я не выхожу.

Т а р а с о в. Вы знаете... Он... слабый человек... Простите...

Ш у р а. Спасибо... Я знаю... Только... надо ж и ему помочь... Правда?

До сих пор капитан говорил с особенно теплой, осторожной вежливостью, подчеркнутой, поддержанной его подтянутостью, мужеством и силой. Шура

слушала его сначала смущаясь, потом с благодарностью за внимание, а в конце разговора она поняла, что это большой души человек, и, глядя в глаза, заметно волнуясь собственной открытой искренностью, она предложила ему тему помощи Борису.

Тарасов что-то новое услышал в ее тоне, в ее словах. Он внимательно посмотрел на Шуру, нахмурил брови.

Т а р а с о в. Да... Ему нужно помочь... Но его нельзя опекать, от него нужно больше требовать... Комсомольское собрание для него хороший урок...

Ш у р а (*соображает, не находит точных слов*). Он может с собой что-нибудь сделать.

Т а р а с о в. Вы его любите?

Ш у р а. Люблю.

Т а р а с о в (*низко наклонился к Шуре, прощаясь и пожимая руку*). Вы даже представить себе не можете, как я вам благодарен.

91. Раннее утро. Борис один сидит на перевернутой лодке. Смотрит на восходящее солнце. По реке плывет косматый туман. Вдали сигнал парохода. Проходит мимо Нечипор.

Н е ч и п о р. Доброго утра!

Б о р и с (*холодно, одностонно*). Нечипор!

Н е ч и п о р. Ага ж!

Б о р и с. Пароход ты принимай. И вообще я туда не приду.

Н е ч и п о р. А как же оно будет?

Б о р и с. А это не мое дело... У меня свои дела.

Нечипор один стоит на берегу. Думает. То же утро.

Н е ч и п о р. Хэ! Какие ж там у него свои дела?

92. Далеко с реки доносятся пушечные выстрелы пристрелки. На берегу оживление. Несколько лодок готовы к походу. На лодках молодежь и старики. У них свертки с провизией, бутылки с чем-то, удочки. В одной из лодок музыканты уже играют что-то веселое. На первом плане две моторки — Василия Васильевича и капитана Тарасова.

У первой моторки Иван, Гриша, Катя, Надя, Шура, Алеша, еще несколько комсомольцев. Все в праздничных костюмах.

И в а н. Гриша, минимальную дозу Кати... можно на пять минут? Честное слово, по делу...

Г р и ш а (*играючи, важно*). Подумаю.

И в а н. Гришка, нельзя же все тебе одному... и военное училище и Катя!

Г р и ш а. Уже согласен.

93. В сторонке Катя и Иван.

И в а н. Ты на третьем курсе?

К а т я. На третьем.

И в а н. Это разве справедливо: я буду на два курса ниже.

К а т я. Ты догонишь... только ни в кого не влюбляйся.

И в а н. Да за этим Гришкой разве поспеешь...
К а т я. Значит, догонишь...

94. В комнате Орловых. Мать и Василий Васильевич. Мать сидит у стола. Василий Васильевич ходит по комнате.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Убиваться вам нечего. Вон Петька растет — первый сорт будет!

М а т ь. Ведь Борис тоже кровный.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Это хорошо, что Борис попал в переплет. Это очень полезно. Советская жизнь, она знает, что делает... Да где это мои... эти... собутыльники?

М а т ь. А вон они идут, кажется.

Вламываются в комнату Володя, Петя, за ними Лена.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч *(деланное недовольство)*. Ждешь, ждешь, а они где-то ходят...

В о л о д я. Зато червяки, смотрите, какие!

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. А грузила?

П е т я. Все уже в моторке! И удочки, и все!

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Вот энергия!

95. Они ушли. Мать сидит одна. Задумалась. Через первую комнату прошел Борис, ничего матери не сказал, прошел во вторую комнату, закрыл дверь. Мать тревожно посмотрела ему вслед...

96. Мать по-прежнему одна. Книга лежит перед ней, но она больше прислушивается к тому, что делается во второй комнате. Вошел и замер в дверях капитан Тарасов.

Т а р а с о в. Мне нужно видеть товарища Орлова.

М а т ь. Бориса?

Т а р а с о в. Да.

97. Борис стоит перед капитаном удивленный, но еще не успевший согнать с себя выражение сумрачной хмурости.

Т а р а с о в. Я прошу вас проехать со мной на моторке, мне нужно посмотреть фарватер. Говорят, вы хорошо его знаете. *(Капитан говорит вежливо, но тоном, не допускающим возражений.)*

Б о р и с *(вздыхнул и сказал глухо)*. Хорошо. *(Он лениво потянулся рукой к кепке, сам он сейчас в белой косоворотке.)*

Т а р а с о в. Я прошу вас надеть форменный костюм.

Б о р и с *(с некоторой усмешкой)*. Почему?

Т а р а с о в. Я не люблю распушенности на военном судне.

Б о р и с. Это же катер.

Т а р а с о в. Военный катер, товарищ!

Тарасов сказал это с такой скромной внушительностью, что Борис вдруг поспешил покраснеть и бросился к своей форме. Он даже ухватил на окне

щетку и что-то снял с рукава. Капитан следит за ним очень внимательно, он чуть-чуть улыбнулся, и эту улыбку поймала мать. Она смотрит на Тарасова с надеждой, сама не зная, в чем она заключается. Тарасов поклонился ей. Особенно душевно сказал:

— Желаю вам всего хорошего.

98. Моторка Василия Васильевича бежит по реке, обгоняя лодки. За рулем стоит Гриша. Все облепили хозяина. Только Володя и Петя больше интересуются видами и берегами.

Василий Васильевич. Это что ж такое! Григорий уезжает, Катя уезжает, и Иван уезжает. Это все вы наделали?

Катя. Я.

Василий Васильевич. Трагедия! В таком случае, возьмите и меня куда-нибудь. Я тоже хочу уехать.

Володя *(от борта громко)*. А мы не согласны!

Василий Васильевич. Новости! С чем вы не согласны?!

Володя. Чтобы вы уезжали.

Василий Васильевич. Почему?

Володя *(сначала хотел назвать какую-то причину, но затруднился в ее определении и сказал смущенно)*. Это наше дело. *(Более смело, в поисках поддержки.)* Правда, Петя?

Петя *(совершенно серьезно)*. Конечно, это наше дело.

Лена. И мое тоже дело.

Василий Васильевич *(смотрит на детей любовно-сердито)*. Вот видите! Кого вы мне оставляете! Это же изверги!

99. На военной моторке, далеко обогнавшей все остальные суда. У руля стоит краснофлотец. Тарасов и Борис на носу. Тарасов все время говорит сухо, вежливо, внушительно и в то же время с постоянным оттенком мужественной теплоты.

Тарасов. Там мель?

Борис. Глубина — 50.

Тарасов. А ширина прохода?

Борис. Метров двадцать.

Тарасов. А с той стороны?

Борис. Там нельзя пройти.

Тарасов. Вы замечательно знаете реку.

Борис. С детства на этой реке.

Борис как будто забыл о своих переживаниях. Ему импонирует и военный катер, и тон Тарасова, и он поневоле отвечает так же вежливо-внимательно, обдумывая вопросы и совершенно забыв о каких бы то ни было фактах.

Некоторое время Тарасов молча смотрит на реку, уносящуюся под нос катера, и наконец говорит тем же тоном:

— Я знаю о ваших неприятностях и о ваших ошибках. Молчите, прошу вас. Я предлагаю вам перейти на работу в мое управление. Будете всегда на реке — должность маленькая, но очень ответственная — проверка пе-

рекатов. Предупреждаю — терпеть не могу лени, позы, болтовни. И кроме того, матери должны помогать.

Борис (*смят словами Тарасова, но по привычке не может отказаться от хвастливого риторизма*). Я очень благодарен, но... мать... разве это относится к службе.

Тарасов. Да, относится. В Красной Армии не выносят хамов. Дадите ответ через полчаса.

Борис замер перед настойчивым и красивым требованием Тарасова, но что-то подсказало ему, что волынить и позировать больше нельзя ни минуты. Он серьезно глянул на Тарасова, снял фуражку:

— Товарищ Тарасов! Я не знаю почему. Почему... так незаслуженно... Я страшно вам благодарен...

Тарасов. Хорошо. Очень хорошо. А обязаны вы не мне, а вашим друзьям, которые думают о вас больше, чем вы о них, и больше, чем вы заслужили.

Катер подошел к канонерке. Теперь очень гулко раздаются ее пристрелочные выстрелы. На противоположном берегу уже расположился лагерь рабочих и краснофлотцев. Играет музыка, и пары танцуют «веселого комсомольца».

100. Пароход «Рылеев» отходит. Дал два гулка. Последняя суетня. Борис спешит проститься с Шурой, с матерью. Он поцеловал мать и подошел к Шуре.

Борис. Шура, на два слова. (*Шура отошла с ним в сторону.*) Я тебя люблю. Так и знай.

Шура. Через год, если ты это самое скажешь, тогда я тебе отвечу.

Борис. Спасибо. (*Это он сказал и со стыдом, и с радостью, он сам еще не может разобраться, на какой опыт он сегодня уезжает.*)

Он побежал на пароход. Шура осталась серьезная, но спокойная, готовая к жизни, вооруженная новой мудростью. Но серьезной ей не пришлось быть долго. Откуда-то вынырнул Иван и закричал:

— Тебя все ищут. Там же Гриша хочет тебя поцеловать. Он же не может... (*Григорий прибежал, схватил Шуру в объятия, поцеловал.*) Ой, сколько хлопот! Где Катя? (*Катя стоит на палубе парохода. Возле нее обнаружилась вся компания. Иван панически кричит им.*) Долой кустарщину! Я не могу управляться с событиями. Последнее безобразие... Василий Васильевич.

Василий Васильевич (*из-за чьего-то плеча*). Что такое?

Иван. Сплошное безобразие. (*Иван говорит действительно возмущенным тоном, все начинают ему верить*). Из-за угла!

Василий Васильевич. Да что случилось?

Иван. Алешка и Надька сегодня записались в загсе!

Алеша и Надя стоят в толпе провожающих и невинно улыбаются.

Крики:

— Это действительно!

— Подлость какая!

— Да разве они что!

— Ой, какие потайные звери!

— Да поздравляйте их скорее! (*Кричит Иван.*)

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч. Стойте! Стойте! (*Тишина. Серьезно озабочен.*) Но вы не уезжаете, надеюсь?

А л е ш а. Нет.

В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (*успокоенно*). Ну, тогда ничего.

Аплодисменты. Хохот, прощание, поцелуи.

К а п и т а н п а р о х о д а (*с мостика*). Даю третий, где начальник?!

Откуда-то из-за дверей конторы выскочили ошеломленные событиями Володя и Петя и закричали:

— Новый начальник идет! Новый начальник!

Иван заметался на палубе. Вышел к пароходу Нечипор в форменной тужурке и фуражке. Молодежь закричала:

— Хай живе новый начальник товарищ Нечипор!

Нечипор не ожидал оваций, но ему улыбаются, аплодируют, между торжествующими и Борис. Мальчики прыгают вокруг него, изъявляя свой восторг.

Н е ч и п о р (*поднял руку*). Спасибо, товарищи, а только и пароходу пора отправляться. Давай третий!

Хохот, приветствия. Три гудка.

101. Пароход отходит. Он удаляется все дальше и дальше. На пристани остались провожающие. Нечипор стоит отдельно, возле него — Володя и Петя. Они долго смотрели вслед пароходу. Провожающие пошли с пристани. Осталась только эта тройка.

В о л о д я. Товарищ Нечипор, а сколько вам лет?

Н е ч и п о р. Та как вам сказать. (*Хитро подумал, сообразил, прикинул, склонил голову, весело засмеялся, полез за трубкой и, наконец, сказал медленно.*) Та мабудь так... годков... двадцать три або... двадцать четыре... (*Мальчики залились смехом, затормошили Нечипора.*) Годи! Годи! А то постарею сразу... Хе-хе-хе...

Редактору «Литературной газеты» О. Войтинской и критику Ф. Левину

Наш долг — долг коммунаров, наследников светлого имени Антона Семеновича Макаренко, долг советских граждан, большевиков партийных и непартийных — вернуть истине свое место. Мы требуем, чтобы гражданин Ф. Левин публично отказался от напечатанной им статьи в «Литературном критике».

На совещании критиков, посвященном разбору этого дела, Ф. Левин заявил, что его никто не может принудить «расшаркиваться перед урной А. С. Макаренко». Циничность и бестактность этой фразы не требуют комментариев. Мы можем уверить нашу общественность, что приложим все старания, чтобы оградить дорогую нам могилу А. С. Макаренко от людей, подобных Ф. Левину, ибо так может сказать человек, для которого нет ничего святого. Неужели этот «критик» не способен понять, что такими словами он оскорбил наши горячие сыновние чувства к Антону Семеновичу. Какая может быть речь о «чуткости критика» Ф. Левина, если он не обладает чуткостью в самом примитивном значении этого слова!

Но не об этом мы будем говорить дальше. Мы требуем четкой большевистской принципиальности в решении этого спора между ушедшим от нас физически, но живым в своем творчестве, в воспитанных им людях Антоном Семеновичем Макаренко и «живым» критиком Ф. Левиным, который находится по ту сторону нашей жизни, потому что он не любит ее и не способен понять творческих возможностей советских людей.

В чем вся соль возникшего вопроса?

Ф. Левин поместил в журнале «Литературный критик» № 12 статью под названием «Четвертая повесть А. С. Макаренко». В этой статье он обвиняет писателя А. Макаренко в том, что тот искажает действительность, пишет «сусальную сказку о том, чего не могло быть, нет и не будет».

Не будем пока касаться критики литературных качеств романа «Флаги на башнях», которую Ф. Левин пытается подменить обыгрыванием таких словечек, как «сахарин», «патока», «классная дама», «священный восторг» и т. д., — пусть это пока остается на его совести, но советуем помнить, что в нашей стране торжествует правда и Вам не очернить имен лучших сынов нашего отечества.

В чем квинтэссенция Вашей статьи? В том, что «добрый дяденька Макаренко» пишет, дескать, «неправдоподобную сказку, идиллию», которая никогда не осуществится и которую осуществить невозможно.

А мы утверждаем, что это клевета не только на А. С. Макаренко, но и на советскую жизнь.

Мы во всеуслышание заявляем, что жизнь, описанная в книге А. С. Макаренко «Флаги на башнях», существовала, что действительно была в Харькове коммуна им. Ф. Э. Дзержинского, названная в романе «Колония Первого мая», и что мы ее воспитанники. Там действительно был дворец, там была жизнь коллектива, стоящая неизмеримо выше простого общежития неорганизованных ребят. В романе «Флаги на башнях» показан коллектив, выросший на основе шестнадцатилетнего педагогического опыта А. С. Макаренко, коллектив, впитавший все прекрасное, что дала колония им. Горького. Об этом Вы можете узнать, открыв «Педагогическую поэму»!

«Только 50 пацанов-горьковцев пришли в пушистый зимний день в красивые комнаты коммуны Дзержинского, но они принесли с собой комплект находок, традиций и приспособлений, целый ассортимент коллективной техники, молодой техники освобожденного от хозяи-

на человека. И на здоровой новой почве, окруженная заботой чекистов, каждый день поддерживаемая их энергией, культурой и талантом, коммуна выросла в коллектив ослепительной прелести подлинного трудового богатства, высокой социалистической культуры, почти не оставив ничего от смешной проблемы «исправления человека», — писал Макаренко.

Нет, Вам этого не понять, потому что Вы не верите в могущество нашего воспитания. Вы не любите советского человека и сами пишете об этом в следующих словах:

«Повесть сентиментальна и паточна, и если бы не вор и враг Рыжиков, то перед нами был бы сущий рай с архангелами, только без крылышек. Присматриваясь ближе, видишь, что герои повести в сущности даже не беспризорники и правонарушители, в них никогда не было каких-либо уродств или вывихов, подлежащих исправлению».

Интересно, что Вы понимаете под словом «беспризорник»? Этаким Джек-потрошитель, преисполненный всяческих пороков, «уродств» и «вывихов», вызывающий у вас барскую брезгливость и нездоровый интерес, которые Вы даже не трудитесь скрывать в приведенной выше цитате.

При таком отношении к детям Вам не понять А. С. Макаренко, подлинного гуманиста, созидателя и страстного певца советского коллектива «могущества непревзойденного», как он писал. Для Макаренко беспризорный — это прежде всего **советский ребенок** или подросток, **именно советский**, временно попавший в тяжелое положение. Но эти мальчики и девочки до несчастия, вытолкнувшего их из семьи, учились в советской школе, многие окончили семь классов, они хорошо сознают и понимают свое тяжелое положение, всегда ищут из него выход. И мы имеем право сказать Вам от имени всех этих попавших временно в беду детей, что они верят в советскую жизнь и людей и любят их так, как Вы, критик Ф. Левин, не умеете любить, ибо Ваша ирония о рае с архангелами без крылышек, когда описана правда нашей жизни, выдает Вас с головою! Вам подавай «уродство» и «вывихи» — вот что мило Вашему критиканствующему духу.

Но хотя Вы, вероятно, считаете себя «выдающимся критиком», Вами не только не определяется величественное течение нашей жизни, но Вы и видеть его не способны. Представьте себе, что и дети-сироты, даже если под влиянием неблагоприятных условий они стали воришками, и улицы наших советских городов и весей совсем не такие «вывихнутые», как Вам бы хотелось. У беспризорных ребят нет чувства безнадежности и обреченности. На этой самой «улице» их по-матерински журят хорошие советские женщины и «дяденьки» в рабочих куртках или с портфелями говорят им: «Довольно шляться по свету, учиться надо и работать. Ты в Советской стране живешь, для тебя партия и правительство все приготовили. Отправляйся в колонию, вот тебе и адрес». А эти самые беспризорные, такие же советские дети, как и все, хотят нормальной счастливой жизни. И как раз вредно, очень вредно — это основная ошибка многих «педагогов» — искать в них какие-то «уродства», как делаете Вы. Но при Вашей «чуткости» Вам трудно разобраться в таких вопросах.

Одной из основных замечательных традиций коммуны было никогда не расспрашивать ребят о прошлом. И поэтому мы ничего не знали друг о друге. Наш замечательный коллектив давал возможность коммунарам забыть их тяжелое прошлое и чувствовать себя обыкновенными детьми, какими мы и были.

Мы свидетельствуем, что все описанное в книге «Флаги на башнях» имело место в советской действительности. Вы можете нам возразить, что если это и было, то это не характерно для нашей жизни и поэтому на этом не надо останавливать внимание читателей, не надо этого пропагандировать.

Мы отвечаем:

Великая наука Маркса — Ленина указала конкретные пути строительства коммунизма. Партия ведет нас к коммунизму. Наши писатели пишут и будут писать с перспективой в будущее. Что Вы будете, гр. Левин, делать с Вашим критическим пером, читая книгу об этом обществе? Ведь каждая такая книга будет для Вас «сказкой доброго дяденьки».

Мы хотим поставить вопрос так: даже если бы все написанное в книге «Флаги на башнях» и было вымыслом писателя А. Макаренко, то это уже нужно, уже реально потому, что эта книга рисует коллектив, в котором находят свое осуществление глубочайшие принципы и тончайшие методы коммунистического воспитания.

Дальше можно выдвинуть такой довод: то, что законно для коммунистического общества, может быть, еще неприемлемо пока в наших условиях. Опровергнуть и это очень просто: коллектив коммуны им. Ф. Э. Дзержинского дал стране сотни полноценных граждан нашей прекрасной Родины, работающих буквально во всех отраслях народного хозяйства страны. Берем первых, которые вспоминаются: П. Працан — студент Коммунистического политпросветительного института им. Н. К. Крупской; А. Локтюхов, Г. Герцкович — курсанты Военно-морского училища имени Дзержинского; Черный — летчик ВВС РККА; С. Никитин — инже-

нер завода; Таликов — инженер-электрик; Ф. Борисов — инженер ХТГЗ; М. Беленкова — аспирант института иностранных языков; Н. Шершнев — врач; И. Панов — инженер; Л. Конисевич — судовой механик (орденоносец).

Этот список людей, воспитанных, по Вашему мнению, в «паточном» и «сахаринном» коллективе, можно было бы сделать очень длинным, лишь размер данного письма не позволяет этого.

История этих сотен людей показывает, что идеи и методы коммунистического воспитания, которые воплотил в жизнь наш духовный отец и учитель А. С. Макаренко, должны быть внедрены буквально во все звенья нашей педагогики, и уже это даст колоссальный толчок вперед делу воспитания нового человека, делу выполнения задач третьей пятилетки, поставленных товарищем Сталиным в отчетном докладе на XVIII съезде ВКП(б). Для пропаганды этих идей бесконечно ценна и необходима книга «Флаги на башнях».

Если теперь обратиться к Вашей критике литературных достоинств повести, то Вы в статье прежде всего обрушиваетесь на пресловутую «нежизненную красоту» персонажей этой книги. Как можно не заметить, что это не «красота», а подлинная красота нового человека, красота собранности, подтянутости, точного движения и красота внутренняя, которую надо же уметь, Ф. Левин, видеть. Антон Семенович всегда говорил, что советские юноши и девушки, когда они здоровы, счастливы и живут полнокровной трудовой жизнью, — они все красивы! А. Макаренко пишет: «Пацан лобастый и серьезный» или «Володя Бегунок — пацан лет двенадцати, хорошенький, румяный, чуть-чуть важный. Как-то особенно играючи и уверенно ступали его ноги, большие темные глаза по-хозяйски оглядывали все». Разве такой красотой, красотой уверенности не светятся уже наши люди и не будут обладать ею все члены коммунистического общества, которое мы строим и куда Вы, критик Ф. Левин, сумели бы войти, только оставив на пороге весь груз прошлого, мешающий Вам видеть счастье нашей жизни?

Вы не понимаете, как это легко и свободно беспризорник (в Вашем понимании — калека и вор) переделывается в активного, сознательного коммунара. Вы это считаете неестественным, неправдивым.

Напомним, что за пределами Советского Союза якобы дальновидные мыслители до сих пор не способны осмыслить стахановский труд, поверить в него. Они не могут понять, что рядовой рабочий Советского Союза обладает таким гигантским потенциалом коммунистического сознания, который позволяет обыкновенными средствами в обыкновенной обстановке дать рост производительности труда на 1000%. Эти критики «с добротной заграничной маркой» кричат, что сведения о советских героях труда — вымысел, нереальная сказка, которая не может иметь места не только сейчас, но невозможна и в будущем.

Для нас стахановский труд — прекрасная правда нашей жизни, и долг наших писателей — воспитывать в советских гражданах те коммунистические начала, которые заложены в стахановском труде.

Для тех, кто кровно связан со своей страной, каждый стахановец, независимо от его физических качеств, красив! Красив своим трудовым пафосом, служением народу, своей целеустремленностью. Великая правда и эстетика стахановского труда — это чудесная явь нашей жизни, а не сказка. Нам не убедить, а может быть, словами и бесцельно убеждать, злополучных горе-критиков Запада. Мы убедим их на деле, и тогда им не поздоровится!

Мы почти уверены, что и Вас нам не убедить, но это тоже не имеет, собственно, никакого значения. Испачканными в чернилах руками не остановить нашей жизни! Коммунистический коллектив, описанный в книге «Флаги на башнях», существовал; будут еще более совершенные коллективы, и они бессмертны, ибо это тот путь, путь непрерывного развития, который указан нам генеральной линией нашей партии.

А. С. Макаренко не только описал этот коллектив, он, вдохновленный партией, создал этот коллектив. Мы — счастливые воспитанники этого коллектива.

И еще об эстетике.

Вам, гр. Ф. Левин, кажется неубедительным в романе «Флаги на башнях» описание организованного комсомольского коллектива, какой был в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского. Радостные, величественные будни братского единства советских людей в труде кажутся Вам слишком пресными. Вам подавай извечные темы торгашеского мира: «Человек человеку — волк!»

Вам недоступны симфонии молодой советской жизни, они режут Вам ухо. Что есть прекрасная аналогия: длинные уши западных эстетствующих меломанов, воспитанных на визгливой джазовой какофонии, не воспринимают величественной красоты русской народной и классической музыки. А советские народы гордятся своей музыкальной культурой и знают, что она имеет мировое значение.

«Флаги на башнях» Вам не понравились, гражданин Ф. Левин, потому что в этой книге идет речь о тщательной, зеркальной шлифовке нового, коммунистического человека, о детском коллективе, о коллективах второй пятилетки, которые растила партия и оберегала вся страна. В эти годы оказалось возможным и необходимым перейти к тончайшей ювелирной обработке личности, обработке, стирающей последние остатки праха прошлого, и человеческий коммунистический коллектив засиял во всей новой красоте и силе.

Эта книга нравится тысячам советских людей, которые читали ее. Они написали об этом в письмах А. С. Макаренко. Она нравится нам, мы знаем всю глубину раскрытой в ней правды, и мы гордимся, что прожили свою юность именно так, как описал ее Антон Семенович во «Флагах на башнях».

Мы хотим и будем добиваться, чтобы вся наша дальнейшая жизнь была похожа на ту, которая художественно отображена в этой книге.

А Вы, гражданин Ф. Левин, вышли из фарватера нашей жизни и поэтому не понимаете, что Вы с Вашей «критикой» уже потерпели полный крах.

У Вас есть сейчас только один честный выход: на страницах печати отказаться от Вашей статьи «Четвертая повесть А. С. Макаренко» или за Вас это сделают другие. И мы убеждены, что это так и будет.

По поручению колонистов-горьковцев и коммунаров-дзержинцев: С. Калабалин, А. Тубин, Л. Салько, В. Ключник, Е. Ройтенберг.

По поводу замечаний С. А. Колдунова (с. 6)

Рукописный отдел Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, ф. 114, оп. 1, д. № 1. Автограф А. С. Макаренко на типографском бланке редакции «Комсомольской правды», без даты, по тексту датируется 1934 г. (не ранее марта). В указанном архивном деле находится отзыв советского писателя С. А. Колдунова о первой части «Педагогической поэмы» (автограф и машинопись). Впервые опубликовано Н. А. Сундуковым: О некоторых архивных документах А. С. Макаренко. — Советская педагогика, 1952, № 4.

¹ Главу «На педагогических ухабах» см. в т. 3 настоящего издания, с. 453—457.

² Главу «Сражение на Ракитном озере» см. в т. 3 настоящего издания, с. 451—453.

³ Говорится о главе «Осадчий», которая первоначально называлась «Взрывы» (см. в т. 3 настоящего издания, с. 69—73 и 457—459).

⁴ Речь идет о кулацких настроениях в среде хуторского населения.

⁵ Эпизод с балеринами см. в т. 3 настоящего издания, с. 107—108.

⁶ См. об этом т. 3 настоящего издания, с. 266.

Письмо Т. А. Миллер (с. 7)

Фонд Педагогическо-мемориального музея А. С. Макаренко. Автограф А. С. Макаренко. Частично опубликовано П. Г. Лысенко: Ответ А. С. Макаренко. — Зоря Полтавщины, 1969, 13 апр. Полностью на русском языке публикуется впервые.

¹ Сокращенно: «Педагогическая поэма».

² А. Задоров — персонаж «Педагогической поэмы».

В этом образе отразились черты нескольких первых колонистов-горьковцев, в том числе и П. П. Архангельского, который прибыл в колонию в 1922 г. (сын воспитательницы — учительницы колонии З. П. Архангельской). (См.: Высказывания А. С. Макаренко по поводу пощечины Задорову на с. 195 данного тома и т. 3 настоящего издания, с. 324.)

³ Говорится о трудовой детской коммуне им. Ф. Э. Дзержинского.

⁴ «Педагогическая поэма» впервые была опубликована по частям в 1933 и 1935 гг. в альманахе «Год XVII» (кн. 3) и «Год XVIII» (кн. 5 и 8), выходившем под редакцией А. М. Горького. Затем в 1934—1936 гг. была издана в трех книгах в издательстве «Художественная литература».

⁵ Брегель и Зоя — персонажи «Педагогической поэмы». В этих образах А. С. Макаренко сатирически изобразил педагогов, пытавшихся оценивать его опыт с формальных позиций (см. т. 3 настоящего издания, с. 483, 484).

⁶ См. об этом т. 1 настоящего издания, с. 344—345, 347, 361.

Болшевцы (с. 9)

Рецензия на книгу «Болшевцы» (под ред. А. М. Горького, К. Горбунова, М. Лузгина (М., 1936) впервые опубликована в «Литературной газете», 1936, 27 авг. Печатается с небольшим сокращением.

¹ Легавить (жарг.) — быть доносчиком.

² Погребинский М. С. — ответственный работник ВЧК-ГПУ СССР, организатор болшев-

ской коммуны (трудкоммуна бывших правонарушителей им. ОГПУ № 1, открыта по инициативе Ф. Э. Дзержинского в 1924 г.). См. книгу М. С. Погребинского «Фабрика людей» (М., 1928). В своей педагогической практике он, так же как и А. С. Макаренко, большое значение придавал развитию производственно-хозяйственной основы коммуны, самоуправлению, новому стилю отношений между воспитателями и воспитанниками.

О личности и обществе (с. 11)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 105, вырезка из газеты «Известия», 1936, 9 дек. Написано как отклик на принятие Чрезвычайным съездом Советов новой Конституции СССР — конституции победившего социализма.

В статье А. С. Макаренко как педагог отмечает действие таких объективных предпосылок коммунистического воспитания, как единство советского народа, новая общественная дисциплина, трудовые коллективы, возможность «в каждом человеке видеть личность». Он разоблачает классовую сущность буржуазной демократии, индивидуализм, лживую идею «свободы личности» в капиталистическом обществе.

¹ А. С. Макаренко критикует вульгарно-рефлексологическую интерпретацию коллектива, которую в 20-х гг. давал А. С. Залужный (руководитель секции коллективоведения Украинского НИИ педагогики, представитель «социогенетического» течения педологии). К решению проблемы социального и биологического А. С. Макаренко подходил диалектически, с учетом специфики социальных и биологических явлений, отрицая понимание педагогики как социально-биологической науки. Общая критика «рефлексологической педагогики» началась в 1928 г. Об этом см. также комментарии в т. 1 настоящего издания, с. 352, примеч. 3.

² Развернутую макаренковскую трактовку истории коллектива как социального явления см. в т. 1 настоящего издания, с. 174—176, и ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 103, л. 12—18, с об.

Письмо С. М. Соловьеву (с отзывом о книге «Америка деловая») (с. 15)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 109, л. 1—2: с об. Автограф А. С. Макаренко. Публикуется впервые.

В написанном А. С. Макаренко в соавторстве с Н. Э. Фере большом очерке отмечено коренное отличие советских и американских форм и методов хозяйствования и организации научной работы, связи теории с практикой (см.: Н. Ф. і А. М. На велетенському фронті. Досвід-радгоспу № 3. — Харків, Держ. вид-во України, 1930. — 68 с.; на укр. яз.). Большая часть этой работы в переводе на русск. яз. опубликована: Макаренко А. С. Кн. 8. — Львов, 1971, с. 114—124; Макаренко А. С. Кн. 9. — Львов, 1974, с. 116—121. Об истории создания произведения см.: Макаренко А. С. Кн. 7. — Львов, 1971, с. 112—114.

Радость творческого труда (с. 16)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 127, л. 1—5. Авторская машинопись, по содержанию датируется: не ранее 5 декабря 1936 г. Впервые опубликовано: Макаренко А. С. Педагогические сочинения / Под. ред. Е. Н. Медынского; Сост. А. Г. Тер-Гевондян. — М.; Л., 1948.

А. С. Макаренко показывает трудовую основу активного участия советских людей в управлении обществом и государством.

Право автора (с. 18)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 105, вырезка из «Литературной газеты», 1937, 15 янв. Автограф А. С. Макаренко, письмо в «Правду» 1937, 4 янв. (см.: Рукописный отдел Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, ф. 114, оп. 2, ед. хр. 4). Написано в связи с обсуждением статьи И. Лежнева «Вакханалия переизданий» в газете «Правда», 1936, 15 дек.

В этой статье-заметке проявляется внимание А. С. Макаренко к воспитательной стороне художественного творчества.

Писатели — активные деятели советской демократии
(с. 19)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 105, вырезка из «Литературной газеты», 1937, 10 марта. Статья написана в связи с принятием Пленумом ЦК ВКП(б) по докладу А. А. Жданова 27 февраля 1937 г. решения о подготовке партийных организаций к выборам в Верховный Совет СССР по новой избирательной системе и соответствующей перестройке партийно-политической работы.

Идея «коллективной ответственности перед страной», являясь ведущей в педагогическом и литературном творчестве А. С. Макаренко, разрабатывалась прежде всего как требование всемерно содействовать развитию социалистической демократии.

Больше коллективности
(с. 20)

Впервые опубликовано в журнале «Октябрь», 1937, № 5. Стенограмма выступления А. С. Макаренко на общем собрании московских писателей 2—4 апреля 1937 г.

Материал показывает неразрывное единство взглядов Макаренко как педагога и писателя. По его мнению, не только возможно, но иногда и необходимо переносить некоторые общепедагогические принципы на организацию различных видов деятельности, включая художественное творчество. Об организации трудового театрального коллектива см. изложение его доклада: На вечере А. С. Макаренко. — Театр русской драмы, Харьков, 1934, 2 июня (газета-многотиражка), газетная вырезка: ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 1, ед. хр. 83.

¹ На постоянное жительство в Москву А. С. Макаренко переехал в феврале 1937 г.

² Макаренковский тезис: не односторонняя помощь, а целесообразная организация — в применении к проблеме взаимоотношений семьи и школы см.: ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 74, л. 9

³ Прут И. Л. (род. 1900) — русский советский драматург.

⁴ Мстиславский (Масловский) С. Д. (1876—1943) — русский советский писатель. Автор историко-революционных романов.

⁵ Ставский (Кирпичников) В. П. (1900—1943) — русский советский писатель, журналист, общественный деятель. С 1936 г. — секретарь Союза писателей СССР.

⁶ План организации работы писателей по производственному принципу, с созданием «первичных производственных коллективов-бригад» и совета их уполномоченных при секретариате Союза писателей А. С. Макаренко изложил 25 или 26 февраля 1938 г. на заседании Президиума Союза советских писателей совместно с активом московских писателей, когда ставился вопрос о преодолении бюрократизма в деятельности Союза и превращении его в демократическую общественную организацию (см.: Литературная газета, 1938, 1 марта, с. 3—4).

⁷ О проблеме центра коллектива, «педагогического центра», см. т. 1 настоящего издания, с. 295—296, и т. 2, с. 55—62.

Героическая борьба
(с. 23)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 125, вырезка из «Литературной газеты», 1937, 20 апреля. Роман А. Первенцева «Кочубей» был опубликован в журнале «Октябрь», 1937, кн. 1 и 2.

А. С. Макаренко, показывая воспитательное значение романа «Кочубей», восхищается духовным богатством солдат революции.

Художественная литература о воспитании детей
(с. 26)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 150, л. 20—29, с об. Стенограмма лекции, машинопись с правкой Г. С. Макаренко. См. также: Рукописный отдел Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, ф. 114, оп. 1, д. № 2. Впервые опубликовано, с сокращениями: Макаренко А. С. Педагогические сочинения. — М.; Л., 1948.

Лекция прочитана 21 апреля 1938 г. в Большой аудитории Государственного политехнического музея в Москве по поручению лекционно-экскурсионного бюро Московского областного совета профессиональных союзов (афишу лекции см.: ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 433, тема лекции — «Художественная литература о воспитании безнадзорных де-

тей»). На ней присутствовали бывшие коммунары-дзержинцы. А. С. Макаренко назвал лекцию беседой.

А. С. Макаренко значительно расширил тему лекции. Указывая на решающее значение педагогических позиций писателя в художественной литературе о воспитании, он остановился на такой проблеме воспитания, как создание «активной большевистской педагогики», основанной на новом отношении к человеку, безграничной вере в могущество воспитательной силы социалистического строя и колоссальные возможности социального и нравственного развития воспитательного коллектива. Оптимизм и гуманизм советского общества, по мнению А. С. Макаренко, создают новый стиль воспитания, революционизируют его содержание, соединяя «огромное доверие с огромным требованием».

Важным является выделение трех взаимосвязанных аспектов изучения педагогических явлений: характеристика воспитанников, анализ применяемых методов воспитания и исследование подхода к оценке педагогических результатов.

Макаренковская характеристика изданной в 1927 г. повести Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД» совпала с оценкой этой книги Н. К. Крупской (На путях к новой школе, 1927, № 4, с. 158—159) и Институтом методов школьной работы (там же, № 5, с. 135—138). См. также предисловие С. Маршака к изданию «Республики ШКИД» (Л., 1965).

¹ См. т. 1 настоящего издания, с. 355, п. 4. Постановление «О педологических извращениях в системе наркомпросов» было принято ЦК ВКП(б) 4 июля 1936 г.

² Ломброзо, Чезаре (1835—1909) — итальянский судебный психиатр и антрополог, основоположник теории так называемой прирожденной преступности.

³ Сказанное не означает, что А. С. Макаренко недооценивал роль воспитания гармонической личности. Все его педагогическое творчество проникнуто идеей формирования все-сторонне развитой личности. О задаче воспитания «цельной коммунистической личности» см. с. 157 данного тома, а также статью «Цель воспитания» в т. 4 настоящего издания и т. 1, с. 43, п. 9.

⁴ См. т. 3 настоящего издания, с. 442—444. Цитируемый далее фрагмент см. там же на с. 442. О «свободе проявления» и «саморазвитии» см. также на с. 390.

⁵ См.: там же, с. 293.

⁶ Рассказ Л. Сейфуллиной «Правонарушители» вышел отдельным изданием в 1922 г. (г. Новониколаевск, Сибирское обл. гос. изд-во). Отношение А. С. Макаренко к этому произведению, как и к «Республике ШКИД», изменялось. Оно стало впоследствии более критическим. Представления А. С. Макаренко о методике воспитания постоянно обогащались реальным опытом колонии горьковцев, коммуны дзержинцев, и осмыслением новых общественно-педагогических явлений, это вело к пониманию им дальнейшего развития содержания, целей и принципов воспитания.

⁷ Калабалин, Семен Афанасьевич — один из первых колонистов-горьковцев, впоследствии заслуженный учитель школы РСФСР.

⁸ Старшие классы общеобразовательной школы были открыты в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского в 1934 г. в составе «школьного комбината», включавшего также техникум и курсы ФЗУ (см. т. 1 настоящего издания, с. 204).

⁹ Говорится, вероятно, о выпускнике коммуны им. Ф. Э. Дзержинского Л. В. Конисевиче, награжденном орденом за участие в эвакуации испанских детей из порта Бильбао в 1936 г.

¹⁰ Здесь и далее А. С. Макаренко, называя персонажи «Педагогической поэмы», рассказывает о дальнейшей судьбе их прототипов, бывших колонистов-горьковцев: Н. П. Лапотецкого, Н. Ф. Шершнева, А. Браткевича. А. Ужиков — собирательный образ, его прототипы — Фейгельсон и один из Ивановых.

¹¹ При жизни А. С. Макаренко «Педагогическая поэма» была издана в Западной Европе в переводе на английский, французский и голландский языки. Книга вызвала оживленные комментарии в английских, американских и французских газетах разных направлений. В одной из газет говорилось: «Книга Антона Макаренко стоит тысячи пропагандистских книг» (см.: Литературная газета, 1937, март, № 14 (650)).

¹² Говорится о сценарии, который затем стал основой для книги «Флаги на башнях» (см. ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 18; см. также: ед. хр. 46—49).

¹³ Художественное описание «огневой церемонии» см. в повести «Флаги на башнях» (см. т. 6 настоящего издания, с. 101).

¹⁴ Коллектив и далее продолжал вести работу с воспитанниками. Их воспитанием руководил комитет комсомола, в помощь новичкам выделялись старшие товарищи-шефы.

¹⁵ Говорится о Киевской трудовой колонии НКВД УССР № 5 в Броварах, которой А. С. Макаренко руководил с октября 1936 г. по январь 1937 г., по совместительству работая

заместителем начальника отдела трудовых колоний НКВД УССР. Об этой работе он рассказывал в выступлении на заводе «Шарикоподшипник» (см.: т. 4 настоящего издания, с. 27—34). См. также: *Бабич И. А. С. Макаренко в Броварах.* — Народное образование, 1964, № 3.

¹⁶ Имеется в виду постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» (опубликовано в «Правде», 1935, 1 июня).

¹⁷ В связи с 5-летним юбилеем коммуны им. Ф. Э. Дзержинского 29 декабря 1932 г. коллегией ГПУ СССР А. С. Макаренко был награжден грамотой и именными золотыми часами. Правление коммуны присвоило ему звание ударника с вручением значка. Наркомпрос УССР и Комиссия по борьбе с детской беспризорностью Харьковского облисполкома отметили его многолетнюю работу грамотами.

¹⁸ *Макаренко (Салько), Галина Стахивна* — жена педагога-писателя, его соратник в педагогической, литературной и общественной деятельности с осени 1929 г.

¹⁹ Позднее, осенью 1938 г. А. С. Макаренко говорил: то, что применялось им в практике наказания, «было бы полезно в школе» (т. 4 настоящего издания, с. 238).

²⁰ Говоря о персонажах «Педагогической поэмы» Вере Березовской и Наташе Петренко, А. С. Макаренко рассказывает о судьбе их прототипов.

²¹ *Сердюк Калина Иванович* — заведующий хозяйством колонии им. М. Горького, с сентября 1920 г. до мая 1922 г.

Товарищеская лаборатория (с. 50)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 113, фотокопия статьи в «Литературной газете», 1937, 26 апр. После заголовка следует: «В порядке обсуждения».

В начале 1938 г. А. С. Макаренко выступил на расширенном заседании Союза советских писателей (ССП) с предложением об организационной перестройке работы Союза по коллективно-производственному принципу: создание бригад писателей, совета уполномоченных этих бригад (см.: Нет творческой перестройки в Союзе писателей. На заседании Президиума ССП совместно с активом московских писателей. — Литературная газета, 1938, 1 марта, с. 4). На этом заседании 25 и 26 февраля 1938 г. обсуждался план работы ССП на март — май 1938 г. (см. там же редакционную статью «Бюрократический план»).

¹ В данном абзаце А. С. Макаренко сформулировал свою позицию по проблеме социального и биологического в педагогике (см. т. 1 настоящего издания, с. 112—117 и др.). Он отрицательно относился к идее «моральной дефективности», против которой в конце 1923 г. выступили Н. К. Крупская, П. П. Блонский (см.: там же, с. 332—333).

² Положение о необходимости овладения марксистско-ленинским подходом к изучению действительности отражает ключевое значение данного тезиса и в педагогической деятельности А. С. Макаренко. Глубокое и разностороннее применение диалектико-материалистического метода познания позволяло ему лучше ориентироваться в теоретических и практических вопросах воспитания. Он рассматривал их в многообразных связях, развитии и в процессе преодоления противоречий, выделяя основные проблемы (например, воспитательный коллектив), обогащая их содержание педагогическим опытом, неотделимым от социалистического пути развития Советской страны. Попытки буржуазных педагогов представить генезис идей и опыта А. С. Макаренко вне марксистско-ленинской философии и практики строительства социализма в СССР являются грубым искажением существа и реальных фактов его научно-педагогической деятельности.

³ «Презрение» к материальным ценностям в расчет «только на добрые души и намерения» А. С. Макаренко рассматривал и как серьезный недостаток педагогической теории и практики. Ведущим направлением его творчества в воспитании стала, как он выражался, материализация педагогики, т. е. разработка объективных основ воспитательного процесса в коллективе, в тесной связи с практикой социалистического строительства. С диалектико-материалистических позиций решая проблему идейно-нравственного, духовного развития личности, он много внимания уделял созданию трудовой, организационной, морально-правовой основы воспитательного коллектива, реализации деятельностного подхода к воспитанию.

В эти дни (с. 53)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 118, л. 1, фотокопия статьи в «Литературной газете»,

1937, 26 мая. Там же, п. 2 — машинопись. Оп. 4, ед. хр. 117 — первоначальный авторский вариант.

Статья стала началом разработки А. С. Макаренко темы подвига и героизма, которая занимает важное место в его нравственно-педагогических воззрениях и деятельности с первых лет Советской власти (см. рассказы «Из истории героизма», «О человеческих чувствах» в т. 6 настоящего издания). В сравнении с «проклятием капиталистической разобщенности» и конкуренцией он показывает рождение в советском обществе новой «нравственности человеческого единства», которая в корне изменяет сущность героического, освобождает мужественное самоутверждение личности от трагизма, поднимает человека к высотам жизнерадостности и счастья.

Происшествие в «Звезде»

(с. 55)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 113, фотокопия статьи в «Правде», 1937, 1 июля. Это рецензия на роман Ф. Олесова «Возвращение», напечатанный в журнале «Звезда», 1937, № 2.

А. С. Макаренко подходил к воспитанию беспризорных детей с позиции «нормального детства». Это одна из главных особенностей его педагогического творчества (см. т. 2 настоящего издания, с. 37—38, 40—44 и др.).

Детство и литература

(с. 57)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 113, вырезка из «Правды», 1937, 4 июля.

В статье развиваются идеи, высказанные А. С. Макаренко в лекции «Художественная литература о воспитании детей».

¹ Пантеизм — философское учение, утверждающее тождество бога и природы.

Вредная повесть

(с. 61)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 125, вырезка из «Литературной газеты», 1937, 15 июля.

Сложная и ответственная тема перевоспитания, указывает А. С. Макаренко, требует особенной четкости идейно-нравственной позиции писателя, высокого художественного мастерства в реализации замысла произведения.

Сила советского гуманизма

(с. 64)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 113, вырезка из «Литературной газеты», 1937, 30 июня.

В статье отразилась грозная атмосфера преддверия второй мировой войны, усиления агрессивности сил империализма и фашизма, опасности их нападения на СССР. В грядущей схватке со страной победившего социализма знаменем непобедимой силы станет социалистический гуманизм, воплотивший вековую мечту о свободном человеке и его достоинстве.

¹ Далее цитируется концовка поэмы В. Маяковского «Война и мир».

² В заключение приводятся стихотворные строки Г. Гейне из поэмы «Атта Троль» (в переводе Л. Пеньковского).

Закономерная неудача

(с. 66)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 120, вырезка из «Литературной газеты», 1937, 10 авг. Там же, ед. хр. 119 — автограф А. С. Макаренко, первоначальные варианты, под заголовком «Слепым полетом». Повесть Н. Вирты «Закономерность» была напечатана в журнале «Знамя», 1937, № 2, 3, 4.

Рецензия продолжает тему, положенную в основу макаренковской статьи «Вредная повесть».

Рассказы о простой жизни (с. 71)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 125, вырезка из «Литературной газеты», 1937, 20 авг. «Рассказы о просторе» В. Козина были опубликованы в журнале «Красная новь», 1937, № 6.

Как писатель-педагог А. С. Макаренко с воодушевлением отмечает не только оригинальность таланта автора, но и его мироощущение, благородную сдержанность, «язык большой и скромной человеческой любви» к людям труда.

О темах для писателей (с. 74)

Впервые опубликовано: Книга и пролетарская революция, 1937, № 9. ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 122, машинопись. Первоначальный авторский вариант: там же, ед. хр. 121.

Указывая на основную проблематику советской литературы, А. С. Макаренко отражает и тему собственного художественного творчества: сложный и динамический процесс формирования психологии нового человека, гражданина и патриота, «мировой сдвиг в сущности человеческой жизни».

¹ Примеры таких «кустов» и групп» тем («темники»), свидетельствующие о пристальном внимании А. С. Макаренко к явлениям советской действительности и о необычайно широком круге его творческих интересов, см. среди подготовительных материалов к «Книге для родителей» (т. 5 настоящего издания) и к другим произведениям, включая и незавершенные.

Радость нашей жизни (с. 74)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 66, вырезка из «Правды», 1937, 13 окт. Корреспонденции о митинге на 1-м Московском подшивниковом заводе, посвященном предстоящим выборам в Верховный Совет СССР. Среди других на митинге выступил и А. С. Макаренко.

На этом заводе он бывал и ранее, в конце октября 1936 г. выступал здесь трижды: перед читателями «Педагогической поэмы», родителями и рабочим активом (см.: т. 4 настоящего издания, с. 27—34, 36—38; *Кауфман Я.* Писатель Макаренко о воспитании детей: Беседа родителей с автором «Педагогической поэмы». — За советский подшивник, 1936, 30 окт., газета-многотиражка).

Новая жизнь (с. 75)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 66, фотокопия публикации в «Правде», 1937, 16 окт.

«Чапаев» Д. Фурманова (с. 76)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 123, машинопись с пометками М. Е. Бобровской-Луппол. Впервые опубликовано: Литературный критик, 1937, № 10—11. Цитаты из «Чапаева» даны по изданию: *Фурманов Д.* Соч. Т. 1. М., 1951.

Видя в произведении «цельного, неделимого Чапаева» с присущими ему чертами настоящего большевика, А. С. Макаренко критически рассматривает тенденцию некоторых литературоведов к сужению роли партии в становлении и росте Чапаева, попытку ограничить ее влиянием комиссара Клычкова. Его «истинно политическая, комиссарская заслуга» заключается прежде всего в способности понять сущность Чапаева и в «спасении» его для дела партии. «...Он бережно охраняет Чапаева, любовно-настойчиво поправляет его...» Здесь нет линии на «перевоспитание», превращение Чапаева в объект «индивидуальной педагогической работы» и преподавания уроков политграмоты.

В такой трактовке педагог-писатель исходил из общей своей концепции политического воспитания как сердцевины всего дела воспитания, которое обеспечивается общественно-политической направленностью жизнедеятельности человека (см. т. 1 настоящего издания, с. 132—135, 142—144, и т. 4 «Доклад в педагогическом училище»). А. С. Макаренко подчеркивал идущее от людей «богатырство и чудесность» Чапаева, его волнующий пример для воспитания молодежи. Анализ этой макаренковской рецензии см. также: *Гетманец М. Ф.* А. С. Макаренко —

литературный критик. Харьков, 1971; *Лежнев И. А.* С. Макаренко как литературный критик. — В кн.: Избранные статьи, М., 1960.

Счастье (с. 93)

ЦГАЛИ СССР ф. 332, оп. 4, ед. хр. 113, вырезка из газеты «Известия», 1937, 7 нояб.

Статья была приурочена к 20-летней годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Этическую категорию счастья, к которому человек «всегда естественно стремится и из-за которого, собственно говоря, живет», А. С. Макаренко органически ввел в содержание коммунистического воспитания, всестороннего развития личности. Его общественно-историческая характеристика назначения человека и смысла жизни, «новых законов человеческой радости» при социализме, отвергающих «обособленный мир неоправданного потребления», — важный вклад в разработку педагогической цели. Тема счастья была поставлена А. С. Макаренко в «Книге для родителей» (т. 5 настоящего издания), получила дальнейшее развитие в произведении «Флаги на башнях» (т. 6 настоящего издания).

¹ Приводятся строки из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

² Ставя вопрос о закономерном обогащении жанров художественной литературы, А. С. Макаренко основывался на развитии общественной жизни в Советской стране (см.: Идиллия или социализм? — т. 1 настоящего издания, с. 164—166).

Полнота советской жизни рождает красочные новеллы (с. 96)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 140, л. 7—12. Впервые опубликовано в газете «Московские новости», издаваемой в Москве на английском языке, 1937, 7 нояб. В переводе на русский язык впервые напечатано в издании: *Макаренко А. С.* Соч.: В 7-ми т. Т. VII. М., 1952.

А. С. Макаренко вскрывает социально-политическую основу новых явлений в советской литературе: освобожденный труд, коллектив, развитие творческих сил личности.

¹ Ранее А. С. Макаренко давал другую дату: 1914 г. (см. т. 4 настоящего издания, статья «Максим Горький в моей жизни»).

² А. С. Макаренко говорит о кульминационном моменте работы над первой частью «Педагогической поэмы», когда она была в основном закончена. Об истории создания этого произведения он рассказал на встрече с начинающими писателями (с. 177—184 данного тома).

Отзыв о повести А. М. Волкова «Первый воздухоплаватель» (с. 99)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 116. Авторская машинопись, с автографом А. С. Макаренко: 9.XI 1937 г. Отзыв написан для редакции «Литературной газеты», копия адресована председателю комиссии правления Союза советских писателей В. П. Ставскому. По свидетельству А. М. Волкова, Антон Семенович помог ему, тогда начинающему писателю, в работе над этим произведением. Оно вышло в свет под названием «Чудесный шар» в Детиздате в 1939 г.

Отзыв указывает на то, какое большое значение придавал А. С. Макаренко книге по истории для юношества, какие требования он предъявлял к этому жанру детской литературы.

О счастье (заметка) (с. 101)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 83, л. 24, с об. Автограф А. С. Макаренко. По-видимому, фрагмент письма неустановленному лицу. По приложенным газетным вырезкам датируется: не ранее 10 ноября 1937 г.

Это подготовительный материал, который дает возможность проследить направление дальнейшей работы А. С. Макаренко по проблеме счастья. Он понимает счастье как слияние индивидуальных и общественных целей и стремлений человека. В этом педагог-писатель видел суть воспитания у молодежи «умения быть счастливым».

¹ Говорится о газетных вырезках: «Сад радости» (об альманахе «Творчество народов СССР» — Известия, 1937, 10 нояб.) и предпраздничном материале в той же газете, 6 ноября.

² *Леваневский С. А.* (1902—1937) — советский летчик, Герой Советского Союза; 12 августа 1937 г. стартовал на самолете с задачей перелететь через Северный полюс в США, попал в тяжелые метеорологические условия и погиб.

Мальчик из Уржума (с. 101)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 125, фотокопия статьи в «Литературной газете», 1937, 1 дек. В газете отмечалось трехлетие со дня злодейского убийства С. М. Кирова.

Рецензия свидетельствует о том, как А. С. Макаренко представлял особенности литературного произведения с общественно-политической тематикой для детей среднего и старшего возраста.

Судьба (с. 102).

ЦГАЛИ СССР, ф. 619, оп. 1, ед. хр. 1276, л. 9—17. Машинопись с правкой Г. С. Макаренко. Авторская машинопись с правкой А. С. Макаренко, несколько отличающаяся от публикуемого текста, с пометкой неустановленного лица на первом листе: «Первый вариант» — см. там же, л. 1—8. По тексту датируется концом 1937 г. (до 12 декабря). Статья была написана для журнала «Октябрь». Впервые опубликована в «Ученых записках Удмуртского пединститута», 1956, вып. 10, и затем с некоторыми сокращениями в издании: *Макаренко А. С. Соч.: В 7-ми т. Т. VII. М., 1952.*

В статье А. С. Макаренко продолжает развивать мысль о том, что сознательная, целеустремленная деятельность масс по созданию социалистического общества делает счастье «будничным достоянием» трудящихся.

¹ Строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Отчего?».

² Речь идет о конституции общества, в котором нет классового антагонизма.

Выборное право трудящихся (с. 108)

Впервые опубликовано в сборнике статей, очерков и рассказов советских писателей «И жизнь хороша, и жить хорошо», посвященном выборам в Верховный Совет СССР (М., 1937). В сокращении напечатана в «Литературной газете», 1951, 16 янв. (вырезка: ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 113).

А. С. Макаренко с предельной краткостью и убедительностью доказывает классовый характер избирательного права в дореволюционной России, разоблачает буржуазный парламент как «утонченную систему мошенничества и обмана трудящихся» хищническим империализмом, показывает реальность всеобщего и равного избирательного права в СССР.

¹ О репетиторстве А. С. Макаренко в семье полтавского губернатора см. также в «Книге для родителей», начало второй главы (т. 5 настоящего издания).

² Здесь и далее цитируется стихотворение М. Ю. Лермонтова «Дума».

³ *Родичев Ф. И.* (1856—?) — один из организаторов реакционной партии кадетов. *Пуришкевич В. М.* (1870—1920) — крупный помещик, ярый реакционер-черносотенец, монархист. *Марков Н. Е.* (1866—?) — политический деятель, реакционер и монархист. *Родзянко М. В.* (1859—1924) — политический деятель, один из лидеров реакционной партии октябристов. *Гучков А. И.* (1862—1936) — крупный капиталист, основатель партии октябристов.

Прасковья Никитична Пичугина (с. 114)

Впервые опубликовано в журнале «Октябрь», 1937, № 12, с. 41—46. П. Н. Пичугина как председатель депутатской группы 1-го Московского подшипникового завода выступала на встрече А. С. Макаренко с родителями в конце 1936 г. См. упоминаемую выше корреспонденцию Я. Кауфмана в газете-многотиражке «За советский подшипник».

Жизненный путь П. Н. Пичугиной в характеристике А. С. Макаренко — это пример «десятков миллионов жизней нашего крестьянства», освобожденных Октябрьской революцией, пример избавления женщины от тяжелого наследия прошлого в ходе социалистического строительства.

¹ См.: К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 3, с. 70: «...свергающий класс только в революции может сбросить с себя всю старую мерзость и стать способным создать новую основу общества».

² Безобразов А. М. — один из лидеров «безобразовской клики», группы реакционеров, оказавшей в начале XX в. значительное влияние на внешнюю политику России, особенно на Дальнем Востоке.

«Петр Первый» А. Н. Толстого

(с. 122)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 1, ед. хр. 20, машинопись с авторской и редакционной правкой и подписью-автографом А. С. Макаренко. Там же, оп. 4, ед. хр. 124 — два экз. машинописи с правкой Г. С. Макаренко. Статья написана для журнала «Литературный критик». А. С. Макаренко анализирует первую и вторую книги романа (над третьей книгой А. Н. Толстой работал в 1944—1945 гг., она осталась незавершенной). Цитаты из произведения даны по изданию: Петр Первый. — Л., 1936. Впервые опубликовано в издании: Макаренко А. С. Соч.: В 7-ми т. Т. VII. М., 1952. Датируется по этому изданию концом 1937 г.

Статья не была опубликована в журнале «Литературный критик», так как в предварительной рецензии (хранящейся в архиве этого журнала) она квалифицировалась как некое отступление от «исторической методологии», связанной с концепцией М. Н. Покровского (*Гетманец М. Ф.* А. С. Макаренко — литературный критик. — Харьков, 1971). Покровский Михаил Николаевич (1868—1932) советский историк, партийный и государственный деятель, первый заместитель наркома просвещения РСФСР, автор ряда марксистских трудов по истории России, написавший школьный учебник «Русская история в самом сжатом очерке». Учебник получил высокую оценку В. И. Ленина, сделавшего вместе с тем ряд серьезных замечаний автору. В последующих исторических трудах М. Н. Покровский допускал преувеличение роли торгового капитала в развитии капитализма в России, на его ошибки указывалось в ряде партийных документов.

В рецензии А. С. Макаренко критикует влияние исторической концепции М. Н. Покровского на автора романа «Петр Первый», выразившееся в том, что А. Н. Толстой, «на самую первую линию выдвинул интересы торгового капитала, игнорируя интересы дворянства» (с. 133 данного тома). В 1944 г. А. Н. Толстой в ходе редакторской правки романа изменял те места текста, где преувеличивалась роль купечества в петровскую эпоху, но он успел довести эту работу только до пятой главы первой книги (см.: Толстой А. Н. Полн. собр. соч. Т. 9. М., 1946, с. 795). Анализ статьи Макаренко см.: Ленобль Г. «Петр Первый» А. Н. Толстого в освещении А. С. Макаренко. — В кн.: История и литература. М., 1960. См. также: Рождественская И. С., Ходюк А. Г. А. Н. Толстой: Семинарий. — М., 1962, с. 224—231.

На примере этого романа-эпопеи А. С. Макаренко отмечает замечательную особенность советской литературы: сочетание высокого художественного мастерства и «высоты содержания», яркой увлекательности произведения и его большого общественного значения. Сравнивая книгу А. Н. Толстого с «Войной и миром» Л. Н. Толстого, он отдает предпочтение первому «по широте тематического захвата», но в то же время убедительно характеризует «Петра Первого» в значительной степени не как роман, а как наиболее достоверное историческое повествование об обществе того времени и его различных представлениях о человеке, который «на каждой странице» остается главным и, в сущности, единственным героем произведения.

Стиль «Петра Первого», по заключению А. С. Макаренко, определяется не только изображением «единства пробудившейся России», подъема народной энергии и пробуждения талантов в период прогрессивных общественных преобразований, но и «великим авторским оптимизмом», активным жизненным мироощущением писателя — характерным проявлением художественного метода социалистического реализма. Педагога-писателя восхищает и авторское «великолепное мастерство видения... простые убедительные и всегда неожиданно-талантливые краски» в изображении событий, которые вполне компенсируют недостаток психологизма.

О своих способностях литературного критика А. С. Макаренко на основе некоторого опыта говорил уже в начале 20-х гг. (см. т. 1 настоящего издания, с. 10). В рецензии на книгу А. Н. Толстого, несомненно, отразилась работа А. С. Макаренко над романом «Владимир Мономах», которую он начал в сентябре 1934 г. и активно продолжал летом 1938 г.

¹ Соловьев С. М. (1820—1879) — русский историк. А. С. Макаренко имеет в виду, вероятно, его 29-томный труд «История России с древнейших времен», т. XIV, кн. 3, гл. III.

Впервые опубликовано: Книга и пролетарская революция, 1938, № 4, с. 158—160.

В статье раскрывается замысел «Книги для родителей» как художественно-педагогического произведения, указывается на обусловленность семейного воспитания сложившимися в обществе традициями и на необходимость «накопления традиций коммунистического воспитания в области семьи». Основой их формирования является «гражданский долг и политическое поведение родителей», советские общепедагогические идеи, руководящие «принципы философии марксизма», указания Коммунистической партии.

¹ Речь идет о так называемой теории отмирания школы при социализме, которую в 20-х — начале 30-х гг. развивали В. Н. Шульгин (1894—1965, советский историк, деятель народного образования, профессор), и М. В. Крупенина (1882—1950, советский педагог и деятель народного образования). Методологически порочный вывод о перспективе «отмирания школы», ведущий к стихийности в воспитании, был осужден в постановлении ЦК ВКП(б) о школе 25 августа 1931 г. На необходимость устранения этого недостатка указало постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 3 сентября 1935 г. А. С. Макаренко подверг критике взгляды В. Н. Шульгина в середине 20-х гг. (см.: ЦГАЛИ СССР, ф. 335, оп. 4, ед. хр. 99, л. 1—3, и ед. хр. 97, л. 49—52).

² О свободном воспитании см. т. 1 настоящего издания, с. 356, п. 11 Комментарии.

³ А. С. Макаренко цитирует постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов» от 4 июля 1936 г.

⁴ Имеется в виду статья: Н. Пфляумер «Книга для родителей». — Литературное обозрение, 1938, № 1 (в рубрике «Заметки читателя»). См. также: Н. Пфляумер. Моя семья. — М., 1950.

⁵ На последней стадии работы А. С. Макаренко так определил тематику следующих томов «Книги для родителей»: т. 2 — политическое и этическое воспитание; т. 3 — трудовое воспитание и выбор жизненного пути; т. 4 — воспитание счастливого человека, вопросы советской эстетики поведения. Подготовительные материалы к этим томам см. в т. 5 настоящего издания.

О «Книге для родителей» (с. 145)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 173. Стенограмма вступительного и заключительного слова на читательской конференции по «Книге для родителей» на Московском станко-строительном заводе им. С. Орджоникидзе 9 мая 1938 г. (машинопись с пометами Г. С. Макаренко). Впервые опубликовано с некоторым сокращением в журнале «Семья и школа», 1948, № 9, 10, и в сб.: А. С. Макаренко / Под ред. Е. Н. Медынского; сост. А. Г. Тер-Гевондян. — М.; Л., 1948.

¹ Подробнее о «Книге для родителей» см. в т. 5 настоящего издания.

² В семье А. С. Макаренко воспитывались его племянница — Олимпиада Витальевна Макаренко и сын Г. С. Макаренко — Лев Михайлович Салько.

³ По свидетельству воспитанников коммуны дзержинцев, прототипом Веткиных стала семья Пенкиных. К. Т. Пенкин — коммунары и А. Т. Пенкина — медсестра.

⁴ Об «организации» чувства любви, как выражался А. С. Макаренко, см. лекцию «Половое воспитание» в т. 5 настоящего издания и «Мои педагогические воззрения» в т. 4.

⁵ Как видно из текста, совещание в редакции «Литературной газеты» с докладом А. С. Макаренко состоялось 10 мая 1938 г. Это позволяет предположить, что текст доклада стал основой для статьи «Воспитательное значение детской литературы», опубликованной в «Литературной газете» 15 мая 1938 г. (см. ниже).

⁶ О «взрыве» как средстве перевоспитания см. в т. 1 настоящего издания, с. 457—459, и в т. 3, с. 504—505.

⁷ Воспитанию А. С. Макаренко отводит ведущую роль в формировании и развитии личности. При этом он не отрицал наследственных задатков личности, стремился к глубокому и разностороннему учету закономерностей развития природы человека, возрастных и индивидуальных особенностей людей в воспитательном коллективе.

Воспитательное значение детской литературы (с. 157)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 113, фотокопия статьи в «Литературной газете», 1938, 15 мая.

Материалы А. С. Макаренко о детской литературе показывают, что его педагогическая система базируется на тщательном изучении психологии детства и юности, пристальном внимании к развитию индивидуальности в коллективе. Это нашло яркое отражение также в его художественных произведениях.

¹ Размышления А. С. Макаренко о детском чтении см. также в т. 4 настоящего издания («Мои педагогические воззрения», с. 343—364).

Письмо Ромицыну 8 июня 1938 г. (с. 159)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 280. Впервые опубликовано Л. Ю. Гординым и Е. С. Долгим в «Учительской газете», 1969, 13 марта. (О работе А. С. Макаренко в апреле 1938 г. над сценарием о школьной жизни на материале коммуны им. Ф. Э. Дзержинского см. с. 44 данного тома и ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 39, 45).

¹ Неудовлетворенность А. С. Макаренко школой конца 30-х гг. обусловлена ее отступлением от идеи соединения обучения и воспитания с производительным трудом, что вело к принижению общественного значения школы и роли трудового воспитательного коллектива, который занимает центральное место в макаренковском наследии. К этому времени в школе были ликвидированы школьные мастерские, отменены уроки труда.

Против шаблона (с. 160)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 132, фотокопия статьи в «Литературной газете», 1938, 30 июня (напечатана в порядке обсуждения).

В статье А. С. Макаренко подчеркивает важность активной, творческой жизненной позиции писателя.

¹ Имеется в виду статья т. Малахова в «Литературной критике», 1938, № 5. Повесть «Честь» напечатана в т. 2 настоящего издания.

² Считая, что советское общество по характеру человеческих взаимоотношений не только выше, но и сложнее, тоньше старого общества (см. с. 163, 164 данного тома), А. С. Макаренко отмечал: «Конфликт становится более тонким, более глубоким, более нежным, он открывает более сокровенные глубины человеческой личности. Это «очеловечивание» конфликта заметно у Чехова...» (ЦГАЛИ СССР, ф. 32, оп. 4, ед. хр. 237, л. 15). Такое смещение конфликта на область нравственности он показал в пьесе-комедии «Ньютоновы кольца», в романе «Флаги на башнях», в ряде незавершенных художественных произведений (см. т. 1 настоящего издания, с. 262, 264).

Письмо А. Ромицыну 1 июля 1938 г. (с. 164)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 280. Впервые опубликовано в «Литературной газете», 1938, 30 июня.

О подписке на заем (с. 165)

Впервые опубликовано в «Литературной газете», 1938, 5 июля (под общим заголовком «Писатели-подписчики нового займа»).

О книге «Честь» (с. 165)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 143, авторская машинопись, с заголовком «Обратите внимание на мое бедственное положение». Адресовано в редакцию журнала «Октябрь», где вышла повесть «Честь» (1937, № 11 и 12; 1938, № 1, 5, 6; см.: ЦГАЛИ СССР, ф. 619, оп. 1, ед. хр. 1276, л. 1—18). По содержанию датируется: не ранее 5 июля 1938 г. Впервые опубликовано в издании: Макаренко А. С. Соч.: В 7-ми т. Т. VI. М., 1952.

А. С. Макаренко анализирует способы литературной критики, основанной на механистически-социологизаторской трактовке художественной типизации явлений общественной жизни. Ей противопоставляется диалектико-материалистическое понимание социальных процессов во всей их сложности, динамичности и противоречивости. Статья показывает тщательность работы педагога-писателя над ленинскими произведениями, направленность на усвоение «глубочайшей диалектики» В. И. Ленина, которая позволяет видеть «сложность движения», глубокий смысл решений и действий Коммунистической партии. Ленинская методология определила «логику педагогической целесообразности» А. С. Макаренко (см. т. I настоящего издания, с. 167—182, и «Проблемы школьного советского воспитания (тезисы)», в т. 4. Выписки из произведений В. И. Ленина см.: ЦГАЛИ СССР, ф. 332, ед. хр. 99, л. 4.

¹ Имеется в виду статья К. Малахова «Отклик на окрик» в «Литературной газете», 1938, 5 июля.

Беседа с начинающими писателями

(с. 177)

Впервые опубликовано в журнале «Литературная учеба», 1938, № 10. Это стенограмма доклада на встрече с молодыми писателями 11 июля 1938 г. А. С. Макаренко, обработанная им. Машинопись см.: ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 174 (с записью ответов на вопросы и заключительного слова).

Активное отношение к жизни, тщательное изучение и утверждение «новой позиции человека на земле», всемерное повышение «культуры собственной личности» — факторы, позволившие педагогу-писателю через осмысление широких общественно-педагогических явлений прийти к открытию существенных закономерностей коммунистического воспитания.

¹ В краткой характеристике истории создания «Педагогической поэмы» А. С. Макаренко опустил тот факт, что работу над первыми главами этого произведения он начал в середине 20-х гг. (см. т. 3 настоящего издания, с. 493).

² Говорится о Кононенко Константине Сергеевиче, работавшем в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского с марта 1932 г. начальником коммерческо-финансовой части (см. его воспоминания: ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 479).

³ А. С. Макаренко указывал также другое число: «до трех тысяч».

⁴ О записях такого рода см. в т. 5 настоящего издания (подготовительные материалы к «Книге для родителей»).

⁵ Говорится о путях и способах изучения писателем действительности. А. С. Макаренко обращает внимание на подход, который он применял и в своей научно-педагогической деятельности: отрицание пассивного изучения и простой констатации существующего положения. Закономерности воспитания могут быть выявлены с достаточной глубиной и точностью в опытной работе педагога, которая делает его активным субъектом воспитательного процесса, а воспитанника — субъектом общественно полезной деятельности в коллективе. А. С. Макаренко критиковал педологическую методику исследования прежде всего за игнорирование активного, творческого начала в педагогике, неспособность к познанию развивающейся личности, факторов ее формирования и развития.

Письмо А. Ромицыну 31 августа 1938 г.

(с. 184)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 280. Впервые опубликовано Л. Ю. Гординым и Е. С. Долгим в «Учительской газете», 1969, 13 марта.

¹ В данном письме нашел яркое и лаконичное выражение подход А. С. Макаренко к кинофильму о школе и для школьников: как и в педагогике, ведущей должна быть идея воспитания в коллективе. Здесь отражена и характерная особенность макаренковского взгляда на воспитательный коллектив: это «активный детский коллектив», неотделимый от жизни взрослых, их труда и борьбы за новое общество. В этом суть «педагогики параллельного действия» (см. т. I настоящего издания, с. 323—324).

² Связь кинофильма «Путевка в жизнь» (поставленного на материале Болшевской коммуны) с ведущими принципами коммунистического воспитания и перевоспитания А. С. Макаренко показал в статье «Болшевцы» (см. с. 9—11 данного тома).

Стиль детской литературы (с. 185)

Впервые опубликовано в журнале «Детская литература», 1938, № 7, с примечанием: «Редакция приглашает тт. писателей, критиков, работников детской книги высказаться по вопросам, затронутым в статье т. Макаренко».

А. С. Макаренко развивает тему, поднятую им в статье «Воспитательное значение детской литературы». Его выводы о специфике детской литературы основаны на многолетнем опыте педагогической работы, где огромное внимание уделялось детскому чтению (применительно в основном к среднему и старшему возрасту). Статья показывает глубокое знание им возрастной психологии. Важной является идея целостного восприятия художественного произведения.

Особенность литературы для детей и юношества А. С. Макаренко видит в «тенденциях стиля», которые должны опережать «возрастной комплекс психики», подчиняясь задаче воспитания активной и жизнерадостной личности социалистического типа. Этот тезис имеет методологическое значение, согласуясь со взглядами советского психолога Л. С. Выготского, который одним из первых выдвинул идею о ведущей роли обучения и воспитания в развитии детской психики и качественно новый принцип определения возрастных психологических особенностей в их динамике, с использованием представления о «зоне ближайшего развития», т. е. тех психических качествах и проявлениях формирующейся личности, на которых следует сосредоточивать внимание и усилия педагогов. Взгляды Л. С. Выготского, развитые впоследствии другими представителями советской психологической школы (С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев и др.), помогли А. С. Макаренко обосновать выдвинутую им идею «перспективных линий» в воспитательном процессе коллектива и личности. В статье критикуется тенденция ряда детских писателей пассивно следовать за «возрастным комплексом психики» ребенка, в чем Макаренко видел проявление в литературе для детей педологических идей и установок.

¹ Айртон — персонаж книги «Таинственный остров».

² Приводятся слова из пьесы А. П. Чехова «Чайка» (действие IV), они встречаются также в письме А. П. Чехова брату Александру от 10 мая 1886 г. Говорится о роли художественной детали в воссоздании целостной картины изображаемого.

Советские летчицы (с. 190)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 113, фотокопия статьи в «Литературной газете», 1938, 10 окт. Она была опубликована также в журнале на французском языке, издаваемом в Москве: «Revue de Moscou», 1937, № 45, с. 4.

¹ Речь идет о советских летчицах, Героях Советского Союза, совершивших беспосадочный полет из Москвы на Дальний Восток в сентябре 1938 г.: Гризодубовой Валентине Степановне (род. 1910), в годы Великой Отечественной войны командовавшей авиационным полком; Осипенко Полине Денисовне (1907—1939) погибшей при исполнении служебных обязанностей и похороненной у Кремлевской стены; Расковой Марии Михайловне (1912—1943), с января 1942 г. — командире женского бомбардировочного авиаполка, похороненной у Кремлевской стены.

² Далее цитируется статья П. Осипенко «Как мы готовились». — Правда, 1938, 25 сент.

О повести «Флаги на башнях» (с. 191)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 179, л. 16—24. Машинопись с правкой М. Е. Бобровской-Луппол (см. также л. 1—15). Обработанная стенограмма встречи А. С. Макаренко с читателями в Ленинградском Дворце культуры им. С. М. Кирова 18 октября 1938 г., на которой в прениях выступило 7 человек. Вступительное слово и заключительное слово А. С. Макаренко публикуется по стенограмме. О замысле «Флагов на башнях» см. также подготовительные материалы к ней и комментарии в т. 6 настоящего издания.

¹ В 30-е гг. А. С. Макаренко развивает подход к воспитанию как социальному процессу, связанному не только с целенаправленной деятельностью школы, семьи, но и с влиянием на личность всей окружающей действительности. О характеристике воспитания см. т. 5 настоящего издания, с. 14—15 и т. 1, с. 11—13.

² Речь идет об отсутствии проблемы длительной «перековки» воспитанников в условиях развитого воспитательного коллектива.

³ А. С. Макаренко говорит, вероятно, о своей работе в школе в 1917—1920 гг. в Крюкове и Полтаве. В дореволюционной школе он преподавал преимущественно русский язык, русскую литературу, черчение и рисование.

⁴ Имеются в виду встречи и беседы А. С. Макаренко с И. А. Каириным, тогда заведующим кафедрой педагогики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. См.: *Каири И. А. Незабываемое*. — Учительская газета, 1978, 28 марта. Основным пунктом расхождений, вызвавшим отказ А. С. Макаренко от участия в подготовке учебника педагогики, был, очевидно, вопрос о трудовом воспитании школьников, их участии в производительном труде, без чего он не мыслил полноценного коммунистического воспитания. В тот период преподавание труда в школе и организация производительного труда учащихся были отменены (приказ Наркомпроса РСФСР «Об отмене преподавания труда в школе» от 4 марта 1937 г.). А. С. Макаренко и в те годы продолжал отстаивать воспитательное значение общественно полезного, производительного труда детей и подростков.

Письмо А. Ромицыну 21 октября 1938 г.
(с. 197)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4 ед. хр. 280. Впервые опубликовано Л. Ю. Гординым и Е. С. Долгим в «Учительской газете», 1969, 13 марта.

Предложенные А. С. Макаренко в этом письме темы для сценария отражают его работу над вторым томом «Книги для родителей», где предполагалось осветить проблему связи школы с семьей (см. в т. 5 настоящего издания подготовительные материалы к «Книге для родителей»: «Темник» и др.). Его предложения Одесской киностудией были приняты, что было подтверждено письмом 5 ноября 1938 г. Однако А. С. Макаренко не удалось осуществить этот замысел, и киностудия 15 марта 1939 г. потребовала возврата денег, полученных в счет договора (ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 1, ед. хр. 39 и оп. 4, ед. хр. 436).

¹ Здесь А. С. Макаренко делает попытку конкретизировать формы влияния детей на семью, осуществляемого под руководством школы (см. т. 4 настоящего издания, конец лекции «Семья и воспитание детей» и «Коммунистическое воспитание и поведение»). Это положение, доминирующее в макаренковском решении проблемы связи школы с семьей, — одно из важных проявлений его уважительно-требовательного отношения к воспитаннику. Идея педагогизации широкой социальной среды была характерна и для взглядов Н. К. Крупской, С. Т. Шацкого, В. Н. Шульгина, ряда других педагогов. Особенность подхода А. С. Макаренко к этой проблеме состояла в том, что он рассматривал сплоченный, организованный детский коллектив как силу, способную заметно повлиять на семьи воспитанников, сделать их союзниками школы в организации многих общественно полезных дел.

² Данная тема является, вероятно, творческим продолжением замысла киносценария о колонии горьковцев и коммуне дзержинцев «Четыре товарища», над которым А. С. Макаренко работал осенью 1936 г.

Ответ товарищу А. Бойму
(с. 198)

Впервые опубликовано в издании: *Макаренко А. С. Соч.*: В 7-ми т. Т. VII. М., 1952. Статья журналиста А. Бойма «Откровения А. Макаренко» была опубликована в «Комсомольской правде» 2 декабря 1938 г. В ней в искаженном свете представлялось содержание макаренковской работы «Стиль детской литературы». А. Бойм расценивал статью А. С. Макаренко как «наскок на советскую педагогику», проповедь «явно вредных взглядов», отход от художественной классики и «замаскированные призывы к упрощенчеству и обеднению детской литературы». А. С. Макаренко сопроводил «Ответ» письмом ответственному редактору «Комсомольской правды», опубликованным в т. 4 настоящего издания.

¹ А. С. Макаренко, вероятно, имеет в виду книгу для младшего и среднего возраста. Повесть «Флаги на башнях», первоначально предлагаемая к опубликованию в Детиздате, рассчитана на старший школьный возраст (см. т. 6 настоящего издания, комментарий к «Флагам на башнях»). Вскоре для Союздетфильма им был написан сценарий «Настоящий характер», а в последние месяцы жизни — сценарий «Командировка» (см. ниже в данном томе).

Письмо в редакцию «Литературной газеты»
(с. 200)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 299, л. 2. Машинописная копия, сделанная в 20-х числах апреля 1939 г. и заверенная печатью редакции «Литературной газеты». В пояснительной записке Г. С. Макаренко значится: «Вероятно, 1938 г.». По содержанию письмо датируется второй половиной декабря 1938 г. Адресовано, вероятно, О. Войтинской. В сокращении опубликовано Е. С. Долгиным в «Литературной газете», 1976, 7 апр. Полностью публикуется впервые.

¹ Статья писателя М. Лоскутова о творчестве А. С. Макаренко была напечатана в «Литературной газете», 1938, 15 дек.

Книги, которых я жду
(с. 200)

Впервые опубликовано в «Литературной газете», 1938, 30 дек., как новогоднее пожелание, в подборке материалов на тему «Литературные мечтания». Заглавие «Книги, которых я жду» дано при первой публикации материала в издании: *Макаренко А. С. Соч.: В 7-ми т. Т. VII. М., 1952.*

Пристальное внимание к человеку, его морально-психологическому состоянию — особенность художественного творчества А. С. Макаренко, всей его научно-педагогической деятельности.

Медынский Г. А. «Бубенчики»
(с. 201)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 131, авторская машинопись. Впервые опубликовано в издании: *Макаренко А. С. Соч.: В 7-ми т. Т. VII. М., 1952.* По свидетельству Г. А. Медынского, рецензия была написана в начале 1939 г. для журнала «Октябрь», под названием «Девятый «А» напечатана в этом журнале в № 5—6 и 7, 1939.

Давая положительную оценку повести, рекомендуя ее к печати, А. С. Макаренко вместе с тем высказывает ряд перспективных мыслей о развитии школьной темы в детской литературе. Эмпиризм рецензируемой повести Макаренко усматривал в отсутствии в ней анализа тенденций развития школьного коллектива, тех противоречий, которые предстоит разрешить школе на пути к воспитанию коммунистической личности.

Записки педагога
(с. 202)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 142, вырезка из «Литературной газеты», 1939, 26 янв. Авторская машинопись — там же. Книга Т. З. Семушкина под заглавием «Чукотка (записки педагога)» была опубликована в журнале «Октябрь», 1938, № 11 и 12 (автором указан Г. Семушкин). Письмо А. С. Макаренко Т. З. Семушкину 21 июня 1938 г., см.: ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 18.

Говоря о высоконравственном характере книги, А. С. Макаренко отмечает главное в социалистической культуре, советском образе жизни — гуманизм.

Открытое письмо товарищу Ф. Левину
(с. 204)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4 ед. хр. 134, авторская машинопись, с подписью-автографом А. С. Макаренко, написано 29 января 1939 г. См. также: оп. 1, ед. хр. 25. Адресовано, вероятно, в редакцию журнала «Литературный критик», где в № 12 за 1938 г. была напечатана рецензия Ф. Левина «Четвертая повесть А. Макаренко». Впервые опубликовано в «Литературной газете», 1939, 26 апр. (после смерти педагога-писателя).

Ведущая идея письма — «новые требования социалистической литературной эстетики». Они определяются возникновением качественно новых социальных, культурных и моральных ценностей в советском обществе, основой которых является рост коллективизма, организованности и сознательности советских людей. Укреплению и развитию этих кардинальных изменений и должна прежде всего служить литература социалистического реализма и литературная критика. В защиту «Флагов на башнях» выступили также выпускники коммуны

им. Ф. Э. Дзержинского (их письмо редактору «Литературной газеты» и критику Ф. Левину см. в приложении к данному тому).

¹ Ф. Левин. Педагогическая поэма. — Литературное обозрение, 1936, № 2. См. также его статью в «Литературном критике», 1936, № 10, с. 102—111.

² Варлаам-бродяга — персонаж трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов».

³ Чарская (псевд., наст. фам. Чурилова) Л. А. (1875—1937) — русская писательница, автор сентиментальных произведений для детей и юношества.

⁴ Записи А. Безыменского и Ф. Гладкова в книге отзывов посетителей коммуны им. Ф. Э. Дзержинского в июне 1934 г. см.: ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 370, л. 69. См. также записи А. Жарова и Г. Рыклина в феврале и марте 1932 г. — там же, л. 38 об. и 39 об.

⁵ А. С. Макаренко вел борьбу против сведения коллектива к механической сумме личностей и межличностных отношений. Он рассматривал коллектив как самостоятельное и целостное явление общественной жизни, закономерности которого не могут быть определены лишь «в функциях личности» (см. т. 1 настоящего издания, с. 175—176).

Литература и общество

(с. 208)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 137, л. 4. Вырезка из «Литературной газеты», 1939, 5 февр. Статья является ответом А. С. Макаренко на его награждение орденом Трудового Красного Знамени. Он вошел в группу советских писателей, удостоенных высоких правительственных наград «за выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы» (О награждении советских писателей: Указ Президиума Верховного Совета СССР. — Литературная газета, 1939, 5 февр.; указ был принят 31 янв. 1939 г.). В отмеченной выше единице хранения см. также л. 1—3, авторская машинопись.

В этой статье, отразившей жизненную программу действий писателя-педагога и патриота, А. С. Макаренко остановился на проблеме социалистической эстетики, являющейся центральной для художественной литературы. Он призывает писателей глубже проникать в сущность общественных событий, превращая искусство в «орган художественного народного зрения», разведчика будущего и ответственный участок «единого фронта социалистического наступления».

¹ Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 января 1939 г. А. С. Макаренко награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Предстоит большая работа над собой

(с. 210)

Впервые опубликовано: Слово писателя. — М., 1939, с. 211—214. Этот сборник публицистических статей и стихов советских писателей посвящался XVIII съезду ВКП(б). В нем опубликованы произведения Н. Асеева, Я. Купала, Я. Коласа, А. Толстого, Вс. Иванова, Ф. Гладкова, А. Серафимовича, А. Первенцева, Н. Тихонова, М. Шагинян, В. Финка и др. По тексту датируется февралем 1939 г.

А. С. Макаренко исходит из положения XVIII съезда ВКП(б) о том, что на этапе завершения строительства социализма и постепенного перехода к коммунизму решающее значение приобретает коммунистическое воспитание, преодоление пережитков капитализма в сознании людей. См. об этом также в его работах «О коммунистической этике» и «Коммунистическое воспитание и поведение» (т. 4 настоящего издания).

Великая награда

(с. 211)

Впервые опубликовано в журнале «Дружные ребята», 1939, № 3, как один из ответов писателей на помещенное в этом же номере письмо деткоргов журнала из деревни Никулино Московской области.

Отзыв о рукописи «Золотые деньги»

(с. 212)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 126, л. 1—3. Авторская машинопись с подписью-автографом А. С. Макаренко. Ориентировочно датируется 1937—1939 гг. Впервые опубликовано в издании: Макаренко А. С. Соч.: В 7-ми т. Т. VII, 1958.

Материал свидетельствует об интересе А. С. Макаренко к народному творчеству.

Отзыв о повести «Республика победителей»
(с. 213)

ЦГАЛИ СССР, ф. 619, оп. 1, ед. хр. 1398. Автограф и машинопись А. С. Макаренко, ориентировочно датируется 1938 г., написано для журнала «Октябрь». Публикуется впервые.

Отзыв о романе А. Явича «Леонид Берестов»
(с. 213)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 133. Авторская машинопись, ориентировочно датируется 1938—1939 гг., написано для издательства «Советский писатель». Публикуется впервые.

¹ А. С. Макаренко обращается к редактору, направившему рукопись на рецензию.

Литературные сценарии

Настоящий характер
(с. 216)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 1, ед. хр. 18, машинопись с автографом «С подлинным верно. Г. Макаренко». Первоначальный вариант, автограф А. С. Макаренко: там же, оп. 4, ед. хр. 50. Указаны даты: 14 декабря 1938 г. — 10 января 1939 г. Сценарий разбит на 5 частей, с особой нумерацией для каждой части. Рукопись не закончена, обрывается на восьмом кадре 5-й части. На с. 22 рукой А. С. Макаренко сделана схематическая зарисовка модели выключателя, а на с. 48 — детали новой конструкции. Авторская машинопись законченная, там же, ед. хр. 51. Без даты, относится к январю 1939 г., отдельные части не выделяются, сценарий состоит из 88 кадров, по сравнению с автографом текст значительно сокращен, внесены стилистические поправки. На титульном листе значится: «Сценарий полнометражного звукового фильма». В публикуемом тексте некоторые места авторской машинописи дополнительно отредактированы, отдельные кадры разбиты по два. Впервые опубликовано в издании: *Макаренко А. С. Соч.: В 7-ми т. Т. VI, М., 1952.*

Договор с киностудией «Союздетфильм» об этом сценарии был составлен 1 сентября 1938 г. (ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 435). 26 сентября А. С. Макаренко отметил в своем дневнике: «По приглашению «Детфильма» подписал договор с ним на сценарий на тему о воспитании характера. Срок — 1 января» (дается по изданию: *Макаренко А. С. Соч.: В 7-ми т. Т. VI, М., 1958, с. 444*). Работа над сценарием продолжалась с середины декабря 1938 г. до начала января 1939 г. 10 января материал был зарегистрирован сценарным отделом «Союздетфильма».

В дневниковой записи А. С. Макаренко от 11 января говорится: «Сценарий «Союздетфильму» сдал и прочитал... К моему удивлению, он был встречен довольно холодно. Что-то такое говорили: есть, конечно, достоинства, но это повесть, нет драматизма, облегченный конфликт. Нужно давать убийства и «конфликты» — это в ФЗУ!...» (цит. по указанному выше источнику).

Не случайно А. С. Макаренко изобразил в киносценарии школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Он уделял в теории и практике коммунистического воспитания первостепенное значение марксистско-ленинскому принципу соединения обучения с производительным трудом. Воспитание в коллективе педагог строил на прочной трудовой основе, позволяющей тесно связать его с жизнью, коммунистическим строительством. Это обеспечивало высокий уровень формирования личности социалистического типа. В школах ФЗУ готовили рабочие кадры для предприятий, в состав которых они входили. Это был основной тип советской профессиональной школы до 1940 г., когда была создана единая и всеохватывающая система трудовых резервов.

Учитывая огромную воспитательную силу театра и кино, А. С. Макаренко в своей педагогической и литературной деятельности уделял большое внимание этим видам искусства. Самодеятельный театр был важным звеном системы воспитания в колонии им. М. Горького и коммуне им. Ф. Э. Дзержинского. А. С. Макаренко постоянно выступал в роли сценариста театрализованных постановок на темы колонийской и коммунарской жизни, был режиссером-постановщиком пьес русских и советских авторов, участвовал в спектаклях и как актер. О написанных им литературных обзорах для эстрадных представлений в коммуне см. т. 2 настоящего издания, с. 506—507.

Он был хорошо знаком с театральной жизнью Москвы уже в 20-х гг. С осени 1933 г. началась шефская дружба коммуны с Харьковским театром русской драмы, где выросло несколько народных артистов (художественным руководителем театра был Н. В. Петров, впоследствии лауреат Государственной премии СССР, доктор искусствоведения). С конца 20-х гг. в горьковской колонии (затем коммуне) был свой киноаппарат, регулярно демонстрировались фильмы, перед сеансами А. С. Макаренко и другие педагоги выступали с беседами. Коммуну им. Ф. Э. Дзержинского снимали кинорежиссер В. И. Пудовкин и Ленинградская студия «Совкино» (см. т. 1 настоящего издания, с. 135). Кинохронику 1928 и 1932 гг. о колонии и коммуне см.: ЦГА кинофотодокументов СССР, 1-15963-V, 122297, О-9894.

Первую попытку написать сценарий фильма о коммуне дзержинцев (из пяти частей) А. С. Макаренко предпринял осенью 1932 г. Далее, в 1932—1934 гг., он на материале своей колонии и коммуны разрабатывал сценарий «Ворошиловцы» («Колонисты») — см. комментарии к т. 6 настоящего издания. В сентябре 1936 г. на этом же материале им готовился сценарий «Четыре товарища». О работе над киносценариями для Одесской киностудии в 1937—1938 гг. см. по его письмам А. Ромицыну в данном томе.

Более активно и плодотворно трудился А. С. Макаренко над созданием пьес. Написанная им в конце 1932 — начале 1933 г. пьеса «Мажор» (2-й вариант — осень 1933 г.) получила одобрение на Всесоюзном конкурсе пьес советских писателей (всего было рассмотрено 1200 пьес, опубликовано в 1935 г., см. т. 2 настоящего издания). В 1934—1935 гг. он работал над комедией «Ньютоновы кольца», ее одобрил и отредактировал А. М. Горький (см. т. 1 настоящего издания, с. 262—265). Задумана была также комедия «Забота о человеке» (написаны два акта, см.: ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 56).

В публикуемом сценарии А. С. Макаренко дает ответ на вопрос, что такое настоящий большевистский характер, имея прежде всего в виду правильную постановку проблемы коммунистического воспитания в педагогике (см. его статьи «Цель воспитания». «Воспитание характера в школе», «Воля, мужество, целеустремленность» и др. в т. 4 настоящего издания). Настоящий характер, разъясняет А. С. Макаренко, — это сплав силы, энергии, храбрости с умом и осмотрительностью, дисциплиной и инициативой, это прежде всего действия и поступки честного человека, комсомольца. В сюжете сценария использован реальный факт: техническое усовершенствование электрического выключателя коммунаром И. Ткачуком, которое получило название «ласточкин хвост», так же назывался первоначально сценарий.

Командировка

(с. 247)

ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 54. Законченная авторская машинопись с правкой автора. Планы произведения, характеристика сюжета, списки персонажей см. так же: ед. хр. 52, автограф. Имеются два неполных варианта: там же, ед. хр. 53 (автограф, 112 кадров, из них сохранились 43 разрозненных кадра) и ед. хр. 55 (машинопись, 82 кадра, сохранилось 54 разрозненных кадра). Сценарий написан в последние месяцы жизни А. С. Макаренко, в 1939 г. Впервые опубликовано в издании: Макаренко А. С. Соч.: В 7-ми т. Т. VI. М., 1952.

В постановлении сценарного отдела киностудии «Союздетфильм» 29 марта 1939 г. говорилось: «Обсудив сценарий т. Макаренко под условным названием «Командировка», сценарный отдел считает, что как в отношении темы, так и всего образного строя вещи сценарий представляет бесспорный интерес для киностудии «Союздетфильм» и по своему высокому идейно-художественному качеству дает материал для создания полноценного фильма о советской молодежи сегодняшнего дня» (ЦГАЛИ СССР, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 438).

1 апреля 1939 г., направляясь из Дома отдыха писателей (Голицыно) в Москву в «Союздетфильм», в вагоне пригородного поезда А. С. Макаренко скоропостижно скончался. Кинофильм и по этому его сценарию не был поставлен.

Сценарий «Командировка», посвященный рабочей молодежи, продолжает и расширяет тематику «Настоящего характера», о чем свидетельствует второе название последнего макаренковского произведения — «Трудный характер». Примечателен широкий возрастной диапазон персонажей: от 10-летней девочки Лены, детей, родившихся при Советской власти, юношей и девушек, только вступающих в жизнь, до руководящих и заслуженных работников, умудренных жизненным опытом, и 45-летнего рабочего Нечипора, обучающегося грамоте.

Единство поколений советских людей, их взаимное уважение и дружба, служение общему делу составляют идейно-художественную основу сценария, отражая важнейшую предпосылку всей системы коммунистического воспитания. С коллективных позиций, утверждает

А. С. Макаренко, можно успешно решать не только проблему трудного подростка, но и общую задачу развития лучших индивидуальных черт каждого молодого человека.

А. С. Макаренко достигает в «Командировке» необычайно лаконичной выразительности в психологической разработке персонажей, их действий и поступков, что в одинаковой мере относится и к детям, и к взрослым. Отражая их богатый духовный мир и сложность характеров, он прибегает к изображению особо любимой им в педагогической практике «двойной линии тона», сочетающей не очень лестную внешнюю картину действий с привлекательностью их внутреннего, не показного нравственно-психологического содержания. Следует отметить и высокое совершенство диалогов, речевой характеристики героев. Достойное место в произведении заняла военно-патриотическая тема, имевшая важное значение в преддверии Великой Отечественной войны. Писатель-педагог предпринимает здесь смелую попытку создания и пропаганды средствами кино новых, советских танцев как очень важного компонента эстетической и нравственной культуры человека.

¹ Далее следует художественная разработка макаренковской мысли о «моральном оппортунизме», которую он высказал 1 марта 1939 г. в лекции «Коммунистическое воспитание и поведение» (см. т. 4 настоящего издания).

Приложение

(с. 292)

Редактору «Литературной газеты» О. Войтинской и критику Ф. Левину (письмо воспитанников колонии им. М. Горького и коммуны им. Ф. Э. Дзержинского).

Впервые опубликовано в «Учительской газете», 1949, 12 марта (с сокращениями). Печатается по этой публикации.

Написано вскоре после смерти А. С. Макаренко от имени его воспитанников в апреле 1939 г. под названием «Ответ эстетствующему критику». Авторы письма: С. А. Калабалин — один из первых колонистов-горьковцев, последователь А. С. Макаренко в педагогической деятельности; А. Тубин — воспитанник в колонии горьковцев и коммуны дзержинцев (см.: *Тубин А. Антон.* — Год XXII. Альманах 16. М., 1939, с. 445—492), офицер Советской Армии, погиб в Великую Отечественную войну; Л. Салько — бывший коммуна-дзержинец, военный инженер-конструктор (см. т. 1 настоящего издания, с. 22); В. Ключник — воспитанник коммуны дзержинцев, офицер танковых войск, участник Великой Отечественной войны (там же, с. 195); Е. Ройтенберг — бывший коммуна-дзержинец, в Великую Отечественную войну — политрук гвардейской мотострелковой дивизии, погиб (см.: *Макаренко Г. С. Дзержинец.* — Советская педагогика, 1944, № 5—6).

В апреле 1939 г. А. Фадеев, К. Федин, А. Караваева дали высокую оценку «Флагам на башнях» на заседании Президиума Союза советских писателей с активом «Литературной газеты». Они осудили статью Ф. Левина за ее недопустимый тон. На заседании выступили также О. Войтинская и Ф. Левин (см. отчет об этом заседании в «Литературной газете», 1939, 26 апр.).

Амстердам А. — 55, 56, 57
Амундсен Р. — 53, 54
Андреев Л. Н. — 105

Барри Д. М. — 54
Барская М. А. — 160, 164
Беленкова М. — 294
Безобразов А. М. — 117
Безыменский А. И. — 206
Белых Г. Г. — 33—37, 58
Бойм А. — 198—200
Борисов Ф. — 294
[Браткевич А.] — 43
Будёный С. М. — 88
Бунин И. А. — 189

Васильевы Г. и С. — 92
Верн Ж. — 158, 159, 188, 189
Верхарн Э. — 13
Вирта Н. Е. — 66—71
Войтинская О. — 160, 162, [200], 292
Волков А. М. — 99, 100

Гейне Г. — 66
Герман Ю. П. — 59
Герцкович Г. — 293
Гирей Н. — 61—64
Гладков Ф. В. — 206
Гоголь Н. В. — 13, 24, 25, 94, 104
Голицин В. В. — 124, 129, 137
Голубева А. — 101
[Гончаров И. А.] — 61, 94
Горбунов К. — 11
Горький А. М. — 7, 8, 31, 39, 51, 61, 96, 97, 105, 159, 177—179, 184
Гризодубова В. С. — 190, 191
Громов М. М. — 101, 163
Гроссман В. С. — 60
Гучков А. И. — 112

Дарвин Ч. — 249
Достоевский Ф. М. — 13, 94, 105, [187]

Калабалин С. А. — 32, 33, 43, 292—295
Карамзин Н. М. — 40
Кинсей-Крайстчерч Д. Д. — 54
Киров С. М. — 101, 102, 158
Кирсанов Т. — 75
Клюшник В. — 195, 295
Козин В. — 71—74
Колдунов С. А. — 6
Колчак А. В. — 79, 80, 90
[Конисевич Л. В.] — 42, 294
Кочубей В. Л. — 24, 25
Крымов Ю. С. — 98, 99, 181
Купер Ф. — 159
Кутузов М. И. — 125

Лавренев Б. А. — 55, 57
[Лапотецкий Н. П.] — 43, 48
Леваневский С. А. — 101
Левин Ф. — 204—208, 292—295
Ленин В. И. — 23, 25, 65, 90, 92, 167, 171—176
Леонов Л. М. — 60, 182, 186
Лермонтов М. Ю. — 94, 104, 105, 109, 176, 177
Лефорт Ф. Я. — 129, 130
Локтюхов А. — 293
Ломброзо Ч. — 29
Лондон Дж. — 164
Лоскутов М. — 200, 205

Макаренко А. С. — 6—9, 15—16, 18—23, 26—52, 61—74, 96—98, 100, 108—110, 114, 142—144, 145—184, 191—202, 204—214, 292—295
Малахов — 162, 165, 171, 172
Маркс К. — 102, 115, 293
Мартов Л. (Цедербаум Ю. О.) — 172
Маяковский В. В. — 65
Медынский Г. А. — 201, 202
Микитенко И. К. — 36, 37, 59
Миллер Т. А. — 7—9

Мстиславский (Масловский) С. Д. — 21, 22
Мусоргский М. П. — 249

Наполеон — 125
Никитин С. — 293
Николай I — 104
Николай II — 111, 112, 117
Новиков А. — 213

Огнев Н. (Розанов М. Г.) — 59
Олесов Ф. — 55—57
Осипенко П. Д. — 190, 191

Панов И. — 294
Пантелеев Л. (Еремеев А. И.) — 33—37, 58
Первенцев А. А. — 23—26, 182
Петр I — 125—141
Пичугин С. И. — 118—120
Пичугина П. Н. — 114—122
Погребинский М. С. — 9—11
Покровский М. Н. — 133, 135
Працан П. — 293
Прут И. Л. — 21
Пугачёв Е. — 103
Пушкин А. С. — 61, 66, 97, 104, 105, 186, 249
[Пфляумер Н.] — 144

Раскова М. М. — 190, 191
[Родичев Ф. И.] — 112
Ройтенберг Е. — 295
Ромицын А. — 159, 184, 197, 198
Ромодановский Ф. Ю. — 126, 128, 129, 134

Салько Л. М. — 295
Сейфуллина Л. Н. — 31—34, 37, 58, 60, 61
Сементовский В. — 18, 19
[Сервантес] — 188
[Сердюк К. И.] — 50
Сёмушкин Т. З. — 202—204
Скотт — 53, 54
Скотт В. — 188

Соловьёв С. М. — 15, 16, 126, 136
[Сорока-Росинский В. Н.] — 34, 35, 58
Ставский (Кирпичников) В. П. — 22, 23
Сталин И. В. — 12, 23, 53, 65, 144, 218
Стаханов А. Г. — 234
Столыпин П. А. — 113

Таликов — 294
Твен М. — 158, 188
Толстой А. Н. — 122—142
Толстой Л. Н. — 13, 61, 86, 104, 105, 108, 122, 123, 125, 159, [188], 199, 207
Троцкий (Бронштейн Л. Д.) — 90
Тубин А. — 295
Тургенев И. С. — 61, 94, 181, 199

Фадеев А. А. — 23
Финк В. Г. — 18
Форд Г. — 13, 14
Фрунзе М. В. — 87, 88, 90
Фурманов Д. А. — 76—92, [208], [231]

Чайковский П. И. — 249
Чапаев В. И. — 25, 77—93, 241
Чапыгин А. П. — 122
Чарская (Чурилова) Л. А. — 205
Чехов А. П. — 94, 189, 199
Чкалов В. П. — 101, 163

Шевченко Т. Г. — 104
Шекспир В. — [93], 147, [199], [200]
Шершнев Н. Ф. — 43, 294
Шишков В. Я. — 46
Шмидт О. Ю. — 53
Шолохов М. А. — 122, 201

Энгельс Ф. — 115
Эренбург И. Г. — 182

Юдин [П. Ф.] — 206

Явич А. [Е.] — 213, 214

Содержание

От составителей	5
По поводу замечаний С. А. Колдунова	6
Письмо Т. А. Миллер	7
Болшевики	9
О личности и обществе	11
Письмо С. М. Соловьеву (с отзывом о книге «Америка деловая»)	15
Радость творческого труда	16
Право автора	18
Писатели — активные деятели советской демократии	19
Больше коллективности	20
Героическая борьба	23
Художественная литература о воспитании детей	26
Товарищеская лаборатория	50
В эти дни	53
Происшествие в «Звезде»	55
Детство и литература	57
Вредная повесть	61
Сила советского гуманизма	64
Закономерная неудача	66
Рассказы о простой жизни	71
О темах для писателей	74
Радость нашей жизни	—
Новая жизнь	75
«Чапаев» Д. Фурманова	76
Счастье	93
Полнота советской жизни рождает красочные новеллы	96
Отзыв о повести А. М. Волкова «Первый воздухоплаватель»	99
О счастье (заметка)	101
«Мальчик из Уржума»	—
Судьба	102
Выборное право трудящихся	108
Прасковья Никитична Пичугина	114
«Петр Первый» А. Н. Толстого	122
Разговор с читателем	142
О «Книге для родителей»	145
Воспитательное значение детской литературы	157
Письмо А. Ромицыну 8 июня 1938 г.	159
Против шаблона	160
Письмо А. Ромицыну 1 июля 1938 г.	164
О подписке на заем	165
О книге «Честь»	—
Беседа с начинающими писателями	177
Письмо А. Ромицыну 31 августа 1938 г.	184
Стиль детской литературы	185
Советские летчицы	190
О повести «Флаги на башнях»	191
Письмо А. Ромицыну 21 октября 1938 г.	197
Ответ товарищу А. Бойму	198
Письмо в редакцию «Литературной газеты»	200
Книги, которых я жду	—
Медынский Г. А. «Бубенчики»	201
Записки педагога	202
Открытое письмо товарищу Ф. Левину	204
Литература и общество	208
Предстоит большая работа над собой	210
Великая награда	211
Отзыв о рукописи «Золотые деньги»	212
Отзыв о повести «Республика победителей»	213

Отзыв о романе А. Явича «Леонид Берестов»	213
Литературные сценарии	216
Настоящий характер	—
Командировка	247
Приложение	292
Редактору «Литературной газеты» О. Войтинской и критику Ф. Левину	—
Комментарии	296
Указатель имен	316

Антон Семенович Макаренко

Педагогические сочинения. В 8-ми т. Т. 7

Составители:

Лев Юльевич Гордин

Анатолий Аркадьевич Фролов

Зав. редакцией **Ю. В. Василькова**

Редактор **Е. А. Соколова**

Художник **В. Е. Валериус**

Художественный редактор **Е. В. Гаврилин**

Технический редактор **О. В. Журкина**

Корректоры **В. С. Антонова, В. Е. Воронцова**

НБ № 991

Сдано в набор 17.06.85. Подписано в печать 14.11.85. Формат $70 \times 90^{1/16}$. Бумага кн.-журн. Печать офсетн. Гарнитура школьная. Усл. печ. л. 23,40+0,58 вкл. Уч.-изд. л. 26,49. Усл. кр.-отт. 24,86. Тираж 50 000 экз. Зак. № 2141. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Педагогика» Академии педагогических наук СССР и Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 107847, Лефортовский пер., 8.

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 170024, г. Калинин, пр. Ленина, 5.